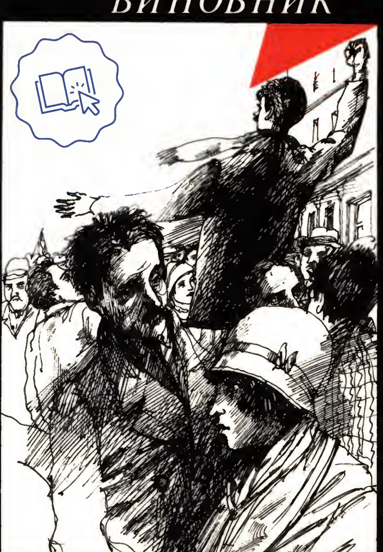
Бруно Ясенский

ГЛАВНЫЙ ВИНОВНИК



Бруно Ясенский

Я ЖГУ ПАРИЖ

ГЛАВНЫЙ ВИНОВНИК

ЗАГОВОР РАВНОДУШНЫХ

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1986

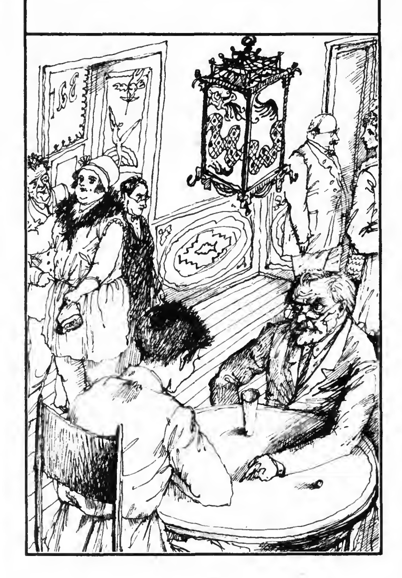
84 Р7
Я 80

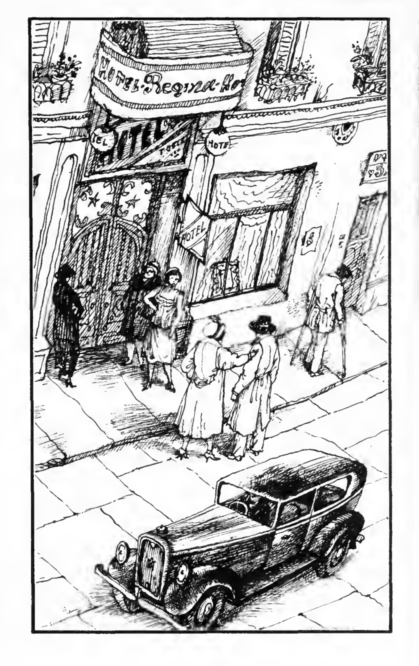
Послесловие
В.Д. Оскоцкого

Иллюстрации и оформление
А.Л. Костина

Я $\frac{4702010200-1187}{080(02)-86}$ 1187—86

Я ЖГУ ПАРИЖ





Hotel·Regina·Ho
HOTEL
HOTEL
HOTE
TEL

ТОВАРИЩУ Т. ДОМБАЛЮ, НЕУТОМИМОМУ БОРЦУ ЗА РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЕ ДЕЛО, ЭТА КНИГА ОТ ЕЕ АВТОРА — ДРУЖЕСКОЕ РУКОПОЖАТИЕ ЧЕРЕЗ ГОЛОВУ ЕВРОПЫ.

Париж, сентябрь 1927.

I

Началось это с мелкого, казалось бы незначительного происшествия определенно частного характера.

В один прекрасный ноябрьский вечер на углу улицы Вивьен и бульвара Монмартр Жанета заявила Пьеру, что ей необходимы бальные туфельки.

Они шли медленно, об руку, затерянные в этой случайной, несыгравшейся толпе статистов, которую на экран парижских бульваров бросает ежевечерне испорченный проекционный аппарат Европы.

Пьер был угрюм и молчалив.

Впрочем, у него были для этого достаточно основательные причины.

Сегодня утром прохаживавшийся по залу гуттаперчевыми шагами мастер остановился перед его токарным станком и, глядя куда-то через плечо Пьера, велел ему сдать инструмент.

Уже две долгие недели длилась эта мучительная ловля. Пьер слышал от товарищей: во Франции, благодаря скверной конъюнктуре, люди перестали покупать автомобили. Заводам грозило закрытие; везде наполовину сокращали штаты. Во избежание беспорядков увольняли по нескольку человек в разные часы дня из разных отделов.

Придя утром на работу и став у станка, никто не мог быть уверен,— не его ли очередь сегодня.

Четыреста беспокойных пар глаз, как собаки по следу, бежали по пятам мастера, медленно, словно в раздумье,

прохаживавшегося между станками, и старательно избегали встречи с его скользящим взглядом. Четыреста человек, сгорбившись над станками, будто желая стать еще меньше, серее, незаметнее, в лихорадочной погоне рук наматывали секунды на раскаленные быстротою станки, и заплетающиеся пальцы лепетали: «я быстрее всех!», «не я ведь! не я!».

И ежедневно в нескольких концах зала задерживался вдруг на точке ненавистный, колеблющийся почерк шагов, и в напряженной тишине раздавался матовый, бесцветный голос: «Сдайте инструмент».

Тогда из нескольких сот грудей вырывался вздох облегчения: «Так, значит, не я!» И торопливые дрессированные пальцы еще быстрей ловили, наматывали, зацепляли секунду за секунду, звено за звено, тяжелую чугунную восьмичасовую цепь.

Пьер слышал, что в первую очередь увольняют политически неблагонадежных. Он мог бы не беспокоиться: от агитаторов держался в стороне, митингов не посещал. Во время последней забастовки он был в числе тех, которые, несмотря на запрет, явились на работу. Рабочие-горланы глядели на него исподлобья. При встречах с мастером он всегда старался выдавить из себя приветливую улыбку.

И все-таки, лишь только мастер начинал свою молчаливую, злобную прогулку по залу, пальцы Пьера путались в напряженной гонке, инструменты выпадали из рук; опасаясь привлечь внимание, он не смел нагнуться поднять их, и крупный пот холодным компрессом смачивал разгоряченный лоб.

Когда же в это утро зловещие шаги внезапно задержались у его станка, когда взглядом в очертании губ мастера он прочел приговор, Пьер почувствовал вдруг что-то вроде облегчения: вот и конец.

Медленно, не торопясь, он свернул в узелок собранный инструмент. Не оглядываясь, спокойно стал стягивать с себя рабочий костюм и аккуратно завернул его в бумагу.

В конторе при подсчете жетонов, оставленных в залог за выданные инструменты, обнаружилось, что у него украли микрометр.

Безошибочные ремни заводской администрации перебросили его в бюро расчета.

Лысый, косой канцелярист коротко заявил Пьеру, что за потерянный микрометр у него вычитается сорок франков[1].

---

[1] Микрометр — особо точный инструмент для измерения. Франк по довоенному курсу — 37½ копеек. *(Здесь и далее прим. автора.)*

Остальные он получил авансом два дня тому назад. Ему не причиталось больше ничего.

Пьер молчаливо сгреб со стола засаленные документы. Он знал: чтоб лишить сокращенных рабочих права на получение пособия для безработных, фабрика, играя на руку правительству, отказывала в пометке: «уволен из-за отсутствия работы». Все же Пьер хотел было попытаться попросить. Взгляд его упал на сияющую злую лысину ощетинившегося канцеляриста, на двух молодцов из заводской полиции, стоявших спиной к нему, будто о чем-то беседуя... Понял: напрасно.

Грузным шагом вышел из канцелярии.

В воротах отобрали пропуск и просмотрели содержимое узелка.

Очутившись перед фабрикой, Пьер долго стоял беспомощно, раздумывая, куда ему пойти. Жирный синий полицейский, с лицом бульдога, с вычищенным номером на ошейнике, проворчал над его ухом: «Задерживаться воспрещается».

Пьер решил обойти несколько заводов. Однако повсюду, куда бы он ни являлся, ему отвечали отказом. Везде господствовал кризис. Заводы работали лишь по нескольку дней в неделю; штаты сокращались, о приеме новых рабочих не могло быть и речи.

После целого дня беготни, часам к семи вечера, Пьер, голодный и усталый, подошел к магазину, поджидая Жанету.

Жанете нужны были туфли. Жанета была совершенно права. Послезавтра праздник катринеток[1], фирма устраивает бал для служащих. Жанета из экономии платье переделала себе прошлогоднее, недостает ей только туфель. Нельзя же пойти на бал в лаковых. Кстати, это не бог весть какой расход,— она видела в витрине чудные парчовые, всего за пятьдесят франков.

У Пьера в кармане было ровным счетом три су[2], и в меланхолическом, ничего хорошего не сулившем молчании он слушал нежный лепет подруги, отзывавшийся в его груди сладким щекотом, как крутые повороты «американских гор».

---

[1] Праздник св. Екатерины, покровительницы молоденьких продавщиц.

[2] Су — мелкая монета.

* * *

Следующий день прошел в таких же безуспешных поисках. Не принимали нигде. В семь часов, усталый и осовелый, Пьер очутился где-то в предместье, на другом конце Парижа. Он обещал ждать в это время Жанету у выхода из магазина. Поспеть туда не было никакой возможности. Да и что мог он ей сказать? Жанете нужны туфельки. Она будет плакать. Пьер не мог смотреть на слезы Жанеты. Медленным шагом он поплелся в город.

По дороге он думал о Жанете. Собственно говоря, он нехорошо поступил, не дожидаясь ее у выхода. Следовало ей объяснить. Что и говорить — поступил он по-хамски. Жанета, наверно, ждала его. Потом, не дождавшись, ушла домой. Обиделась, конечно. И поделом. Несмотря на поздний час, Пьера потянуло зайти к ней все рассказать и попросить прощения.

Однако, поднявшись наверх, он узнал, что Жанета до сих пор из города не возвращалась. Известие это застало его врасплох.

Где могла быть так поздно Жанета? Почти никогда не выходила она одна. Пьер решил подождать ее у ворот. Вскоре, однако, заныли усталые ноги. Пьер присел на тумбу, прислонился к стене. Ждал.

Вдалеке, на какой-то невидимой башне, часы пробили два. Медленно, как школьники — выученный наизусть урок, повторяли их над партами крыш другие башни. Опять тишина. Отяжелевшие веки, как мухи, пойманные на клей, бьются неуклюже, взлетят на мгновение, чтоб снова упасть.

Где-то на далекой, полной выбоин мостовой несмело прогромыхал первый воз. Скоро выедут возы с мусором. Голая шершавая мостовая — лысые оскальпированные черепа живьем закопанной толпы — встретит их долгим криком-грохотом, передаваемым из уст в уста вдоль бесконечной улицы. Пробегут тротуарами черные люди с длинными пиками, погружая их острия в трепещущие как пламя сердца фонарей.

Сухой скрежет наболевшего железа. Сонный пробуждающийся город с трудом подымает отяжелевшие веки железных штор.

День.

Жанета не вернулась.

* * *

В этот день был праздник катринеток. Пьер не пошел искать работы. Ранним утром он направился на Вандомскую площадь и у ворот по соседству с магазином стал поджидать появления Жанеты. В нем подымалось глухое беспокойство. В тяжелой бессонной голове, точно плавающие острова табачного дыма в душной, накуренной комнате, витали смутные представления невероятнейших происшествий. Прислонившись к железной решетке, он простоял в ожидании целый день. Уже двое суток он не брал ничего в рот, но приторный привкус слюны, оставаясь в области вкусовых ощущений и не проникая в сознание, не стал еще голодом.

К вечеру полил дождь, и под хлещущими струями воды твердые контуры предметов заколыхались волнообразно, удлиняясь вглубь, словно окунутые в холодную, прозрачную купель.

Стемнело. Зажженные фонари, как жирные бесцветные пятна на чернильной глади ночи, не в силах ни раствориться в ней, ни ее осветить,— заполнили глубокое русло улицы водорослями теней, сказочной фауной неизмеримых глубин.

Обрывистые берега, полные фосфоресцирующих, волшебных гротов ювелирных магазинов, где на скалах из замши, вылущенные из раковин, дремлют крупные, как горох, девственные жемчуга,— перпендикулярными стенами тянулись вверх в напрасных поисках поверхности.

Широким ущельем русла, с шумом чешуйчатых шин, плыли сбитые в кучу стада чудовищных железных рыб с огненными выпученными бельмами.

Вдоль тенистых крутых берегов двигались с трудом, как водолазы в прозрачном желе воды, оловянноногие люди под тяжелыми шлемами зонтов. Казалось, вот сейчас кто-то первый, дернув за рукоять, плавно взовьется вверх, чертя кренделя раскрепощенными ногами над головой грузной толпы.

Издали по течению медленно надвигался плоский водолазный шлем о трех парах женских ног. Ноги с трудом нащупывают скользкое дно, заплетаются от внутреннего смеха.

Когда ноги приблизились к выступу ворот, оказалось, что они несут под шлемом три хохочущих головы. Одной из трех была голова Жанеты.

Заметив Пьера, Жанета подбежала к нему вприпрыжку, осыпая его цветным конфетти своего щебета. На ней было бальное платьице, манто и новенькие промокшие парчовые туфельки.

Почему не ночевала дома? Ну, разумеется, спала у подруги, шили до поздней ночи костюмы к сегодняшнему балу. Откуда у нее новенькие туфельки? Взяла в магазине аванс в счет будущего жалованья. Если Пьер хочет, у нее есть еще минутка свободного времени, и она может с ним вместе пообедать.

Сконфуженный Пьер пробормотал, что у него нет на обед.

Жанета кинула на него удивленный непонимающий взгляд.

Нет? В таком случае она наскоро перекусит что-нибудь с подругами. Она очень торопится, так как ей нужно купить еще несколько мелочей.

Поднявшись на цыпочки, она быстро поцеловала его в губы и исчезла в воротах.

Пьер медленно поплелся домой. Его ноги отяжелели, и терпкий привкус во рту впервые проскользнул в сознание, долго стучась у его дверей упрямой, терпеливой икотой. Пьер понял и улыбнулся собственной недогадливости: это был голод.

Бульвары кишели уже группами расшалившихся мидинеток[1], предприимчивых юношей, пестрых чепчиков и шарфов. В тени безучастных ламп празднично одетые Пьеры целовали в губы своих маленьких Жанет, которые игриво подымались на цыпочки.

Серый Менильмонтан был мрачен и угрюм, как обычно.

Пьер с трудом дотащился домой. Он устал, и у него было сейчас единственное желание: вытянуться на кровати.

С некоторых пор он старательно избегал встречи лицом к лицу с худым, корявым консьержем[2]. Расходы последнего времени (осеннее пальто Жанеты) были причиной того, что он уже три месяца не платил за квартиру. Каждый вечер он ухитрялся проскользнуть незамеченным прямо на лестницу через неосвещенные сени.

На этот раз, однако, ему не повезло. Из сеней навстречу вырос кривой, корявый профиль консьержа. Приподняв картуз, Пьер хотел было прошмыгнуть мимо, но был задержан. Из грубых слов он понял одно: в комнату его не впу-

---

[1] Продавщицы модных магазинов.

[2] Швейцар, управляющий домом.

стят. Вследствие трехмесячной неуплаты комната его сдана другому, вещи вернут, когда он уплатит долг.

Машинально, не возражая ни слова, к очевидному удивлению словоохотливого консьержа, Пьер повернулся и вышел на улицу.

Моросил дождь. Ни о чем не думая, Пьер побрел обратно вдоль влажных стен, уже разбухавших теплотою сна. В пустых углублениях, в нишах домов черные люди — мужчины и женщины — располагались на ночлег, скрючившись от холода и обернув конечности обрывками подобранных газет.

Пьер, падая от усталости, пошел на красный свет метро и добрел до угла бульвара.

На далеких башнях пробил час. Из теплой кафельной пасти подземной дороги заспанные служащие выгоняли наверх запоздалых пассажиров и соблазненных теплом бродяг. С лязгом задвигались решетки. На лестнице, ведущей на мостовую, в духоте галдели и толкались тени. Обросшие, оборванные люди занимали с жадной торопливостью места на ступеньках, поближе к решетке, от которой веяло удушливым влажным дыханием разгоряченного нутра Парижа. Закутанные в лохмотья, они укладывались вдоль лестницы головой на неуютной подушке каменной ступеньки.

Вскоре они устлали всю лестницу. Для непредусмотрительных запоздалых ночлежников остались места лишь на верхних ступеньках, не защищенных от дождя и холода.

Пьер слишком обессилел, чтобы идти дальше. Покорный и робкий, стараясь не наступать на тела и никого не задеть, он лег на свободное место на самом верху между двумя укутанными в тряпки седыми ведьмами, встречавшими каждого вновь прибывающего враждебным ворчанием.

Уснуть он не мог. Мелкий мглистый дождь мокрой лапой водил по его лицу, пропитывая одежду липкой, пронизывающей сыростью. Тряпки, промокшие от дождя и пота разогретых собственным теплом тел, выделяли острую, кислую вонь. Каменная подушка захарканной ступеньки вонзалась в голову; острые края других врезывались в ребра, распиливая тело на части, извивавшиеся в бессонной лихорадке, как куски изрезанного дождевого червя. Внизу, блаженствуя на занятых заранее местах у решетки, храпели нищие.

Во сне Пьеру почудилось, что лестница, на которой он лежит,— движущаяся (какую он видел в магазине «Прентан» или на станции метро «Площадь Пигаль») и что она с

грохотом ползет вверх. Из зияющей трещины земли, из разинутой пасти метро карабкалась вверх бесконечная железная лента подвижных ступенек. Одна за другой выезжали, громыхая, все новые ступеньки, вымощенные грудой черных оборванных тел. Верхушка лестницы, где лежал Пьер, поднялась уж высоко, в облака. Внизу миллиардом огней кричал многоглазый Париж. С глухим ритмическим грохотом лестница ползла все выше. Пьера окружила космическая пустота, мерцание звезд, беспредельный покой пространства.

Из черного жерла раскрытой мостовой в раззеванную пасть неба ползла движущаяся лестница черной лавиной скрюченных, изможденных спящих людей.

* * *

Пьер проснулся от чьего-то нетерпеливого толчка. Открывали метро. Серая заспанная толпа, ругаясь и потягиваясь, неохотно освобождала лестницу. Снизу била густая, ленивая теплота разогретых внутренностей города, переваривающих натощак порции легких утренних поездов. Кряхтя и позевывая, ночлежники лезли вверх, на мостовую, и растворялись поодиночке в сыром утреннем тумане.

Открывались первые бистро[1]. Счастливые обладатели тридцати сантимов могли выпить у стойки стакан горячего черного кофе.

У Пьера не было тридцати сантимов, и он потащился без цели вверх по бульвару Бельвиль.

Париж медленно просыпался.

В черных оконных рамах сгорбленных меблирашек тут и там появлялись уже профили старых взлохмаченных, наполовину раздетых женщин; профили, величественные в своих прогнивших рамах, как грозные портреты прабабушек этого квартала, где проституция являлась званием наследственным, как в других сферах дворянский титул или звание нотариуса.

Окна — это картины, повешенные на мертвый каменный прямоугольник серой стены дня. Есть окна — натюрморты, странные кропотливые творения непризнанного художника, случая, сколоченные из куска гардины, забытого цветочного горшка, яркой киновари дозревающих на подоконнике помидоров. Есть окна — портреты, окна — наивные загородные идиллии а ля Руссо[2], неоцененные, ничьи.

---

[1] Дешевые кафе.

[2] Французский художник-примитивист.

Когда вечером, въезжая в город, поезд минует выстроенные по обеим сторонам дома с освещенными здесь и там квадратами окон, окно тогда — витрина чужой (о, какой чуждой!), непонятной, далекой жизни! И глаз одинокого путешественника, как ночная бабочка, беспомощно бьется за непроницаемой плитой стекла, не в силах никогда проникнуть внутрь.

* * *

Когда после целого дня бесплодных поисков работы Пьер возвращался в город каким-то незнакомым проулком, был вечер, и вогнутые квадраты окон начинали уже фосфоресцировать внутренним, потаенным светом. Улица пахла подсолнечным маслом, теплом непроветренных квартир, священным торжественным часом обеда. Жадный, прирученный голод, как дрессированная собака, лег у порога сознания, не смея перешагнуть его, лишь довольствуясь тем, что каждая мысль, желая туда попасть, принуждена была на него наступить.

Сквозь тяжелый туман усталости билось в Пьере воспоминание о Жанете.

Он понял, что должен во что бы то ни стало зайти к ней, объясниться. Впрочем, что он ей скажет — не знал ясно сам.

Пока он выбрался из опутавшей его сети проулков, наступила ночь. Пьер долго блуждал в темноте, не видя ничего, что указало бы ему путь, с трудом различая надписи улиц.

Когда след шагов Пьера привел его, после долгих блужданий, к дому Жанеты, было уже за полночь. Пьер поднялся по лестнице и постучал. Открыла ему заспанная мать. Жанеты не было, не возвращалась еще домой со вчерашнего дня.

Пьер медленно спускался по темной лестнице, пока снова не выбрался на улицу. Очутившись на тротуаре, он не стал ждать у ворот, как в первую ночь, а медленно побрел в темноту.

На углу людного проспекта его обрызгало грязью проезжавшее такси. Толстый, упитанный щеголь, развалившись на сиденье, прижимал к себе маленькую стройную девушку, блуждая свободной рукой по ее голым коленям, с которых сгреб юбку.

Пьер не мог видеть лица девушки, заметил лишь синюю шляпку и тонкие, почти детские колени, и внезапно вну-

тренней судорогой узнал по ним Жанету. Он кинулся вслед, расталкивая брюзжащих прохожих.

Минуту спустя такси скрылось за поворотом.

Пробежав еще несколько десятков шагов, Пьер остановился в изнеможении. Неясные лихорадочные мысли, точно вспугнутые голуби, улетели внезапно, оставляя пустоту и плеск крыльев в висках.

Он находился в какой-то узенькой улочке. Пахло кислой капустой и морковью. Пьер с трудом дошел до угла.

На опустелых полях просторных мостовых — выросшие за ночь из земли — громоздились гигантские зеленые цилиндры, красные конусы, белые кубы, урезанные пирамиды — ночное царство геометрических фигур. Он был в Галле[1].

Выцветшие люди в лохмотьях строили из идеально круглых голов салата, из ветвистых букетов цветной капусты многоэтажные здания и башни. Рядом возносился к небу патетический куб срезанных цветов. Здесь скоплялось за ночь все то, что на следующий день Париж потребует для еды и любви.

Острый запах свежих, отнятых у земли овощей осадил Пьера на месте. Многотерпеливый голод, насторожившийся у дверей сознания, начал по-собачьи слегка скрести под ним лапой.

Пьер потянулся ближе. Какой-то человек, сгибаясь под огромной охапкой цветной капусты, больно толкнул его и выругался. Пьер робко попятился на тротуар. Кто-то дотронулся до его плеча. Он оглянулся: плотный усатый верзила указывал рукой на громадный двухколесный воз, нагруженный доверху морковью.

Пьер понял предложение и торопливо принялся сбрасывать на мостовую громадные бесформенные глыбы. Помогало ему в этом еще несколько исхудалых людей. В одном из них Пьер узнал соседа из вчерашней ночлежки в метро.

Неправильная красная пирамида росла, поднялась до второго этажа, потянулась выше.

Когда выгруженные возы отъехали, всех грузчиков повели в глубь Галля. Оглянувшись, Пьер увидел за собой толпу в несколько сот подобных ему изможденных людей. У всех шеи обмотаны были грязными шерстяными тряпками, лица заострены, обросшие и землистые.

[1] Ночной оптовый рынок в Париже.

Их выстроили в длинную очередь, наливая каждому из котла по миске горячего лукового супа. Пьер получил наравне с другими миску супа и сверх того три франка наличными. Когда он выхлебал горячую ароматную жидкость, обжигая себе немилосердно рот, у него отобрали миску и оттолкнули его в сторону, чтобы дать место следующим. Проходя улочками этого нового, странного города, обреченного через несколько часов на исчезновение, Пьер стащил из одной глыбы несколько громадных, отдающих еще потом земли морковей и жадно проглотил их в переулке.

Светало. Пьером овладевали усталость и сон, приманила их теплота поглощенного вкусного супа. Он стал подыскивать себе место на ночлег.

И здесь, в нишах ворот, во впадинах оцепенелых домов спали, свернувшись в клубок, покрытые лохмотьями люди. Найдя свободное, защищенное от ветра углубление, Пьер залез в него, обмотав себе, по примеру других, коченеющие руки и ноги обрывками подобранной в мусорном ящике газеты. Уснул он раньше, чем успел прижаться поудобнее к сырой облезлой стене.

Разбудил его маленький синий человечек в куцей пелеринке, терпеливо убеждавший его уже несколько минут, что лежать в этом месте воспрещается и что он должен сейчас же убраться отсюда куда-нибудь подальше. Куда именно «подальше»,— Пьер не знал, однако он встал и поплелся безропотно вперед.

Причудливый воздвигнутый столькими усилиями ночной город исчез, как фата-моргана. На месте, где еще недавно громоздились волшебные кубы и приземистые конусы из голов репы, по скользким рельсам мчались теперь с шумом подвижные домики трамваев. Был уже день.

* * *

Работы не было. Валандаясь по боковым улицам, Пьер упорно заходил по дороге во все встречающиеся гаражи, предлагая свои услуги по мытью автомобилей. Повсюду его встречали враждебные лица. В помощи не нуждались нигде.

С наступлением вечера новой жгучей судорогой забилось в нем имя Жанеты. Он инстинктивно свернул в сторону ее дома.

Жанета все еще не возвращалась.

Улицы множились, длинные и гибкие, растягивались в бесконечность, словно привязанный к ноге резиновый ка-

нат, разбегались из-под ног ящерицами в отблесках огней, подмигивали во мраке глазами тысяч меблирашек.

Приближаясь к одной из них, Пьер заметил вдруг выходящую оттуда пару. Плечистый мужчина и маленькая гибкая девушка. Лица девушки он не мог разглядеть в темноте, но по силуэту узнал Жанету. Он кинулся в их сторону, с трудом пробиваясь сквозь сплошную толпу прохожих. Но раньше, чем он успел с ними поравняться, пара села в такси и уехала.

Ошеломленный, стоял он минуту у дверей меблирашек. Новая волна прохожих увлекла его вперед.

Не пройдя и ста шагов, он увидел вдруг другую пару, выходящую из других меблирашек. Девушка силуэтом поразительно похожа была на Жанету. Чтобы поравняться с ними, он должен был перебежать улицу. Путь загородил ему неисчерпаемый поток автомобилей.

Когда он, наконец, пробрался на другой тротуар, пары уже не было, она растворилась в толпе. Бессильные слезы злобы подступили к горлу Пьера.

Кругом зажигались и тухли, значительно подмигивая попеременно белым и красным светом, надписи меблирашек, гостеприимно приглашая прохожих. В каждой из них могла находиться в эту минуту Жанета. Измученная похотливостью требовательного здоровяка, она спит, свернувшись, как ребенок, с молитвенно сложенными между коленками ладонями. Здоровяк гладит ее белое холодное тело, хрупкое и беспомощное. Пьер почувствовал вдруг к ней несказанную нежность, граничившую с умилением.

Мысли клубились, перепутанные и извилистые, как улочки, по которым он блуждал сейчас. На пороге дешевых франковых меблирашек тощие, убого одетые женщины манили прохожих коротким призывающим чмоканьем, которым во всем мире принято подзывать собак: в Париже так окликают человека.

Худенькая чахоточная девушка в промокших ночных туфлях обещала ему за пять франков самые тайные наслаждения своего золотушного тела.

Шел дождь, мелкий, густой, прерываемый отдаленным мерцанием звезд. Над ледовитым бассейном неба Большая Медведица отряхивала свою лоснящуюся шерсть после вечерней купели, и холодные брызги летели на землю.

* * *

Жанеты все еще не было. Старая ведьма мать, всегда недоброжелательно глядевшая на связь дочери с бедняком Пьером, захлопнула как-то перед его носом дверь, заявив, что Жанета больше дома не живет.

Город гудел по-прежнему в своих вечных приливах и отливах. Улицами переливались бесчисленные толпы людей, упитанных, с жирными короткими шеями. Каждый из них мог быть как раз тем, кого Пьер искал и преследовал в вечно бесплодной погоне. С упорством маньяка он всматривался в лица прохожих, стараясь разглядеть на них какой-нибудь след, какую-нибудь мельчайшую судорогу, оставленную наслаждением, испытанным с Жанетой. Жадными ноздрями он вбирал запах одежд, внюхиваясь, не уловит ли на какой-нибудь из них запаха духов Жанеты, тонкого запаха ее маленького тела.

Жанеты не было. Жанеты не было нигде.

Впрочем, она была везде. Пьер видел ее, опознавал наверняка в силуэте каждой девушки, выходящей под руку с любовником из дверей каждой гостиницы, проезжающей мимо на такси, исчезающей внезапно в первых воротах. В тысячный раз бежал он, бешено проталкиваясь сквозь толпу, отделявшую его от нее непроницаемой стеной, и всегда прибегал слишком поздно.

Дни сменялись днями в однообразной игре света и тени.

Работу, после бесплодных недель скитаний, он бросил искать.

Уже много дней носил он в себе, как мать плод, алчный, сосущий голод, тошнотой подымающийся к горлу и разливающийся по телу свинцовой усталостью.

Контуры предметов обострились, словно обведенные тушью, воздух стал реже и прозрачней под плотным колпаком воздушного насоса городского неба. Дома стали растяжимыми и проницаемыми, то двигались внезапно один в другой, то, наоборот, растягивались в неправдоподобной, нелепой перспективе. У людей были лица замазанные и неясные. У некоторых было по два носа, у других — по две пары глаз. Большинство носило на плечах по две головы, — одна странно вдавленная в другую.

Однажды вечером внезапный прибой выбросил Пьера с бульваров Монмартра к стеклянному подъезду крупного мюзик-холла. Огненные крылья ветряной мельницы медленно вертелись, маня из нескончаемых улиц мира наив-

ных Дон Кихотов наслаждения. Окна окружающих домов горели ярким красным пламенем.

Был час спектакля. У стеклянного, светящегося, как маяк, холла бешено хлестал черный всклокоченный прибой автомобилей, чтоб через минуту отхлынуть обратно, оставляя на каменной набережной тротуара белую пену горностаевых палантинов, развеянных фраковых пелерин, манишек и плеч.

К боковой двери, толкаясь, пёрла неисчислимая черная толпа.

Налетевшая волна отбросила Пьера в сторону, вдавливая в стену, которая, при более внимательном осмотре, оказалась мягким человеческим лицом, внезапно странно знакомым. Человек, освобождаясь от нежданного объятия, тоже всматривался в него пристально.

— Пьер?

Пьер напряг мысли, стараясь что-то вспомнить. Этьен из сортировочной.

Расчищая дорогу локтями, они выбрались из толпы в боковой переулок. Этьен говорил что-то быстро и непонятно. Да, его сократили тоже. Достать работу невозможно — кризис. Пришлось с трудом добывать себе пропитание. Перепробовал все. Продавал марафет[1]. Не везло, слишком большая конкуренция. Пустил в ход свою Жермену. Как-никак, десяток-другой франков за вечер принесет. Хотя времена пошли очень тяжелые: мало иностранцев, и предложение превышает всякий спрос.

Теперь он — «проводник». Работа нудная, но относительно наиболее выгодная. Надо знать несколько адресов и прежде всего быть красноречивым. Это самое главное. Немножко еще надо быть психологом, знать, чем кого взять. И здесь тоже конкуренция, но ее все-таки, будучи краснобаем, выдержать можно.

Он специализируется по части пожилых господ. Знает несколько домов, где держат маленьких соплячек. Этот товар всегда пользуется успехом. Здесь, недалеко, на улице Рошешуар — «тринадцатилетки». Товар верный. Надо только уметь подать под соответствующим соусом. Представить: коротенькая юбочка, передничек, косичка с ленточкой. Наверху — комнатка-класс. Святой образочек. Кроватка с сеткой. Школьная парта, доска. На доске — мелом: $2 \times 2 = 5$. Полная иллюзия. Ни один пожилой господин не устоит. От

---

[1] Кокаин.

клиента за указание адреса — десять франков, от хозяйки — пять.

Здесь у него свой пост. Если Пьер хочет, Этьен может его ввести в эту работу. Несколько адресов на ухо. Самое главное — красноречие. И умение обернуться, знать, к кому подойти. Лучше всего ждать перед рестораном. Пьер может занять его прежний пост у «Аббей». Верное место. Главное — не спутать адресов!..

Новая волна подхватила Пьера и понесла его по течению. Этьен где-то затерялся. Увлекаемый толпой, Пьер не пытался сопротивляться; после нескольких часов приливов и отливов его выбросило на площадь Пигаль.

Пестрый водоворот реклам. Огненные буквы слов, выписанных в воздухе чьей-то невидимой рукой. Вместо: «Мане, текел, фарес»[1] — «Пигаль», «Руаяль», «Аббей»[2].

Что-то говорил об этом Этьен?

У освещенного подъезда стройный, расшитый галунами бой[3] мерзнет в своей коротенькой курточке, чтобы вдруг раболепно сломаться в поклоне.

Два пожилых господина. Одни. Останавливаются на углу. Закуривают.

Пьер машинально подходит ближе. Господа, поглощенные беседой, не обращают на него ни малейшего внимания. Пьер тянет старшего, пузатого господина за рукав и, наклоняясь, бормочет ему на ухо:

— Забава... «тринадцатилетки»... в передничках... кроватка с сеткой... доска... $2 \times 2 = 5$... Полная иллюзия.

Пожилой господин стремительно выдергивает свой рукав. В один миг оба машинально хватаются за карманы, где обычно держат бумажники. Опрометью, почти на ходу они вскакивают в проезжающее такси, захлопывая с испугом дверцу.

Пьер остается на углу один. Ничего не понимает. Задевая за стены, он плетется в ночь темным пустынным бульваром. Витрина. Зеркало. Из зеркала навстречу выплывает землистое, обросшее лицо с красными, воспаленными фонарями глаз.

---

[1] Дословно: «Взвешено, сосчитано, отмерено»,— огненные слова, появившиеся на стене во время оргии вавилонского царя Валтасара, предвещая гибель Вавилона.

[2] Названия шикарных ночных ресторанов.

[3] Мальчик, слуга.

Пьер останавливается, озаренный внезапной догадкой. Да те просто испугались. С таким лицом нельзя искать заработка.

Серединой бульвара, целуясь на каждом шагу, идет, тесно прижавшись друг к другу, пара. Маленькая синяя шляпка. Длинные стройные ноги. Жанета! Пара входит в гостиницу на углу, не переставая целоваться. Опять такси — проклятое такси! — загораживает дорогу.

Пьер одним прыжком бросается на другую сторону улицы. Двери отеля матово блестят. Шесть высоких этажей. Где искать? В которой комнате? Немыслимо! Лучше подождать здесь, пока они выйдут.

Пьер устало прислоняется к стене. Проходят минуты, быть может, часы. Теперь там, наверно, раздеваются. Теперь лежат уже в постели. Вот он блуждает руками по ее белому упругому телу.

Вдруг все разлетается. Из гостиницы напротив выходит пара. Толстый, грузный субъект и тонкая стройная девушка. Жанета! Девушка, поднимаясь на цыпочках (как хорошо Пьер знал это движение!), целует упитанного субъекта в губы. Подозвала такси.

Пьер гигантскими шагами перерезывает мостовую. Такси с Жанетой уехало. У дверей отеля остался стоять лишь грузный субъект, проверяющий при свете фонаря содержимое своего бумажника. На дряблых щеках погасает румянец испытанного только что наслаждения. На обвислых губах вянет последний поцелуй Жанеты. Смятые складки костюма хранят еще теплоту ее прикосновения. Наконец-то! Кулак сам собой сваливается меж выкатившихся припухлых глаз. Глухой шум падающего тела. Бычья, откормленная шея просачивается, как тесто, сквозь щели стиснутых пальцев. Уроненный бумажник бессильно, как подстреленная птица, бьется в канаве.

На беспомощный хрип толстяка ночь отвечает протяжным, отчаянным свистом. Как на пламя свечи, на разметавшуюся гриву рыжих волос Пьера со всех сторон, с закоулков ночи слетаются с трепыханием шерстяных крыльев синие летучие мыши.

Плавная качка автомобиля, уносящего куда-то в бесконечность проспекта. Меланхолический плеск пелеринок. И на лице холодным солдатским саваном — американский флаг с неба со звездами звезд.

* * *

Все, что наступило потом, торчало уже, как чаплинская хижина над бездной, одним боком за пределами привычной действительности.

Черные, стекающие мраком стены. Правильный куб тухлого воздуха, который можно резать ножом, как гигантский кубик магического бульона «Магги». И в глубоком решетчатом колодце окна — литр конденсированного неба.

Пьер узнал новый мирок, управляемый собственными, особыми законами на полях громадного сложного механизма мира. Незнакомый мир вещей, которые не нужно зарабатывать: низкая удобная койка под нависшим балдахином потолка, утром и вечером судок горячей гущи супа, приправленного ломтем хлеба. Рядом, за стеной, в смежных тесных комнатках — сборище людей, выкинутых, как отбросы, точной, непрощающей машиной мира сюда, через высокий забор бульвара Араго, и по чьей-то неизвестной воле спаянных в новый странный механизм, управляемый новыми странными законами Мира Готовых Вещей.

Размеренные, как карусель, бессмысленные прогулки по симметричным кругам двора под низким закопченным колпаком тюремного неба. Длинный однообразный ряд четок, каждая костяшка которых — живой, бьющийся ком человеческого существа. Механизм колесиков, которые не смогли подойти никуда по ту сторону ограды; выброшенные же сюда, в эту чудовищную кладовую, они удивительно сочетаются друг с другом, неожиданно зазубриваются, создают коллективный организм, действующий по какой-то другой, не вообразимой вне этих стен линии.

Дни за днями чередуются непрерывно, какие-то отличные от тех, длиннее их. Где-то в душных теплицах квартир, в горшках канцелярий медленно, лепесток за лепестком, опадает метафизический цветок календаря. Длинные тысячи пройденных километров, вытянутые в одну мысленную нить, теряются где-то у болотистых, обросших тростником берегов реки Ориноко.

И лишь ночью, когда на циферблате таинственного регулятора зажигается надпись: «сон»,— сны. Черные бурлящие волны потусторонней действительности, сдерживаемые непреодолимой оградой дня и устава, окружают со всех сторон островок на бульваре Араго. Ограда трещит, шатается. Вздыбленная река тел, кредитных билетов, поступков, бутылок, усилий, ламп, киосков, ног клокочущим валом переливается поверх крыш с гулом и ревом. Из ра-

зинутых пастей гостиниц, будто ящики из открытых дверец шкафов, высыпаются вековые, непроветренные, насквозь проспанные матрацы; растут, громоздятся вверх огромной, тысячеэтажной, вавилонской башней со скрежещущими пружинными ступеньками. А наверху, на громадном четырехспальном матраце всенародной кровати («Ле ли насиональ»)[1] лежит маленькая, беспомощная Жанета. По трясущимся ступенькам вверх карабкается муравьиной кучей толпа мужчин: блондинов, брюнетов, рыжих — чтоб на минуту накрыть ее тяжелой похотливой тушей; один за другим, все, город, Европа, мир! Башня трещит в предсмертных конвульсиях пружин, шатается, сгибается, рушится, заливаемая волнами разъяренного моря, хлещущего сокрушающим прибоем о скалистую ограду острова спящих бритоголовых робинзонов на бульваре Араго.

* * *

Однажды неожиданно, как будто лопнула внезапно какая-то из пружин безошибочного до сих пор механизма, одинокая камера Пьера заполнилась громкоголосыми людьми с израненными головами, с кровью, запекшейся на бинтах и на отворотах синих блуз. Запахло крепким мужским потом, порохом, заводской терпкой, несмываемой гарью. Полетели слова, увесистые, как булыжники: революция, пролетариат, капитализм. Из обрывков фраз, рассказов, восклицаний четко вырисовывался твердый четырехдневный эпос, записанный кровью на асфальте.

Оглавление всегда одинаково:

Безработица. Уменьшение заработков. Угрюмый демонстрационный митинг. С митинга, через город, шествие с «Интернационалом».

Провоцировала полиция. Осаждала в боковых переулках, резиновыми палками избивала в кровь. Затоптанная мостовая плюнула ей навстречу градом булыжников.

Атаковала озверелая солдатня. Залпом вымостила улицу новой, неутрамбованной мостовой. В ответ каменные челюсти улицы оскалились зубьями баррикад.

Была бойня. Липкая бурая кровь на тротуарах. Заваленные людьми грузовики. И толпа в несколько десятков тысяч человек — как вычеркнутое из баланса число, вынесенное на поля, за серую неприступную ограду.

---

[1] «Ле ли насиональ» — величайшая французская фабрика по производству двуспальных кроватей.

Передавали баснословные цифры. Тюрьмы не в состоянии были вместить слишком обильный улов. В тюрьму Санте упаковали будто бы пятнадцать тысяч человек. В тюрьме Френ было их, по слухам, еще больше. Тюремные здания оцепили воинскими частями. В камерах, предназначенных для одного человека, спало вповалку на полу человек пятнадцать. Во избежание беспорядков тюремные прогулки стали производиться партиями, в разное время дня.

Из камеры в камеру, тысячью неутомимых дятлов, днем и ночью стучал тюремный телеграф.

Втиснутые в общие камеры заключенные требовали перевода на политический режим. Тюремное начальство требование отклонило. Заключенные ответили голодовкой.

Ежедневно, зажатый в свой угол, насторожившись, как еж, выхлебывая свою порцию супа и заедая ее жадно хлебом, Пьер чувствовал на себе пятнадцать пар невеселых стальных глаз, расширенных атропином голода; под их взглядом вкусный ломоть тюремного хлеба комом застревал у него в горле, а густой суп остывал в судке, заволакиваясь географической картой навара.

Издали, как сквозь стеклянную стенку, до него долетали длинные ночные беседы. Слова, обтесанные, как глыбы, росли,— через минуту высилось уже мощное здание.

Мир, как плохо свинченная машина, больше портит, чем производит. Так дальше нельзя. Надо раскрутить все, до последних винтиков; что непригодно — отбросить, раскрутив — свинтить вновь на славу. Чертежи ждут готовые, у монтеров чешутся руки, только твердое заржавленное железо не пускает. Вросло, срослось по швам тканью ржавчины,— каждый винт придется отрывать зубами. И в черной продымленной коробке камеры лентой феерического фильма развертывался миф о перестроенном на новый лад мире.

Пьер слышал и раньше на заводе длинные монотонные рассказы об этом новом мире без богатых и рабов, где фабрики будут собственностью рабочих. Не верил. Не сдвинуть с места громадной махины. Вросла глубоко. Пущенная в движение, вертится с незапамятных времен. Хватать голыми руками за спицы? Не удержишь, только руки оторвет. Видел кровь на замаранных бинтах, окровавленными тряпками перевязанные руки и думал: еще одно напрасное усилие. Искромсанные тела одним взмахом ремня выброшены за ограду.

Порою по ночам раскаленное добела слово ненависти искрой падало из кучки говоривших людей на мягкие

опилки сна, и сон вспыхивал пламенем: идти, стать с ними плечом к плечу, рушить, ломать, мстить.

Пьер вскакивал и внезапным движением садился на койку.

Но холодные, ясные слова синеблузников росли симметричными кирпичами, и в словах тех не было злобы, не было тупой всеуничтожающей ненависти, а лишь твердая воля строительства — лом и скребок. Нет, эти люди не умеют ненавидеть. На место одной машины нагромоздили чертежи новой, заменят одну другой — и снова завертятся колеса, шестерни зацепятся за шестерни, потянут, потащат, понесут беспомощные человеческие щепки; и снова о черные спицы колес будут кровавить себе руки обезумевшие Пьеры, не в силах задержать, осадить их хотя бы на минуту.

И протянутая рука Пьера корчилась, приподнятая с подушки голова медленно входила в плечи, и через минуту на койке, втиснутой в примятую солому, лежал не человек — черепаха в тяжелой, непроницаемой скорлупе одиночества.

* * *

В одно утро, когда от зеленых лоскутьев листьев несся терпкий, горелый запах, перед удивленным Пьером открылись вдруг волшебные ворота, через которые почти насильно его вытолкали наружу.

Долго стоял он, потрясенный этим невероятным происшествием, не зная, что предпринять, куда направиться, чувствуя себя вновь затерянным в этом чуждом, непонятном мире, где нет удобной койки, где за судок горячего супа надо таскать всю бессонную ночь напролет глыбы влажной моркови.

Первым бессознательным движением его было вернуться, но ворота не пожелали принять его обратно. Оказалось, что вход в тюрьму тоже надо было заработать каким-то неизвестным усилием в этом мире вещей, враждебных и недоступных.

Тогда озадаченная мысль, пробегая извилистыми улочками этого мира, внезапно натолкнулась на одну близкую, хорошо, до боли в челюстях знакомую точку, и Пьер направился на поиски Жанеты.

Он пустился в первый после длинных месяцев (может быть, и лет?) путь по прямой линии. Все было здесь по-иному. Люди бежали, задевая друг друга, ничем не связанные, казалось, не скованные никаким механизмом общего зако-

на. Только возвышавшиеся там и сям величественные статуи синих полицейских, мановением волшебной палочки то задерживая, то вновь пуская в движение застывшие на минуту потоки экипажей, давали понять, что здесь действует какой-то особый механизм, более сложный и неуловимый.

Когда Пьер очутился на Вандомской площади, было ровно двенадцать, и через полуоткрытые двери магазинов начинали выливаться на улицу говорливые толпы мидинеток. Пьер напряг взор в надежде разглядеть среди них Жанету. Медленно рассеялись последние.

В тенистом, как оранжерея, магазине ему ответили, что Жанета давно уже здесь не работает.

Пьер почувствовал, что потерял последний след, что Жанета исчезла в черном лесу города.

Наплывающая толпа столкнула его на мостовую; приливом автомобилей его отбросило дальше, на каменистый островок, где с верхушки огромного чугунного столпа[1] маленький претенциозный человечек, как воробей на верхушке телеграфного столба, приглядывался к разлетающимся у его ног брызгам.

Навстречу широким трактом мостовой, сбитые в кучу, готовые вот-вот выкипеть на тротуары, мчались с лаем и визгом безудержные орды автомобилей.

За бегущей впереди породистой и стройной, как борзая сука, испано-сюизой с испуганными глазами фонарей, огрызаясь друг на друга, неслась стремглав пестрая сопящая свора,— величественные, степенные, как доги, роллс-ройсы, приземистые, как таксы, амилькары, грязные и беспризорные дворняжки — форды и куцые, бесхвостые, как фокстерьеры, ситроенки[2]. Над улицей стоял визг, гвалт ошалелой погони, дурманящий чад летнего жаркого полудня.

Пьер смотрел на это варево расширенными ужасом зрачками. Теплые влажные волны смыли его, как щепку, и понесли без компаса, наобум.

На улицах было людно, душно и скучно бездельной пыльной скукой каникул. Был тот период парижского лета после «Гран-При»[3], когда из разогретого тела Парижа вместе с потом и водой испаряются последние шарики голубой крови, оседая в предусмотрительно приготовленные

---

[1] Вандомская колонна со статуей Наполеона.

[2] Роллс-ройс и испано-сюиза — самые дорогие автомобильные марки; форд и ситроен — самые дешевые.

[3] Последний день скачек летнего сезона.

для этой цели резервуары: Довиль, Трувиль и Биарриц[1], и кровь Парижа постепенно становится определенно красной — краснотой городского простолюдина.

Над улицами колыхались трехцветные флаги и бумажные фонарики. По тротуарам переливались празднично разодетые толпы, распространяя специфический запах французского праздника: дешевого вина, махорки и демократии.

Это было 14 июля.

Храбрые парижские лавочники, разрушившие Бастилию[2], чтобы воздвигнуть на ее месте безвкусную выдолбленную колонну с «видом» на город, двенадцать бистро, три публичных дома для нормальных граждан и один для педерастов,— праздновали свой бенефис традиционным республиканским танцем.

Разукрашенный с ног до головы шарфами трехцветных лент, Париж выглядел, как перезрелая актриса, переодетая ярмарочной крестьянкой из народного халтурного представления.

Иллюминованные десятками тысяч фонариков и лампочек площади медленно заполнялись гуляющей толпой.

С наступлением сумерек яркие рампы улиц загорелись торжественным светом.

На сколоченных из досок эстрадах сонные рахитичные музыканты, в справедливом убеждении, что праздник — день всеобщего отдыха, выдували из скрученных чудовищных труб каждые полчаса несколько тактов модного танца, отдыхая после них долго и с выдержкой.

Вздымающаяся толпа, сдавленная не вмещающими ее плотинами улиц, копошилась нетерпеливо, как рыбы во время метания.

Кое-где танцевали.

Разогретые докрасна дома беспрерывно выделяли десятки все новых и новых жителей. Температура поднималась каждое мгновение.

В раскаленных кастрюлях площадей тут и там толпа начинала уже булькать, как кипяток, вокруг наскоро разбитых лотков с лимонадом и замороженной мятой. Друг у друга вырывали из рук холодные стаканы с зеленоватой и белой жидкостью.

---

[1] Модные морские курорты.

[2] Бастилия — старинная парижская тюрьма для «государственных преступников» — символ абсолютизма,— разрушенная в начале Великой французской революции 14 июля 1789 года. 14 июля — французский национальный праздник.

То и дело, отгребая толпу веслом хриплой сирены, проплывали улицами наполненные до краев ковчеги с туристами, уносящие на волнах этого потопа демократии избранные пары чистых и нечистых.

С любопытством осматривали они через лорнеты и бинокли хорошо откормленных, прирученных и добродушных победителей Бастилии, в молчаливом, но тем не менее глубоком убеждении, что вся пресловутая Французская революция была, в сущности, не чем иным, как еще одним ловким предприятием извечного Кука[1], предлогом для ежегодных блестящих зрелищ, рассчитанных на иностранцев и включенных с процентом в цену автокарного[2] билета.

Танцующих, в общем, было гораздо меньше, чем смотревших, и какой-то разочарованный джентльмен не без основания упрекал ставшего в тупик проводника, что парижане справляют свой праздник без темперамента.

С наибольшим подъемом праздновали 14 июля кварталы иностранцев: Монпарнас и Латинский квартал[3].

Размещенные на тесном квадрате между кафе «Ротонда» и «Дом», восемь джаз-бандов острыми мясорубками синкоп[4] рассекали живую плоть ночи на изрубленные куски тактов. Разноязычная толпа американок, англичанок, русских, шведок, японок и евреек демонстрировала судорожным танцем свою неописуемую радость по поводу разрушения старой «предоброй» Бастилии.

Немного поодаль, на неосвещенном бульваре Араго молча праздновала этот день порцией праздничной еды оцепленная войсками тюрьма Сантэ. Впрочем, Сантэ не была Бастилией, и энтузиасты 14-х июлей могли танцевать беспечно, зная, что стены на бульваре Араго высоки и прочны, воинские части хорошо вооружены и послушны и что в демократическом обществе эксцессы, уместные в эпоху старого режима, ни в коем случае повториться не могут.

На фасаде тюрьмы гирляндой стертых букв красовалась почерневшая надпись: «Свобода — Равенство — Братство», как выцветшая траурная лента на заброшенной могиле Великой французской революции.

---

[1] Международное агентство туристов.

[2] Автокар — большой автобус для туристов.

[3] Монпарнас — квартал, населенный иностранцами, преимущественно художниками. Латинский квартал — студенческий квартал Парижа.

[4] Короткий, отрывистый полутакт, характерный для современной музыки и для джаз-банда.

Бумажные фонарики колыхались тихо, как водяные лилии, на зеркальной поверхности ночи. Запыхавшиеся, красные гарсоны с трудом справлялись, снабжая холодным прозрачным лимонадом чудом удесятеренные для этой трапезы столики, которые с тротуаров разбежались на мостовую, заняв собою всю улицу.

Потный негр над джаз-бандом жестами неловкого жонглера разбивал на головах слушателей невидимые тарелки гвалта, трясся в эпилептической судороге над пустой миской литавр.

Шестнадцать других негров выкрикивали до потери сил волшебные заклинания отдаленных материков в медные громкоговорители труб.

Пьер познал в эти дни бесцельных скитаний по расплесканным океанам улиц часы такого одиночества, какого не знавал никогда одинокий путешественник Аллен Жербо[1], месяцами качаясь на безбрежных простынях Атлантики.

В канатах внутренностей, как чайка в перепутанных снастях заброшенного судна, свил себе гнездо старый обжившийся хищник — голод, не покидая Пьера ни на минуту.

Однажды ночью Пьер блуждал по запутанным лабиринтам проходных дворов в поисках дыры на ночлег. Приближаясь к чему-то, что он принял во тьме за удобный ящик, он наткнулся внезапно на чью-то черную наклоненную фигуру. Фигура шарахнулась в сторону, показывая из темноты злобные белки глаз и хищный оскал зубов. Из ниши ударила тяжелая спертая вонь разлагающихся отбросов. Лишь тогда Пьер увидел, что нечто, принятое им в первый момент за ящик, было рядом громадных ведер, в которые жильцы ссыпают мусор, подбираемый утром объезжающими город грузовиками.

Тень, копошившаяся в ведрах, грозно наступала на Пьера, заслоняя своим телом их зловонное содержимое:

— Это мое! Пшел искать в другое место!

Тогда-то как молния осенило вдруг Пьера простое откровение: в воротах, в мусорных ведрах можно несомненно найти отбросы еды!

Послушно он повернул обратно и отправился на поиски следующих ворот. Оказалось, однако, что в демократическом обществе откровение перестало быть привилегией единиц и стало всеобщим достоянием. Во всех воротах со смрадных ведер, полных таинственных благ, навстречу ему

---

[1] Французский путешественник, переплывший океан один на простой парусной лодке.

подымались такие же злобные белки глаз и оскаленные зубы незнакомцев, опередивших его в находке.

Пропустив таким образом длинный ряд ворот, Пьер натолкнулся, наконец, на одни незанятые. Стоящие перед ним ведра, перерытые снизу доверху, обнаруживали несомненный визит более счастливого предшественника. Пьер, не унывая, набросился на них жадно, обшарив их еще раз до самого дна.

Как трофеи, после долгих поисков он вытащил, наконец, недоеденную коробку консервов и недоглоданную кость телячьей котлеты. Разложив это скудное угощение на карнизе, он жадно вылизал остатки, не утолив этим нисколько свой голод, скорее растормошив его.

Отказываясь от дальнейших поисков, он потащился на бульвар и прикорнул на первой попавшейся скамейке. Рваным холстом его окутал сон.

Сквозь дыры в холсте он видел над собой звезды, подмигивавшие сверху: они зажигались и потухали попеременно, точно рекламы отдаленных небесных меблирашек, призывающих в свои двери изжаждавшиеся по любви пары затерянных в пространстве душ.

* * *

Сильный толчок заставил Пьера открыть глаза. Вместо синего полицейского он увидел изящно одетого господина в сером костюме и в мягкой фетровой шляпе. Господин толкал его в плечо бамбуковой тростью.

Был уже день.

— Безработный? — спросил господин в фетровой шляпе, убедившись, что Пьер проснулся.

— Что вам надо? — грубо пробурчал Пьер. Изящный вид серого господина приводил его в раздражение.

— Безработный? — повторил господин, внимательно присматриваясь к Пьеру.

— Безработный. А вы что? Хотите предложить мне работу? — насмешливо огрызнулся Пьер.

— Совершенно верно. Мог бы вам предложить работу. Если не нуждаетесь, — дело ваше.

Господин в фетровой шляпе повернул и, не оглядываясь, пошел вдоль бульвара.

Пьер вскочил. Он не знал толком — шутит ли серый господин, или говорит всерьез. Незнакомец шел быстро, не оглядываясь. Пьер нагнал его бегом и, поравнявшись с ним, робко спросил:

— Вы это всерьез?

— Насчет работы? — обернулся к нему серый господин. — Можете получить с завтрашнего дня. Хотите?

— Я... я очень вас прошу, если есть работа, я возьму любую, безразлично... — бормотал Пьер, смущенный своей недавней грубостью.

Незнакомец вырвал из блокнота листок и написал на нем адрес.

— Явитесь сегодня к двенадцати часам в Сэн-Мор по указанному адресу. Деньги на трамвай у вас есть?

— Нет...

Незнакомый господин вынул из кармана три монеты по двадцать сантимов, сунул их в руку Пьеру и, не сказав больше ни слова, затерялся в толпе.

* * *

Рулетка непредвиденного случая, упорно в течение долгих часов избегавшая рокового номера, очертила еще один круг. Пьер нашел работу. Городская станция водоснабжения в Сэн-Мор — с восьми до шести. Каждое утро — душный набитый вагон дачного поезда. Узкая восьмиугольная комната с птицами на обоях. Завтраки и обеды; длинные тонкие палки обточенного хлеба, исчезающее бесследно в ненасытном отверстии рта, точно длинные раскаленные головни в устах ярмарочных фокусников. Тепло и сон.

По вечерам, вернувшись с работы, Пьер лежал целыми часами, растянувшись на засаленном матраце, предаваясь пассивному наслаждению пищеварения, со взором, сосредоточенным без мысли на арабесках обоев.

Несколько раз он мысленно возвращался к незнакомому господину в сером костюме, разбудившему его в памятное утро на скамейке бульвара. Пьер видел его с тех пор два раза на работе. От рабочих он узнал, что это главный инженер. От рабочих он узнал и о том, что накануне прихода Пьера на работу двое рабочих были уволены этим же инженером «за пропаганду». Пьер был принят на их место. И все же оставалось непонятным, почему именно он, когда сотни и тысячи безработных, зарегистрированных на бирже труда, напрасно дожидались своей очереди.

Ему казалось, что произошла какая-то ошибка, что серый господин принял его за кого-то другого, для кого эта работа была предназначена, и что, когда ошибка выяснится, его прогонят.

Но шли дни, и Пьер наслаждался временным благополучием.

Между тем в городе творилось что-то неладное. Рабочие на станции поговаривали о всеобщей забастовке. При Пьере, впрочем, говорить открыто не решались и шептались по углам.

Однажды после работы Пьера и еще десяток рабочих вызвали к инженеру. Инженер сидел за письменным столом в том же сером костюме, в котором Пьер увидел его впервые на бульваре. Инженер курил папиросу и был очень спокоен и прост, только длинные холеные пальцы нервно выстукивали по столу какой-то неразборчивый мотив.

Инженер говорил кратко и дружелюбно. Он сказал, что вызвал именно их, потому что убедился в их исполнительности и трудолюбии и в том, что они не особенно прислушиваются к болтовне смутьянов и крикунов. Поэтому он убежден, что завтра, вопреки организуемой коммунистами всеобщей забастовке, все они, как один, явятся на работу.

Он добавил вскользь, что те, которые послушают смутьянов и захотят оставить город без воды, будут немедленно уволены и на работу больше рассчитывать не смогут. Тех же, кто выполнит завтра свой гражданский долг, дирекция не забудет.

На прощание он подал по очереди всем десяти рабочим руку и сказал: «До завтра».

Пьеру показалось, что инженер особенно сурово и внимательно посмотрел на него, и он поспешно пробурчал: «Непременно».

На следующий день, пунктуально явившись на работу, Пьер убедился, что из десяти рабочих явился только он один. Никто больше на работу не вышел.

Пришел инженер, подал Пьеру руку и с грустной улыбкой спросил:

— Больше никого?

Потом медленно стал подниматься к себе наверх.

Пьер не знал, что ему делать — сидеть одному или уйти, но решил, что все равно останется дежурить.

Час спустя вышел инженер и позвал Пьера к себе в кабинет. В кабинете он предложил Пьеру сесть и протянул портсигар.

— Вижу, что только в вас я не ошибся,— сказал он после небольшой паузы с грустью в голосе.— Хорошо, что среди всех наших рабочих нашелся хоть один честный человек. Коммунисты взбаламутили всем головы и поставили на своем: лишили четыре миллиона людей воды. Больные

в госпиталях и роженицы в родильных приютах будут напрасно в жару умолять сегодня дать им стакан воды. Они ее не получат.

В голосе инженера зазвучали скорбные нотки.

— Город останется без воды в течение целых суток,— продолжал он, помолчав.— Но это еще ничего по сравнению с теми бедствиями, которые хотят навлечь на него коммунисты. Вода непродезинфицированная несет с собой миллионы заразных бацилл. Не знаю, известно ли вам, что вода, прежде чем подается нашей станцией в город, предварительно здесь дезинфицируется: в нее вливается специальный раствор.

Он пытливо посмотрел на Пьера.

Пьер признался, что не знал об этом ничего.

— Большинство рабочих об этом не знает. Доступ к центробежному насосу запрещен рабочим из опасения, что в профильтрованную воду по небрежности могут попасть какие-либо бациллы. Дезинфекционный раствор вливал в этот насос всегда я сам.

Он не спускал с Пьера пытливых глаз.

— Так вот, коммунистические главари, которые знают об этом, решили не дезинфицировать воду, чтобы вызвать в городе массовые заболевания и усилить этим беспорядки. К сожалению, им временно удалось захватить эти кварталы в свои руки, и в ближайшие два дня они будут здесь хозяевами, пока не подоспеют воинские части, не ликвидируют смуты и не водворят порядка.

Он продолжал в упор смотреть на Пьера.

— За эти два дня они могут здесь наделать бог знает каких бед. Этому необходимо воспрепятствовать. Надо спасти Париж от непредвиденного несчастия. Надо послезавтра, когда коммунисты будут хозяйничать на этой станции, влить в центробежный насос дезинфекционный раствор так, чтобы они этого не заметили. Понимаете?

Пьер кивнул головой, хотя не вполне понимал, чего от него требуют.

— Я в течение этих двух дней, пока не подойдут войска и не водворят порядка, конечно, здесь на станции появляться не смогу. Поэтому дирекция возлагает это ответственное поручение на вас. Вы придете завтра на работу в обычное время. Послезавтра вы будете в ночной смене. В час ночи, не позже и не раньше, вы должны пробраться к центробежному насосу. Устройте так, чтобы нести при этом насосе дежурство или заменить на некоторое время дежурящего там рабочего. Понимаете? В это время, когда нико-

го у насоса не будет, вы развинтите кран у воронки и вольете туда раствор, который я вам оставлю. Потом завернете кран. Никому об этом ни слова, даже наиболее близким вам рабочим. Впрочем, у вас, кажется, нет друзей среди рабочих?

Пьер отрицательно покачал головой.

— Тем лучше. Словом, надо это сделать так, чтобы об этом не знал решительно никто. Таким образом вы спасете Париж от величайших бедствий. Через два дня будет водворен порядок, смутьяны будут уволены и арестованы, и тогда дирекция сумеет отблагодарить вас за вашу преданность.

Инженер вынул бумажник и положил на стол перед Пьером три кредитки по сто франков.

— Дирекция в доказательство своего доверия выдает вам за выполнение этого поручения авансом триста франков. Через два дня, если возложенная на вас задача будет выполнена в полнейшем секрете, дирекция выплатит вам единовременно пять тысяч франков.

— Да, да,— подчеркнул он, уловив недоверчивый взгляд Пьера,— пять тысяч франков. Вы будете назначены мастером, и дирекция сумеет обеспечить вашу дальнейшую карьеру. Я не говорю уже о том, что фотографии ваши будут фигурировать во всех парижских газетах, как человека, который спас население Парижа от отравления и болезней. Итак, вы беретесь выполнить поручение дирекции?

Пьер кивнул головой:

— Конечно, это же ведь сущий пустяк.

— Вне всякого сомнения, что коммунисты попытаются вас агитировать, рассказывая вам всякие небылицы о положении в городе. Не верьте им ни слова. Все это враки. Будет так, как я вам сказал. Их рабочие советы будут здесь хозяйничать не более двух дней... То, чего от вас требует дирекция, вы должны сделать послезавтра в час ночи. Запомните это хорошенько! В случае непредвиденных препятствий можете это сделать немного позже, но никоим образом не раньше. Понимаете? На это есть свои причины. Раствор, вливаемый слишком часто и в слишком большом количестве, становится ядовитым. Не забудьте: послезавтра ночью. Берите деньги,— он указал на триста франков, лежащих перед Пьером.

Пьер неуклюже сгреб деньги и сунул их в карман.

— А теперь вот вам пробирки с раствором. Спрячьте их под блузой.

Инженер выдвинул ящик стола и, достав оттуда большой кожаный футляр, нажал кнопку. В футляре на синем бархате лежали две большие пробирки с белесой мутноватой жидкостью. Инженер молча захлопнул крышку и протянул футляр Пьеру.

— Смотрите, не разбейте.

Пьер молча осторожно сунул футляр за пазуху.

— Ну вот и все,— сказал с улыбкой инженер, подымаясь из-за стола.— Конечно, все это очень несложно, и вы без больших усилий сможете выполнить поручение дирекции. Главное: помнить о сроке — послезавтра ночью, никоим образом не раньше,— и держать язык за зубами.

Инженер надел фетровую шляпу.

— Ну, до свидания,— пожал он руку Пьеру.— Через два дня сдадите мне отчет.

Он медленно надевал серые замшевые перчатки.

— Переждите здесь минут двадцать после моего ухода и отправляйтесь домой. Постарайтесь выбраться отсюда незамеченным.

Он протянул Пьеру на прощание портсигар, закурил и, надвинув шляпу, сбежал по лестнице.

Внизу хлопнула калитка.

II

Бурые лондонские туманы испариной влажных удушливых газов медленно расползлись над Европой.

В эти годы ученые отмечали заметную перемену европейского климата. Зимою в Ницце лежал рыхлый снег, и удивленные пальмы с завитыми от заморозков, всклокоченными листьями, как стройные безгрудые гарсонки[1], качались в замысловатом танго.

В Лондоне, как всегда, стоял туман, и днем в тумане горели фонари, а в мутноватой, белесой влаге слепыми подводными лодками шмыгали съежившиеся люди с несуразно короткими перископами трубок.

У лондонцев, вероятно, вместо легких — губки, чтобы впитывать туман.

В полдень, в тумане, задранные к небу остроконечные морды труб выли протяжно-долго, как собаки, почуяв мертвечину, и тогда из заводов, из контор, из государственных учреждений высыпали миллионы человеческих губок

---

[1] Модный на Западе тип женщины, приближающийся к типу мужчин по своей фигуре и манере одеваться.

впитывать туман, чтобы понести его обратно в шестиэтажные муравейники учреждений и бюро.

В черных, как угольные копи, гаванях ежедневно в одно и то же время гудели брюхатые пароходы, и на пароходах отплывали в английские доминионы эшелоны солдат, чиновников и просто граждан Британской империи; отплывали, чтобы где-то, под знойным небом Индии, выдохнуть немного тумана, который расползется свинцовой испариной, ибо для прожженных солнцем индусов лондонский туман удушливей удушливого газа.

Этим летом в Европе непрерывно шел мелкий, колкий дождь, и в августе от берегов Британии дыхнуло туманом. Туман тяжелой вуалью проплыл над Ла-Маншем, окутал зеленые берега Нормандии и потянулся дальше, обволакивая предметы и города серой бархатной замшей. Серые лохматые клубы ползли по равнинам, как дым.

На Ла-Манше протяжными гудками перекликались пробиравшиеся в тумане пароходы.

В Довиле туман сдунул с пляжа купальщиков, приехавших наслаждаться летом, и море жадными языками лакало белый песок, как забытое на тарелке недоеденное картофельное пюре. По террасам отелей слонялись съеженные, словно невыспавшиеся люди, укутанные кашне.

По ресторанам и кафе, в холлах отелей с утра визжал уже джаз, и неудачливые, полуголые купальщицы, облитые желтым мертвенным светом люстр, вздрагивали в синкопах наслаждения, точно крабы, вцепившиеся в грудь отряхивающихся водолазов-танцоров.

Утром из серого облака тумана зигзагом молнии вылетел скорый поезд и по громоотводу рельсов слетел на вокзал. На перроне его ждали два господина в черных цилиндрах, штук двадцать фотографов и беспокойная кучка репортеров. Из вагона первого класса вышел бритый седой джентльмен, в кепи, в сопровождении нескольких джентльменов помоложе. Господа в цилиндрах церемонно поспешили им навстречу. Защелкали фотографические аппараты. Господа в цилиндрах, вежливо приподымая цилиндры, заговорили по-английски. У выхода ждали два автомобиля; под тяжестью усевшихся в них джентльменов автомобили подобострастно закачались и отплыли в туман. Репортеры на подвернувшихся такси помчались вслед за ними, сжигаемые заманчивой надеждой интервью. Приехавший был английский премьер-министр.

Через час в осаждаемый журналистами холл отеля сошел секретарь премьера, переодевшийся в живописно-сдер-

жанный пуловер[1] и широкий английский костюм, и с вежливо-скучающим видом сообщил навязчивым репортерам, что премьер прибыл в Довиль, не преследуя никаких политических целей, дабы отдохнуть в нем несколько дней от государственных дел, и что он очень сожалеет о неблагоприятной погоде.

Репортеры усердно стенографировали. Они знали великолепно, что день тому назад в Довиль прибыл из Парижа французский председатель совета министров, которого они ходили встречать на вокзал и провожали в ту же гостиницу, получив от него почти слово в слово такое же заявление. Знали они еще и то, что дня два тому назад поездом от бельгийской границы приехал в Довиль польский посланник, хотя на вокзал его ходил встречать только один господин в цилиндре, и на перроне не было ни фотографов, ни репортеров. Поэтому, прилежно записав сообщение секретаря, они немедленно побежали протелеграфировать в свои газеты известие о важной политической конференции представителей трех держав. Сделав это, они прибежали обратно караулить несловоохотливых дипломатов.

Все утро оба дипломата оставались в своих апартаментах; туда же они велели принести себе завтрак, который оба съели с аппетитом. В четыре часа дня переодетый лакеем репортер заметил, что английский премьер лично сходил в ватер-клозет, где он пребывал довольно долгое время, после чего вернулся обратно в свой кабинет.

Только к шести часам вечера, на радость всем журналистам, терпеливо караулившим за портьерами, французский премьер в сопровождении секретаря покинул свои апартаменты в левом флигеле отеля и направился безо всяких уловок в правый флигель к английскому премьеру. На лице его, как ни напрягалось внимание репортеров, не удалось уловить никакого определенного выражения. Один из журналистов заметил, что, проходя мимо его портьеры, премьер тихонько насвистывал популярную песенку.

Визит затянулся. Три раза репортер, переодетый гарсоном, подавал в апартамент № 6 коктейли и долго бесшумно возился со стаканами. Во время его пребывания в апартаменте оба дипломата говорили преимущественно о погоде, жаловались на скверные урожаи в государстве, обменивались мнениями насчет результатов последних скачек в Уэмблей. Репортер так ничего и не добился, уронив только от напряженного внимания и с непривычки один стакан.

[1] Шерстяной жилет.

Около восьми часов вечера за кем-то посылали. Через десять минут в апартамент № 6 постучался польский посланник. Вид у него был аристократический и задумчивый, а тщательный пробор между редкими волосами сползал до воротничка. Подавали еще раз коктейли. Разговор велся на английском языке. Говорили о качестве и добротности сигар. Польский посланник рассеянно рассматривал запонки на манжетах.

Репортеры за портьерами нетерпеливо раскрывали и складывали карманные фотографические аппараты. Им хотелось во что бы то ни стало запечатлеть выражение лиц выходящих после конференции дипломатов, и они нервничали из-за того, что такой исторический документ может легко пропасть вследствие недостаточно яркого освещения коридора.

Наконец, к девяти часам дверь апартамента № 6 открылась, и вышел оттуда польский посланник, небрежно поправляя запонки на белоснежных манжетах. На его лице, как и полагается дипломатам, не было абсолютно никакого выражения. Он быстро поднялся в лифте в свой апартамент.

Только через полчаса после его ухода в дверях апартамента № 6 появился французский премьер, провожаемый до порога своим английским коллегой. Лицо его было одутловатое и розовое, как у людей, которые накурились сигар. Некоторые малоопытные репортеры приняли это за признак возбуждения. Впрочем, освещение коридора оказалось и вправду недостаточным, и запечатлеть как следует выражение лиц дипломатов в этот знаменательный вечер рьяным репортерам не было суждено.

Проводив французского премьера в его апартамент, журналисты рассыпались: кто на почту, кто в ресторан,— есть отбивные котлеты и писать статейку, кто просто в дансинг — поразмять ноги после трудового дня. Оба премьера, пообедав, отослали прислугу и, по всей вероятности, легли спать. Политический день закончился; ничего интересного не могло произойти до следующего утра. Последний репортер, решив на следующий день быть первым на посту, покинул отель. И напрасно. Если б он дождался двенадцати, от его внимания не ускользнуло бы небезынтересное происшествие. Без десяти двенадцать к подъезду отеля подан был автомобиль. С лестницы спустился польский посланник, предшествуемый боем, который нес чемодан. Посланник и чемодан исчезли в автомобиле. Автомобиль тронулся в сторону вокзала.

* * *

Неделю спустя в утренних выпусках газет, где-то в конце, нонпарелью всплыло слово «Польша». К концу недели польский вопрос, подымаясь с молниеносной быстротой, как ртуть в термометровых трубках газетных столбцов, заполнил целые колонки, подполз к заголовкам. Известия становились все определеннее.

На территории Польши, откуда ни возьмись, появился новый, наскоро сработанный гетман, задумавший поход на Украину с целью освободить ее из-под большевистского ига. В обильно раздаваемых интервью гетман возвещал возрождение самостийной Украины, соединенной с Польшей исторической унией. С молчаливого ведома польского правительства свежеиспеченный гетман вербовал на территории Польши освободительную украинскую армию. Польские газеты трубили сбор. Они громко напоминали об исторических, неустаревших границах и туманно намекали на возможную автономию Восточной Галиции. Правительство сдержанно хранило молчание.

Когда события, казалось, уже созрели, приближаясь к своей кульминационной точке, правительство Союза Советских Социалистических Республик обратилось к правительству Польши со спокойной предостерегающей нотой, требуя в интересах европейского мира и добрососедских отношений немедленной ликвидации авантюристических организаций, направленных против Советского Союза.

Буржуазная пресса объявила эту ноту неслыханной провокацией и заговорила о войне. Подстрекаемое польское правительство ответило непарламентарной нотой. Последовал острый обмен ультиматумами.

В Париже в этот день с утра подул резкий северо-западный ветер, и на ветру, словно непросушенное белье, бессильно трепались изорванные лохмотья тумана. Ветер бешено мчался по улицам, сшибая с ног зазевавшихся прохожих. В воздухе тяжелыми птицами зареяли сорванные шляпы, и странными прыжками, как упругие, резиновые мячи, понеслись вслед за ними обезглавленные люди.

К шести часам вечера на улицах появились экстренные выпуски. На перекрестках прохожие вертелись волчками, напрасно стараясь удержать улетающие из рук листки. Под непроницаемой сеткой тумана люди, как пойманные бабочки, неуклюже бились с распростертыми крыльями газет.

За толстыми стеклами кафе раздобревшие, беспечные завсегдатаи играли в преферанс и, с расстановкой подбирая масти, кидали с размаху в сердца червей острые пики пик.

— Вист.

— Извольте.

— А мы их козырем.

— Да, мсье. Это уже не шутка. Они спровоцировали польские войска перешагнуть границу. Эти бандиты угрожают нашей верной союзнице — Польше. Франция этой провокации не потерпит.

— Пас.

— Изрядно.

— Мы пошлем друзьям-полякам в подмогу войска и амуницию. Большевиков перебьют...

— А мы их — червями. Да, мсье. Только этим путем возможно водворить, наконец, в Европе прежний, довоенный, порядок. Я это говорил всегда моему депутату Жюлье. Мы никогда не покончим с кризисом, не покончив прежде с советами.

— Дамочка пик.

На дворе мчался ветер, хлестал в толстые стекла, взлетал вверх, кубарем катился по крышам, застрял, запутался в паутине антенн, вырываясь, мчался дальше, и раскачавшиеся антенны жалобно гудели.

В Промышленном клубе в этот вечер гости, по обыкновению, играли в баккара и плотно ужинали в буфете, медленно разжевывая и запивая вином жирных португальских устриц. В курительной, в удобных кожаных креслах, господа, одетые в смокинги, курили, оживленно беседуя.

В комнату вошел заведующий с двумя лакеями, тащившими предлинный свиток. Свиток оказался большой картой Европы. Лакеи повесили ее на стене.

Обращаясь к седоватым господам, усевшимся удобно на диване, заведующий объяснил с улыбкой:

— Когда война, мсье любят, чтобы была карта. В прошлую войну приходилось раз шесть менять карты. Совсем искололи булавками.

Господа гурьбой окружили карту.

В углу, на диване, лысый господин в монокле говорил седому господину с бакенбардами:

— Вчера вечером, говорят, английская эскадра отплыла по направлению к Петербургу.

Господин с бакенбардами склонился конфиденциально:

— Мой приятель, секретарь министерства внутренних дел, сказал мне вчера,— понятно, между нами,— что правительство намерено завтра объявить мобилизацию. Образу-

ется коалиция всего культурного мира, нечто вроде нового крестового похода против большевиков. В три недели большевики будут уничтожены, и в России будет восстановлена законная власть. В Лондоне, с ведома английского и французского правительств, образовалось уже правительство из видных государственных мужей русской эмиграции. Говорят даже, будто бы...— Господин с бакенбардами склонился еще ниже и докончил уже неразборчивым шепотом.

— Что вы говорите?— полюбопытствовал лысый.— Да, да, это вполне благоразумно. Впрочем, это мое глубокое убеждение. Никогда французская промышленность не освободится от этой смуты, пока там, на востоке, будут существовать Советы. Уничтожение Советов, водворение порядка в России — это решительный удар нашему отечественному коммунизму, это — победа на нашем внутреннем, промышленном фронте. Во имя ее вся благоразумная Франция не остановится ни перед какими жертвами...

На дворе, по опустевшим улицам, вдогонку одинокой мотоциклетке, мчался ветер, и на ветру громадными хлопьями чудовищного снега мелькали клочья экстренных газет. На перекрестках, как призраки в клеенчатых капюшонах, неуклюже танцевали полицейские.

В типографии рабочей газеты ярко горело электричество, дребезжали линотипы, и вымазанные наборщики, как мозолистые виртуозы, громыхали пальцами по крохотным булыжникам клавиш. Размеренно подпрыгивали рычаги, подымаясь и опускаясь вниз, и зазевавшиеся буквы, как вызванные на перекличку солдаты, молниеносно становились в строй. Потом буквы, как купальщики с трамплина, стремглав бросались вниз, в бассейн с расплавленным оловом, чтобы через минуту вернуться уже цельной, органической строчкой:

«Сегодня, в двенадцать часов дня, первый транспорт...»

Буквы догоняют буквы, чтобы через минуту всплыть новой стройной строчкой:

«...оружия и амуниции, отбывший из Лиона в...»

И еще:

«...Польшу, застрял на расстоянии восьмидесяти километров от германской границы вследствие единодушной забастовки железнодорожников, отказавшихся пропустить какой бы то ни было транспорт, предназначенный для борьбы с рабочим Союзом Советских Социалистических Республик».

Точка.

— Молодцы ребята,— улыбается наборщик.

Снова мелькают пальцы по ступенькам клавиш. Снова одна за другой, вверх по канатам, по лесам рычагов, как акробаты, несутся буквы, чтобы через минуту кинуться опять головой вниз в бурлящий бассейн и вынырнуть оттуда новой, неразрывной цепью:

«В три часа дня в городе появился декрет о милитаризации железных дорог».

И сейчас же другая:

«Центральным комитетом профсоюзов объявлена на завтра всеобщая забастовка».

— Товарищ, наберите циперо воззвание ЦК компартии к рабочим, крестьянам и солдатам.

Опять дребезжат клавиши:

«...Рабочие, крестьяне и солдаты! Компартия призывает вас всячески содействовать поражению собственной буржуазии... Эта классовая война против страны пролетарской диктатуры, против СССР — единственного отечества мирового пролетариата — должна кончиться победой трудящихся всех стран...

Создавайте нелегальные комитеты на заводах, на транспорте, в деревне и в армии...

Солдаты!

Готовьтесь превратить войну империалистическую в войну гражданскую за победу рабочих и крестьян».

У входа в типографию раздался гул голосов, топот сапог и винтовок. На лестнице, ведущей вниз, затоптались синие люди.

Полиция.

К вечеру на стенах домов всплыли красные афиши: воззвание Центрального Комитета компартии к рабочим и солдатам.

* * *

Происшествия следующего дня покатились с поистине головокружительной быстротой.

В десять часов утра на стенах Парижа появился декрет о всеобщей мобилизации. Несмотря на объявленное военное положение и на запрещение сборищ, улицы кишели возбужденной толпой, выливавшейся в шествия со злобными криками против войны. Наспех организованная патриотическая фашистская милиция силилась помочь полиции удержать город в пределах послушания. Сгоняемые стадами запасные проходили по городу с пением «Интернацио-

нала». Три броненосца, стоявшие в Тулоне, ушли в море, подняв красные флаги. В городе царили замешательство и брожение. Полк, получивший приказ выступить в поход, забаррикадировался в казармах, вывесив из окон красные платки.

В двенадцать часов дня газеты сообщили об отплытии английских эскадр по направлению к Ленинграду.

Вечерние выпуски газет уже не вышли во всей Европе, благодаря всеобщей забастовке.

В Париже в эту ночь воинские части, отправляемые с Северного вокзала, разоружили офицеров и заняли вокзал. Вооруженные рабочие захватили Восточный и Лионский вокзалы с целью воспрепятствовать прибытию правительственных войск из провинции. Воинские части, отправленные для очистки вокзалов, перешли на сторону рабочих. Вооруженное население рабочих кварталов заняло ратушу и двинулось к центру города.

Весь следующий день не прекращалась перестрелка. Отряды полиции и жандармерии расстреливали баррикады с блиндированных автомобилей, пытаясь помешать вторжению красной гвардии в центральные кварталы.

Ночью Париж не спал, гудели мостовые под колесами грузовиков, стрекотали низко кружащиеся самолеты, и пулемет сшивал непрочными швами расколовшийся надвое город. Небо, добела вылизанное языками прожекторов, тускло мерцало.

Перестрелка длилась до утра и вдруг — как по данному знаку — внезапно оборвалась.

В восемь часов утра отряды красной гвардии заняли центральные кварталы. Правительственные войска отступили, не оставив даже прикрытия. Опасаясь подвоха, восставшие решили ждать подкреплений.

В десять часов утра красная гвардия двинулась к западным кварталам, не встречая никакого сопротивления. Дома и учреждения оказались пустыми. Разбросанные в беспорядке вещи и папки свидетельствовали о спешной эвакуации.

К вечеру аристократические кварталы, расположенные в западной части города, были заняты вооруженными рабочими. Владельцы банков и особняков бежали вслед за правительственными войсками. Весь Париж оказался в руках восставших.

Ночью заработала электростанция, и по трубам пошла вода. На ярко освещенные улицы из закоулков и нор высыпали толпы народа и пошли фланировать по опустевшему

городу, праздничные и возбужденные. Всю ночь город гудел веселым гулом голосов, кишел толпами взбудораженных горожан. На блестящем асфальтовом парке Елисейских Полей под хоровое пение и ритмическое хлопанье ладоней толпа пустилась в пляс. К двум часам ночи танцевали на всех площадях западных кварталов. Парижский люд танцем праздновал легкую победу.

Вышедшая утром единственная газета «Юманите» принесла тревожные новости. На первой странице большими буквами вырисовывались странные слова:

ПЛАН «ЗЕТ»

Странные слова передавались из уст в уста. Рабочим, следившим за печатью, слова эти были знакомы.

Несколько лет тому назад этой же коммунистической газетой «Юманите» был разоблачен и опубликован секретный документ французского генерального штаба. Документ касался военных действий на случай вооруженного восстания рабочих. Восстание грозило принять особо острые размеры в Париже ввиду больших скоплений в его предместьях промышленного пролетариата. С целью избежать невыгодной для них уличной борьбы верные правительству войска, а также полиция и жандармерия должны были, согласно плану генерального штаба, эвакуировать город. Предполагалось, что Париж будет временно оставлен в руках восставших с тем, чтобы, окружив его со всех сторон, изолировать от всей страны, лишая таким образом революционное движение провинции единого руководства из центра. Только подавив разрозненные выступления в стране, предполагалось напоследок раздавить Париж, лишенный поддержки извне. План в общих чертах и даже в некоторых деталях напоминал тактику, примененную так успешно войсками Тьера во времена Парижской коммуны. На техническом языке генерального штаба это называлось планом «ЗЕТ».

По сведениям, принесенным утренним выпуском «Юманите», эвакуированный за ночь Париж окружен кольцом правительственных войск. Штаб этих войск находится в Версале. Туда же бежала вслед за уходящими войсками парижская буржуазия, следуя примеру своих доблестных предков из эпохи Первой коммуны.

«Юманите» доносила о бесчинствах ушедших правительственных войск, разгромивших все радиостанции, разоривших большинство складов с провиантом, испортивших

две электростанции и ряд других общественно необходимых сооружений.

В конце газеты, в хронике, была маленькая заметка, на которую никто не обращал внимания. Заметка сообщала, что на центральной станции водоснабжения в Сэн-Мор рабочими задержан штрейкбрехер, развинтивший большой насос и пытавшийся влить туда какую-то жидкость. Пробирки, которые у него отобрали, оказались пустыми. Развинченный насос час спустя был приведен в исправность. Уличенный во вредительстве рабочий наотрез отказался сообщить мотивы своего преступления. На основании приговора чрезвычайной комиссии вредитель был ночью расстрелян.

Известие о маневре генерального штаба, эвакуировавшего Париж и окружившего его кордоном войск, произвело в городе огромное впечатление. К полудню лицо города резко изменилось.

Исчезли с площадей праздничные толпы. По улицам маршировали вооруженные отряды, гремели артиллерийские обозы. Рабочий Париж готовился к обороне.

К вечеру толпа высыпала на улицы, обсуждая последние известия.

Первую карету «скорой помощи» заметили в десять часов вечера на площади Отель-де-Виль. Митингующая толпа посторонилась, очищая дорогу.

Не прошло и десяти минут, как подъехала другая карета, чтобы исчезнуть, в свою очередь, в черной щели соседнего переулка. Никто не обращал на нее внимания.

За другой последовала третья, пятая и шестая, наполняя площадь эхом зловещего сигнала.

Первое легкое смятение стало заметно около двенадцати часов ночи. Выступавший оратор грохнулся с постамента вниз, извиваясь в конвульсиях. Оратора перенесли в ближайшую аптеку. Через пять минут приехала карета и забрала его в больницу.

Следующего человека, свалившегося на мостовую со странными признаками отравления, подобрали на площади Бастилии, третьего на Монпарнасе, перед террасой «Ротонды».

Случаи учащались. Кто-то в первый раз уронил звонкое, как монета, слово «эпидемия», которое покатилось в толпу. Никто ему не поверил. В черных туннелях улиц все чаще и чаще жалобно взвизгивали гудки карет, как одинокие крики о помощи.

* * *

Наутро проснувшийся Париж в ужасе замер над мокрой простыней газеты. С первой страницы громадными черными буквами смотрела пронизывающая холодом надпись: «Чума в Париже».

Известия были тревожные. За истекшую ночь было отмечено восемь тысяч заболеваний чумой, все без исключения со смертельным исходом.

Вспомнили о расстрелянном в первую ночь человеке, пойманном на станции водоснабжения, когда он вливал в насос какую-то жидкость из пробирок. По всем данным, расстрелянный штрейкбрехер действовал по прямой указке генерального штаба, задумавшего это преступление заранее, так как все бактериологические институты Парижа были найдены предусмотрительно опустошенными. Оборудование, которое не успели захватить с собой отступившие войска, было разгромлено. Для борьбы с эпидемией в Париже не осталось ни одной пригодной лаборатории.

Ночной выпуск газеты, которого не читал уже никто, кроме газетчиков, отмечал сорок тысяч смертных случаев.

На улицах царила пустота и молчание. Проезжали лишь автомобили с флажками красного креста.

День поднялся бледный от усталости, жаркий и шаткий. С утра на улицах появились лихорадочные толпы, вырывая друг у друга свежие обрывки экстренного выпуска. До полудня было зарегистрировано сто шестьдесят тысяч смертных случаев. Частные автомобили, превращенные в кареты «скорой помощи», не в состоянии были поспеть повсюду, где требовалась помощь. Ряд общественных учреждений поспешно преображался в больницы.

Париж вымирал тихо и с достоинством, под звуки заунывных гудков и сирен.

Руслами темнеющих улиц, лентой отполированного асфальта плыли стада автомобилей, точно мертвые птицы, уносимые черным поблескивающим течением.

* * *

На Сакре-Кер гудели колокола.

С Нотр-Дам, с Мадлен, с маленьких разбросанных костелов отвечали им плачевным перезвоном колокола Парижа.

Глухие слезливые колокола били над городом свинцовыми кулаками в свою вогнутую медную грудь; из глубины костелов отвечал им грохот судорожно сжатых рук и горь-

кий набожный гул. Служба с выносом дароносицы справлялась без перерыва падающими от усталости желтыми аббатами.

В церкви на улице Дарю митрополит в золотом облачении густым басом читал евангелие, и сладко, по-пасхальному перезванивались колокола.

В синагоге, на улице Виктуар, над полосатой толпой в талесах[1] горели свечи. Как языки незримых колоколов, качались люди в размеренном движении, и воздух, точно колокол, отвечал им стоном.

III

В тенистых глубинах океана, куда не доходят уже течения, водовороты и отплески волн, в неподвижной зеленоватой воде, мертвой, как вода аквариума, в рощах гигантских водорослей, допотопных сигилярий и лиан живет рыба-камбала.

Где-то сотнями метров выше в вечной неутомимой скачке мчатся белогривые волны, черным плугом режут на метры вглубь наболевшую поверхность океана корпуса громадных пароходов. В мутном желе воды трепещут желеобразные спруты. Как холодный луч прожектора, пронизывают глубины стилетом чешуи длинные заостренные тела рыб в беспокойной, бесконечной погоне.

Внизу — тишина, холодный твердый песок, сады деревьев, бесплодных и белесых, как тучи, видимые сверху, с аэроплана. Дно — это небо, отражение неба в выпуклой необъятной капле океана, с вселенной собственных неподвижных морских звезд, шустрых хвостатых комет, — холодный посмертный приют заблудившихся, утружденных скитальцев!

На дне живет рыба-камбала. Взял кто-то рыбу, разрезал ее вдоль хребта пополам и половину положил в песок. У рыбы-камбалы — одна-единственная сторона: правая. Левой стороной ей служит земля, дно.

От неиспользования органа — орган отмирает. У рыбы-камбалы все органы с левой, несуществующей, стороны перенеслись на правую. И по правой, поставленные один рядом с другим, смотрят всегда вверх два маленьких бесстрастных глаза.

Глаза смотрят всегда вверх, оба с одной стороны, непо-

[1] Молитвенное облачение.

нятные, причудливые, а левой стороны просто-напросто нет.

В громадном городе Париже, в рыжем веснушчатом доме на улице Павэ живет равви Элеазар бен Цви.

Улица Павэ лежит в сердце квартала Отель-де-Виль[1], маленького еврейского Парижа. В середине международного города, в середине Франции, нанесенное сюда с востока, с черноземных полей Украины, из болотистых местечек Галиции, осело, наслоилось в несколько десятилетий, выросло бестрадиционное современное гетто, прочное, нерастворимое, обособленное.

В громадном многоязычном городе стирают друг друга в песок сотни языков, десятки народов и рас, удобряя навозом новых плодотворных элементов восприимчивую французскую почву.

Польские и русские евреи-лавочники, со свойственной им способностью не ассимилироваться, влитые в раствор любого города, выплывут на его поверхность жирным цельным пятном масла.

В Париже перемешиваются массы, возникают и рушатся правительства, сталкиваются и перескакивают в бешеной гонке происшествия. Здесь — тишина, черный блестящий асфальт, лоснящийся, как жирная грязь, ешибот и синагога, неделя — от пятницы до пятницы, и каждую пятницу на столах у окон низкорослые деревца подсвечников зацветают оранжевым пламенем свечей.

Здесь — свои собственные происшествия. К Гершелю, булочнику, приехал на красном автомобиле сын из Америки, и автомобиль не мог въехать в узкую щель улочки Прево. Из Ясс прибыла новая партия евреев, бежавших от погрома. Дочь старьевщика Менделя, которая в прошлом году убежала в город с негром-джазбандистом из кафе на улице Риволи и месяц спустя вернулась в родительский дом, родила ребенка, маленького негритенка, и старый Мендель повесился в сенях от стыда перед соседями.

В узеньких облупленных улочках стоит тухлый, спертый железобразный воздух, неподвижный и прозрачный, и вечером переламываются в нем тени фонарей, колышущиеся шатко, как гигантские водоросли.

У равви Элеазара бен Цви — пара поставленных рядом маленьких глаз, и глаза смотрят всегда вверх, бесстрастные, круглые, подобные близнецам, всегда обращенные к

[1] Ратуша.

небу, в котором они видят какие-то ему одному понятные вещи. Глаза не видят земли, смотрят не видя.

От неиспользования органа — орган отмирает. Равви Элеазар видит много вещей, недоступных человеческому взору, и не видит самых простых. У него одна лишь сторона: та, которая обращена к небу, а другой, обращенной к земле, просто-напросто нет.

Издавна, насколько помнят жители квартала Отель-де-Виль, равви Элеазар бен Цви жил в доме при синагоге, не покидал его никогда. Из дома есть вход прямо в синагогу, и равви Элеазар бен Цви, чтобы прочесть маарив[1], не должен переходить улицу. Улица не знает равви Элеазара, знают его лишь те, кто просил у него совета, то есть знает его весь Отель-де-Виль, ибо кто же не ходил за советом к равви Элеазару бен Цви, который мудрее всех раввинов — чудотворцев мира и на суд к которому специально приезжают в автомобилях купцы с другого берега Парижа?

Равви Элеазар бен Цви не был никогда в Париже. Приехал он сюда пятьдесят лет тому назад из своего местечка и сразу же поселился в доме при синагоге. А мудрости его в запутанных коммерческих спорах не могут надивиться парижские купцы.

У равви Элеазара бен Цви есть свой старый шамес[2], лишь он один мог бы рассказать про святую жизнь ребе.

Но шамес рассказывает неохотно и целые дни и вечера проводит под боком ребе. Шамес говорит, что ребе очень слаб, и к нему лично не допускает явившихся с любой глупостью, пока не убедится сам, что дело серьезное и что требует оно разговора с глазу на глаз. Одно не подлежит сомнению: тот, кому равви Элеазар бен Цви даст завернутую в платок свою «ксиву»[3],— хоть бы самым тяжелым страданием испытал его бог,— возвращается домой весел и беззаботен, как птичка. Потому-то дверь к ребе Элеазару закрывается редко, а у старика шамеса, когда он выходит в пятницу за покупками, всегда достаточно денег в потертом бархатном кошельке.

У равви Элеазара бен Цви пара маленьких, рядом поставленных глаз, оба — со стороны неба. Шамес говорил по секрету старому Гершелю, что ребе часто разговаривает с богом. Долго, по целым часам, бог и ребе беседуют между собою. И евреи знают: ребе может говорить с богом, когда

[1] Вечерняя молитва.

[2] Служка раввина.

[3] Листок с написанным на нем благословением.

захочет. Как будто у него с ним постоянное телефонное сообщение. Обыкновенно евреи могут звонить к богу всю жизнь и никогда не получат соединения: столько людей одновременно хотело бы к нему дозвониться. Иногда, раз в жизни, на короткое мгновение это удается еврею, и тогда надо ему поскорее изложить свою просьбу, пока кто-нибудь другой не прервет соединения.

О равви Элеазаре можно сказать, что в его распоряжении особая линия и разговаривать он может с богом в любое время, не опасаясь, что кто-нибудь ему помешает. Впрочем, равви Элеазар знает, что бог, как всякий еврей, не любит, чтобы его беспокоили, когда он занят, и равви знает уже, в какое время можно поговорить с ним на досуге. И бог питает слабость к равви Элеазару, и не было еще случая, чтобы он ему в чем-либо отказал.

Много-много лет прошло с тех пор, как узнали ребе евреи Отель-де-Виля. Сколько? Этого не помнил точно даже старый шамес.

В этот год равви Элеазар бен Цви чувствовал себя уж очень слабым, часто беседовал с шамесом о смерти и принимал лично лишь в очень исключительных случаях.

Однажды вечером шамес вернулся из города позже обыкновенного, и ребе чуть было не запоздал из-за него к ужину. Шамес был очень напуган. В городе рассказывали о какой-то ужасной болезни, которая постигла Париж. Дети портного Леви, отправившиеся на французский праздник, вернувшись, в ту же ночь умерли в ужасных страданиях. Той же ночью умерла от болей в животе жена заготовщика Симхи и еще три еврейки. С утра умерло двенадцать евреев. В городе большой переполох. Шамес, который помнил в Жмеринке холеру, видел в этом ее несомненные признаки, хоть газеты называли новую болезнь иначе. Евреи очень напуганы и собираются толпой к ребе просить у него совета.

Равви Элеазар бен Цви выслушал отчет шамеса в молчании; насколько он принял его близко к сердцу, видно уж было из того, что он не кончил ужинать. Умыв руки, он велел подать себе талес и сошел в синагогу.

В синагоге раздавались уже причитания и плач. В течение вечера умерло еще тридцать евреев. Имена передавались из уст в уста.

Ребе Элеазар долго молился, склонившись над своим молитвенником. Когда он закрыл сейфер[1] и обернулся к мо-

[1] Книга.

лящимся, лицо его было спокойное и светлое. Он велел отпраздновать завтра же свадьбу на кладбище, как это повелевает обычай во время эпидемии. Подыскали тут же на месте молодого и молодую. Мануфактурщик Ешия и шапочник Сендер принялись собирать для молодой приданое.

Свадьбу отпраздновали на следующий день на кладбище Баньо в присутствии евреев всего Отель-де-Виля. Молодых проводили домой.

В ту же ночь молодая умерла с признаками заразы. Шамес, к которому прибежали с этой новостью испуганные евреи, долго не решался сообщить ее ребе. В конце концов, опасаясь, что ребе все равно сам узнает о ней в синагоге, он с большими предосторожностями дал ему понять, в чем дело. Ребе Элеазар не сказал ничего, но лицо его, цвета его молочной бороды, стало еще белее, и шамес заметил, что эта плохая примета произвела на ребе большое впечатление.

В синагоге причитали громче вчерашнего. В течение дня умерло еще шестьдесят евреев. В том числе все женщины, омывавшие вчерашних покойников. Умерло также двенадцать евреев из «траурного общества», которые ходили навещать семьи покойников, сидящие шиве[1]. В Париже, как говорили, люди тысячами умирали на улицах.

Всю ночь длилась в синагоге служба, прерываемая появлением новых вестников распространившейся заразы. Каждую минуту кто-нибудь из молящихся узнавал о случае заразы в своем собственном доме и, причитая, выбегал из синагоги.

Ревностно молился до утра старый ребе Элеазар, сгорбившись над своим молитвенником. К утру он уже с трудом держался на ногах, и шамес с синагогальным служкой должны были проводить его под руки наверх.

Весь следующий день равви Элеазар бен Цви провел взаперти в своей комнате и запретил шамесу допускать к себе кого бы то ни было. На лестнице с плачем толпился народ. Бледный шамес, приложив к губам палец, охранял дверь. Он хорошо знал, что ребе разговаривает сейчас с богом и что ему нельзя в этом мешать.

Поздно вечером ребе позвал к себе шамеса и велел сообщить новости. Известия были ужасающие. За день умерло еще сто тридцать евреев. Трупы валялись по квартирам

---

[1] Шиве — по-древнееврейски — семь; обычай сидеть на низеньких табуретках в течение семи дней, не выходя из дому. Обряд, обязательный для семьи покойника.

неомытые, так как все женщины, омывающие умерших, поумирали. Семьи покойников сидели шиве голодные, потому что навещавшие их члены траурных обществ все вымерли. Семьи, сидящие шиве, вымирали поочередно. В состоявшем из десяти лиц семействе заготовщика Симхи, жена которого умерла в первую же ночь, девять человек уже погибло, и шиве сидит только последний.

Ребе в молчании покачивал головой, слушая ужасный отчет шамеса. Потом он велел подать себе талес и сошел в синагогу. Шамес побежал за ним по обязанности и из любопытства.

Когда ребе Элеазар вошел в синагогу, в ней мгновенно воцарилась полная тишина. Все знали, что ребе весь день разговаривал с богом и что он пришел сказать что-то важное. Все взоры устремились в его сторону.

Став на ступеньку алтаря, равви Элеазар бен Цви обернулся лицом к народу и начал говорить торжественным голосом законодателя:

— Бог открыл глаза мои и разрешил мне прочесть в книге своего гнева «пикуах нефеш»[1]. На все время заразы евреи освобождаются от сидения шиве по своим покойникам, равным образом как и от ритуального погребения их. На время заразы трупы, без предварительных обрядов, будут зашиваться в холст и вывозиться на кладбище. Бог испытывает нас тяжело, и только одна молитва может его умилостивить. Малах гамавет[2] вошел в наши дома, и дверей наших не защитила мезузе[3]. Дома, которых он коснулся, будут нечисты в продолжение сорока дней и подлежат оставлению. Молитесь и просите милости.

Равви Элеазар, бледный, пошатываясь от изнеможения, сошел по ступенькам и, поддерживаемый шамесом, покинул синагогу.

После его ухода синагога наполнилась гулом взволнованных голосов.

Происшествия следующего дня, казалось, не свидетельствовали о том, что бог намерен умилостивиться. Вскоре не оказалось квартир, не оскверненных заразой. На второй день квартирный кризис принял размеры угрожающие.

Равви Элеазар бен Цви заперся на все это время в квартире, не показываясь даже в синагоге, не принимая никого

---

[1] Право преступать заповедь в исключительных случаях для спасения жизни человека.

[2] Малах гамавет — ангел смерти.

[3] Мезузе — свернутый пергаментный листок, заключающий список заповедей, прибиваемый на дверях еврейских домов.

и поручив все дела шамесу. Осаждаемый шамес мог только сказать, что ребе очень молчалив с ним и по целым часам громко разговаривает с богом в своей комнате.

На третий день, когда во всем Отель-де-Виле не оказалось ни одной квартиры, не оскверненной заразой, десять старейших евреев отправились делегацией к равви Элеазару. Получив от них взятку, шамес побежал доложить ребе об их приходе. Спустя некоторое время вышел к ним сам ребе. Лицо его было еще прозрачнее обыкновенного, и страшно было подумать, что жизнь его висит на волоске.

Когда шамес принес стулья, слово взял старый Михель, крупнейший оптовик во всем Отель-де-Виле.

— Ребе,— сказал он сдавленным голосом,— ребе, мы сделали все, что ты нам велел. В книге божьего гнева, который коснулся нас, ты прочел «пикуах нефеш», и с тех пор евреи не сидят шиве по своим покойникам, а трупы евреев, без очистительных обрядов, зашитые в холст, уносятся на кладбище. Ты сказал нам, что дома, пораженные заразой, будут нечисты в продолжение сорока дней и подлежат оставлению,— мы тебя послушали. И, несмотря на все, зараза продолжается, и нет того дня, чтоб несколько сот еврейских семейств не пострадало от нее. Квартиры наши переполнены. Вскоре не окажется уже ни одного еврейского дома, не оскверненного заразой. Во всем Отель-де-Виле нет больше квартир. Семьи зараженных спят на улицах. Что делать, ребе?

Равви Элеазар бен Цви улыбнулся доброй улыбкой; маленькие глаза его, устремленные куда-то через Михеля, не видя его, словно он был прозрачен, осветились той же улыбкой, когда он задумчиво сказал:

— Много еще квартир в еврейском квартале, за которыми стоит лишь протянуть руку...

Старые евреи обменялись взглядами. Когда ребе говорит важные вещи, видимые его уму, простым умом обнимешь их не сразу.

На минуту воцарилось молчание. Наконец старый Михель, набравшись смелости, спросил:

— Ребе, умам нашим не сравниться с твоим. Слова твои для нас не ясны. О каких квартирах говоришь ты, за которыми стоит лишь протянуть руку?

Равви Элеазар помолчал мгновение, потом снова начал говорить словно про себя, в глубоком раздумье:

— Много еще квартир в еврейском квартале, дверей которых не хранит мезузе. Через эти двери вошел к нам малах гамавет.

Наступило продолжительное молчание. Потом ребе заговорил опять, словно продолжал вслух собственную мысль:

— Говорит равви Гилель, мудрейший из мудрецов. Во времена равви Эзра, когда народ еврейский был разрознен и кругом бушевала зараза христианства, евреи в городах, желая уберечься от этой заразы и сохранить свой завет, окружили свои жилища высокой оградой, а современники называли эти еврейские города: гетто. Но настало время, когда евреям опостылела речь отцов их, и они захотели понести свой завет к чужим на поругание. Тогда они разрушили ограду, окружавшую их жилище, и с тех пор бедствия гоев[1] стали их бедствиями, а гнев господень обернулся против них. Пока евреи не отгородят себя сызнова непроницаемой стеной от всего, что нееврейское, до тех пор их будет пожирать зараза, а ангел смерти не покинет их порогов.

Здесь равви Элеазар бен Цви дал знак рукой, что считает аудиенцию законченной, приказывая шамесу проводить до дверей прибывших.

* * *

Два дня спустя на Больших бульварах Парижа появились экстренные выпуски. В выпусках доносилось о новом сепаратистском перевороте. Еврейское население квартала Отель-де-Виль овладело ратушей и вытеснило арийцев за пределы своего квартала. Апатичное христианское население, в общем, не сопротивлялось. На единственный решительный отпор евреи натолкнулись в квартале Сен-Поль, населенном мелкими лавочниками-поляками. Дошло до кровавых стычек, которые привели к потерям с обеих сторон, пока не окончились победой численно преобладающих евреев.

Экстренные выпуски упоминали о расклеенном на стенах квартала воззвании еврейской общины ко всем евреям Парижа. Воззвание это якобы оповещало об образовании для защиты от заразы арийцев самостоятельной еврейской территориальной общины, отгороженной от остального города стеной баррикад; оно призывало всех евреев Парижа переселяться на ее территорию, выражая уверенность, что от этого нового бедствия, постигшего арийскую Европу в наказание за вековое угнетение еврейского народа, он

[1] Гой — неверный.

уцелеет и на этот раз, если сумеет соблюсти строжайшую изоляцию.

Известие произвело во всем городе большое впечатление. С вечера в сторону Отель-де-Виля с западных и северных кварталов города потянулись длинные вереницы автомобилей, нагруженных чемоданами. Никто им в этом не препятствовал.

У входа в квартал Отель-де-Виль народная милиция и «шомеры»[1] лихорадочно укрепляли баррикады на случай необходимой обороны.

Никто, впрочем, пока что не намеревался их атаковать.

* * *

В рыжем веснушчатом доме на улице Павэ старый, сгорбленный шамес ходит на цыпочках и тихо, на цыпочках, подслушивает у дверей.

Равви Элеазар бен Цви не покидает своей комнаты, не принимает никакой еды, молится и разговаривает с богом. Шамес слышит монотонный, качающийся голос. Над открытой засаленной книгой сидит равви Элеазар, и сгорбленное прозрачное его тело покачивается, как тростник, под ветром божьего дыхания. Равви Элеазар в первый раз сомневается.

Да и как же не усомниться? Взял на плечи свои бремя, превышающее человеческие силы. В книге божьего гнева прочел «пикуах нефеш», и с тех пор евреи не сидят шиве по своим покойникам, а трупы еврейские без очистительных обрядов отправляются в лоно смерти. И все напрасно.

Черные уродливые буквы, насмешливые, как пассажиры, помахивающие платками из окон проезжающего поезда, переливаются перед пробегающими по ним глазами равви Элеазара:

«...И разделит господь между скотом израильским и скотом египетским, и из всего скота сынов израильских не умрет ничто...»

Равви Элеазар бен Цви еще ниже в маятникообразных поклонах покачивается над книгой. Поступил он, как велел господь, отделил стада израильские стеной непроницаемой, и, несмотря на все, зараза распространяется среди них по-прежнему, и нет против нее лекарств.

Черные слова, как капли вымученной крови, капают на

[1] Еврейские скауты.

книгу с искривленных болезненной судорогой губ равви Элеазара:

«...И побил град по всей земле Египетской все, что было в поле, от человека до скота; и всю траву полевую побил град и все деревья в поле поломал.

...Только в земле Гесем, где жили сыны израилевы, не было града...»

Равви Элеазар сомневался. Взял на плечи свои ответственность ужасную: оградил еврейский город стеной, лишив его даже собственного кладбища, и по квартирам стали гнить еврейские трупы.

И открыл равви Элеазар евреям «пикуах нефеш», неслыханный в истории еврейства, что трупы евреев, для которых нет места на земле, предаваться будут огню.

И не покинула зараза стен города еврейского.

А ведь сказал же господь:

«...И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах...

...И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю Египетскую...»

Равви Элеазар колеблется первый раз в жизни, подкашивается под тяжестью сомнений, как ветка под тяжестью птицы. Пергаментные губы лепечут:

— Господи, почему возложил ты на меня эту тяжесть? Я стар, и хилы плечи мои...

Черная засаленная книга, как решето, пропитанное драгоценной влагой, дождем черных капель-букв падает на изжаждавшийся песок души равви Элеазара:

«...И сказал господь:

— Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его; я знаю скорби его.

...И иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей на землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед...

...Итак, пойди: я пошлю тебя к фараону; и выведи из Египта народ мой, сынов израилевых.

Моисей сказал богу:

— Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов израилевых?..

...И сказал Моисей господу:

— О господи! Человек я не речистый, и таков был и вчера, и третьего дня, и когда ты начинал говорить с рабом твоим; я тяжело говорю и косноязычен...

Господь сказал:

— Кто дал уста человеку?..

...Итак, пойди; и буду при устах твоих и научу тебя, что говорить...

Моисей сказал:

— Господи, пошли другого, кого можешь послать.

И возгорелся гнев господень на Моисея...

...И сделали Моисей и Аарон, как повелел им господь, так они и сделали.

Моисей был восьмидесяти лет, а Аарон — восьмидесяти трех лет, когда стали говорить они фараону...»

Равви Элеазар бен Цви не ропщет. Знает: неисповедимы пути господни. На кого он укажет перстом, тот напрасно захотел бы уклониться от своей судьбы. Нет. Равви Элеазар не будет юлить, как Моисей: «Господи, пошли другого, кого можешь послать». Слишком давно привык он к послушанию. Уверенной рукой закрывает книгу. Встает. Выпрямился. Зовет шамеса.

Перепуганный шамес видит: случилось что-то важное, самое важное. Из зарослей седой бороды, как из клубов жертвенного дыма, выплывает узкое, просветленное, почти прозрачное лицо ребе. Глаза горят внутренним светом, смотрят — не видят. Равви Элеазар велит позвать старейшин.

Узенькими вечереющими улочками, где колышутся, точно гигантские водоросли, молитвенные тени фонарей, в развевающемся халате бежит старый шамес, взбегает вверх по крутым лестницам, бросая в приоткрытое отверстие двери телеграмму-шепот: послание от равви Элеазара.

IV

— Алло! Гранд-Отель? Будьте любезны соединить меня с комнатой мистера Давида Лингслея. Алло! Алл-о-о! Мистер Давид Лингслей? Говорит секретарь президиума совета комиссаров англо-американской концессии. Президиум просит вас пожаловать на секретное заседание в одиннадцать часов дня. Да, да! Через час. Можем рассчитывать?

Мистер Давид Лингслей повернулся на другой бок. Свет, просачивающийся через щель между шторами, ударил ему в глаза, и, поморщившись, он должен был принять прежнее положение. Так прекрасно спал, и вдруг этот адский звонок. Через час — в «Американ-экспресс». Надо подумать о вставании.

Мистер Давид Лингслей вытянулся еще раз на удобной четырехспальной кровати. Внезапно он вскочил и присел на постели. Отбросив одеяло, он внимательно ощупал сквозь шелковую пижаму свой живот, потом, приподымая поочередно каждую из рук, железы под мышками. После тщательного осмотра он опять вытянулся.

Каждый день он пробуждался с этим инстинктивным страхом здорового, мускулистого тела, с животной тревогой предчувствующего момент, когда каким-нибудь утром он проснется с гложущей болью в нижней части живота. Об этом неприятном факте мистер Давид Лингслей днем старался не думать, хотя подсознательно скрывал он надежду на одну сотую вероятности.

Каждое утро, однако, когда погруженное в сон тело при внезапном переходе к действительности блуждало еще в пустоте, пока развинченные рычаги воли, привыкшие днем действовать безошибочно, не попадали опять шестерней на шестерню,— к горлу вдруг внезапным клубком подкатывал страх, который надо было крепким кулаком втискивать обратно в его каморку, где он оставался спрятанным до следующего утра.

В эти короткие мгновения мистер Давид Лингслей вспоминал, что там, в ящике ночного столика,— стоит лишь протянуть руку,— лежит, ожидая в нетерпении этого единственного дня, маленькая стальная вещица, притаившаяся и незаметная; ждет, считая чуть слышное тиканье покоящихся на столике пузатых часов, которые где-то в своих внутренностях, в указательном пальце стрелки хранят уже издавна им одним известный роковой час; заранее точно отсчитали столько-то оборотов и отрабатывают их ежедневно, притворным равнодушием прикрывая лихорадочную торопливость.

В такие минуты мистер Давид Лингслей ощущал такую жгучую ненависть к предметам, что только благодаря его прирожденной сдержанности и флегматичности лакей, убирающий каждое утро его апартаменты, не заставал их разгромленными.

Величавые, равнодушные ко всему глади зеркал, принимающие с лакейской услужливостью каждый брошенный им, как пощечину, жест, все эти шкафы и столики, молчаливые, подавляющие своей неопровержимой, математической уверенностью, что они будут стоять здесь, отражать своей полированной кожей другие жесты, лицо и гримасы, когда от мистера Давида не останется и следа,— своим спокойным, дерзким превосходством способны были свести

его с ума. Хотелось разбить, изломать их, растоптать ногами; уличить во лжи их непреложную уверенность, насытиться видом их бессильных обломков.

В такие минуты мистер Давид сжимал лишь сильнее взмыленную бритву, под поцелуем которой, как Афродита из морской пены, показывалось его лицо, ослепительное наготой холеной кожи.

С тупой, холодной ненавистью он грубо втискивал в карман жилета часы, опускал в задний карман брюк маленькую стальную вещицу и уходил в город, стараясь оставаться по возможности меньше в своей комнате.

Мистер Давид Лингслей, король американского металлического треста, владелец четырнадцати крупных журналов в Нью-Йорке, Бостоне и Филадельфии, посетил Париж под строжайшим инкогнито, собираясь, по старой привычке, летние месяцы провести в Биаррице. Во время трехдневного пребывания в Париже его застигла чума.

Все попытки выбраться из зачумленного города окончились неудачей. Не помогли — престиж фамилии, запоздалое открытие инкогнито, чудовищные связи, астрономические чеки.

После трех дней безрезультатных хлопот он принужден был примириться.

Как все биржевые игроки, мистер Давид Лингслей был фаталистом и, убедившись окончательно в непроизводительности всех попыток, оставшись один в своей роскошной комнате, он честно сознался в проигрыше. До сих пор ему в жизни всегда везло неимоверно. Неоднократно, на очередных ступенях финансовой лестницы, взглянув вниз, он ощущал на минуту легкое головокружение при мысли, что его карта будет когда-нибудь бита.

Убедившись на этот раз, что выхода нет, мистер Давид Лингслей, как подобает джентльмену, составил завещание, переслал его по радиотелеграфу в Америку и, заперев в ящике письменного стола папки текущих дел, стал ждать. Чума явно играла с ним в прятки. На третий же день в мучительных страданиях умер его личный секретарь. Мистер Давид Лингслей ждал своей очереди. На следующий день карета скорой помощи забрала из соседней комнаты машинистку. Постепенно, один за другим, пустели соседние апартаменты. Мистер Лингслей остался один на всем первом этаже. С молниеносной быстротой, точно камни, брошенные в бездонный колодец лифта, бесшумно исчезли лифт-бои[1], прислуга, метрдотели. На их месте вырастали

[1] Мальчики, обслуживающие лифт.

новые. Отдав вечером распоряжение курьеру, мистер Давид, спускаясь на следующее утро по лестнице, заставал уже нового курьера; не спрашивал, вторично отдавал распоряжение, стараясь мысленно не возвращаться к этому незначительному эпизоду. Пил мелкими глотками горячий утренний кофе и ехал к своей любовнице.

Вот уже несколько лет мистер Лингслей содержал в Париже любовницу, подарив ей, вместе с коллекцией ослепительных драгоценностей, не лишенный вкуса особняк на Елисейских полях.

Мистер Лингслей навещал свою любовницу два раза в год, не останавливаясь, впрочем, у нее никогда и живя всегда по-холостяцки в Гранд-Отеле. К этому его принуждали дела, не говоря уже о том, что, как джентльмен и человек женатый, он не любил афишировать свою связь.

В каждое пребывание его в Париже у него было столько дел и хлопот, что обыкновенно лишь сидя уже в купе и принимая из рук грума традиционный пакет книг, присланный ему на вокзал любовницей, он вспоминал, что за все время провел с ней в общем счете не больше шести часов; и каждый раз он давал себе торжественное обещание возместить это в другой раз, то есть через полгода.

Протелеграфировав в Нью-Йорк завещание, мистер Давид Лингслей в первый раз осознал содержание затасканного слова «каникулы» и впервые пожалел, что они будут продолжаться недолго. Как бы то ни было, он решил, впервые в жизни, посвятить их любви. Эта была как раз та жизненная функция, для которой у него постоянно не хватало времени, которую он принужден был отправлять между двумя телефонными звонками — всегда второпях и всегда не вовремя.

Некогда, в традиционный брачный вечер, полагая, что по крайней мере на этот раз он сможет посвятить ей предписанные законом двенадцать часов, неожиданно в последнюю минуту он получил предложение об очень заманчивой и сложной сделке, которой напрасно добивался уже давно; и всю брачную ночь, прилежно выполняя, как джентльмен, возложенные на него обществом обязанности и рассеянно отвечая на капризные вопросы молодой супруги, он мысленно отщелкивал числа на счетах, складывая из них ответ, который надо будет дать по телефону рано утром. В итоге, когда через много лет, по обычаю других людей, мистер Давид Лингслей силился как-то вспомнить свою брачную ночь, на клише памяти появились одни

длинные столбцы цифр, остальное же где-то затерялось, как плохо проявленный фон.

Впервые в жизни,— быть может, за неделю до своей смерти,— мистер Давид Лингслей мог всецело предаться любви и переживал каждый день настоящие медовые месяцы.

Любовницу свою он содержал в Париже из снобизма,— как два роллс-ройса, как постоянную каюту на «Мажестике»,— чтобы было с кем пойти вечером в театр и потом поужинать у Сиро, чтобы соблазнять завистливые взоры других мужчин ее красотой, которую он принимал на веру, понаслышке, не имея никогда времени хорошо ее разглядеть сам; эта любовница оказалась на самом деле необычайным существом, инструментом, содержащим в себе неисчерпаемые гаммы наслаждения.

Мистер Давид проводил с ней теперь целые дни, вечера и ночи, открыв в себе на сороковом году жизни нежнейшего любовника.

Как гурман, желающий обострить наслаждение следующим блюдом, воздерживаясь от предыдущего, он не переехал к ней окончательно, оставив за собой свои апартаменты в Гранд-Отеле, чтобы после коротких часов разлуки возвращаться к ней со все большей тоской, влюбленный в первый раз по уши.

Любовь — вопрос свободного времени. Кто угадает, какие пламенные любовники похоронены в упитанных телесах дельцов, этих парадоксальных рабов, прикованных за ногу невидимой цепью к стрелке собственных часов?

Впрочем, мистеру Давиду Лингслею и на этот раз не суждено было развернуть вполне всех богатств своей неиспользованной эротики. Помешали в этом происшествия, внезапные сейсмические сотрясения, вскоре поколебавшие кору зачумленного Парижа.

Застигнутое врасплох развернувшимися событиями англо-американское население центральных кварталов, не успевшее бежать из окруженного Парижа, в первую минуту растерялось. Однако отрезанные джентльмены быстро поняли, что сидеть сложа руки и ждать, пока займется ими большевистская власть Парижа,— нельзя. Надо было подумать о самообороне, тем более что среди отрезанных джентльменов в зачумленном Париже очутился ряд видных английских и американских финансистов.

Как раз за несколько дней до мобилизации финансисты эти съехались в Париж на секретную конференцию. Конференция должна была наметить суммы финансирования под-

готовленной войны. Между французскими и англо-американскими финансистами во время конференции неожиданно наметились серьезные разногласия, грозившие привести к срыву всего совещания и тем самым к отсрочке войны, в то время как приказ о мобилизации был уже подписан.

И вот, проснувшись на следующий день после бурного заседания, английские и американские участники конференции узнали неожиданно, что Париж эвакуирован и что французские коллеги «забыли» вовремя предупредить их об этом факте. Оставленные во взбунтовавшемся Париже джентльмены рвали и метали, бросались радиотелеграфировать своим правительствам, в свои газеты о небывалом вероломстве французских союзников, но... радиостанции оказались разгромленными отступившими войсками, и весь город был уже в руках восставших рабочих. Выбраться оказалось невозможным. На следующий день вспыхнула чума.

Тогда джентльмены поняли, что сдаваться без боя нельзя, и они созвали в здании банка «Америкен-экспресскомпани» секретный митинг с целью обсудить происшествие.

На митинге решено было единогласно объявить на время эпидемии кварталы, заселенные англичанами и американцами, самостоятельной англо-американской концессией. Вооруженная милиция из молодежи должна была ночью перебить небольшие отряды красной гвардии и воздвигнуть баррикады на границах новой концессии.

Впрочем, доблестным джентльменам не пришлось даже применять оружия, и переворот обошелся без кровопролития, так как вся красная гвардия, занимавшая центральные кварталы, вымерла к тому времени от чумы.

Темой оживленных прений на очередном собрании джентльменов явился вопрос о проживающем на территории новой концессии местном, французском населении. Часть джентльменов решительно настаивала на расстреле коварных французов и на выселении всех не англосаксонских элементов. Большинство голосов, однако, получило разумное предложение мистера Рамзая Марлингтона использовать французское население концессии, тщательно разоружив его, для служебных обязанностей, вербуя из него необходимые штаты отельной и личной прислуги. От службы, согласно предложению мистера Марлингтона, освобождались только лавочники и владельцы бистро как руководители общественно полезных заведений, равным образом как и французы, которые смогут удостоверить, что их годичная рента превышает сто тысяч франков.

Предложение мистера Рамзая Марлингтона было проведено в жизнь. Французское население центральных кварталов, издавна привыкшее жить на побегушках и чаях англо-американских туристов, не оказало никакого сопротивления к проведению этого проекта и проявило себя в своей новой роли совсем неплохо, избавляя таким образом правительство новой концессии от многих непредвиденных хлопот.

Для управления новой концессией первое собрание избрало совет комиссаров, состоящий из двенадцати видных финансистов: шести англичан и шести американцев. В распоряжение временного правительства отдавалось здание «Америкен-экспресскомпани».

В итоге голосования в числе шести американских финансовых королей в совет комиссаров концессии избран был также мистер Давид Лингслей. Престиж фамилии и общественное положение не позволили ему отказаться от этого почетного звания, хотя государственные и административные дела явно противоречили его теперешним интересам и занятиям, и он решил посвящать общественности возможно меньше времени.

В упомянутый день, вернувшись в гостиницу в пятом часу утра, полный нежнейших отзвуков любовной грозы, мистер Давид Лингслей, пробужденный не вовремя звонком общественной обязанности, почувствовал сильнее, чем когда-либо, тяжесть своего социального положения; как солдат, вызванный внезапно на свой пост, облекается в тяготящее его снаряжение, мистер Лингслей в более чем кислом настроении стал медленно натягивать на себя свой изысканный костюм.

Мистер Давид кончал как раз бриться у зеркала, когда, предшествуемый стуком в дверь, в комнату вошел стройный, всегда улыбающийся лифт-бой (некогда первый секретарь крупного страхового общества, потерявшего всякий смысл при новом положении вещей) и доложил, что два господина по важному делу желают лично повидать мистера Давида Лингслея.

При других обстоятельствах мистер Давид, предчувствуя каких-нибудь скучных просителей, велел бы, вероятно, сказать, что его нет дома. Но сегодня, решившись испить до дна чашу общественных обязанностей, безнадежным жестом он велел просить их в гостиную.

Когда через некоторое время, еще завязывая галстук, он появился в дверях гостиной, навстречу ему поднялись с кресел равви Элеазар бен Цви и пожилой плотный господин в американских очках...

V

Это было давно, так давно, что иногда память П'ан Тцян-куэя, пустившись в эти области, блуждала в них ощупью, теряясь среди волокон пушистой всепоглощающей мглы, из которой, как контуры драгоценных и хрупких игрушек из слоев ваты, выглядывали несвязные, разрозненные обломки какого-то иного, незнакомого мира предметов.

Маленький П'ан в пестрых, пронизываемых ветром лохмотьях был поглощен постройкой плотины на водостоке одной из узеньких и грязных улочек Нанкина, когда он увидел пробегающего по мостовой отца. Худой босоногий рикша, запряженный в две тоненькие оглобельки, бежал рысью, с трудом таща по изрытой выбоинами мостовой небольшую колясочку; в коляске сидел одетый в белое господин с белым, как одежда, лицом. Босые пятки рикши то и дело мелькали в воздухе, а на тощем, сведенном от усилия лице узенькими струйками неестественного дождя стекал пот.

П'ан Тцян-куэя впервые поразило тогда широкое, непонятно белое, точно набухшее, лицо белого господина, странно выпуклые глаза с растопыренными ресницами и выражение покоя, достоинства и самодовольства, застывшее в его закругленных, расплывчатых чертах.

С этого времени прошло много длинных знойных дней и коротких, кротких ночей.

Образ белого господина стерся и поблек, остался где-то позади, в волокнах пушистой, как вата, мглы.

Белое широкое лицо с набухшими щеками, с растопыренными веками на неестественной выпуклости глаз потеряло свою определенную телесность, стало символом, вместилищем пробивающейся из всех пор кислоты ненависти.

Когда три года спустя, в жаркий до тошноты июльский день жалостливые соседи принесли из города и тяжело опустили на пол неподвижного рикшу со стеклянными непонимающими глазами, упавшего где-то на перекрестке от внезапной кровавой рвоты,— маленький П'ан не плакал, не цеплялся за ноги торопившихся соседей. С удивлением, внимательно осмотрел он черный открытый рот отца, непонятный таинственный грот со свисавшими красными сталактитами, исхудалые, костлявые ноги с огромными ступнями, стоптанными, как старые, поношенные туфли, и сосредоточенно, по-взрослому — как накануне носильщик Тао Чанг обидевшему его бакалейщику Линг Хо — погрозил кому-то в окно своим детским кулачком.

Потом он чинно уселся на полу и подобранным где-то на улице обломанным веером стал отгонять слетевшихся мух, норовивших попасть в раскрытый рот мертвого.

И вдруг,— стало ли тело сохнуть от невыносимой жары или просто лопнула какая-то железа,— из правого глаза мертвого показалась крупная прозрачная слеза и медленно поползла по морщинистому желтому лицу.

Маленький П'ан никогда не видел плачущих покойников; он не стал углубляться в исследование явления, он просто в ужасе вскочил на ноги и бросился вон из каморки, наугад, по узеньким извилистым улочкам, между дребезжащими пролетками.

Вечером на набережной, среди мешков с рисом, нашли его матросы, долго приводили в чувство пинками и, отпоив едкой водкой из гаоляна[1], оставили ночевать в сарае.

Было тогда П'ан Тцян-куэю семь лет.

Жить и до того приходилось впроголодь — матери П'ан не знал,— теперь же надо было пробиваться уже исключительно собственным промыслом. Летом ночлеги на набережной, под звездами. В дождливые месяцы — по чужим задворкам, на чердаках, в амбарах. Поймали — били подолгу и с выдержкой. Не кричал — больше кусался. Одному толстобрюхому мандарину, ущемившему его за косу, так вцепился зубами в руку, что тот заорал благим матом. На крик сбежался весь квартал, и, не появись тогда случайно на улице похоронное шествие, исколотили бы, наверное, до смерти.

Ел что попало,— попадалось же немного. Крал кости у собак. Собаки рвали в клочья лохмотья, иной раз и с мясом; завидя его издали, враждебно скалили зубы. Питался преимущественно по-вегетариански. Подбирал на набережной рассыпанные при погрузке зерна риса. Варить их было негде; ел сырыми, всухомятку, долго, с наслаждением разжевывая каждое зернышко.

Зато старательно избегал он соблазна людных улиц — базаров, где толстые лабазники за несколько тунзеров[2] услужливо потчевали прохожих превкусным душистым чаем или пьянящим рисовым вином, где на лотках горой громоздились фрукты, пирожные на кунжутном масле, куски сахарного тростника и прочие лакомства. Пройдешь — не устоишь, в носу защекочет от приторного, пря-

---

[1] Растение, похожее на наше просо, но значительно больших размеров.

[2] Китайская мелкая монета — $^1/_8$ копейки.

ного запаха, обязательно стибришь сахарную трость — ту, что потолще,— а потом беги (не убежишь никуда!) меж тесно сдвинутых лотков, как наказанный солдат сквозь строй, тщетно защищая спину от ударов разъяренных торговцев. После таких экскурсий неделю целую ныли плечи, и жесткая постель из лёсса казалась особенно неудобной.

Днем, когда не играл с другими бездомными малышами, он больше всего любил прогуливаться по улицам торговых кварталов, рассматривать искусно выведенные на свисающих шарфах замысловатые рисунки букв. Буквы колыхались, призрачные и в то же время незыблемые, как игрушечные домики из спичек, построенные неизвестным чародеем-архитектором. Любил в непонятных каракулях отыскивать знакомые контуры. Вот эта буква кокетливо задрала левую ножку, как ярмарочная балерина, а эта, словно дразнясь, показывает кому-то длинный нос. Причудливые сочетания черточек и крючков, для других понятные и привычные, для него несуразные и чуждые, таинственной загадочностью жгли детский мозг.

Порою забегал он на окраины, где в ажурном домике с колонками сорок мальчуганов с глазами, устремленными на таинственные узоры, качаясь не в лад, выкрикивали нараспев односложные гортанные звуки, подсказываемые с кафедры очкастым лимоном в длинном халате. Притаившись у крыльца, П'ан жадно ловил неразборчивую кашу голосов. Очкастый лимон посвящал детей богатых купцов в сокровенный смысл загадочных знаков.

Позже стал он чаще забегать в другое место. Невдалеке от базара, на улице, под дырявым выцветшим зонтом, старый седой каллиграф тоненькой кисточкой кропотливо выводил на длинных свитках вереницы узорчатых букв. Приклеившись к стене, маленький П'ан зачарованными глазами провожал искусные движения ловкой кисточки. Палочки росли, разветвляясь, сочетались в стройные фигуры, буква подползала под букву и поднимала ее на плечах, как гимнаст; гляди — уже тянется вверх устойчивая громоздкая пирамида, и каллиграф, взвешивая в двух пальцах кисточку, горделиво улыбается.

Это был единственный человек, который не гнал маленького П'ана и, заметив вдумчивость мальчика, его влюбленные, любопытные глаза, ласково улыбался. В дни, когда заказчиков было мало и выведенные на шелку мудрые изречения бесцельно колыхались по ветру, напрасно стараясь остановить торопившихся куда-то прохожих, он давал мальчику ненужный, испорченный свиток и кисточку и

учил его первым чертам. Под неуверенной, благоговейно трепещущей детской рукой вырастали каракули, с трудом сохраняли устойчивость, чтобы через минуту рассыпаться кучей составных черточек.

Все же П'ан осилил науку письма. Скрепленные незримыми шарнирами палочки держались стойко: не сдунешь. Вот из шести столбиков настоящая пагода с крышей и все как полагается, а держится на одной тоненькой ножке. Вместо таинственной совокупности крючков — слова. Вот дерево, вот земля, а вот человек — бежит, не удержишь, так размашисто с разбега задрал ногу.

Позже оказалось: и слова и предметы — только видимость. Сущность не в них, а в черточках. Правда, не в тех, что выползают из-под кисточки, а в других — сокровенных и непроницаемых.

Старый каллиграф в долгие часы досуга просвещал душу чтением священной книги перевоплощений «И-кинг». На скорлупе черепахи сочетаются шестьдесят четыре черты — «куа», и в них сокрыта разгадка всей сущности бытия, недоступная бессильному человеческому глазу. Ее не в силах был расшифровать до конца ни мудрейший Фу Хи и его премудрый ученик Кон Фу-тзе[1], ни тысяча четыреста пятьдесят истолкователей, трудившихся над ней на протяжении веков. Как же проникнуть в нее бедному каллиграфу, изучившему наизусть все сочетания линий, вплоть до тех, которые входят в состав священного узора «куа»?

Маленький П'ан не понял во всем этом ровно ничего, или, скорее, понял это по-своему. Он бегом пустился за город ловить черепах и долго искал на их скорлупе священный узор. Не найдя, он выдрал черепаху из скорлупы, чтобы посмотреть, не спрятан ли узор внутри, но и там не было ничего. Мудрейший Фу Хи оказался обманщиком.

Вернувшись в город, П'ан не рассказал учителю о своем открытии, не желая его огорчить... Но решил про себя: нельзя допустить, чтобы учитель дальше заблуждался. Он долго думал над способом и наконец придумал. Когда утомленный жарой учитель преспокойно похрапывал на своем стуле, П'ан тихонько вытащил корень всех заблуждений, священную книгу «И-кинг»; помчавшись с ней на набережную, незаметно бросил ее в реку.

Проснувшись и обнаружив отсутствие книги, старый каллиграф громкими криками стал выражать свое отча-

[1] Фу Хи — китайский мудрец. Кон Фу-тзе — Конфуций, основатель китайской религии.

яние. Столпились зеваки. Нашлись соседи, которые видели маленького П'ана, бежавшего с книгой под мышкой. П'ана поймали. Били добросовестно и долго. Требовали, чтоб признался, кому продал книгу. Не добившись ничего, полуживого бросили на улице.

П'ан в недоумении потирал синяки. Ну хорошо, били. К этому он привык. Но как же добрый дядя каллиграф стоял при этом и не заступился? Значит, и он злой. Значит, не стоило печалиться об его заблуждениях, не стоило красть книги. Не стоило дружить с людьми. Попробуй отними у них самую ничтожную кость,— искусают, как собаки.

Однако как же в большом, людном городе жить без человека? В городе — сколько вещей, столько загадок. Кто же объяснит? Пришлось пойти на мировую.

Перекочевал в восточные кварталы. Улицы здесь были шире. По бокам громоздились каменные многоэтажные дома, симметричные, как ящики, мчались по рельсам стеклянные вагоны, и в воздухе стоял неумолкающий грохот. Страннее домов, страннее вагонов были чудные экипажи, катящиеся по улицам без рельсов, без лошадей, без рикши, при повороте не касающегося земли, непонятного, торчащего в воздухе колеса.

Однажды, проходя мимо магазина, П'ан заметил: стоит повозка, нагруженная доверху цветными ящиками, и спереди вместо оглобель болтается большая ручка. Как не повернуть? Оглянулся — кругом никого. Не устоял, подбежал к ручке и завертел изо всех сил. Повозка захрапела громко, тяжело, словно внутри был спрятан взвод солдат.

Из магазина вышел человек в засаленном кожаном фартуке. П'ан предусмотрительно отскочил на противоположный тротуар.

— Ты что — покататься захотел? Садись, подвезу.

Косые глаза человека в фартуке улыбаются ласково, дружелюбно.

П'ан оскалился: «Знаем вас. Небось манит, чтобы поближе, а там закатить увесистый подзатыльник». Но все же не убежал; на безопасном расстоянии присматривался к владельцу храпящей повозки.

— Ты что трусишь, малый? Садись, не съем, покатаю.

Больно уж захотелось маленькому П'ану покататься. Решил рискнуть. Ударит — бог с ним. Синяк — не беда. А вдруг и правду говорит — покатает. Осторожно приблизился к повозке.

— Лезь сюда. Не бойся. Вот тебе место свободное.

Влез. Добряк тронул колесо. Повозка покатилась. Поехали.

По дороге добряк разговорился. Зовут его Чао Лин. Родом он из Кен-Чоу. Был у него там такой же вот, как П'ан, сынишка, да умер в голодный год, когда Чао Лин был в Европе. И жена умерла. Теперь он в Нанкине — шофер в большом торговом доме.

Был разговорчив и прост. Дал банан и катал до вечера, развозя по городу цветные ящики. Расспросил про родителей. Пожалел. Прощаясь, сунул П'ану апельсин и сказал:

— Приходи завтра в десять к магазину. Покатаю.

Так подружились. Каждое утро в одном и том же месте поджидал П'ан грузную повозку с цветными ящиками, ловко взбирался на сиденье, брал припасенный для него Чао Лином пучок бананов, иной раз и кусок сахарной трости и, аппетитно пожевывая, поглядывал сверху на прохожих.

Вкуснее сахарного тростника, вкуснее бананов были рассказы словоохотливого дяди о далеких заморских странах, в каких ему пришлось побывать на своем веку. Оказалось,— так по крайней мере утверждал бывалый дядя,— земля вовсе не плоская и не кончается морем, а круглая, как лепешка. Выедешь из Нанкина, объедешь весь свет и опять вернешься в то же место, откуда уехал. Было все это странно и чудесно до непонятности. Но дядя божился, что это так, а не верить ему было нельзя — видел все собственными глазами. Говорил, что белые люди доказали это уже давным-давно.

Раз как-то вытащил даже из кармана красивую записную книжку, и в книжке вклеена была картинка — не картинка, а карта всего мира. Два круглых полушария, как скорлупа черепахи, а на полушариях, как на скорлупе,— путаница неисчислимых линий: земля, море, Нанкин, Китай, мир.

Да, это и было несомненно таинственное «куа» — шестьдесят четыре священные линии, которые он, глупый П'ан, напрасно искал на скорлупе пойманной коварной черепахи.

Белые люди разрешили загадку премудрого Фу Хи.

Не обидь его дядя каллиграф, П'ан побежал бы сейчас к нему поделиться ослепительным открытием. Но, вспомнив синяки и разбитый в кровь нос, ощетинился. Обид не забывал.

Зато таинственные белые люди, которых ненавидели все, даже старенький дядя каллиграф, выросли в его глазах

до размеров сказочных всеведущих существ. Дядя Чао Лин рассказал про них много чудных вещей.

Где-то далеко, за много-много ли[1], есть громадные, чудовищные города, где белые люди живут в многоэтажных ящиках; в ящиках этих вверх и вниз мчатся подвижные коробки, вскидывая жильцов в один момент на высочайший этаж. Под землей по длинным проведенным трубам стремглав несутся вагоны, в минуту перебрасывая прохожих на десятки ли. Чтобы белому не трудиться самому, на него днем и ночью на больших заводах работают большущие машины, выбрасывая для него готовые вещи. Хочешь платье — бери и надевай. Хочешь повозку — садись и кати. Ни рикшей, ни лошадей. Все — машина. Странное, тяжелое слово — так и несет от него раскаленным железом; даже для того, чтобы убивать врагов не поодиночке, а оптом — тоже особые машины.

Как-то раз П'ан в изумлении спросил:

— А зачем белые люди, раз им так хорошо у себя, приезжают сюда, к нам, ездить на наших неудобных повозках?

Дядя Чао Лин засмеялся:

— Белые люди любят деньги. Деньги надо заработать. Белые люди не любят работать. Они любят, чтобы на них работали. Там, у них, на них работают машины и свои же, белые рабочие. Но белым людям все не хватает денег. Поэтому они приехали в Китай и запрягли всех китайцев, чтобы те на них работали. Белым людям помогают в этом император и мандарины. Поэтому-то китайский народ и живет в такой нужде, что ему приходится работать и на мандаринов, и на императора, и, самое главное, на белых людей, которым нужно много-много денег, и ему не остается ничего для себя самого.

Значит, против белых людей надо бороться? Значит, они — поработители, как говорил дядя каллиграф? Но как же бороться, когда они познали сущность вещей, разгадали самое «куа», над которым напрасно ломали себе голову и мудрейший Фу Хи, и премудрый Кон Фу-тзе, и тысяча четыреста пятьдесят истолкователей, и дядя каллиграф? Раз у них машины, чтобы все делать, и машины, чтобы убивать, — как же с ними бороться?

И дядя Чао Лин говорил: покамест нельзя. Надо у них учиться. Китайский народ — многочисленнее всех других. Если б он знал все то, что знают белые люди, он был бы са-

[1] Ли — около 540 метров.

мым могущественным народом в мире и не должен был бы работать на белых людей.

От этих разговоров у маленького П'ана кружилась голова и гудело в висках. По ночам ему снились громадные железные города, чудовищные, гигантские машины с зияющими железными ртами, из ртов машин потоком вылетали готовые платья, шляпы, зонтики, экипажи, дома, улицы, кварталы... И пробуждаясь, П'ан мечтал: подрастет, проберется туда,— пешком, конечно, нельзя, ну, скажем, на пароходе,— там подсмотрит, выследит и похитит тайну белых людей, вернется с ней обратно в Китай, повсюду построит громадные машины, а у машин (дядя Чао Лин говорил, что и для машин нужны рабочие) поставит белых людей, тех, что не любят работать, и заставит их работать день и ночь напролет, чтобы отдыхали загнанные, замученные, исхудалые, изголодавшиеся китайцы.

Иногда П'ан с Чао Лином выезжали вместе за город развозить цветные ящики в пригородные поселки, и тогда Чао Лин, смеясь, давал в руки П'ану руль и позволял руководить повозкой. Оказалось, это просто до странности. Под слабой детской рукой повозка послушно катилась, повертывала, ускоряла и замедляла ход, словно не замечала, что руководил ею не Чао Лин, а маленький мальчик П'ан. Называлась повозка А Вто Мо-биль.

Позже оказалось, что это не имя, а фамилия. Имена были другие. Разъезжая по городу, дядя Чао Лин учил его по внешним признакам узнавать имя каждой повозки. Имена были странные, запоминались с трудом: Бра-Зье, На-Нар, Дай-Млер, На-Пьер, Ре-Но.

Однажды по дороге встретился им черный лакированный экипаж, стройный и пышный, как волшебный паланкин, с занавесками на окнах и мягкими серо-бархатными подушками. Назывался еще чуднее: Мер Се-дес. Дядя Чао Лин проводил его влюбленными глазами:

— Вот на такой машине хоть весь свет объезжай!

П'ан заинтересовался:

— Дядя, а в Европу на такой доедешь?

— И в Европу доедешь.

П'ан оглянулся в восторге, но экипажа уже не было. Умчался вдаль.

Питался в это время П'ан главным образом бананами дяди Чао Лина, но иной раз случалось уже заработать несколько тунзеров. Валандаясь по улице, того и гляди подвернешься под руку какому-нибудь дяде — и дело в шляпе: сбегать туда-то с запиской и мигом вернуться с ответом.

Были у него крепкие и на редкость быстрые ноги (по-видимому, унаследовал их от отца, который слыл первым бегуном). Пробежишь рысью два-три квартала и обратно. Заработок готов.

Так и в этот день. Какой-то толстый кондитер послал сбегать с письмами к компаньону. За ответ — два тунзера и пирожное вдобавок. Помчался галопом.

Было это далеко. За городом красивый чистый проспект — зелень, а среди зелени, как игрушечные кубики, — белые особняки. Такого не видел никогда. Шел медленно, забыв о спешности поручения, мечтательно оглядываясь по сторонам. Вдруг — обомлел. У закрытой калитки черный, блестящий, как чудный паланкин, стоит, слегка похрапывая, он — волшебный Мер Се-дес. Не могло быть сомнения, узнал его сразу. Стоит один, тихонько фыркая в песок. Даже шофер и тот куда-то ушел. Стоит лишь вскочить на сиденье, повернуть послушное колесо — и поминай, как звали. Направо, налево — ветвистые линии дорог, как таинственное «куа» на священной скорлупе черепашьей. Впереди, за тридевять земель, — гигантский железный город Е Вро-па.

От волнения даже уронил записку. Оглянулся кругом — ни души. В ушах назойливо звенел голос дяди Чао Лина:

«На такой машине хоть весь свет объезжай».

Колебался. А в голове — словно пчелиный рой.

Нет, не устоять. Изогнувшейся кошкой вскочил на сиденье. Лихорадочными руками включил мотор. Автомобиль плавно покатился. Надбавил скорость. По бокам промчались в бешеной пляске особняки, деревья, развернутая со свистом лента решеток. Впереди — в бесконечность летит длинная межа дороги. Люди опоясали доро́гой земной шар, как треснувший кувшин проволокой. Прощай, Нанкин, пинки, ушибы, недоглоданные кости, злой каллиграф, Янцынцзян со священной книгой «И-кинг». Дядя Чао Лин, прощай!

Вдруг обмер. На плече ясно почувствовал чью-то тяжелую руку. Оглянулся — и оробел. Изнутри кареты, из-за отодвинутого стекла, лез белый душистый человек со свирепым лицом, силясь перепрыгнуть на переднее сиденье. Стальная рука схватила П'ана за шиворот. Автомобиль мчался карьером, мягко подпрыгивая на выбоинах. Перебравшись на переднее сиденье, белый господин вырвал из ру́к у П'ана руль и стал тормозить машину.

П'ан сначала просто испугался и от внезапного испуга выпустил из рук колесо. Но постепенно стал соображать. Белый господин, по-видимому, все время сидел внутри, за занавесками, быть может, дожидаясь шофера. Как это П'ану не пришло в голову посмотреть через окошко внутрь? Теперь все пропало. Убьют наверняка. Одно спасение — улизнуть из рук этого типа и нырнуть в заросли.

Автомобиль остановился. П'ан шарахнулся изо всех сил и хотел ускользнуть, но белый крепко схватил его за шиворот, выкрикивая что-то на непонятном языке: должно быть, ругался. П'ан понял только слово «вор», которое белый от времени до времени повторял по-китайски. Крепко держа П'ана левой рукой, он правой повернул автомобиль. Покатили обратно. П'ан попробовал было укусить державшую его руку, но в ответ получил здоровый удар в подбородок, от которого у него зазвенело в висках.

Ехали молча. У злополучной калитки белый остановил автомобиль и громко позвал кого-то. Из особняка выбежали люди и окружили машину. Белый все выкрикивал непонятные слова. Отчаянно отбивавшегося П'ана схватили и потащили, не скупясь на подзатыльники. Притащив к крыльцу, втолкнули в темную каморку под лестницей и ушли, заперев дверь на замок. П'ан сосредоточенно потирал ушибленный подбородок. Попробовал дверь — крепка, не убежишь. Нечего и пробовать. Крышка!

Через час пришли, выволокли из каморки и понесли наверх. В большом великолепном зале, где пол блестел, как лакированная крышка, сидел белый господин из автомобиля, еще несколько белых и один толстопузый китаец, мандарин или купец, в богато расшитом шелковом халате.

Китаец сразу приступил к допросу по-китайски:

— Зачем крал автомобиль? Кто тебя подослал? Назовешь сообщников — не сделаю ничего. Не скажешь — так отколотят, что всю подноготную выболтаешь.

Молчал. И как же рассказать такому толстопузому про железный город, про скорлупу черепахи, про сокровенную тайну белых людей?

Позвали прислугу. Пришли два китайца с толстыми бамбуковыми тростями. Растянули на столе. Бамбуком стали колотить по голым пяткам. Взвыл.

— Назови сообщников!

Толстопузый, как лягушка, прыгал вокруг и квакал: — Не назовешь — не так еще поколотят.

Колотили долго, с передышками. Не кричал, только взвизгивал. Китайцы — и те уморились. Не добились ничего.

Толстопузый, разводя руками, затараторил по-иностранному с белым господином. Китайцы взяли П'ана под мышки и понесли обратно в каморку. По дороге ласково погладили по лицу. Спросили, очень ли больно? И добавили, как бы оправдываясь:

— Барин велит бить — ничего не поделаешь.

Вечером украдкой сунули в каморку миску с рисом и порядочный кусок пирога.

— На... не плачь. Поешь.

Съел жадно, облизывая пальцы. Задумался. Вот опять били. И завтра, наверное, будут бить. Белые — понятно, враги. А этот, толстопузый? По платью видно — богач. Тоже с ними. Танцует перед ними на задних лапках. Значит, и он враг. Правильно говорил дядя Чао Лин. Не только белые — и свои. Император, мандарины, богачи — все сговорились заодно. Давят. Жить не дают. Все на них жалуются. Вот у белых людей машины, чтобы убивать. Когда вырастет большой, вернется на такой машине — этих надо будет истребить в первую очередь.

Уснул со сжатыми кулаками.

Утром потащили снова наверх. Упирался — не помогло. В зале уже торчал толстопузый. На этот раз не грозился. Притворно-дружелюбно скаля зубы, стал расспрашивать:

— Где отец?

— Нет отца, умер.

— А мать?

— Тоже нет.

— А родственники есть?

— Нет.

— У кого живешь?

— Ни у кого.

Передал по-иностранному белому господину... Долго советовались, покачивая головами. П'ан подозрительно оглядывался по сторонам: не несут ли бамбуковые трости. Не принесли. Наговорившись с белым, толстопузый заговорил по-китайски:

— Ты — вор, и тебе бы, как полагается ворам,— на шею «канг»[1]. Но белый господин — милосердный господин. Белый господин жалеет сирот. Много бездомных китайских сирот он устроил в богоугодные заведения. Поэтому он помиловал тебя и решил больше не наказывать, а поместить в сиротский приют христианских миссионеров, чтобы под

---

[1] Канг — деревянная доска с отверстием, в которое просовывается голова преступника.

их руководством ты познакомился с истинной верой и научился почитать великого христианского бога, который говорил, что кража — большой грех. Иди и поцелуй руку твоему благодетелю.

Окончив эту торжественную речь, толстопузый потащил П'ана за шиворот к руке благодетеля, но мальчик так враждебно оскалился, что белый господин, вспомнив, по-видимому, вчерашний укус, торопливо отдернул руку.

Потом П'ана повели обратно через зал и посадили в тот же злополучный автомобиль; вместе с ним влез толстопузый китаец и другой белый господин, и автомобиль покатился в неизвестном направлении.

В белом каменном доме, куда поволокли из автомобиля упирающегося П'ана, суетилось много белых людей в длинных, странных халатах. В большом зале на стене П'ан заметил большое плоское дерево о трех концах, и на дереве прибитый за руки висел маленький голый человек со склоненной набок головой. Должно быть, так у белых людей наказывают воров. Толстопузый говорил: белый бог запрещает красть. Вот сейчас и его так: зачем крал автомобиль?

Большие окна выходили в сад, а в саду П'ан увидел таких же белых людей в длинных халатах.

Толстопузый и господин, привезший П'ана, беседовали у окна с длинным господином в халате. От белых стен, от страшного человечка, прибитого к дереву, П'ану вдруг стало жутко. Господа, занятые разговором, обернулись к нему спиной. Шагах в пяти чернела спасительная дверь. Сосчитав до трех, П'ан кинулся к ней одним прыжком. Дверь в этот момент открылась, и он шлепнулся прямо в объятия входившему длиннополому белому человеку. Человек подхватил его на руки и понес, хотя он отчаянно отбивался, в глубь белых прохладных коридоров.

И тут П'ану стало ясно, что все пропало, что его запирают в белый прохладный погреб, что не увидит уж он никогда дребезжащих колясок, длинных стеклянных вагонов, пестрых, цветных ящиков дяди Чао Лина, сказочных черных паланкинов на бесшумных одутловатых колесах, и он расплакался громко, по-детски, навзрыд, и плач его долго передразнивали длинные белые коридоры.

Было тогда П'ану десять лет.

* * *

К вечеру оказалось — не так уж страшно. Был тут не один. В длинном зале с койками в два ряда — десятков семь мальчуганов. По крайней мере будет с кем поговорить.

Купали. Мыли. Облачили в длинную рубашку до пят. Вечером, прежде чем лечь, выстроили всех у коек на колени, и все хором протараторили какой-то напев. На стене тот же скрюченный голый человечек, прибитый к трехконечному дереву, пугал гримасой болезненно искривленных губ.

Расспросил соседа по койке обо всем обстоятельно. Очень ли бьют? Сказал: не очень. Что делают? Учат иностранному языку и еще многим другим вещам. Пожаловался на еду: сладкое дают только по воскресеньям. В общем — скучно.

Вошел «отец» в длинной рясе. Сосед тотчас же нырнул в подушку, притворился, что спит, да так ловко притворился, что когда длиннополый, сделав осмотр, ушел,— храпел уже в самом деле. Пришлось с остальными вопросами подождать до утра.

Вытянулсь в первый раз в жизни на прохладной настоящей кровати. Показалось неудобно. Подушка как-то не шла к голове. Откинул ее набок. Зато одеяло понравилось — тепло. Вытянулся поудобнее, задумался.

Что же, вовсе не страшно. Если малый не врет, кажется, здесь просто школа. Учат иностранному языку и другим вещам. Поучиться интересно. Только зачем это белым людям пришло в голову учить китайских мальчиков? Скорее всего — подвох. Надо будет раскусить. Самое главное — выучиться иностранному языку. Тогда можно будет послушать, что говорят между собой белые люди. Авось, проболтаются. Надо быть начеку, смотреть в оба. Разузнать, что удастся.

Уснул, свернувшись в комок, как еж,— пленник во вражеском лагере.

Потом дни и недели. Много странных вещей и чудесных рассказов. Оказалось, человек, прибитый к дереву, вовсе не вор, а самый что ни на есть настоящий бог. Кругленький отец Франциск говорил, что он нарочно обернулся человеком, чтобы пострадать за всех, даже за него, за маленького П'ана. Говорят, его тоже колотили изрядно. Не верилось. С какой стати белому человеку, будь он даже бог, страдать за китайцев? Отец Франциск рассказывал про него много удивительных вещей. Например, когда его колотили и закатили ему одну пощечину, он не отбивался, а подставил дру-

гую щеку. На, дескать, бей, сколько влезет. Словно клоун в балагане на ярмарке. Отец Францизск говорил, что смирение — великая добродетель. Но при чем тут смирение, когда бьют? Не будешь защищаться — забьют насмерть. Вот и этого убили. Просто чудак.

Впрочем, не простой чудак, а хитрый. Все про смирение. Не противься злу. Кесарево — кесарю, а богово — богу. Богу, что ж, богу надо немного, а вот с кесарем-то как? Кесарь — царь, император. Император, известно,— враг. Помогает мандаринам и белым обворовывать народ, чтобы дохли с голода детки дяди Чао Лина. Как же это бог, справедливый и праведный, велит китайцам не противиться императору? Сразу видно — белый.

Вот отец Францизск говорил на прошлой неделе: «Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богачу — в царство небесное». А сам каждое воскресенье принимает от белых богачей подарки всякие — вина да фрукты — и часами любезно с ними беседует, а когда уходят, провожает их до автомобиля, ничуть не смущаясь тем, что они не войдут в царство небесное. Значит, должно быть, не так уж важно царство небесное, раз богачи туда не особенно торопятся, да и сам отец Францизск не видит в этом худа. Видно, не очень уж заманчиво это царство небесное, раз посылают туда одних бедняков.

Нет, не полюбился этот смиренный бог П'ану. Видно, подкупили его богачи да императоры, чтобы уговаривал бедняков к послушанию. И колотить себя он мог позволять для примера сколько угодно. Ведь раз он бог, значит, ему не больно было. И умереть ему, наверно, ничего не стоило. Нет, нельзя верить такому богу. Этот бог — обманщик.

Но притворялся, что верит. Ревностно крестился и откалывал наизусть аршинные молитвы. Все хвалили его. Даже угрюмый сухопарый отец Серафим, и тот нет-нет да — даст иногда апельсин или пирожное. Очень уж усердный малый этот П'ан.

Работал прилежно. По часам, закрыв глаза, зубрил странные иностранные слова. Таблицу умножения в две недели осилил. Чем дальше, тем больше.

К концу года приезжал сам отец Гавриил, старейший из лазаристов[1]. К его приходу два дня мыли да скребли весь приют. Приехал толстый такой, упитанный, еле взобрался на лестницу. Два братца помоложе водили его под руки по комнатам. Беседовал с П'аном. Расспросил про то, про се.

[1] Миссионеры ордена св. Лазаря.

Заинтересовался. Стал спрашивать подробнее. Катехизис — назубок. Похвалил. На прощание дал поцеловать руку и одобрительно погладил по голове. Притаившись у дверей, П'ан слышал, как толстый говорил отцу Франциску:

— Очень, очень способный мальчик. И развит не по летам. Жалко такого в профессиональную школу. Обязательно в гимназию. Я сам переговорю с отцом Домиником.

Отвезли в Шанхай — в гимназию.

В гимназии не только китайцы, но и белые мальчики. Оказывается, и белых учат тому же. Стал учиться еще усерднее. Белые, правда, держались в сторонке, отдельной группой. На желтых поглядывали с презрением. Дразнили: «Косой! куда косу девал?» Однако задачу списать — этим не брезговали. Из-под скамейки ласково потчевали пирожком. Но в перемену — не подходи. Тот, что списывал и пирожок совал, высокомерно отрежет: «Не лезь, байстрюк!»

Однажды П'ан услышал: на большой перемене сговорились переделать в журнале скверные баллы. Курносый с родинкой на щеке украл ключ от учительской. Все баллы переправил. Заметили. Пришли допрашивать. Кто?

Встал курносый:

— Это не мы. Это китайцы. Они нарочно наши баллы переправили, чтобы нам подгадить. Я сам видел, как этот косой украл ключ от учительской.

Указывает на маленького безобидного Ху.

Отец Пафнутий — маленького Ху за шиворот и линейкой по пальцам.

— Вон.

П'ан не выдержал. Подскочил к курносому — и кулаком в морду... бац! Покатились на пол. Еле розняли. У курносого кровь носом и под глазом фонарь с пятак. С раскрашенной мордой поплелся домой. П'ана выволокли за уши и заперли в пустой класс.

После обеда на автомобиле примчался отец курносого. Дородный, душистый, с красной пуговкой в петлице[1].

В канцелярии у отца Доминика кричал, топая ногами:

— Немедленно выкинуть!

П'ан слышал через стенку: отец Доминик извинялся. Оказалось, баллы действительно переправил курносый. Папаша смягчился.

— Наказать на моих глазах. Пятьдесят розог, ни одной меньше!

Послали за дворниками. П'ана потащили в канцелярию. Растянули на скамейке. Стали отсчитывать удары. Белый с

[1] Высшая степень Почетного легиона.

пуговкой в петлице отстукивал такт ногой в изящном ботинке, раздраженно фыркая. На сороковом ударе трость сломалась пополам. Господин с пуговкой не настаивал. Хлопнув дверьми, укатил восвояси. Высеченного П'ана отец Доминик поставил на колени лицом к стене. Простоял так до вечера.

На следующий день объявили: помиловали только за прилежание в науках. Повторится что-либо подобное еще раз — выкинут вон.

Не повторилось. Закусил губы. На прозвища и ругань белых не отвечал. Мимо курносого проходил, не глядя. Только задач больше списывать не давал. И пирожков не брал. Впрочем, больше и не пробовали. Обходили издали.

Так прошел год.

Однажды отец Пафнутий объявил с кафедры: китайский народ низложил императора. С настоящего времени китайское государство — республика.

На улицах как будто ничего не переменилось. По-прежнему катились трамваи, гудели автомобили; мелькая пятками, мчались истекающие потом рикши, таща быстроспицые коляски с белыми грузными господами. В гимназии по-прежнему тянулись уроки, отцы-лазаристы ставили в журнал отметки и на переменах в канцелярии пили крепкий душистый чай с бутербродами. Как же это понять? Китайский народ низложил императора, и вдруг все осталось по-старому, и белые люди не только не убежали из Китая, но даже с каждым месяцем как будто становилось их больше; и о низложении императора говорили они спокойно и одобрительно, словно о выгодном для них деле.

Значит, император тут ни при чем. Но кто же тогда? Дядя Чао Лин говорил еще: мандарины. П'ан не знал точно, остались ли мандарины, и спросить ему было не у кого, но, кажется, остались. Во всяком случае остались богачи и купцы в пышно расшитых халатах. По-видимому, произошла какая-то ошибка. Видно, мало низложить императора, надо низложить и тех, в роскошных халатах, а их-то низложить и позабыли. Как же это могло случиться?

Этого П'ан не понимал и понять не мог, и не было никого, кто бы смог ему это растолковать, а без этого вся жизнь становилась непонятной и нелепой.

Впрочем, сомнения маленького П'ана не отражались на занятиях. Он по-прежнему старательно зубрил заданные уроки, словно искал в трудных математических задачах разгадки мучившей его тайны. Надо изучить все, познать

все, что знают белые люди, и тогда все станет просто, понятно и ясно.

Так проходили месяцы.

Так проходили годы. Есть годы длинные, кропотливые, мучительные, которые проходят, и в памяти от них не остается ничего, пробел,— не потому, что они лишены были собственных, своеобразных происшествий, которыми изобилует каждый день отрочества; просто-напросто в плотном мешке памяти образовалась как будто прореха, и сквозь нее незаметно высыпалось все его сложное содержимое. Оглянешься назад, станешь вспоминать, иной год восстановишь чуть ли не день за днем с мельчайшими подробностями, а вдруг споткнешься — дыра. Год, два, три — роешься, ищешь — не осталось ничего. Общее место: ходил тогда в гимназию; работал тогда на заводе. На таком-то и таком-то. И точка. Из мутной мглы небытия вынырнет какой-нибудь эпизод, мелкий и ненужный: потерянный кошелек, услышанное бессвязное слово, образ — дерево, скамейка, дом,— и расплываются, словно пар. Сколько таких пробелов, и откуда они берутся — как знать? Не страннее ли, откуда берутся в забытом перевернутом ящике памяти все те мельчайшие бирюльки полустертых ощущений, назойливо твердящие, что маленький веснушчатый оборванец, азартно игравший в орлянку и проделывавший всякие гадости, и ты, взрослый, солидный, степенный, умник,— одно и то же, два звена одной и той же цепи, спаянной сомнительным клеем увековеченной в метрической записи фамилии?

В гимназии отцов-лазаристов, на третьем этаже, в трех длинных залах помещалась объемистая библиотека. От полу до потолка по стенам карабкались крепкие дубовые полки, исполосованные корешками томов во внушительных кожаных переплетах. Попадешь туда — и заблудишься, как в лесу, в напрасных поисках просеки. Тропинки и тайные ходы знал в нем один-единственный человек, библиотекарь, отец Игнатий. Учеников в эту обитель пускали, начиная с шестого класса, да и то проникавших в нее легко было пересчитать по пальцам: большинство из них пугала удручающая, беспросветная гуща нагроможденных здесь книг.

Забравшись туда в первый раз, П'ан (исполнилось ему тогда шестнадцать лет) растерялся. Сколько книг, и все необходимо прочесть! Хватит ли на все это времени? Но вскоре ободрился. Сначала кажется много — не одолеешь, а там постепенно убавится. Ведь одолевали же другие,— почему

бы ему не одолеть? Главное, не терять времени! Можно поменьше спать. Шести часов в сутки хватит. Вот и два часа прибыли ежедневно. Решил начать с краю и систематически объехать все полки. Вскоре, впрочем, стал разбираться. Много вздора. Про Исусика всякую белиберду можно просто пропустить. Так постепенно полки редели.

Среди трактатов, среди полемик святых отцов попалась книжка, заинтересовавшая его больше других. Благочестивый отец разоблачал в ней какую-то современную ересь — по имени социализм. Прочел внимательно; прочитав, начал перечитывать сначала.

Есть люди, секта, которые захотели все измерить трудом. Принцип, как у святого Павла: «Кто не работает — да не ест». Отобрать богатства у всех богатых и сделать всеобщим достоянием. Уничтожив частную собственность, воздать каждому по его труду.

Долго и сосредоточенно думал. Потом усердно стал искать более точных сведений. Перерыл всю библиотеку. Не нашлось ничего. Случайно, в сносках одного объемистого сочинения наткнулся еще раз на упоминание о таинственной секте. Автор приводил отрывки из какого-то произведения, по-видимому, главаря и зачинщика вредной ереси. Звали его — Маркс.

Решил раздобыть во что бы то ни стало приводимую книгу. Самолично перерыл весь каталог. Упоминаемого автора не оказалось. Долго не решался спросить у отца-библиотекаря. Наконец, набрался духу. Спросил. Отец Игнатий замахал руками:

— Грех расспрашивать про такие книги. Дьявольское наваждение это. Молись побольше и посты соблюдать не забывай!

Только этого и добился П'ан.

Решил разузнать в книжной лавке. Но решить было легче, чем выполнить. Денег наличными не имел. Раздобыть неоткуда. Продать нечего, ничего собственного не было. Как быть? Долго думал и не мог ничего придумать. Потом просто поднялся и пошел в угол, к запыленным полкам, куда не заглядывал никогда даже сам отец Игнатий. На полках валялись толстые фолианты в старинных, тронутых плесенью переплетах. Взял одну книгу на старинном китайском языке, взвесил в руке, улыбнулся. Кража? Остроумные римляне во вражеской стране называли это: добывать фураж. Кстати, интересно бы знать, каким путем эта книга сюда попала? Можно биться об заклад, что тоже не совсем

по-христиански. С улыбкой сунул книгу за пазуху и проскользнул по лестнице вниз.

В полутемной каморке антиквара в заброшенном китайском квартале пахло плесенью и гнилью веков; пыль на брюхатых фарфоровых вазах, как и подобает пыли, лежала слоями, чтобы по количеству слоев, как по древней сердцевине, узнавать генеалогию времени. Очкастый, близорукий антиквар долго рассматривал книгу, водя по ней носом, словно по запаху страниц желая оценить ее древность. Дал три таэли[1] и книгу унес в конуру.

С деньгами в руке П'ан побежал в европейские книжные магазины. Ни в одном из них книжки не оказалось. Отчаявшись, побрел искать в китайские кварталы. В одной китайской лавке, где были европейские книги, худощавый торговец заявил:

— На складе нет. Можно выписать их Европы. Только за срок не ручаемся. Время там сейчас военное.

Нет, выписывать и ждать, придет ли,— не хотел.

Торговец оказался услужливый. Посоветовал:

— Не хотите ждать? Есть здесь один студенческий кружок. Выписывали через меня несколько экземпляров. Зайдите, спросите — может быть, один уступят.

На клочке бумаги записал адрес.

Помчался обнадеженный. Оказалось близко. Прыгая через ступеньку, взобрался на второй этаж. Открыл ему долговязый молодой человек в очказ.

П'ан изложил цель визита, сослался на торговца. Попросили зайти. В небольшой, убого обставленной комнате тускло горела лампа. Хозяин был разговорчив и любезен. Расспрашивал про то, про се; где учится, в каком классе, какие отношения, не придираются ли к китайцам, много ли белых. Разговорились.

Подошел к полке. Вытащил книгу.

— Маркса вам читать рано. Трудно. Не поймете. Вот почитайте эту книгу. Это полегче. Ознакомьтесь с предметом. А там, придет время, возьметесь и за Маркса.

Денег взять не хотел.

— Нет, не продаем. Почитайте. Прочтете — заходите, дадим другую.

И улыбнулся.

— Этому ведь у ваших отцов-миссионеров не обучают.

П'ан поблагодарил. Крепко, с застенчивой признательностью пожал руку. Очень понравился ему долговязый.

[1] Приблизительно 1 рубль 45 копеек.

Ведь до этого времени ни с кем не беседовал так открыто и запросто. Бегом помчался обратно — не заметили ли отлучки.

Книгу прочел с жадностью. Тяжелые, незнакомые экономические термины, как кости, застревая в горле, мешали понять. Прочел вторично. Показалось куда легче и понятней.

Оказывается, гнет и нищета не только в Китае,— в Европе те же десятки тысяч белых людей давят и обирают десятки и сотни тысяч своих же, белых рабочих и крестьян. Суть не в окраске кожи и не в вертикальных разрезах государственных границ, но в горизонтальных наслоениях классов, спаянных, несмотря на различия языков и нравов, общими интересами совместной борьбы. Трудящиеся и эксплуатируемые всего мира — одна большая семья. И белый и желтый страдают и борются за одно. Точно так же и буржуазия. Недаром китайцы-богачи всегда идут рука об руку с белыми угнетателями.

Было все это ново и поразительно. От взрывающих голову мыслей горели щеки, и расширенные глаза, словно на них надели новые очки, смотрели по-иному: двумя сверлящими буравами.

Прочитав книгу от доски до доски, сбегал к долговязому попросить другую. Поговорили насчет прочитанного. Долговязый объяснил непонятные слова, места потруднее, разъяснил примерами. Незаметно соскользнули на современные темы. Про войну, империализм и прочее. Почему для Китая выгоднее, чтобы выиграла Германия? Впрочем, так или иначе, колониальные аппетиты империалистов на некоторое время несомненно ослабеют. Зато другая опасность: засилие японцев. Вытесняют отовсюду белых. Хотят наложить руку на Китай. Ничем не лучше тех, пожалуй, даже хуже. На заводах эксплуатируют рабочих невероятнейшим образом и платят гроши, многим меньше англичан.

Дал новую книгу и просил заходить.

Книги сменялись книгами; чем дальше, тем яснее. Читал украдкой, по ночам,— ночи были белые, светлые, утром над неоконченной книгой заставал его рассвет. Днем, на уроках, от усталости слипались глаза. Даже отставать стал в науках. Отцы-лазаристы удивлялись, спрашивали о здоровье, качали головами.

Прочитав книгу, П'ан вертелся как на угольях: скорее бы побежать к долговязому. У долговязого познакомился с другими. Студенты. Кружки, доклады, явки. Политическое самообразование. Горячие длинные споры по ночам. Зави-

довал, безумно хотелось самому погрузиться в этот заманчивый мир.

Через несколько месяцев присмотрелись, раскусили, стали оказывать заметное доверие. Как-то раз долговязый предложил:

— Хотите, приготовьте доклад о роли христианских миссионеров как орудия евро-американского капитализма в деле порабощения колониальных народов. Тема, кажется, близкая и хорошо вам знакомая. Прочтете на ближайшем заседании нашего кружка.

От радости весь всколыхнулся. Доклад настрочил обстоятельный, длинный. К сожалению, прочесть не пришлось. Отец Пафнутий заметил таинственные отлучки. Проследил. Днем под сенником нащупал истрепанный, испещренный заметками «Коммунистический манифест» и доклад о миссионерах. Весь налился багровым соком. Задыхаясь, засеменил к отцу Доминику.

П'ана вызвали с урока. В канцелярии отец Доминик, иссиня-красный, теребил злополучный доклад. От ярости даже слова позабыл, только свист вырвался из горла:

— Вон, паршивая овца!

П'ан спокойно:

— Отдайте книжку. Не смейте рвать!

— Я тебе покажу, сукин сын! Стянуть штаны!

Два сторожа подхватили П'ана под мышки, третий моментально сорвал штаны. Бросили на скамейку. Одному исцарапал морду. Подозвали привратника. Били попеременно двумя тростями. Отец Доминик прикрикивал:

— Я тебя, косой черт, научу благодарности!

Избитого швырнули на пол.

— Стягивай рубашку. Все... башмаки... Все наше. По нашей милости. Кальсоны... все стягивай!

Стянули. Оставили на полу голого. Сторож Викентий притащил откуда-то изорванный китайский халат — рубище.

— На, лезь!

Надел. А все в нем кипело. Подхватили под руки:

— Вон!

Рванулся. Хотел ударить. Вывернутые руки затрещали в суставах. В бессилии отцу Доминику прямо в лицо закатил такой плевок, что благочестивый отец завизжал, затоптался, утираясь, всю рясу испачкал.

Потащили вниз, по лестнице, через сад, к калитке, распахнули калитку настежь и с размаху вышвырнули на улицу. Упал на середину мостовой, калитка захлопнулась.

Подошел полицейский.

— Ты что?

П'ан поднялся и, стыдливо закутывая просвечивающее сквозь лохмотья тело, боковыми улочками поплелся к долговязому.

Долговязый пожалел. Куском полотенца обмыл ушибы. Вытащил из ящика пару белья и из угла какое-то старое, потертое платье. Помог одеться. Ночевать оставил у себя.

Дня через два П'ана пристроили. На английском текстильном заводе — чернорабочим. С восьми до восьми. Плата — два мейса[1] в день. Этого и на один рис не хватит. Нашли ночлежку. Дальше уже перебивайся сам. На работу шел бодро, с охотой. Там столкнется вплотную с рабочей массой, с настоящей трудовой жизнью.

В восемь часов вышел с завода ошарашенный и угрюмый. Нет, этого он не воображал. Что книжки, что голод, нужда, абстрактные таблицы статистики? Здесь впервые расширенными от испуга глазами измерил всю бездну человеческого горя, поругания, всю бесконечность простой человеческой муки.

На заводе стояла невыносимая жара, люди работали полуголые, обливаясь потом. Между машинами прохаживались по залу белые мастера с кнутами в руках, и кнут то и дело со свистом взвивался, как змей, над сгорбленной спиной оплошавшего рабочего и плашмя падал вниз с жалобным воем. На сгорбленных спинах, словно отметки отработанных часов, множились красные черты, и пот в этих местах струился алый. Больше половины рабочих составляли женщины и дети, зачастую не старше десяти лет, и по их сведенным от непосильного напряжения лицам лил пот, крупный, как слезы, как непонятные, страшные капли, которыми истекают подчас беспомощные удивленные глаза истязаемых животных.

Огромные машины, подобные чудовищным двуглавым драконам, глотали серые клубы пакли, грязные, как клубы дыма, чтобы через минуту выплюнуть их тягучей слюной длинных волокон, молниеносно наматываемой на вертящиеся волчками катушки. Потом железные пальцы в сотый раз хватали, разматывали эти волокна, растягивали в бесконечность тонкими нитями, и нити, натянувшись до треска, разрывались в воздухе, чтобы тут же перехватывали их, скрепляя на лету мгновенным узлом, живые пальцы работниц. Тогда из брюзжащего рта машины в плевательни-

---

[1] $^1/_{10}$ таэли — приблизительно $14^1/_2$ копеек.

цы громадных корзин посыплются брызгами катушки; и нагруженные корзины потащат куда-то в туман надрывающиеся от чрезмерного груза хрупконогие мальчики.

В воздухе тяжелым туманом носился пух, и в нем, как в облаках едкого дыма, оголенные фигуры людей вздрагивали в лающем кашле, точно извивающиеся в посмертных судорогах тела грешников в аду на картинках из катехизиса.

Да, средневековые художники именно таким изображали ад: только в их аду, кажется, не было детей, или, быть может, изощренный христианский бог, которому надоело истязать взрослых, сотворил с тех пор новый, особый детский ад, а монахи скрыли эту тайну от верующих?

П'ан шел в свою конуру, точно накурившись опиума, с хаосом в голове и свинцом усталости в ногах.

Ночью снились ему исполосованные спины, искривленные мукой рты, глаза, расширенные ужасом и нечеловеческой тоской, среди летающих клубов дыма. Потом сквозь дым стали пробиваться красные языки, все вспыхнуло ярким, ослепительным пламенем, и среди языков огня белый рябой мастер из сушильни с двумя кнутами в руках танцевал танец змей. Наконец, все это растворилось в потоках бессвязной чепухи, выбрасываемых на раскаленный, как горящая головня, мозг мерными водокачками сна.

Через месяц П'ан обжился, привык. От побоев, кашля и воя, от едкого тумана голова больше не кружилась. Глаза смотрели уверенно и строго. Он рьяно принялся за работу: организовывать кружок. Было неимоверно трудно. Днем немыслимо переброситься словом с кем бы то ни было. Каждый шаг вымерен, рассчитан. Вечером, после работы, падающие от усталости рабочие слушали, не понимая.

Пробовал вести беседы по праздникам. Рабочие постарше косились испуганно. На фабрике боялись и вздохнуть погромче. За малейшее слово — не то что за явное сопротивление — выгоняли вон. Как же тут противиться? Сторонились и поглядывали с опаской: не накликал бы беды.

Все же к концу второго месяца удалось сколотить небольшой кружок из молодежи. Работать было невыносимо тяжело. Среди молодежи — большинство неграмотных. Устроил вечерние курсы элементарного обучения. Приходили немногие. После двенадцати часов непосильного труда слипались глаза. Трудные буквы не проникали в головы, затуманенные дымом усталости. Как же таких обучать? Опускались руки.

Среди молодежи неожиданно нашел деятельного помощника. Шестнадцатилетняя шпульница по имени Чен.

Оказалась на редкость интеллигентной девушкой. Училась усердно, перегнала всех. Ревностно агитировала среди товарок. Привлекла в кружок десяток, а потом и другой работниц.

Очень понравилась П'ану. Расспрашивала подробно про все. Жадно запоминала. Вопросы ставила толковые, не детские, обдуманные и точные. Косые умные глаза смотрели кротко и открыто.

Как-то раз по дороге с фабрики рассказала П'ану свою недолгую историю. Она — деревенская. У отца тринадцать детей, а земли всего два му[1]. Дома тяжело. В тринадцать лет отец продал ее старику. Убежала. Пешком пробралась в город. Работала на японской фабрике. Платили мало, нельзя было прокормиться. Теперь работает здесь шпульницей. Тяжело, но все-таки лучше.

П'ан девушек не встречал. У отцов-лазаристов не приходилось. Но бессознательно как-то научился их презирать: рабыни, самки — и только. Сказывались века вражды, наследие поколений. Ругательное слово: женщина.

В этой поражала детская, целомудренная кротость и строгий, не девичий ум, алчная жажда познания, сознательная, непонятная в таком крошечном теле воля к борьбе.

Вечером беседовали подолгу, забывая о еде и усталости. Возвращаясь с явки в свою каморку, вытянувшись на мешке соломы, П'ан вспоминал кроткие простые слова и глаза, расширенные любопытством, и мысленно говорил: «Милая!» Он сам поймал себя на этом. Что же такое? Любит? Какое смешное слово! И что ж это такое, любовь? Половые сношения и дети? Нет, это не то. По-другому. Просто — хороший, милый товарищ. Но чувствовал: нет, опять не то. И, стараясь не думать, поскорее засыпал.

Однажды вечером, кончив работу (был как раз свободный вечер), П'ан задержался у выхода. Вот уж разбрелись последние. Он, наверно, проглядел. Чен, должно быть, занята. Занималась теперь сама с несколькими работницами. Побрел домой — позанимается один. Времени по ночам не терял.

А на фабрике выходившей Чен в узком проходе заступил дорогу рябой широкоплечий мастер. Придирался и преследовал издавна. Теперь не успела закричать — зажал рот широкой косматой рукой. Потащил отбивавшуюся девушку в камору. В отчаянии она укусила его в нос. Уда-

---

[1] Приблизительно $^1/_4$ гектара.

ром кулака между глаз оглушил ее, как лошадь. Повалил на пол и изнасиловал лежавшую в обмороке.

Ушел, утирая платком укушенный нос.

Через несколько дней Чен встретилась с П'аном на заседании кружка. Удивился перемене. Маленькая — стала еще меньше, крошечнее, словно вытянули изнутри поддерживавшую ее пружинку. Глаза, открытые и удивленные, как у обиженного ребенка, смотревшие кротко и прямо, теперь пугливо прятались. П'ан подошел после заседания, спросил, не больна ли. Она виновато улыбнулась. Вышло: не то улыбка, не то вот-вот сейчас заплачет. Сказала: голова болит.

П'ан обеспокоился. Переутомлена. Ясно. Где же такому ребенку работать, как каторжному!

С тех пор встречались редко. Разве что в кружке. Занимались по-прежнему усердно. Но видно было — что-то надломилось. Пробовал заговорить. Она робко отнекивалась. Утомлена. И спешит. Сейчас у нее свой маленький кружок работниц. Нельзя опаздывать — все утомлены. Так ничего и не добился.

А тут вдруг — одна большая нечаянная радость. Принесли газеты. В России — рабочая революция. Вся власть в руках Советов. Руководят коммунисты. Лишь бы только удержались! Рабочее, социалистическое государство по соседству — какой мощный союзник! Думая об этом, легче было работать, переносить неудачи, истязания, чудовищный, нечеловеческий гнет.

Бежали месяцы.

На заводе работа быстро подвигалась. Были уже три кружка из рабочих постарше. Просить подмоги не хотел: людей мало. Все сам. Поспевал с трудом. Свои занятия на время пришлось забросить. Но все же по ночам, когда оставался один, тайно тосковал по прежним беседам с Чен, по кротким, доверчивым глазам, по тихому восторженному голосу.

Однажды вечером — прошло уже незаметно несколько месяцев, выходя, увидел во дворе сборище рабочих. Подошел спросить, в чем дело.

— Шпульница в колодце утопилась.

Дрогнул, расталкивая любопытных, пробрался ближе. Сердце колотилось. Узнал издали. Лежит маленькая, хрупкая, личико посинело, распухло, а в полураскрытых глазах детский, жалобный испуг.

До поздней ночи, потрясенный, скитался по улицам не в силах разгадать жуткую загадку.

Что же случилось? Как же это он мог проглядеть, не позаботиться, не удержать?

Поздно ночью, расстроенный, вернулся к себе в каморку. В каморке на столе — письмецо. Распечатал дрожащими руками:

«Милый! Не осуди. Рябой белый дьявол осилил. Заразил дурной болезнью. Как же жить? Откройся я тебе — ты бы, может быть, его убил. А так — он будет наказан. Я известила властей, что он — виновник. Как страшно умирать, не дождавшись нашей победы! Наверное, уже так скоро! Будет лучше. Милый мой, дорогой. Люблю!»

П'ан заклокотал. Кинулся как очумелый. На пороге остановился. Куда? Убить рябого? Все равно придется подождать до утра. Не раздеваясь, прикорнул на мешке. Мысли неслись чехардой. А внутри — ощутимая, гложущая физическая боль.

Постепенно из хаоса вынырнули мысли правильные, рассчитанные. Что же рябой? Пешка. Колесико громадного механизма. Убить единицу? Вздор! Если дерево закрывает солнце, разве поможет, если сорвешь желудь? Надо срубить ствол. Подкопать у корней. Рухнет. Только твердо продолжать начатое. Не уставать. Стать самому топором. Отточить ненависть, как лезвие, не притупилась бы.

Назойливой болью вернулась мысль о Чен. Маленькая! Такая умница! Все хотела знать, а не знала такой простой вещи, что только китайцы наказывают виновников самоубийства. Китайский закон для белых не писан. Белым на него наплевать. И кому же в голову придет наказать убийцу китайской девочки?

До утра просидел на корточках.

Утром пришел на работу прямой, деловитый, будничный. Вечером в кружке разяснял толково, внятно отвечал на вопросы и, чувствуя десять пар устремленных на него косых глаз, твердо ставил точку:

— Смерть угнетателям!

* * *

К осени удалось организовать на заводе первый отпор. Рабочие отправили в управление фабрики делегацию:

Увеличить заработки. Отменить телесное наказание. Детям и женщинам за равную работу — равная плата.

Делегаты были избиты и выброшены из фабрики вон. Рабочие ответили стачкой. Управление растерялось. Вызвали

отряд солдат и полицию. Солдаты заняли завод. Полицейские приступили к ликвидации зачинщиков. П'ан Тцян-куэй вместе с другими несколькими рабочими был арестован и доставлен в полицию. В полиции с арестованных сорвали сапоги, били бамбуком по пяткам до обморока. Потерявшего сознание П'ана кинули в одиночную камеру.

Выбрался. К побоям привык с детства. Не пугали. Как кот, швыряемый наземь, приучился падать на лапы. Так и тогда: перепрыгнул через высокий забор, отряхнулся и деловито зашагал к окружному комитету.

Дальше — лица, города, заводы... Картины гонят картины, как в ускоренно пущенном фильме. Всего не запечатлеть. Кружки, митинги, стачки, демонстрации, тюрьмы. На пятках мясо пробили до кости. Пролежал два месяца. Два раза был приговорен к смертной казни. Бежал.

Попал в партию Сунь Ят-сена. Пригляделся. Гоминьдан кишел националистически настроенной буржуазией. Отобрать у иностранцев привилегии, принудить к пересмотру невыгодных договоров. А там — все по-старому. Что же общего у них? Покамест одно — общий враг, империалисты. Необходимо использовать. До поры до времени — они союзники. Дальше видно будет. Прогнав иностранцев, можно будет взяться и за этих. Главное — закрепить контакт с рабочими массами. Работал, не уставая.

Учебу пришлось забросить — некогда. Единственная роскошь — газеты. Обнадеживали редко, чаще тревожили. На Западе творилось неладное. Кончилась война. Союзники побороли Германию. Рабочую революцию задавили свои же социалисты. Победители в концессиях отпраздновали победу победоносным воем. Того и гляди — посыплются опять, зальют порабощенный без боя Китай стаями новых, не успевших разбогатеть золотоискателей.

Посыпались. Еще наглей, еще заносчивей, кровожадней прежнего. Измученный Китай встретил их тихим жалобным стоном. Но в низах уже бурлило. Первые несмелые вспышки — глухие отдаленные раскаты надвигающейся грозы.

В Китае становилось все тесней. По пятам борзыми мчались белые и желтые шпионы. Приходилось пробираться по ночам, укрываться по задворкам, как в детстве, когда искал, где бы пристроиться на ночлег незамеченным. Работать становилось все труднее. От бессонницы и усталости слипались глаза, ныли отбитые пятки.

Помощь пришла неожиданно. Выхлопотали друзья. Был откомандирован вместе с группой студентов учиться в Европу.

Знойным вечером, когда грузный пароход неуверенно покачивался на согбенных, истекающих пеной спинах волн, точно громадный, тяжеловесный шкаф на сгибающихся от напряжения спинах носильщиков, П'ан в последний раз окинул взором с палубы убегающие очертания родины. Горло сжалось тоской. Китай уплывал во мрак, как громадная галера, погоняемая тяжелыми взмахами незримых весел. Казалось, в вечерней тишине раздастся тихий заунывный вой косоглазых гребцов, бряцание цепей, свист взвивающегося кнута белого погонщика. На западе — черная полоса ночи. В унынии П'ан облокотился на перила. Куда же плывет эта несчастная страна? Долго ли плыть ей во мраке? И выплывет ли она когда-нибудь на вольный солнечный простор? Или же не увидеть ей никогда долгожданного солнца, которое неуклюжим шаром вышивают по ночам в тоске чахоточные работницы на белых знаменах Гоминьдана?

* * *

В Европу приехал насторожившийся, сосредоточенный, как некогда, будучи мальчиком, когда заползал за костью в конуры злейших собак. Чувствовал: вползал в конуру врага, чтобы унести оттуда драгоценнейшую кость — знание. Этот враг покуда злее и опаснее своих. По сравнению с ним родной толстозадый желтый хозяин казался ему присосавшейся к его телу неповоротливой пиявкой, которую нетрудно оторвать и отбросить. Мучительно, до противности чувствовал он уже там, в Китае, всей своей кожей тысячу других присосавшихся, неустранимых губ. Их нельзя было просто оторвать. От них бесконечными телеграфными проводами тянулись длинные щупальца, опоясавшие половину земного шара и терявшиеся где-то в неведомых каменных дебрях чужого материка. После длинных годов детских мечтаний волшебный морской Мер Се-дес наконец примчал его в таинственное логово.

Впрочем, достижения европейской культуры, поражавшей когда-то детский мозг, не ослепляли уже от природы прищуренных глаз, присматривавшихся ко всему внимательно и строго, оценивая существенное и нужное и вычеркивая непригодное одним взмахом растопыренных кистью ресниц.

От маленького мальчика, решившего прочесть подряд все книги в библиотеке отцов-лазаристов, осталась в наследство неутолимая жажда познать решительно все, изучить все, овладеть до корней сложным аппаратом чужой культуры.

Учился со рвением, залпом глотал книги: изучив, отбрасывал их, как шелуху. Как лунатик по карнизу шестиэтажного дома, прошел, не оступившись, по тенистым коридорам университетов Европы.

По вечерам, избегая людных бульваров, любил углубляться в отдаленные рабочие кварталы, скудно освещенные редкими огоньками фонарей, растворяясь в тусклой оборванной толпе, всматриваться в исхудалые, заостренные, пожелтевшие от нужды лица с ярко обозначенными скулами над впадинами щек.

В истощенном, сером лице ломового извозчика чудилось мелькание спиц двухколесной коляски и босых пяток заезженного рикши, бегущего в этот момент где-то по знойным улицам Шанхая. Сгибающийся под грузом мешка носильщик истекал желтым потом китайского кули. Припухшие, облезлые веки женщины, неуверенно пошатывающейся под тяжестью закутанного в тряпки грудного младенца, смотрели косыми глубокими щелями.

П'ан Тцян-куэй впервые увидел здесь воочию то, о чем много и умно говорили прочитанные книги: есть, кроме родного Китая, с фасадом на Желтое море, еще другой, международный Китай: он всюду, где сгибаются спины, сводятся от усилия скулы, суживаются ненавистью скошенные глаза и где восседает раздобревший величественный хозяин.

В городах, выступая делегатом на митингах местных рабочих организаций, над взволнованным морем голов, он бросал, точно бумеранг, восторженный клич международной солидарности.

Из далекой, мерцающей заревом Москвы красными брызгами летели над миром пламенные слова Ленина; раскаленными угольями падали на порох взрытых, утоптанных стопами победоносных армий залежей классового сознания угнетенных масс и народов. Земля под ногами дрожала от внутренних взрывов, от внезапных сдвигов и оползней пробивавшихся наружу слоев. Из Китая известия приходили отрывистые и смутные, как всполошенные птицы, стаями улетающие с востока, тревожные вестники надвигающейся грозы.

И свершилось. Раскаленный добела котел лопнул под истерический визг всколыхнувшихся парламентов и жалобный вой телеграмм. Из котла взбудораженной лавой, затопляя все на пути, хлынули желтые несметные полки, вздыбленный стальногривый вал мирового прилива. Красное солнце Гоминьдана с серпом и молотом и пятиугольной звездой. Триумфальный поход на север. Города и провинции. По телеграфным проволокам, обгоняя снаряды, мчится крылатое слово: «Победа!»

От мощного взрыва разлетелись по всему миру обломки, вскоре долетели и до Европы. Маленькие белые люди с чемоданами. В глазах — не успевшие еще испариться ужас и недоумение. Испуганно заметались по всему материку. Над бульварами — убегающие в переполохе громадные блестящие буквы световых газет, подгоняемые хлестким вихрем депеш, медленно сложились в одно жесткое, колючее слово: «Интервенция».

П'ан Тцян-куэй на первую весть о революции встрепенулся, захлопнул недочитанную книгу, хотел кинуться на вокзал. Не отпустили. Приказали остаться на посту, бросить учение, закрепить контакт с местными рабочими организациями, готовить отпор европейского пролетариата против вооруженной интервенции империалистов. Подчинился. Понимал: центр борьбы не там. Здесь. В Лондоне. В Париже. В накуренном кабинете Форейн-Офиса, в салонах Кэ д'Орсэ. Отсюда в штабы враждебных армий идут тонкие нити, франки, фунты, инструкции, блиндированные плавающие здания — броненосцы. Сломать хребет врагу одним ударом в позвоночник, натянутый тонким телеграфным кабелем между Лондоном и Парижем. Сломать напором собственных белых рабочих масс, организованных под знаменем защиты китайской революции, во имя светлого лозунга мировой солидарности угнетенных.

Вместо укромных библиотек и прохладных лабораторий — опять жаркие, переполненные залы, митинги, конференции, демонстрации, пламенные статьи на вырванном на лету из блокнота клочке бумаги, душные качающие вагоны, квартиры, ночлежки, бережный полицейский надзор. Выселен из Лондона. В Париже на лестнице, в трамвае, в кафе — зоркие следящие глаза. Замучили донельзя. Традиционные прятки в метро среди выходов, входов, коридоров. Сбил со следу. Так — недели, месяцы, год.

Наконец, отпуск. Разрешили съездить в Китай. Опять качал пароход, уносимый на мощных плечах волн, словно оратор на плечах восторженной толпы. У берегов Китая

преградили путь сумрачные башни броненосцев, наблюдавшие берег сквозь длинные подзорные трубы орудий. Угрюмой тенью омрачили солнечный мартовский день. Но берега купались в солнце, и на берегу, водруженное высоко над грудой столпившихся зданий, трепетало озаренное солнцем знамя Гоминьдана. Завидев его издали, П'ан повеселел.

Шанхай встретил его пожаром, отчаянным барабанным боем, кипящим алкоголем толпы, визгом сирен, воплем и испуганной икотой. Выкуренные из квартир, обезумевшие от ужаса люди босиком, в одном белье, точно призраки, прыгали через головни, чтобы — еще минута — исчезнуть без крика во вспененном желтом водовороте толпы. Празднично одетые рикши триумфально проносили на обломленных оглобельках насаженные на них головы вчерашних пассажиров.

Попал на заседание делегатского собрания. Речи звенели победой, пьянили сильней крепкого рисового вина. В большинстве — левые гоминьдановцы и коммунисты. Вооружить рабочих. Выдвинуть временное правительство из левых. Вся власть трудящимся. Националистические делегаты против вооружения рабочих организаций. Ушли обиженные. Шиш! Не так еще потанцуют!

После Шанхая — Нанкин. Шаньдунские войска сдаются в переполохе без боя. На улицах — необозримые праздничные толпы понеслись, покатились — бешеный ледоход. Пригрело солнце, и вдруг с грохотом сломался, двинулся лед. Кажется, сейчас вот, смятенные бурлящим течением толпы, оторвавшись от земли, поплывут неуклюжими льдинами дома, дворцы, пагоды; понесутся вскачь к открытому, проторенному устью — к победе. Солнце — на растопыренных крыльях знамен, в расширенных восторгом зрачках, в несмелой весенней зелени деревьев, в щебете опьяненных птиц; на фасадах, на лицах — золотая солнечная сажа.

И вдруг...

Глухой раскатистый грохот. Что это? Первый гром приближающейся весенней бури? Над недоумевающей толпой с треском разорвался снаряд. Отчаянный водоворот и крик. Клубок тел. Внезапный яростный отлив. Загородили реку, и взмыленные волны хлынули обратно, напролом. В воздухе — дымящиеся ракеты снарядов. Обстреливают город. Но кто же? Шаньдунцы? Нет, не шаньдунцы.

Налетели первые ошалелые вестники:

— Канонерки! Десант! Американские и французские войска высаживаются на берег.

Все заклокотало. Снаряды над городом реяли метеорами. Направо, налево — грохот падающих зданий и красные фонтаны пламени. Беззащитная, безоружная масса мечется среди рушащихся стен, как ослепленный табун, запертый в горящей конюшне.

Примчались взлохмаченные охрипшие люди:

— Все к арсеналу, за оружием!

П'ан Тцян-куэй не растерялся. Выхватив у первого замешкавшегося из рук винтовку, во главе десятка человек понесся по направлению к порту. По дороге со всех сторон уже сбегались кучками вооруженные солдаты и рабочие, отстреливаясь на бегу. На набережной — свалка. С разбегу П'ан шлепнулся в твердую синюю кучу. Сломалась винтовка. Английский матрос замахнулся на него штыком. П'ан увернулся, кулаком — по бритому затылку. Окровавленное лицо матроса застряло на замке ружья. П'ан выхватил винтовку. На замке — красная каша. Схватил за дуло. Прикладом — наотмашь по белым накрахмаленным шапочкам. Как дровосек ударом топора, расчистил кругом просторную поляну. На помощь — свои. Матросы — врассыпную по каменистым ступеням набережной. Но сзади уже наплывали другие. На бульваре — новая свалка... Прыгая с глыбы на глыбу, П'ан поспешил туда. Вдруг — тоненький жалобный свист. В глазах лепестки — красный вихрь.

Упал легко, без крика, прямой и упругий, как сорвавшийся с трапеции акробат, на растянутую у ног каменную сетку набережной.

Очнулся лишь три недели спустя в грязном военном госпитале, пропахшем йодоформом и крепким солдатским потом. В груди — словно раскаленная игла. Белобрысый лекарь обнадежил:

— Думали, не выкарабкаетесь. Сантиметром ниже сердца.

Расспросил про известия. Оглушили, как удар. В Гоминьдане — раскол, измена. Правые снюхались с империалистами. Изменник Чан Кай-ши приступил на днях к кровавому разгрому рабочих организаций в Шанхае и Кантоне. Лозунг: борьба с коммунистами. Повсюду массовые расстрелы и казни. Нанкин пока что держится, но в новом Гоминьдане — распри. Левые гоминьдановцы в заговоре против коммунистов. Норовят перейти открыто в лагерь контрреволюции. И так далее — длинный перечень невеселых событий, позорных имен и дат.

Утомленный, закрыл глаза. Что же, разве не знал заранее? Придется и против этих. Но все же не думал, что так

скоро. Впрочем, быть может, это к лучшему. По крайней мере все теперь просто и ясно.

Вскоре выбрался из госпиталя. Еще пошатываясь от слабости, сразу окунулся с головой в работу. В деревне. Новые директивы. Овладеть крестьянскими союзами. Способствовать развитию существующих крестьянских организаций. Притянуть в организации молодежь. Содействовать разгрому миньтуаней[1]. Наладить более непосредственный контакт с «Красными пиками»[2]. Курс на аграрную революцию.

Хубей. Хунань. Лачуги. Тележки. Длинные, размокшие, бесконечные дороги. По дорогам, как верстовые столбы — горькие, тяжелые даты. Ухань. Нанкин. Подавили рабочее восстание в Кантоне. Расстрелы. Казни. Липкая невинная кровь.

Одна радость: революционное движение крестьянских масс растет, вздымается, как вал. Только б не устать. Упорным кротом подтачивать плотины. Хлынет — смоет все. Тогда расплата.

Поддерживало еще одно: на севере — гигантский Советский Союз распластался, занял одну шестую земного шара. Перенес интервенции, блокады, годы голода и разрухи. В кольце империалистов, один, утвердился, растет этаж за этажом ввысь. Незыблемыми цифрами статистики упрекает, напоминает, твердит: «Держись, не сдавайся! Строй! Поражения, гнет — все временно. Впереди победа, простор! Не унывай!»

От трудов, невзгод, скитаний заволакивалась туманом голова. Давала чувствовать себя рана. Захворал. Вызвали в центр. Опять в госпитале. Вытащили застрявшую позабытую пулю. Поправился быстро. Накануне выписки принесли приказ: откомандирован компартией в Европу, как знакомый с тамошними условиями работы — разоблачать на месте контрреволюцию.

Уезжал неохотно, но противиться не пытался. В Париж приехал под чужой фамилией.

Вскоре пронюхали. Пришлось опять пробираться по ночам. Запершись в маленьком номере гостиницы на площади Пантеон, П'ан Тцян-куэй передвинул стрелку своих будней. Спал днем, а в город выходил только поздно вечером,

[1] Вооруженная деревенская сила на службе у местных властей, иногда у помещиков.

[2] Мощная крестьянская организация — боролась с бандитизмом, милитаризмом, а также против непосильных налогов.

когда в желтоватом матовом отсвете электрических ламп стирается предательская окраска кожи и под полями шляпы теряются удлиненные щели косых глаз.

В Париже в Латинском квартале китайских националистически настроенных студентов — хоть отбавляй. Втерся незаметно. Был молчалив и серьезен. Постепенно приобрел всеобщее доверие. К весне был уже душой всего движения. Шутливая кличка «Диктатор».

Объявление войны и последовавшее за ним восстание застали его готовым, на посту. Вспышка чумы ошарашила, как удар. Под влиянием эпидемии в городе начиналась разруха. Красная гвардия таяла на глазах. Не успевшие бежать вслед за войсками буржуа злобно поднимали голову, натравливая на рабочую власть население зачумленного города, как на непосредственного виновника постигших город бедствий.

На третий день после вспышки эпидемии вооруженное фашистское студенчество, вырезав ночью слабый отряд красной гвардии, заняло Латинский квартал и объявило его независимой территорией. На мостах, соединяющих квартал с правым берегом, и на периферии квартала сооружены были баррикады для защиты территории от вторжения красных. Ходили слухи, что и в других буржуазных кварталах вспыхнули восстания против рабочей власти, но точных сведений не было, — стена баррикад отрезала Латинский квартал от остального города.

П'ан Тцян-куэй, которому в ночь разгрома чудом удалось спастись от рук разъяренных фашистских когорт, снова принужден был уйти в подполье.

От мысли перебраться в рабочие кварталы он быстро отказался. На территории Латинского квартала помещались единственно уцелевшие университетские лаборатории. Эти лаборатории необходимо было во что бы то ни стало передать в руки парижского совета, который мог бы тогда развернуть планомерную борьбу с эпидемией.

Но завладеть лабораториями было нелегко. Пролетарских элементов в квартале почти не было. Красная гвардия, занятая, по-видимому, ликвидацией контрреволюционных вспышек в других кварталах, в Латинский не торопилась.

Оставалась единственная возможность: использовать антагонизм между довольно многочисленным националистическим китайским студенчеством и французами. Захватить, при поддержке этих элементов, власть на территорию в свои руки с тем, чтобы передать ее при первой возможности, вместе с уцелевшими лабораториями, парижскому совету.

Не теряя времени ревностно принялся за работу.

* * *

Окна — это картины, повешенные на мертвый каменный прямоугольник серой стены дня.

В домах на площади Пантеон[1] — по тридцати шести окон: шесть рядов по шести. В доме № 17 шестое окно в третьем ряду светит всегда днем белизной нетронутого холста, матовой серостью захлопнутых ставней, беспокоит, как задернутый бельмом глаз слепого, упорно устремленный на торжественный каменный профиль Пантеона.

Улицами смеркающегося города проезжали уже вечерние патрули «смертных карет», подбирая в домах и на мостовых тела умерших за день и уведомляя об этом живых сигналом пронзительного звонка, когда П'ан Тцян-куэй, в пижаме и ночных туфлях, толкнул рукой неподвижное крыло ставни и появился в квадрате оконной рамы с полунамыленным лицом. Кончив бриться перед зеркалом, П'ан Тцян-куэй тщательно натер лицо, руки и все тело каким-то прозрачным раствором, долго и усердно полоскал рот, старательно обрызгал из пульверизатора приготовленное белье и одежду. Совершив эти предварительные действия, П'ан Тцян-куэй быстро оделся, натянул на руки серые кожаные перчатки, плотно окутал шею шарфом (дабы возможно меньшая поверхность кожи непосредственно соприкасалась с поверхностью зачумленного воздуха) и быстро сбежал по лестнице вниз.

В маленьком китайском ресторане было в это время людно; нечего было и думать о том, чтобы найти свободный столик. После короткого колебания П'ан Тцян-куэй присел к столику в углу, занятому одиноким старым господином некитайцем, в золотых очках и с седоватой мочалкой неопрятной бородки.

Молча, не глядя на случайного соседа, П'ан Тцян-куэй наклонился над дымящейся тарелкой любимого супа из ласточкиных гнезд.

Он как раз подносил ко рту последнюю ложку, когда почувствовал вдруг чьи-то цепкие пальцы, впивающиеся в его локоть. Перегнувшись через столик, всматриваясь в него поверх очков и краснея, седоватый господин с мочалкой сказал решительным, слегка дрожавшим голосом:

— Простите за беспокойство. Мне необходимо с вами переговорить.

---

[1] П а н т е о н — здание, где хранится прах великих людей Франции.

Подняв глаза от тарелки, П'ан Тцян-куэй посмотрел с удивлением на незнакомого пожилого господина, стараясь вспомнить, видел ли он его когда-нибудь и где именно.

— Вы, конечно, меня не припомните,— сказал пожилой господин, не спуская с П'ан Тцян-куэя глаз.— Вы слишком китаец, чтобы различать лица европейцев. Тем более, что, собственно говоря, в настоящем смысле этого слова мы никогда не были знакомы. Вы изучали у меня в Сорбонне[1] бактериологию и биохимию приблизительно лет семь тому назад. Я — ваш бывший профессор. Отношения, не обязывающие к тому, чтобы их запомнить. Другое дело — я. Я наблюдал вас всех всегда с большим любопытством.

Приезжаете вы к нам в одно прекрасное утро и, стоя еще на ступеньках вагона, как с мостков купальни, бросаетесь головой вниз в бассейн нашего знания, желая переплыть его как можно быстрее, как будто на том берегу ожидает вас какая-то волшебная, вам одним известная награда. В чуждые формы европейской мысли вы втискиваете не вмещающийся в них ваш особый ум с тем же рвением, с каким ваши женщины втискивают свои искалеченные ноги в узкие колодки своих деревянных башмаков. Я уверен, узнай вы когда-нибудь, что люди с более длинными ногами видят лучше, вы бы ни на минуту не задумались отрезать себе собственные ноги и заменить их более длинными протезами.

Вы — самые лучшие, самые прилежные наши ученики и одновременно самые неблагодарные. Обутые в скороходы нашего знания, вы преспокойно оставляете их у порога собственного дома, как пару туфель, чтобы пойти дальше босиком по паркету традиции, вымощенному циновками предрассудков.

Вы как раз были одним из лучших, из самых усердных моих учеников. Понятно, это еще не повод к тому, чтобы после стольких лет возобновлять знакомство при столь изменившихся обстоятельствах.

Когда однажды вы вдруг исчезли, как множество других ваших соотечественников, я думал, признаться, что пути наши не пересекутся уже никогда. Я забыл вас, как забываешь прохожих, с которыми когда-то столкнулся и чей образ улетучивается вместе с вежливым приподнятием шляпы. К сожалению, случилось иначе. Пути наши скрестились еще раз, и с тех пор ничто уже не в состоянии их разъединить. Разве... разве радикальная ампутация.

---

[1] Парижский университет.

П'ан Тцян-куэй присматривался к седоватому господину со всевозрастающим удивлением.

— Простите,— сказал он кротко,— мне, однако, кажется, что вы принимаете меня за другого. Если я изучал когда-то под вашим руководством в Сорбонне бактериологию и биохимию (кажется, это действительно так),— все же могу вас уверить самым торжественным образом, что больше ни разу в жизни я с вами не встречался.

— Нет надобности меня уверять,— сказал седой господин, глядя поверх очков.— Я знаю об этом не хуже вас. Вы действительно со мной больше никогда не встречались. Это я с вами повстречался. Я повстречался с вами в Нанкине в 1927 году. Если вы припомните, в этом году в нескольких провинциях Китая появились массовые случаи азиатской холеры. Бактериологическое общество послало меня туда произвести на месте соответствующие научные исследования. Я поехал тем охотнее, что надеялся повидаться там с моим единственным сыном; он был моим ассистентом и поступил в это время добровольцем в отряд десанта, и его броненосец стоял у берегов Китая.

Гражданская война, охватившая исследуемые мною области, принудила меня искать убежища в Нанкине. Я действительно имел возможность повидаться с моим сыном, судно которого стояло на якоре у входа в город. Но через несколько дней после моего прибытия в городе вспыхнул мятеж. Тогда-то я увидел вас во второй раз. Я увидел вас во главе разъяренной толпы, атаковавшей защищающие концессии войска десанта. Вы тогда, правда, мало напоминали кроткого, трудолюбивого студента Сорбонны, но я, несмотря на это, узнал вас сразу.

Английская концессия, в которой я нашел убежище, была разграблена отступающими китайскими солдатами, и нас, поднятых с постели, в одном белье спешно эвакуировали под охраной высадившихся на берег отрядов на ожидавший в гавани английский крейсер. В числе офицеров этих отрядов был и мой сын. Я с напряженным вниманием наблюдал с палубы в бинокль весь ход завязавшегося боя. Я видел, как из закоулков китайского города ринулась взбешенная толпа, заливая всю набережную. Во главе толпы бежали вы. Под напором разъяренной черни наши солдаты стали отступать. Тогда я увидел моего мальчика. Он бежал с револьвером в руке, останавливая бегущих и заставляя их поворачивать назад. На него наступала озверелая чернь. И я увидел, увидел собственными глазами, как вы

первый подбежали к нему и размозжили ему череп прикладом винтовки...

Я потерял сознание, и меня перенесли в каюту.

С этого времени я остался совершенно один. Одним ударом вы отняли у меня все. Наука, которая до сих пор была для меня воздухом, стала мне внезапно ненавистна. Сколько раз я ни пробовал взяться за работу, всегда у меня перед глазами вставал образ моего сына, и я не в силах был написать ни одной буквы...

Принимая во внимание мои заслуги в науке, мне назначили пенсию, как немощному старику, оставив за мной из милости профессорское жалованье. Я — никому не нужная крыса, питающаяся падалью собственного многолетнего труда.

Эти годы, сидя один в темной комнате, как крот, я много и часто думал о вас. Долго по ночам я искал какой-то мостик от трудолюбивого студента Сорбонны, горящего набожным восхищением, почти ревностной любовью к нашей вековой культуре и знанию, складывающего на ее алтаре накрахмаленные причудливые цветы своего восторга,— до озверелого в своей ненависти кровожадного китайца. Шатаясь вечерами по переулкам, прячась за угол, я смотрел на выходящих из Сорбонны с тетрадями маленьких косоглазых студентов, стараясь прочесть на их лицах тайну этой ненависти. Но лица их бесстрастно улыбались, неживые, точно маски.

В один из вечеров я зашел к своему коллеге, ректору Сорбонны, и в длинном разговоре старался его убедить, что европейская культура, пересаженная на азиатскую почву, как бацилла, перенесенная в другую среду, становится для Европы ядовитой; что Европа, неосторожно просвещая Азию, готовит сама себе гибель. Я доказывал ему, что необходимо, не теряя ни одного дня, закрыть европейские университеты для азиатов. Он принял меня за сумасшедшего и, переменив тему разговора, заботливо проводил меня домой.

С течением времени ваш образ стерся в моей памяти, и, часами сидя с закрытыми глазами, я напрасно старался его восстановить. Ваше лицо проскользнуло куда-то через решето памяти, остались лишь косые суженные глаза и острые скулы, как готовый шаблон рисунка, который надо самому раскрасить.

И вдруг однажды вечером на улице я встретился с вами лицом к лицу. Я узнал вас сразу. Вы шли быстро, рассеянно

и не заметили даже, что я остановился на вашей дороге как вкопанный.

Всю ночь я размышлял над разными способами мести, которая сама давалась мне в руки. На рассвете, не дождавшись дня, я отправился в полицию и велел вас арестовать.

Мне отвечали уклончиво. Указывали на недостатки улик и обещали навести справки. Я чувствовал, что затевать процесс будет бесполезно, так как многие считают меня безумным.

Тогда я понял, что мне остается единственный выход, что я должен вас убить.

Возвращаясь домой, я купил в оружейной лавке шестизарядный револьвер и отправился искать вас. Я стал ходить в китайские рестораны, надеясь встретить вас там. Мое предчувствие не обмануло меня. Две недели тому назад я действительно встретил вас наконец в этом ресторане. Однако я убедился в этот вечер, что убить человека вовсе не так легко, как кажется. По-видимому, для этого необходимы тоже какие-то прирожденные способности или по крайней мере привычка. У меня же нет ни того, ни другого.

Вот уже две недели я хожу за вами по пятам, поджидаю вас вечером перед вашей гостиницей, ужинаю вместе с вами в этом ресторане, следую за вами, как тень. И не умею вас убить.

Другие делают это так просто, между прочим. Быть может, не надо об этом думать, и тогда это выходит само собой, экспромтом. Я же все об этом думаю. Каждый вечер, провожая вас домой, я клянусь, что завтра уже сделаю это наверно. Но «завтра» кончается так же, как «сегодня».

Я очутился в таком положении первый раз в жизни. Я никогда никого не убивал. Так уж как-то вышло. Не был даже никогда на войне. Читая когда-то в газетах описания десятков убийств, я и не представлял себе, что это так трудно. Утром, когда, проводив вас к гостинице (я приспособился к вашему образу жизни), возвращаюсь домой, я вытаскиваю из углов старые газеты и внимательно читаю описания всевозможных убийств. Я думал, что ко всему необходимы определенные, хотя бы простейшие подготовительные знания. В этом случае, однако, они пригодиться не могут. По-видимому, как знание теории живописи вовсе не означает еще умения писать картины, точно так же изучение истории всех убийств от сотворения мира не может никого научить практике единственного собственноручного убийства. По прошествии двух недель я уже потерял надежду, что сумею вас когда-либо убить.

Вспышке чумы я было в первую минуту обрадовался как простому непредвиденному выходу. Я надеялся, что она заменит меня, что, придя вечером к вашей гостинице с обычным непреклонным намерением убить вас на этот раз уже наверное, я наткнусь на ваш труп, который будут выносить санитары.

Однако не сегодня-завтра я могу умереть сам. Может случиться, что я умру раньше вас. Может случиться также, что я умру, а вы уцелеете. Этого допустить нельзя. Сегодня я поклялся, что убью вас непременно.

Я пришел сюда нарочно раньше обыкновенного, чтобы занять столик позади того места, куда вы садитесь обычно. Я решил, что сзади мне легче будет убить вас. Но вы как раз сегодня опоздали и подсели в первый раз к моему столику. Я чувствую, что опять не убью вас.

Я решил испробовать последнюю возможность. Мне кажется, я не смогу вас убить, пока буду знать, что вы не догадываетесь ни о чем. Если я буду уверен, что вы знаете об угрожающей вам опасности и сможете защищаться, думаю, что это удастся мне легче. Поэтому я решил открыть перед вами все. Берегитесь. Защищайтесь. Сегодня при выходе из этого ресторана я вас убью.

Профессор замолчал, видимо, возбужденный, не спуская с П'ан Тцян-куэя взгляда своих серых глаз, поблескивающих за стеклами очков.

П'ан Тцян-куэй наблюдал его минуту с любопытством.

— Хотите ли вы, чтобы мы вышли сейчас же? — спросил он спокойно, вытирая салфеткой губы.

— Как вам угодно,— любезно ответил профессор.

П'ан Тцян-куэй молча уплатил по счету и встал из-за стола. В дверях он уступил дорогу профессору. Минуту оба церемонно спорили, кто должен выйти первым. Наконец первым вышел профессор.

Очутившись на улице, оба некоторое время шли рядом в молчании. После пяти минут молчаливой ходьбы улица, которой они шли, внезапно оборвалась, ударяясь о каменную ограду набережной. Внизу отблесками огней мерцала Сена.

П'ан Тцян-куэй и профессор нерешительно остановились.

— Скажите мне, пожалуйста,— сказал наконец профессор, протирая платком вспотевшие стекла очков.— Скажите, пожалуйста. Я не могу этого понять. За что, собственно говоря, вы нас так непримиримо ненавидите? Нас, которым вы стольким обязаны, у которых вы постоянно в долгу?

Я не перестаю об этом думать и не в состоянии дать себе на этот вопрос ответ. Убив вас, я никогда об этом не узнаю. Растолкуйте мне это, если вам не трудно.

Облокотившись о каменные перила набережной, П'ан Тцян-куэй говорил ровным, бесстрастным голосом:

— Евро-азиатский антагонизм, о котором ваши ученые исписывают тома, доискиваясь его первоисточников в недрах исторических и религиозных наслоений, разрешается без остатка на поверхности обыденной экономики и классовой борьбы. Ваша наука, которой вы так горды и которую мы приезжаем к вам изучать, не служит господству человека над природой, а является лишь орудием для эксплуатации рабочих и для порабощения более слабых народов. Вот почему, ненавидя ваш строй, мы так ревностно изучаем вашу науку; только лишь овладев ею, мы сможем сбросить с себя ваше ярмо. Ваша буржуазная Европа, так много распространяющаяся о своей самодовлеющей культуре,— в сущности, лишь маленький паразит, присосавшийся к западному боку громадного тела Азии и высасывающий из него последние соки. Это мы, садящие рис, разводящие чай и хлопок, являемся, наряду с вашими трудящимися, истинными, хотя и косвенными творцами вашей культуры. К запаху вашей культуры, отдающей на весь мир тяжелым потом ваших рабочих и крестьян, примешивается еще запах пота нашего китайского кули.

Сегодня роли наши меняются. Европа, ваша хищническая Европа, подыхает, как кляча, сломавшая ногу у последнего барьера. Подыхает, не успев всего сожрать, с парализованной, благодаря чрезмерной жадности, глоткой.

Сладко смотреть на смерть врага, прокравшись за его спиной внутрь его дома, видеть в его расширенных ужасом зрачках крошечное отражение собственного лица. Я видел одного из ваших зачумленных буржуа. Его выносила из дому санитарная прислуга; он был уже почти синий. Когда его захотели положить в общий воз, он вырвался с криком: «Не кладите меня туда. Там — зачумленные». Его поместили туда силой. Он метался, отбивался, кусался; когда же его втолкнули наконец и захлопнули дверцы кареты, он вдруг окоченел и посинел. Страх перед смертью ускорил приближавшуюся слишком медленно смерть.

Я посмотрел в эти глаза, расширенные смертным ужасом, и понял тогда, что это он является мотором и рычагом всей вашей сложной культуры. Этот страх, этот инстинкт утвердиться во что бы то ни стало, наперекор логической неизбежности смерти, побуждал вас делать нечело-

веческие усилия, высекать свое лицо на таких высотах, где не смогла бы его смыть всепоглощающая река времени. Я думал еще, что вырвать трудовую нашу Азию из ее тысячелетней оцепенелой спячки под фиговым деревом буддизма можно, только привив ей эту сыворотку европейской культуры. До сих пор буржуазная Европа посылала нам своих торгашей и своих миссионеров. Христианство, колыбелью которого была Азия, стало ядом, который убил богатую римскую культуру и погрузил народные массы Европы на долгие века во мрак варварства. Но буржуазная Европа даже этот яд косности сумела переварить, извлечь из него силу действенности, обезвредить для себя, использовать его как орудие эксплуатации других. Сегодня запоздалым реваншем она вывозит его к нам. Не будучи в состоянии сделать из нас собственную концессию, она хочет сделать из нас концессию Ватикана. Христос — это коммивояжер, агент на жаловании у эксплуататоров.

Все ваши замысловатые строения казались мне всегда особняками без фундаментов, воздвигнутыми какими-то безумными архитекторами на не остывающей ни на миг, беспрерывно бурлящей лаве. Эта лава — ваш собственный пролетариат, наш лучший и самый верный союзник. Через несколько лет на безыменной и молчаливой могиле вашей Европы-хищницы вырастет новая Европа — трудящихся и угнетенных, с которой Азия договорится легко на интернациональном языке труда.

Старая ростовщица не успела даже составить своего завещания. Но завещание это, хоть и ненаписанное, существует. Ее наследниками, наряду с вашим пролетариатом, должны стать мы.

П'ан Тцян-куэй умолк. Минуту слышен был только плеск воды, разбивающейся внизу о быки моста.

— Вы ошибаетесь, — сказал наконец профессор. — Вы слишком слабы, чтобы унести на своих плечах тяжесть ее наследства. Если умрет Европа, если погибнет ее интеллигенция, с ней вместе погибнут все плоды ее культуры и промышленности. И тогда вы неизбежно погрузитесь вновь в свою вековую спячку, так как не станет этого последнего возбудителя. Неужели вы действительно думаете, что эту роль может выполнить наш пролетариат, что, объединившись с ним, вы овладеете сокровищами нашей культуры? Но на что, кроме бессмысленного разрушения, способна грубая, неотесанная чернь? Лишившись своих хозяев, наши «трудящиеся» очутятся в положении стада, потерявшего своего пастуха. Жалкие в своей беспомощности, они впадут

во мрак варварства. Неспособные ни на какое действенное усилие, они не смогут унаследовать даже один Париж и предохранить его от разрухи своими собственными силами.

— Однако так будет, и в самое ближайшее время. Вы сможете вскоре убедиться в этом собственными глазами.

— Вздор. Бьюсь об заклад, что нет.

— Принимаю.

— Пари слишком отвлеченно, чтобы кто-либо из нас имел шансы его выиграть.

— Можно сделать его более конкретным: если после прекращения эпидемии весь Париж через неделю не будет опять в руках рабочих, признаю, что я проиграл.

— Согласен. Единственное условие: в момент проигрыша вы обязываетесь пустить себе собственноручно пулю в лоб.

— Идет.

— Может случиться, что я умру, не дождавшись решения нашего пари. Это не меняет сути дела. Пари остается в силе.

— Остается в силе.

— Если выиграете вы, обязуюсь пустить себе пулю в лоб я сам.

— Это совершенно лишнее,— возразил П'ан Тцян-куэй.— Если выиграю я, вы обязуетесь снова взяться за свою научную работу и стать лояльным профессором бактериологии в нашем, рабочем Парижском университете. Вы обязаны также способствовать всеми вашими силами и знаниями ликвидации эпидемии, так как только при условии ее прекращения наше пари становится обоюдно обязующим. Вам будут предоставлены для этого полная возможность и необходимые средства. Вы один из крупнейших бактериологов, и вы должны найти необходимую прививку.

— Согласен. На всякий случай, во избежание затруднений при выполнении условия пари, разрешите поднести вам уже сегодня этот револьвер. Быть может, он послужит вам талисманом.

П'ан Тцян-куэй с улыбкой сунул револьвер в карман.

— С настоящего момента вы обязаны смотреть за собой и принимать все предохранительные меры, чтобы не заразиться и не умереть, если, как честный должник, вы не хотите стать неплатежеспособным. Прошу вас, во всяком случае, дать мне вашу визитную карточку с адресом, чтобы я знал, где получить у вас то, что мне причитается.

Профессор на вырванном из записной книжки листке записал карандашом адрес.

* * *

Ночью Латинский квартал стал ареной новых боев, исключительных по своей жестокости. Отряды китайских студентов заняли Сорбонну и арестовали фашистское студенческое правительство территории. Арестованные были расстреляны здесь же, во дворе Сорбонны. Численно преобладающие фашистские когорты французских студентов были вырезаны до утра с поразительной систематичностью.

Наутро на стенах опустевшего Латинского квартала появилось лаконическое воззвание к населению. Воззвание извещало, что Латинский квартал временно объявляется китайским сеттльментом. Французское население может оставаться на территории квартала при условии беспрекословного подчинения распоряжениям комиссара сеттльмента. Малейшее сопротивление установленной власти будет караться высшей мерой наказания.

Воззвание подписал комиссар сеттльмента П'ан Тцян-куэй.

VI

На Сакре-Кер гудели колокола.

С костелов Сен-Пьер, Сен-Клотильд, Сен-Луи, с маленьких разбросанных костелов квартала Сен-Жермен отвечали им плачевным перезвоном колокола католического Парижа.

Глухие слезливые колокола били над городом свинцовыми кулаками в свою вогнутую медную грудь, и из глубины костелов отвечал им грохот судорожно сжатых рук и горький набожный гул. Служба с выносом дароносицы непрерывно справлялась бледными, падающими от усталости аббатами.

В православной церкви квартала Пасси митрополит в золотом облачении густым голосом читал евангелие, и сладко, по-пасхальному перезванивались колокола.

Париж лопнул вновь по широкому шву Сены, когда-то наспех сшитому белыми нитками мостов.

На двух концах моста Иены, на фонарях трепещут два флага: трехцветный флаг Российской империи и белый с золотыми лилиями флаг Бурбонов — временная граница двух монархий.

По пустой перекладине моста к центральным быкам взад и вперед звонким размеренным шагом, с ружьями на плечах, прохаживаются четыре мальчика: два по одну сторону моста, два по другую.

На солдатских фуражках мальчиков в защитных рубашках блестят вытащенные откуда-то из нафталина начищенные мелом до лоска двуглавые царские орлы, поглядывая свысока на скромные, почерневшие бурбонские лилии молодых королевских камло.

Вася Крестовников нетерпеливо передвигает на плечо ружье. Ружье тяжелое, невыносимо давит плечо. Может быть, снять? Нет, неловко. И Вася пружинным, звонким шагом измеряет мост с выражением непоколебимой серьезности на румяном, пухлом лице.

Несмотря на все, он решается наконец снять ружье. Вот только дойти до центральных быков, а там можно будет, без ущерба для престижа, поставить приклад на землю и опереться на дуло. Вид при этом получается серьезный и даже какой-то монументальный. Ему приходилось не раз видеть на картинках солдат на посту в этой позе.

И Вася, с выражением невозмутимого равнодушия, живописно опирается на штык, небрежно выдвигая правую ногу в блестящем лакированном сапоге.

Сколько раз, однако, глаза его нечаянно встречаются с глазами синего часового, стоящего по ту сторону моста. Вася не выдерживает, и из-под маски несомненной важности проскальзывает шаловливая улыбка. Как смешно: вчера еще — товарищи, играли под партой в железку, а после уроков — в теннис, теперь же — гвардейцы, стоящие на страже двух различных государств, развертывающихся по обе стороны моста, правда не враждебных и в некоторой степени даже союзных, но все же различных.

По примеру Васи молоденький щеголеватый камло тоже опускает винтовку и небрежно опирается о штык. Хочется закурить, но нельзя — на посту!

И оба шестнадцалетних мальчика, облокотясь на ружья, спиной к перилам, степенно смотрят в пространство: два оловяных солдатика на картонном мосту на фоне дорогой декорации из папье-маше, удивительно напоминающей Париж взрослых.

— Что это у вас вчера были за галдеж и стрельба? — как бы вскользь спрашивает синий камло, который не прочь немного поболтать.

— Да ничего, пустяки,— отвечает по-французски Вася.— Перебили вчера немного жидов. Хлеб жрут и еще заразу разносят.

Вася оглядывается — не видит ли кто — и, опустив руку в карман, вытягивает оттуда толстый золотой портсигар: как не похвастаться перед товарищем?

— Видишь, какую штуку отобрал вчера у одного. Наверное, в России стибрил, чекист! Двадцать папирос входит.

И, угадывая слегка брезгливую складку в уголках губ товарища, торопливо добавляет:

— Ты не можешь себе представить, какие это мерзавцы. Вчера мама на одной еврейке узнала свое собственное колье. В Москве из сейфа украли. Это у них называется: «конфисковали». У мамы «конфисковали» таким манером все драгоценности. Осталось одно обручальное кольцо.

Камло смотрит с легоньким презрением. Знает: отбирать драгоценности, даже у евреев, нельзя — кража. Знает больше: это русский, «варвар». И в злой, презрительной улыбке кривятся губы камло д'Эскарвилля.

В конце моста с французской стороны появляется вдруг кучка солдат, ведущих какого-то человека в сером. Камло д'Эскарвилль с ружьем на плече размеренным шагом, не спеша, направляется в их сторону. Вася смотрит с любопытством. Группа камло вместе с д'Эскарвиллем приближается к середине моста. Вася теперь уже ясно различает юношу в сером пиджаке с явно семитским носом. Камло д'Эскарвилль объясняет:

— Перебежал ночью с вашей территории на нашу сторону. Патруль поймал его на улице и отсылает обратно.

Вася от восторга даже глаза зажмурил: жид! Убежал, обманув караул!

— Дайте-ка я отведу его к ротмистру.

Камло козыряют и уходят. Вася поручает товарищу остаться на посту. Он поведет беженца.

Худой, высокий еврей,— быть может, годом старше Васи,— молчит, только сгорбился как-то, голову втянул в плечи, как нахохлившаяся птица; беспокойный взгляд так и бегает за Васей, точно такса.

— Марш вперед! Попробуешь бежать — пулю в затылок!

Еврей не пробует бежать. Послушно идет в перед. Только голову втянул еще глубже в плечи, и пара слишком длинных рук, как переломанные крылья, беспомощно болтается по бокам.

— А Вася мечтает: сам лично приведет арестованного к ротмистру Соломину. Ротмистр посмотрит, щелкнет хлыстиком по голенищу, скажет: «Сла-авно!» Вася даже грудь выпячивает от горделивой радости. С ротмистром Соломиным — хоть в огонь. Вся молодежь от него без ума. Храбрый офицер. Еще в армии Врангеля бил большевиков. Те, кто знал его, говорят: «Храбр, как черт». А как стреляет! Ла-

сточку на лету бьет. Вася видел вчера собственными глазами: сидел на столике, на террасе кафе Рю-де-ля-Помп, и удирающих евреев, пуская их на пятьсот шагов, хлопал как уток, ни разу не промахнувшись.

Будет потеха! Еще направо, за угол.

Вася видит уже издали. На террасе бистро, напротив ставки, сидит ротмистр Соломин в обществе четырех офицеров. Пьют со вчерашенего вечера. Вася упругим шагом пересекает площадь и задерживается у террасы.

— Ваше благородие, честь имею доложить: привел беженца. Утек вчера ночью, обманув стражу, на ту сторону Сены. Пойман на улице и доставлен к нашим передовым постам.

— Сла-авно! — говорит ротмистр Соломин, поднимая взор, под которым Вася вытягивается в струнку.— Дать его сюда, поближе.

Офицеры чувствуют: будет потеха. Ротмистр — весельчак, умеет позабавиться. С любопытством подсаживаются ближе.

Худой веснушчатый еврей дрожит как лист.

— Ближе,— повторяет ротмистр Соломин.— Отвечать коротко и толком. Какого вероисповедания?

Еврей молчит. К чему говорить? Все равно — крышка.

— Вероисповедания иудейского?

Офицеры, предвкушая удовольствие, разражаются громким смехом.

— Что же это — немой, что ли? Или просто не знает правил вежливости? Спрашиваю: жид?

— Нет...

В ответ долгий взрыв хохота развеселившейся компании.

— Подождите, господа. Что же здесь смешного? — говорит нараспев ротмистр Соломин.— Нос ничего еще не доказывает. Иногда, бывает, мама заглядится. Раз говорит нет, значит — нет.

Офицеры покатываются со смеху, влюбленными глазами глядя на ротмистра Соломина.

— Перекрестись,— говорит с расстановкой ротмистр.

Мальчик судорожно сжатыми пальцами пытается перекреститься. Дрожащая рука не попадает на плечо, ошибается, чертит в воздухе какой-то странный излом.

Новые раскаты хохота приветствуют это движение.

— Не совсем так,— говорит с невозмутимым спокойствием ротмистр Соломин.— Это бывает с непривычки. Еще раз, медленно да точно.

Мальчик чертит рукой более или менее правильный зигзаг.

— Вот сейчас было уже гораздо лучше. Ну что, не говорил я вам? Нос еще ничего не доказывает. Сразу видно — православный. Чтобы больше не сомневаться, спустите-ка ему, хлопцы, штаны.

Мальчик жестом стыдящейся грации зажимает руками около стыдливого места. Вася и еще два нижних чина бросаются расстегивать ему брюки. Мальчик старается вырваться; содранные силой штаны беспомощными бубликами соскакивают на землю под взрыв всеобщего хохота.

— Вот как! — восклицает с притворным возмущением ротмистр Соломин. — Я тебя здесь, можно сказать, собственной грудью защищаю, на слово тебе верю, а ты, брат, лгать? Крест святой некрещеной рукой поганить? От собственной веры отрекаться? Этого, брат, я от тебя не ожидал.

Мальчик судорожно подбирает и застегивает непослушные брюки. Долго не может нащупать нужной пуговицы.

— Пошарьте-ка у него в карманах, хлопцы, — говорит ротмистр Соломин.

Три пары жадных рук проскальзывают за пазуху, выворачивая боковые карманы, отрывают подкладку новенького пиджака и, торжественно вытащив оттуда какую-то тетрадку — советский паспорт, протягивают его ротмистру.

— Да-а-с, — нараспев говорит Соломин. — Так надо было говорить сразу. Попросить: пропуск в Бельвиль. Почему бы нет? Где же это видно — вдруг бежать ночью, да еще паспорт в подкладку зашивать? Нехорошо. Ну, смотри, чтобы это было в последний раз.

Ротмистр Соломин возвращает паспорт.

— Положить это ему, хлопцы, обратно в карман. Ну, а теперь удирай.

Мальчик не понимает, смотрит расширенными от недоумения глазами на ротмистра.

— Беги. Да не попадайся мне больше на глаза.

Еврей делает неуверенный шаг вперед. Останавливается. Смотрит на улыбающиеся лица офицеров, оборачивается и пускается бежать вдоль стены, сначала медленно, нерешительно, потом все быстрее и быстрее. Вот уж он почти на углу...

— Подожди, — кричит ему вслед ротмистр Соломин.

Мальчик останавливается, оборачивается испуганно.

— Подожди. Я забыл поставить на твоем паспорте штемпель, — говорит ротмистр Соломин, посылая ему вдогонку пулю из маузера...

Еврей падает навзничь с неуклюже растопыренными руками.

Вася дело знает, ловит на лету. Перевесив винтовку через плечо, он бежит к месту, где лежит мальчик, наклоняется над ним и вытягивает из-за пазухи какую-то вещицу; размахивая ею в воздухе, он бегом возвращается к офицерам.

— Прямо в середину,— кричит он издали, потрясая маленькой красной книжечкой.

Обтрепанный советский паспорт прострелен посередине; вокруг отверстия от пули красным ободком штемпеля засохла кровь.

Офицеры, одобрительно бормоча, передают из рук в руки красную книжечку.

— Ну, пойду спать,— отодвигая стул, пощелкивая хлыстиком по голенищу, говорит ротмистр Соломин.— Советую и вам, господа, сделать то же самое. Через два часа я должен поспеть в Бурбонский дворец. Выспаться тоже ведь когда-нибудь надо. До вечера.

* * *

В удобном одноэтажном особняке, дверь которого открыл ему денщик, царил тенистый полумрак от спущенных штор. Соломин вытянулся на мягком шезлонге и дал стянуть с себя сапоги. Хлопоча вокруг него, денщик на цыпочках принес подушку, потом бесшумно улетучился из комнаты, закрыв за собой дверь.

Соломин медленно погрузился в мягкое блаженство пушистой, как ковер, тишины. Не так давно он начал пользоваться благодетельной атмосферой комфорта, и, попадая в нее, он таял каждый раз, как лепешка сахарина в крепком, довоенном русском чае.

С высоты мягкого, утопающего в коврах шезлонга под молочной луной хрустальной лампы длинные годы мытарств казались ему каким-то скверным немецким фильмом, виденным в третьеразрядном прокуренном кино. История этого фильма простая, банальная, в банальности своей едкая, как махорка. Такие картины демонстрируются десятками в загородных киношках, выжимая слезы из глаз сентиментальных швей.

Сын штаб-офицера. Материнское имение под Москвой. Детство (обыкновенно это показывают в прологе): дорогие игрушки, гувернеры и гувернантки. Отрочество: гимназия. Книжки и марки. Летом в деревне — утки. Первые любовные

утехи — главным образом дворовые девки, под руководством опытного управляющего. И все другое, как полагается.

Университет. «Москва ночью». Пополнение прорех в эротическом образовании. И вдруг — в самый, можно сказать, пикантный момент — мобилизация.

Военное училище. Фронт. Ранен. Лазарет в тылу. Сестрички. Бездна наслаждений под скромной власяницей самаритянки. Опять фронт. Вторая линия. Скука разоренных местечек. Спирт и карты. В моменты жажды экстаза — евреечки. Глухие вести с тыла. Революция. Комитеты и товарищи. Отпуск. Москва. Прелесть мундира и связанные с ней сладости. И опять шок — Октябрь.

Скитания по квартирам. Последние убежища. Серая солдатская шинель и руки в саже: лишь бы без маникюра и обязательно с мозолями. Папу расстреляли. В имении — совет. Землю поделили начисто. В усадьбе, там, где воспоминания детства,— школа, деревенские сопляки.

Бегство. Поддельные бумаги. Крым, Врангель. Наступление. Реванш за «поруганную Россию». Отвоеванные местечки. Контрразведка. Счеты с большевиками. Расстрелы. Коммунисты и комсомольцы. В свободные минуты — евреи. Жидовочки: дуло к виску — и в очередь... Липкая вонючая кровь.

Эвакуация. Поспешная, унизительная, как бегство. Города и люди. Константинополь. София. Прага. Ликвидация пособий. Голод. В Париже будто бы вербуют белых офицеров в армию Чжан Цзо-лина. Приехал. Враки — ничего подобного. Без средств. Турне по эмигрантским комитетам. Пособий не выдают. Таскал чемоданы на Северном вокзале. Работал на автомобильном заводе у Рэно как чернорабочий. Сократили. Опять на мостовой. Ночлежки под мостом. Единовременное пособие. Шоферский экзамен. И, как венец многолетних скитаний,— бессмертное, историческое такси.

С такси выжить уже было можно. Хуже — унижения. Париж кишел знакомыми. Папиными и его собственными. Не все приехали ни с чем. Некоторые, наоборот, ухитрились привезти кое-что покрупнее. В Париже с деньгами — не трудно. Поосновывали предприятия, делают дела. У многих уже собственные машины. Другие днем и ночью разъезжают на такси. Неприятные, затруднительные встречи. Возя знакомых и протягивая руку за чаевыми, отворачивал лицо в сторону. В записной книжке: адреса всех публичных домов и домов свиданий.

Среди знакомых не только мужчины, зачастую и женщины. По вечерам перед «Флоридой»[1] — пьяные, в обществе общипанных французиков, на такси в отель. Другие даже не в отель — на месте, в такси. Сиденье мягкое — все удобства. В Москве была гимназисткой: косичка, неприличного словца не выговорит вслух, папаша — тайный советник, и все как полагается. Вся Этуаль — один сплошной дом терпимости. Не осуждал. Что же, может, действительно жить не на что. Каждый зарабатывает, чем умеет... Вплоть до одной, самой оскорбительной встречи.

Была у него в Москве невеста. Дочь генерала Ахматова — Таня. Ангел. Глаза — лазурь. Возвышенная. Вся Бальмонт и Северянин. На рояле играет — артистка. Были помолвлены до революции. Когда уезжал на фронт, поцеловала его в губы, и две теплые слезинки потекли по щекам, остались навсегда в маленьком флакончике сердца.

Из России уехали одними из первых. Ходили слухи: живут в Париже. Предусмотрительный генерал деньги поместил в заграничных банках. Говорят, в Париже, играя на бирже, имущество удвоил.

Приехав в Париж летом, Соломин отыскал их адрес. Сказали: господа в Ницце. Когда вернутся, не можем сказать.

И вот как-то раз, отвозя клиентку в знакомый дом свиданий, увидел: выходит из дверей о н а. Не верил собственным глазам: села в такси, небрежно бросила адрес.

По дороге обдумывал план. Не скажет ни слова, только при расчете снимет фуражку, чтобы узнала. Перед домом, однако, не выдержал. Останавливая машину, обернулся к даме и, снимая фуражку, отчетливо сказал:

— Много ли подрабатываете таким манером, Татьяна Николаевна?

Испугалась, потом — в слезы. Слова фонтаном. Папа скупой, высчитывает каждую копейку. Трудно же в штопаных чулках ходить. Столько пережили...

— Где же это — в Ницце?

Поморщилась. Хлопнула дверцей. Не обязана давать отчет в своих поступках каждому извозчику (так прямо и сказала: «каждому извозчику»,— Соломин хорошо запомнил). Сунула в руку ему десять франков и исчезла в подъезде.

Хотел было бежать за ней, бросить ей обратно в лицо ее десять франков, обругать последними словами. Заметил на пороге лакея в белом накрахмаленном галстуке. Стало

[1] Один из самых шикарных ресторанов-дансингов.

вдруг стыдно собственной шоферской формы, стыдно оказаться в смешном положении. Уехал. Деньги решил отослать по почте.

Впрочем, в тот же вечер пропил их в русском шоферском кабаке под сиплую «Волгу» граммофона, желая испить до дна горечь унижения, падения («втоптали в грязь»).

Но пощечину запомнил. Среди тысячи и одного унижения запомнил навсегда это, повесил на грудь, как маленькую замасленную ладанку, время от времени вытаскивая ее оттуда, чтобы растравить себя, чтобы не забыть. И в мыслях длинными вечерами строил сложные, фантастические планы возмездия.

Вечером на заработанные за целый день деньги брал с авеню Ваграм третьестепенную девочку, обязательно русскую, и, проделав все что следует, сунув ей в руку двадцать франков, бил по физиономии, ругая последними словами. Вскоре ни одна девка с Ваграм не хотела идти с ним ни за какие деньги.

Проходили месяцы, за месяцами — годы. Возвращение в Россию с оружием в руках во главе какой-то воображаемой роты белых, о котором мечтал по вечерам, лелея эту мечту, как противоядие против дневных унижений, становилось все более и более сомнительным. Собственно говоря, он перестал уже в него верить. В этом еще уверяли упорно лишь одни эмигрантские газеты. Понимал: редакторам тоже жить на что-нибудь надо. Бросил читать газеты.

Те, большевики, уселись прочно — не сдвинешь с места; с шумом отпраздновали свое десятилетие, собирались «вековать». Никто не готовился выступать против них с оружием. Возвращение, возможное еще после двух, трех, четырех лет, после десяти уже теряло всякую видимость правдоподобия.

Некоторые, впрочем, возвращались, выхлопотав себе в консульстве советский паспорт. Возвращались даже офицеры. Узнав о каждом новом ренегате, Соломин только стискивал крепче зубы и презрительно отплевывался. О возвращении в Россию таким путем не думал никогда. Коммунистов ненавидел каждым квадратным сантиметром своей огрубелой кожи. Разрушили жизнь. Убили папу. Конфисковали имение. Заставили месяцами подыхать с голоду, развозить по Булонскому лесу расфуфыренных шлюх, хапать чаевые. Быть простым извозчиком ему, ротмистру Соломину, сыну полковника Соломина? Нет, этого забыть нельзя. Возвращаться? Служить батраком у денщика Леонтия?

Нет, лучше уж здесь катать всю жизнь разодетых шлюх, развозить по публичным домам отъевшихся французских папаш. Только бы не стать подлецом... И офицерский гонор поддерживал.

Жизнь становилась все более нелепой. Хорошо, можно быть еще извозчиком временно: год, два, десять. Знать: до поры до времени. Но подумать: «Останусь извозчиком навсегда, на всю жизнь. Вот это моя жизнь, и другой не будет»,— это не могло как-то уместиться в голове ротмистра Соломина. Чувствовал ясно: что-то должно произойти — взрыв, катаклизм, катастрофа. Перемешать карты. Так дальше немыслимо.

И каждое утро, просыпаясь от звонка будильника и натягивая на себя замасленный шоферский костюм, он с горечью обнаруживал: еще нет.

Чуме обрадовался, как долгожданному катаклизму, который сразу перемешал карты. Такси реквизировали сейчас же, на третий день, для перевозки больных, жить стало как-то свободнее. Париж, как раствор, в который кто-то влил сильный ревелятор, разлагался на глазах у всех на отдельные слои.

Королевские камло при поддержке католического населения предместья Сен-Жермен овладели левым берегом от Инвалидов до Марсова поля, провозгласив восстановление монархии.

Выпираемая из образующихся поочередно государств бесприютная русская эмиграция, следуя примеру других, окопалась в Пасси, объявив этот квартал белой русской концессией. Составленное наспех временное правительство новой концессии для защиты ее границ восстановило белую гвардию.

Через два дня ротмистр Соломин в высоких блестящих сапогах, при эполетах, с кокардой въезжал в реквизированный особняк с предоставленным в его распоряжение белобрысым денщиком и отдавал по телефону короткие приказы об очищении территории Пасси от нерусских элементов.

Впрочем, блаженство было слишком полное, чтобы быть долговременным. Давала об этом знать чума, шаловливо помахивающая флажком красного креста из проезжающих под окнами автомобилей. Ротмистр Соломин понял: надо жить, пока живется, и, не откладывая, свести с жизнью все старые счеты.

Увы! Те, с которыми надо свести самые тяжелые и крупные счеты, находились за тысячи километров от кордона, недосягаемые и неуловимые. Надо было довольствоваться

суррогатом. И ротмистр Соломин сразу вспомнил: есть ведь полпредство на улице Гренель и целый штаб «представителей», — правда, не так уж много, но зато настоящих, неподдельных, «ответственных», — известно, первого попавшегося мерзавцы в Париж не посылают.

Несчастным стечением обстоятельств улица Гренель вместе со всем инвентарем вошла в состав импровизированной Бурбонской монархии Сен-Жермен: по слухам, весь персонал советской миссии в данное время комфортабельно проживал в одном из зданий предместья Сен-Жермен, преображенном наспех в тюрьму, под стражей французской гвардии, подтрунивая над законной белой властью, восстановленной по соседству, на территории Пасси.

Ротмистр Соломин первый предложил категорически потребовать от французских властей выдачи в руки белой гвардии советских узников как подлежащих исключительно русскому суду, единственно имеющему право распорядиться их участью. Предложение ротмистра Соломина получило одобрение главного командования и было поддержано всей армией. Немедленно была избрана специальная комиссия, в состав которой вошел среди других и ротмистр Соломин. Комиссии поручалось завязать переговоры с правительством монархии Сен-Жермен.

Французы ставили препятствия. В сущности они не противились выдаче большевиков, но обусловливали ее крупными денежными возмещениями со стороны русского правительства французским гражданам, проживающим в Пасси и пострадавшим вследствие своей семитской наружности во время последнего погрома.

Дело затягивалось.

Несмотря на все, переговоры, казалось, подходили к концу. На вчерашнем совещании русское правительство дало, наконец, себя убедить и приняло условия, поставленные ему французами. Окончательное подписание договора должно было состояться сегодня в десять часов утра на французской территории, в здании бывшей Палаты депутатов, вновь переименованной в Бурбонский дворец.

* * *

Ровно в десять часов мягкий шестиместный фиат, показав соответствующие пропуска, переехал мост Иены, направляясь в сторону Бурбонского дворца.

Полутемными, хорошо знакомыми кулуарами ожидавший чиновник повел русскую делегацию в малый зал засе-

даний, где ее уже ждали за столом, загроможденным папками, четыре пожилых господина в черном. Сразу приступили к обсуждению очередных пунктов. Французы выдвигали добавочные параграфы, не соглашаясь с проектом постепенных взносов. Требовали немедленного урегулирования дела наличными. Заседание затягивалось.

Ротмистр Соломин, не принимавший активного участия в совещаниях и хранивший полное достоинства молчание, учтиво позевывал в ладонь и скучающим взором бродил по потолку.

В момент, когда обсуждение, казалось, уже близилось к концу, седой председатель с узким удлиненным носом вынул из кармана часы и объявил перерыв для завтрака.

Председатель русской делегации, раздраженный новой отсрочкой, пробовал было возразить, убеждая французов, что до окончательной формулировки договора осталось не более получаса, что откладывать дело не надо и что после его решения все великолепно успеют еще позавтракать. Господа с удлиненными носами, казалось, не слышали его слов, и все, словно по команде, поднялись из-за стола, причем седой председатель невозмутимым голосом заявил, что заседание возобновится через два часа. Русской делегации не оставалось ничего другого, как, закусив губы, тоже подняться и отправиться на прогулку в ожидании возобновления переговоров.

В поисках уборной ротмистр Соломин заблудился среди дверей в длинных полутемных коридорах и долго слонялся по ним, не находя потерянного зала. Когда, наконец, он попал на лестницу и выбрался на улицу, товарищей перед дворцом уже не было; по-видимому, не дождавшись его, они отправились в город.

Ротмистр Соломин медленным, рассеянным шагом пустился по тихим лощеным асфальтам. Он знал этот квартал хорошо. Отвозил сюда не так еще давно после спектаклей пожилых богатых господ с неизбежной розеткой Почетного легиона в петлице. Самые плохие пассажиры. Всегда спекулируют: всыплет в руку полную пригоршню мелочи — считай, не пересчитаешь, два су на чай.

Ротмистр Соломин от своей вынужденной профессии унаследовал непреодолимое презрение к французам как к олицетворению всего диаметрально противоположного «широкой русской натуре».

В силу многолетней привычки теперешний ротмистр, переменив шоферскую форму на кавалерийские галифе, не перестал расценивать людей по чаевым, которые они дают.

Это отнюдь не было у него выражением солидарности по отношению к классу париев, ряды которых он покинул только недавно, а одной из тех образовавшихся в его уме складок привычки, по которым мысли автоматически стекают, как слезы по бороздам морщинистого лица.

В первый раз шел он по тротуарам этого квартала как свободный, равноправный прохожий, поглядывая на встречных с высоты своих золотых эполет. Можно было бы сказать, что вместе с офицерским мундиром он надел другие очки, и город, которого он терпеть не мог, когда наклонялся над рулем, через эти очки вдруг показался ему милым, заманчивым и не лишенным прелести.

Он остановился в созерцании перед стеклянной витриной большого ресторана, убегающей в глубину туннелем зеркал, точно длинная тенистая оранжерея, где над белизной скатертей, разбросанных островками снега, колышутся стройные опахала пальм.

Раньше он проходил мимо этих заведений быстро, украдкой бросая внутрь злой, завистливый взгляд, когда приходилось высаживать перед их стеклянным туннелем франтов во фраках. Это был тот другой, замкнутый мир, город в городе, отделенный от остального мира только толстой плитой стекла, видимый, но недоступный. Проникнуть туда можно было, лишь надев заранее фрак, как для того, чтобы проникнуть в морские недра, надо надеть костюм водолаза.

Прикованного взглядом к витрине ротмистра Соломина вдруг осенила блестящая мысль. В самом деле, кто мог в данный момент запретить ему войти туда, внутрь, если ему это заблагорассудится? Кто помешает ему сесть в тени экзотической пальмы, среди этих черных джентльменов в полированных фраках, вырастающих, точно дрессированные тюлени, над одинокими льдинами скатертей, и, небрежно заказав что-нибудь, заставить засуетиться лакея с застывшей на лице подобострастной улыбкой?

Это пришло ротмистру на ум так внезапно, что ему стоило большого труда разыграть перед самим собой маленькую внутреннюю комедию безразличия.

С таким видом, точно в этот момент на него были обращены взоры всего Парижа (улица была совершенно пуста), ротмистр Соломин «нечаянно» вынул из кармана толстые золотые часы; словно сейчас только заметив, что время завтракать, он дал понять кому-то, что раз вблизи случайно нашелся ресторан, не мешает зайти,— и небрежным, скуча-

ющим жестом светского человека толкнул массивную зеркальную дверь.

Его охватил приятный холодок накрахмаленных скатертей, воздух, обрызганный пульверизатором фонтана, приторный международный запах комфорта.

Над маленькими алтарями столиков благоговейно склоненные люди принимали просфоры телячьих и бараньих рагу под тихий колокольный перезвон тарелок богомольных служек — пикколо[1].

С рассеянной миной старого завсегдатая, который не любит садиться слишком на виду и предпочитает укромные уголки, ротмистр Соломин подыскал себе в углу, у колонны, удобный столик, откуда, как из ложи, открывался вид на весь зал, и, усевшись поудобнее, принялся за изучение меню.

Появление гостя в экзотическом мундире не прошло незамеченным, и ротмистр Соломин, чувствуя себя точкой пересечения многих взоров, с убийственной небрежностью, по которой легко отличить новичков от настоящих завсегдатаев, кивком подозвав гарсона, стал заказывать длинный, сложный завтрак, подробно, с видом знатока, расспросив о винах; выбрав, наконец, ряд блюд с наиболее сложными, торжественными названиями, в ленивой, живописной позе он откинулся на спинку дивана, скучающим взором блуждая по залу.

За это время посетители, разбросанные за одинокими столиками по углам, давным-давно перестали уже заниматься экзотическим гостем, всецело поглощенные едой и беседой.

За соседним столиком, спрятанные за колонной, три бритых господина, запивавшие черным кофе завтрак, вполголоса вели оживленную беседу. Отделенный от них только колонной, ротмистр Соломин, невольный свидетель их разговора, не замеченный ими, мог их внимательно рассматривать.

Среди беседовавших выделялся господин в пенсне.

— Вы не можете не согласиться, господа,— говорил он тоном, полным горечи и печали,— что происшествия, переживаемые нами, должны действовать удручающе на каждого искреннего демократа. В неожиданном итоге сил французская демократия оказалась на наших глазах «кантитэ неглижабль» — величиной, не принимаемой во внимание; мы являемся свидетелями такого факта, еще недавно

---

[1] Мальчик, прислуживающий в ресторанах за столом.

невероятного и нелепого, как реставрация монархии, и, что хуже всего, должны сознаться, что она произошла без единого выстрела, без видимого сопротивления со стороны широких масс нашей буржуазии. Согласитесь, господа, что это явление в высшей степени унизительное.

— Я не разделяю вашего пессимизма,— сказал пожилой господин, идеальная лысина которого не позволяла точно определить его возраст.— В теперешние дни общего нервного напряжения мы склонны преувеличивать и обобщать происшествия единичные и исключительные. Мы легко забываем, что за пределами Парижа, переживающего период заразной лихорадки, со всеми ее призраками и причудами, существует еще вся истинная Франция, искренне демократическая и буржуазная. Стоит лишь эпидемии прекратиться в Париже, и вместе с ней исчезнут, как лихорадочные призраки, и бурбонские монархи и советские республики. Первый отряд правительственных республиканских войск, который войдет в Париж, восстановит в нем прежний порядок во всем его объеме.

— Простите,— возбужденно возразил господин в пенсне,— но путем ваших рассуждений мы пускаемся в дебри чистейшей метафизики. Судя по настоящим статистическим данным, было бы нелепостью предполагать, что кто-либо из теперешних жителей Парижа дождется указываемого вами момента. Все скорее говорит за то, что действительность, в которой мы живем сейчас, навсегда останется для нас единственной данной нам действительностью.

Для нас, парижан, жителей зачумленного города, пределы Франции сократились до застав Парижа. Говорить о существовании какой-то Франции, какой-то Европы, какого-то мира за пределами города, перешагнуть которые может нам разрешить одна лишь смерть,— это значит для нас говорить о реальности загробной жизни.

Вы скажете, что Франция и Европа существуют реально, несмотря на то, что мы не можем проверить этого в данный момент нашими пятью чувствами, что мы видели их еще недавно нашими собственными глазами и получаем оттуда в настоящее время радиотелеграммы. Но разве мистики не говорят нам про источники «предбытия», познаваемого путем простого воспоминания, а спириты разве не получают из мира духов не менее убедительные телеграммы? И однако ж вы согласитесь со мной, что загробный мир не перестает быть, тем не менее, вопросом веры, что социолога, который хотел бы основать на факте его существования свои социологические построения, мы назвали

бы, в лучшем случае, мистиком, а политика, который строил бы политику своего народа на надежде получить помощь с того света, мы просто поместили бы в сумашедший дом. Что же, однако, другое, если не ожидание такой помощи из потустороненнего мира,— ваши республиканские войска, которые должны явиться для восстановления в Париже старого строя?

Я повторяю: для нас мир, Европа, Франция, как смоченный кусок неважного сукна, сжались до пределов застав Парижа или, в лучшем случае, его предместий. Вопросы нашей общественной и политической жизни остались те же, изменилась только их мера; сейчас мы должны решать их в другом, уменьшенном масштабе. Пользуясь же им, мы не можем не сознать, что являемся свидетелями полного раздела Франции и что перед лицом этого раздела французская демократия морально оказалась величиной, равной нулю. До сих пор она держалась у руля единственно в силу инерции, давно промотав свой моральный капитал; когда же оказалось нужным приступить к реорганизации сильно урезанного хозяйства, в момент соперничества между коммунизмом и фашистской монархией, она, не задумываясь, без боя отдала ниже себестоимости место, занимаемое ею со времени Великой революции, в руки самой черной, коронованной реакции, лишь бы сохранить за собой свою ренту во всей ее неприкосновенности...

Лысый господин тревожно оглянулся, не слышит ли кто-нибудь, и предостерегающе поднес палец к губам. Неизвестно, хотел ли он что-нибудь возразить, так как предупредил его третий, до сих пор молчавший господин породистой головой, треснувшей пополам, как орех, щелью безукоризненного пробора.

— Несомненно, вы во многом правы,— сказал он, взвешивая слова с достоинством и сдержанностью прирожденного парламентария.— Я не разделяю, однако, вашего пессимизма. Конечно, возможно, что население Парижа, вымирая теми же темпами, вымрет целиком раньше, чем удастся обезвредить эпидемию. Однако в конце концов это тоже только гипотеза, столь же допустимая, как и гипотеза обратная. Мы обязаны учесть ее, но нельзя придавать ей значение аксиомы.

Как бы то ни было, нельзя отрицать, что происшествия, свидетелями которых мы являемся, в высшей степени показательны и не случайны. При попытке реорганизации хозяйства в этом уменьшенном масштабе (разрешите воспользоваться вашим собственным выражением) наша демо-

кратия действительно — надо сознаться — не выдержала экзамена. Из этого, однако, отнюдь не следует делать чересчур поспешных заключений.

Всем прекрасно известно, что господствующие классы стареют по мере того, как проедают свой революционный капитал, который привел их к власти. Французская буржуазия не есть и не может быть исключением из этого правила. Было бы, однако, преждевременным делать из этого вывод, что французская буржуазия сыграла уже свою историческую роль и должна сойти со сцены. Теперь, когда наука близка к тайне омолаживания индивидов, почему бы не попытаться омолодить целые классы? Процедура такого омоложения будет много проще. Нужно лишь, чтобы господствующий класс, временно отказавшись от своих привилегий, стал на некоторое время классом управляемым. Ничто не омолаживает так сильно, как оппозиция. Это факт, хорошо известный из парламентской практики.

Французская буржуазия, давно промотавшая свой моральный капитал, накопленный Великой революцией, и окончательно потерявшая свой кредит в массах, нуждается в этой операции больше любого класса любого народа. В интересах удержания ею своей руководящей роли ей уже давно надо было хоть разыграть какой-нибудь переворот, какую-нибудь реставрацию монархии, которая помогла бы буржуазии через некоторое время вторично выступить в роли освободительницы. Раз такое положение вещей получилось само собой, мы должны этому только радоваться.

Сейчас я как раз работаю над меморандумом, который намерен предложить правительству в Версале в момент прекращения эпидемии. Я доказываю, что немедленная ликвидация парижской монархии была бы непростительной ошибкой. Наоборот, я утверждаю, что правительство и демократия должны всеми средствами содействовать распространению монархического строя по всей Франции, помогая ему раздавить общего непримиримого врага — коммунизм. Только заранее обдуманная и умело проведенная в соответствующий момент революция, которую буржуазия сумеет совершить на этот раз без помощи других классов и, понятно, без кровопролития, вернет ей моральный, революционный кредит в массах, ее авторитет, защитит ее новым непроницаемым панцирем перед опасностью коммунизма...

Ответили ли что-нибудь на эту тираду лысый господин и господин в пенсне, и что именно ответили, ротмистр Со-

ломин уже не расслышал. Ему стало вдруг бесконечно скучно. Вспомнились московские митинги при Керенском с лапшою речей, в которых слово «демократия» повторялось не меньшее количество раз, только с крепким русским присвистом. Упоминание о коммунизме напомнило ему об этой «шпане», которая отсыпается с комфортом в тюрьме у французов («У нас отоспятся!»)

Взглянул на часы: половина второго. Опять задержка. И, не докушав столь старательно заказанного завтрака, оплатив большой счет, пустыми бесцветными улицами зашагал в сторону Бурбонского дворца.

На этот раз заседание покатилось живее, и меньше чем через час, лихо расчеркиваясь на листе, черном от параграфов и примечаний, ротмистр Соломин улыбнулся про себя: «Наконец-то!»

Последняя задержка: срок. Французы согласны выдать узников завтра. Председатель русской делегации хотел бы еще сегодня. Невозможно: формальности и т. д. (какие же тут еще формальности?) Пришлось согласиться на завтра. Русские предлагают прислать за пленниками двух своих офицеров. Французы не согласны. Привезут сами на мост, отдадут под расписку передовым постам.

— Что же, пусть будет так. Итак, завтра утром к одиннадцати.

Обе делегации молча пожали друг другу руки.

Черный шестиместный «фиат» полукругом тенистой набережной мягко покатился по направлению к мосту.

VII

— Товарищи! Нельзя же так! Кто хочет получить слово, записывайтесь в очередь. Должен же быть какой-нибудь порядок.

— Так вы, товарищ, и следите. Это уж ваше дело. На то вас и выбрали председателем. Записывайте. Да так, чтобы можно было высказаться посвободнее. Твое мнение такое, а мое — такое. А звонком помахивать, как в старорежимной палате депутатов, так что никого не слышно,— какой же это порядок?

— Товарищи, прошу успокоиться. Слово имеет товарищ Лербье.

— Я, товарищи, долго говорить не буду. Как комиссару продовольствия, мне канителить не к чему. Состояние продовольствия коммуны, надо прямо сказать, гибельное. Еже-

ли выдавать по четверке хлеба, как в последние дни, хватит самое большее дня на три. Да и то считая, что население уменьшится за это время. Вчера поделили последний мешок картошки. Через три дня, товарищи, нечего будет в рот положить. Коммуна обречена на голодную смерть.

— А выход? Какой же выход?

— Выход, товарищи, по-моему, один: пробраться на территорию англо-американской концессии и завладеть ее складами. По-моему, товарищи, английские и американские империалисты испокон века еще не помирали с голоду и уж, верно, накопили недурной запасец провианта. Конечно, мы-то должны быть готовы, что они окажут нам здоровое сопротивление. Английская милиция вооружена до зубов, и, чтоб перебраться на их концессию, надо будет взять два ряда баррикад да вырезать добрых несколько тысяч джентльменов. Другого способа, однако, нет. Население пойдет с нами охотно, коли узнает, что надо выставить из Парижа англичан. Конечно, это еще не спасение от голода, но по крайней мере отсрочка на некоторое время, пока хватит американских запасов. Ежели кто из товарищей видит выход получше — предлагайте. Вот и все, товарищи, что я хотел сказать. Я кончил.

— Спокойствие, товарищи! Спокойствие! Слово за товарищем Лавалем.

— Я, товарищи, с мнением предыдущего оратора согласиться никоим образом не могу. Конечно, вырезать несколько тысяч английских капиталистов и очистить от них центр Парижа — вещь, что и говорить, полезная. Но сейчас не время. Да и чума сделает это вместо нас поаккуратнее. Из-за нескольких дней спорить не стоит. А первым делом потому, что не верю я, товарищи, в эти продовольственные склады, что надеется найти на территории концессии товарищ Лербье. Да и откуда бы англичанам их взять? Другое дело — деньги, денег нашли бы, верно, уйму. Но на что же нам, товарищи, сейчас деньги? Хлеба на них не купишь. Не стоит, товарищи, из-за этого проливать кровь нашу пролетарскую. А провиант, ежели какой и был, сами давным-давно слопали. Не поживимся этим. Да и очищать Париж, товарищи, еще рано. Пока он сам от чумы не очистится, небольшой нам от него прок. Нет, товарищи, искать продовольствие в Париже — гиблое дело. Погубим только на баррикадах половину пролетариата, а его и без того с каждым днем все меньше. Чем же, товарищи, какими силами завладеем мы Парижем, когда чума в нем прекратится? Надо, то-

варищи, беречь как зеницу ока каждую каплю пролетарской крови, а не подсоблять чуме в ее работе.

— Не подсобишь ей ты — подсобит голод... Без хлеба долго не протянешь.

— Знаю, товарищи, без хлеба не проживешь, но и с одной краюхой тоже далеко не уедешь. И искать его, хлеб-то этот, надо в другом месте: там, где он наверняка есть, а не там, где заранее знаешь, что нет его. Искать его, товарищи, надо за кордоном.

— А как же через кордон-то? Через кордон рукой не подать, да и не пробьешься туда никак.

— Погодите, товарищи, дайте кончить. План мой простой. И пробиваться через кордон не надо, чтобы принудить империалистическое французское правительство снабдить нас провиантом. Радиостанция у нас сейчас своя имеется. Довольно, по-моему, послать от совета депутатов телеграмму правительству: так и так, либо в течение двух дней вы доставите нам по эту сторону кордона и будете доставлять впредь столько-то и столько вагонов муки и всякой там картошки, либо же мы пробьемся и прорвем кордон. А ежели даже прорвать нам его не удастся, то уж во всяком случае при стычке с нами заразится от нас ваше войско, а от войска, только дунешь, чума пойдет гулять дальше по всей Франции. Ждем ровно два дня. Выбирайте.

— Не ответят.

— А по-моему, товарищи, ответят и даже мигом ответят. Никакая угроза не имеет такой силы, как страх перед заразой. Поймут, что нам-то терять нечего. Побоятся: а вдруг удастся пробиться вплоть до самого кордона. Этого ведь они боятся пуще огня. Не захотят из-за нескольких там десятков вагонов провианта рисковать заразить всю Францию. А другое — радио не помешает послать французскому пролетариату за кордон: помирающий с голоду парижский пролетариат обращается к пролетариату Франции и всего мира, чтобы тот нажал на французское правительство и принудил его выслать голодающим продовольственную помощь... С этой стороны — чума, с той — всеобщая забастовка. Не пройдет и двух дней, как провиант аккуратненько, честь честью доставят нам через кордон. Таково, товарищи, мое мнение. Я кончил.

Несколько голосов загалдело одновременно.

Поздно вечером совет рабочих и солдатских депутатов, приняв большинством голосов предложение товарища Лаваля, послал в пространство два радио.

Ответа не последовало.

* * *

Спустя два дня новое заседание совета депутатов приняло предложение товарища Лербье, поручив военной комиссии разработать подробный план овладения англо-американской концессией.

Уходя с заседания, товарищ Лаваль надвинул низко на лоб фуражку, что у него было всегда признаком сильного расстройства, и пустился в узкие темнеющие улочки. Моросил дождь.

Провал позавчерашнего предложения, точно личное оскорбление, задел товарища Лаваля за живое, наполняя его глухой злобой.

— Сволочи! Плевать им на наши угрозы. Хотят уморить голодом, как крыс,— ворчал он сквозь зубы.

Знал хорошо: империалисты. Какие с ними переговоры? Не растрогаешь их судьбой подыхающего пролетариата. Но крепко надеялся: убоятся заразы, не захотят рисковать. Нет, не убоялись. Видно, твердо уверены в силе своего кордона. Не подойти вплотную. Перебьют, как собак. Не подпустят на километр.

И немая, бессильная злоба клокотала в сердце товарища Лаваля.

Ненавидел эту шайку до скрежета зубовного, до судороги в пересохшем горле. Затоптали уже раз сапожищами солдатни Парижскую коммуну. Теперь спокойно дожидаются: передохнут с голода и заразы,— снова можно будет занять продезинфицированный Париж, залить полицией, затопить демократией, открыть шлюзы бесплодной парламентской болтовни, обставить капканами тюрем, раздавить в железных рукавицах. И опять потекут на фабрики пригнанные с пашен черные, забитые люди пóтом мозолистых рук ковать для *тех* покой, роскошь и праздность. Опять покатится все по-прежнему, по-старому, и никто даже не узнает, что была всего несколько месяцев тому назад в Париже коммуна, рабоче-крестьянская власть, советы депутатов, рабочая эпопея.

Жак Лаваль, капитан красной гвардии, в дореволюционную эпоху, то есть неделю тому назад, был матросом на броненосце «Победа». В партии — уже восемь лет, значит, с того момента, когда двадцатипятилетнего румяного парня с лесопильного завода Комбэ военно-учетная комиссия определила во флот; когда, впихнутый в черный плавающий погреб, он стал всыпать черной лопатой в открытый зев печи тяжелые груды угля, огрубелыми пальцами счи-

тая ожоги на голом мускулистом торсе. Все приобретенные знания полетели куда-то кувырком, и сложный, непонятный мир заколебался в его голове, как пол под ногами в бешеную качку.

С палубы партии все стало вдруг ясно, прозрачно, как стекло, и, оглянувшись назад, товарищ Лаваль сразу понял многое. Старый Комбэ на собственном автомобиле заезжает раз в неделю на лесопильный завод: все ли в порядке? А старого Фроста — ослеп от работы, вымеряя миллиметры,— мастер с полицией в шею — не годен. На броненосце пушки, бронированные башни — милитаризм. Щеголеватый офицерик и старый Комбэ — одно; только лица другие, а туловище то же — белый Интернационал. И, наводя пушку под углом 25°, рядовой Лаваль мечтал: согнать бы всю братву со всего мира, на автомобилях, с погонами, в рясах, поставить в одно просторное место и — бац! И широкой улыбкой расцветало лицо Жака Лаваля.

В Париж товарищ Лаваль приехал в отпуск. Когда в городе начались беспорядки, товарищ Лаваль, сдвинув на затылок кепку, ровным упругим шагом первый пошел в казармы, откуда через час вышел уже во главе голубого полка с раздобытым, бог весть откуда, красным флагом.

Потом пошла организационная работа. Мешала чума. Вырывала лучших товарищей. Оттеснила Советскую власть в рабочие кварталы. Если б не это, товарищ Лаваль, поглощенный вопросом организации советов рабочих депутатов на территории южных периферий Парижа, вообще вряд ли бы ее замечал. Понятно само собой: гигиена и предохранительные средства. Остальное — уже дело врачей. В известной степени чума была даже полезна. Очищала центральные кварталы Парижа от буржуазных элементов. Надо было пока что организовать окраины, чтобы в момент прекращения эпидемии весь буржуазный Париж очутился, как в кольце, в тисках пролетарской блокады. Завладеть городом, расслабленным эпидемией, было бы тогда парой пустяков.

Но чума не унималась. Пролетарские ряды редели. Работать в этих условиях было более чем трудно. День за днем надо было начинать все сначала. И, в довершение всего, сейчас: обрыв — голод. Молодая, зарождающаяся коммуна, обреченная на голодную смерть... В борьбе за кусок хлеба на баррикадах англо-американской концессии лягут остатки и без того уже поредельх рядов парижского пролетариата. К тому же в существование серьезных запасов продо-

вольствия на территории концессии товарищ Лаваль не верил.

Все рушилось на глазах под тяжелым неумолимым обухом. Последняя угроза по адресу тех, империалистов, обжирающихся в покое и достатке за кордоном и терпеливо выжидающих, когда последний парижанин подохнет, наконец, от голода и заразы,—обманула. Что же оставалось? Капитулировать и сложа руки ждать смерти или бежать самому ей навстречу, на баррикады зачумленной американской концессии?

Товарищ Лаваль молчаливо ворочал, как некогда лопатой уголь, пуды тяжелых, невеселых мыслей.

* * *

Поздно ночью в квартиру главнокомандующего войсками коммуны Бельвиль, товарища Лекока, постучались.

Товарищ Лекок ощупью отыскал на столе у кровати пенсне, посадил его кое-как на нос и, накинув на белье солдатскую шинель, пошел открыть дверь, зажигая по дороге электричество.

— Это вы, товарищ Лаваль? Что случилось? Произошло что-нибудь важное?

— Я к вам, товарищ командующий, по делу. А дело у меня спешное, не личное—коммунальное, не вытерпел до утра. Не прогневайтесь...—говорил, комкая в руках фуражку, товарищ Лаваль.

— Что вы, что вы?—засуетился Лекок.—Заходите. Я к вашим услугам. Если дело важное, всякое время подходящее. Сон не убежит. Закурить не хотите? Слушаю. В чем же дело?

— Я, товарищ командующий, опять насчет того же продовольствия для коммуны. Недопустимая это вещь—посылать остатки пролетариата на английские баррикады. Да и продовольствия там никакого нет. Настоящее самоубийство.

Товарищ Лекок от изумления чуть не потерял пенсне.

— Как же это, товарищ? Ведь решение совета депутатов. Вы говорили это уже на заседании. Предложение ваше было принято. Не дало никаких результатов. Пришлось принять другое. А теперь, раз уж такая резолюция, возвращаться к этому поздно. Да и время неподходящее. Как же так: вдруг каждый из нас станет критиковать да отменять решение совета? Что бы из этого вышло? Да и сами вы хо-

рошо знаете, отчего такое решение приняли, и не протестовали вы тогда. Поняли прекрасно: другого выхода нет.

— Есть выход,— угрюмо сказал Лаваль.— Тогда не видел, а теперь вижу. Затем и пришел к вам ночью, товарищ командующий.

— Какой же такой выход увидели вы вдруг теперь? Видите, не испугались они вашей телеграммы. Не доставили к сроку ни одного вагона провианта. Чего же еще ждать? Кто же вам его доставит?

— С тем я и пришел, товарищ командующий. Я его доставлю,— хмуро сказал товарищ Лаваль.

— Вы?!— Товарищ Лекок даже подался вперед от неожиданности.— Как так вы? Да откуда же вы его возьмете?

— Откуда возьму — это уж дело мое. Известно, из-за кордона возьму.

Товарищ Лекок захлебнулся раздраженным кашлем.

— Что же это вы, товарищ, смеяться пришли, что ли? Что значит — из-за кордона возьмете? Теперь не время шутить.

— Мне, товарищ командующий, не до шуток. Я пришел вам сказать, что завтра вернусь с провиантом, а ночью пришел потому, что дело срочное. Откладывать его нельзя.

Товарищ Лекок посмотрел внимательно на гостя и после большой паузы спросил:

— Каким же это образом вы собираетесь привезти для коммуны из-за кордона провиант?

— Известное дело, прорвавшись через кордон. Целая армия не пробьется, а несколько человек проскользнуть смогут. Особенно по воде.

— Что же из этого, если даже несколько человек проскользнут и вернутся с краюхой хлеба? Коммуну этим думаете накормить? Знаете, сколько нужно, чтоб накормить коммуну? Вагоны. Каким же образом вы собираетесь с этим проскользнуть? На спине, что ли, притащите?

— На спине не притащу, а по воде перевезти не трудно.

— Как так по воде?

— А так, очень даже просто. На реке ведь кордона нет. Стеной реку не загородили.

— Что же из этого, что не загородили? Стерегут днем и ночью. Рыба не проскользнет.

— Я, товарищ командующий, понапрасну к вам не пришел. Все сам наперед осмотрел на месте. Знаю, что говорю. Рекой проехать можно.

— Каким же это образом?

— Днем нельзя, а ночью можно.

— Да вы не знаете, что ли, что ночью всю Сену освещают прожекторами, опасаясь именно того, чтобы кто-нибудь не переплыл.

— Освещать — освещают. Да только не всю Сену, а лишь на протяжении одного километра. Двумя прожекторами освещают. Один на одном берегу, другой — на другом. А больше прожекторов поблизости нет. Да и незачем. И так светло как днем.

— Каким же образом вы думаете в таком случае переплыть?

— Переплыть не трудно, даже не одному пароходу, а скольким угодно. Надо лишь потушить оба прожектора.

— А это каким же способом?

— Способ опять-таки очень простой, если знаешь точное положение каждого прожектора. Двумя выстрелами из шестидюймовки потушить можно. Потруднее фокусы делались у нас во флоте.

— Скажем, что вам удастся потушить оба прожектора. Через полчаса починят.

— За полчаса, если захотеть, весь Бельвиль переплыть можно. Особливо сейчас. Ночи темные, хоть глаз выколи.

— Положим, а как же обратно?

— Обратно потруднее будет. Только все же попытаться можно. Будем плыть обратно, не сразу спохватятся, кто да куда. А спохватившись в первом кордоне, и стрелять очень не станут. Ведь главное — на то и кордон, чтобы никто из Парижа не прошмыгнул. А кто сам, по собственной воле, волку в пасть лезет — такому крест. Зачем же по нем стрелять? Выстрелят два раза для острастки и бросят.

— Все это прекрасно. А откуда же вы собираетесь раздобыть провиант?

Товарищ Лаваль пододвинулся ближе:

— Ежели ехать прямо по Сене, в шестидесяти каких-нибудь километрах от Парижа есть на берегу местность такая, называется Тансорель. Мои, так сказать, родные места. Каждую пядь наизусть знаю. За километр от берега стоит там паровая мельница, большущая: на все окрестности муку мелет. Особливо в эту пору муки в ней будет вагонов десятка с три. Много ли, мало ли: три баржи по двести мешков забрать можно будет. Больше буксир не потянет. Думал я раньше брать баржи отсюдова, пустые, да обойдется и без этого, и проскользнуть одному пароходу в ту сторону легче. Баржи возьмем тамошние. Есть там вблизи лесопильный завод. Доски на баржах сплавлял в Париж. Сейчас не сплавляет — значит, и баржи на месте. Нагрузим три бар-

жи. До рассвета будем обратно. Шестьсот мешков по сто кило. Как-никак на месяц на прокормление всей коммуны хватит, а там — посмотрим. Может, эпидемия к тому времени кончится, а может, пролетариат отзовется в тылу. Будет время переждать.

Товарищ Лекок ответил не сразу.

— Романтически что-то больно выглядит вся эта ваша затея,— сказал он после долгого раздумья.— Если даже удастся вам в ту сторону прошмыгнуть, не думаю, чтобы пропустили вас обратно. Утопят вас вместе со всем багажом.

— Попытаться не мешает. Перебьют — так перебьют человек десять. Одно дело десяток человек, другое — вся коммуна. Американская концессия не убежит. Затопят нас — пойдете искать хлеба там. Попробовать надо.

Товарищ Лекок молча затянулся папиросой.

— Видите ли, товарищ, собственно говоря, суть-то дела не в том. Допустим, что вам удалось бы даже проскользнуть через кордон и вернуться с провиантом, хотя шансы на это минимальные. Все равно мы не имеем права, товарищ, даже для того, чтобы спасти от голодной смерти всю коммуну, занести чуму за кордон. Одно дело — угрозы, другое — реальное действие. Если бы даже в вашей вылазке вам повезло, в поисках продовольствия вы должны были бы высадиться на берег по ту сторону кордона и столкнуться с тамошним населением; тем самым вы должны считаться с возможностью оставить им чуму. Не имеем мы права, товарищ, для спасения от голодной смерти десяти тысяч жителей коммуны рисковать заразить пролетариат и крестьянство всей Франции. Не могу я вам дать разрешения на эту вылазку.

— Правильно говорите, товарищ командующий, только ведь подумал я об этом раньше всего. Нашел я способ даже не причаливать к берегу. Приедем, остановимся на середине реки, заберем провиант и айда обратно. Вот даже наших барж потому с собой не беру — ихние. Взял только на буксир и пошел.

— Как же это так? Полагаете, что сами муку вам вынесут, нагрузят на собственные баржи да еще попросят: «забирайте!»?

— Так и будет. Сами нагрузят. План у меня, увидите сами, простой, нетрудный, только досказать мне его до конца не разрешаете.

Товарищ Лаваль взял со стола лежащий на нем карандаш и, выводя на промокательной бумаге кривые, неуклюжие линии, стал подробно излагать свой план.

* * *

Когда товарищ Лекок остался в комнате один, уже светало, и на закопченных сажей ночи стеклах окон матово-бледным отсветом отражался маленький мирок улицы.

Товарищ Лекок сбросил шинель и, вытянувшись на кровати, попробовал заснуть, однако вспугнутый сон не возвращался. Протянул руку к полке и взял книжку. Раскрыл: « Л е н и н. Задачи пролетариата». Попытался читать.

Где-то на зеркале памяти запоздалым отражением мелькнуло смуглое, охлестанное ветрами лицо, припомнились простые улыбчивые слова:

«Перебьют — так перебьют человек десять. Одно дело — десяток человек, другое — вся коммуна. Попробовать надо».

Товарищ Лекок улыбнулся: ухарство. Или действительно уж такая любовь к коммуне?

Сын захудалого учителя гимназии, он встречался с этими людьми долгие годы ежедневно лицом к лицу, еще будучи в университете, когда, на минуту отрываясь от книг, он бежал из студенческой столовки на собрание — проверять на реальном материале черные цифры статистики. Он выучился смотреть в эти глаза, расшифровывать по морщине, по ударению ругательства глубокую, незалечимую конкретную обиду; угадывать в рисунке мимоходом брошенных знакомых слов: «пролетариат», «империализм»,— цифры урезанных заработков, калибр перенесенных унижений. И вдруг здесь: простые синие глаза, улыбка и смерть. Влияние романтических книжек? Подвиг?

На письменном столе затрещал телефон.

Товарищ Лекок встал, принял отчет, потом в черную раковину трубки продиктовал несколько распоряжений. И, вытягиваясь в третий раз на узкой, солдатской кровати, поворачиваясь лицом к стене и закрывая уже глаза, подумал:

«Задавят парня, как дважды два. Жалко. Пройдет чума, придется строить коммуну, таких тогда нужно было бы побольше».— И губами куда-то в сон, как ежевечерний выученный наизусть урок:

— Но тогда меня уже не будет тоже.

Сон не приходил. Долго товарищ Лекок ворочался с боку на бок; наконец закурил папиросу. Посмотрел на часы: четыре. Докурив папиросу, встал. Зажег свет. Подошел к письменному столу. Вынул из ящика толстую тетрадь в клеенчатой обложке, спрятанную глубоко под докладами, и раскрыл ее.

Тайком от всех товарищ Лекок писал историю зачумленного Парижа. О том, что он когда-то занимался литературой, знали немногие. В молодости даже будто бы писал стихи и, как говорили, неплохие. Впрочем, бросил давно. Литературного дарования стыдился, как своей эрудиции, как своего интеллигентского происхождения.

С первых же дней чумы в нем укрепилась уверенность, что Париж в кольце кордона обречен на смерть, что не уцелеет в нем ни одна живая душа.

Правда, с первых же дней существования коммуны, по распоряжению ЦК, приняты были для борьбы с эпидемией самые энергичные меры. Пользуясь суматохой, водворившейся в буржуазных кварталах, коммуна Бельвиль бешеной вылазкой овладела Пастеровским институтом, перевезя на грузовиках на свою территорию весь его уцелевший инвентарь. В оборудованных кое-как лабораториях десятки ученых, преданных делу пролетариата, днем и ночью в нечеловеческом напряжении работали над умерщвлением смертоносной бациллы. Каждый день проводились опыты с новоизобретенными сыворотками, по-прежнему не давая желательных результатов. Товарищ Лекок перестал верить в возможность положительного исхода. На разыгравшиеся кругом события он смотрел с любопытством естественника, наблюдающего отмирание организма. Страдал при мысли, что столько документального материала пропадает даром, не станет никогда достоянием человечества. Мысль эта мучила его по ночам.

Вымрут все, не останется никого, кто воспроизвел бы для будущих поколений историю этого осажденного города.

Решил наконец сам, основываясь на собранных сведениях, устных сообщениях, с помощью собственных наблюдений тайком написать его хронику. Умрет он, вымрут все,— останется рукопись. Исчезнет чума, придут новые люди, найдут ее, отряхнут от пыли, не пропадет для потомства богатый неожиданными опытами материал этих дней,— необыкновенные перипетии этого неповторимого периода.

И по ночам, украдкой, в часы, свободные от служебных занятий, заносил он в толстую тетрадь собранные за день известия, приводя в порядок и пополняя в изобилии наплывающие документы.

Открывая тетрадь на последней странице, товарищ Лекок еще раз подумал о Лавале. Какой великолепный экземпляр! О таких — писать героические поэмы! Впрочем, надо переждать конца экспедиции. Какая патетическая глава!

В раздумье перелистал несколько страниц. Задержался на последней заметке — относительно образования на территории площади Пигаль и окружающих ее улиц новой, автономной негритянской республики, основанной неграми Монмартра (джаз-бандистами и швейцарами) в знак протеста против образования на территории центральных кварталов негрофобской американской власти. По рассказам очевидцев, каждому белому, пойманному в пределах нового государства, негры отрезают голову с соблюдением всех церемоний, перенятых у Ку-клукс-клана[1].

Товарищ Лекок открыл новую страницу, достал стило, перебрал в мыслях собранные за сегодняшний день материалы, потом аккуратно, сверху, ровным, мелким почерком вывел название новой главы:

«ПРИТЧА О СИНЕЙ РЕСПУБЛИКЕ

Никто не заметил и не стал ломать себе голову над тем, куда девались вдруг с перекрестков улиц маленькие, напыщенные человечки в синих перелинках, возвышавшиеся там десятки лет, как само собой понятные, необходимые аксессуары.

Известно, однако, что в природе ничего не пропадает.

Растерявшаяся, ненужная полиция, поочередно вытесняемая из всех новообразованных государств, вернулась в силу привычки в свои казармы на островок Ситэ, блокированный с трех сторон тремя обособленными республиками: желтой, еврейской и англо-американской.

Островок Ситэ, покоящийся в объятиях двух рукавов Сены и выделенный самой природой в своего рода самостоятельную территориальную единицу, вдруг закишел безработными синими людьми.

Предоставленная самой себе полиция очутилась в первый раз в довольно затруднительном положении. Внезапно потеряв компас законности, не в состоянии решить, которое из образовавшихся правительств считать законным, одновременно прекрасно отдавая себе отчет в призрачности какого-либо правительства вне кольца кордона, безработные синие человечки вскоре осознали, что в сущности теряют с каждым днем видимость реальных существ; становятся метафизической фикцией, такой же бессмысленной, как и само понятие: «полиция для полиции».

---

[1] **Ку-клукс-клан** — фашистская негрофобская организация в Америке.

На третий день остров Ситэ стал свидетелем первой в истории человечества демонстрации безработной полиции.

Толпа безработных синих человечков широкой рекой разлилась по всему острову, задерживаясь перед префектурой. Впереди шествия демонстранты несли знамена с лозунгами: «Республика умерла — да здравствует республика!», «Требуем какого-либо правительства», «Полиция без правительства — это трамвай без электростанции» и т. п.

На площади перед префектурой состоялся внушительный митинг. После длинных прений, во имя спасения полиции как таковой, демонстранты решили поочередно обратиться ко всем правительствам государств, образовавшихся на территории Парижа, предлагая им свои услуги.

— Не важна здесь окраска или национальность правительства,— доказывал автор проекта.— Чтобы вновь обрести смысл своего существования, полиция должна как можно скорее раздобыть себе какое-либо правительство, хотя бы идею правительства. Без понятия законности мы только тени.

Предложение было принято единодушно, и ко всем правительствам, за исключением советского правительства Бельвиль, высланы были курьеры с предложениями.

Все правительства, опасаясь брать на себя обузу из нескольких тысяч лишних ртов, ответили отказом.

В последний попытке самозащиты принято было предложение одного из полисменов отыскать любого штатского и потребовать от него, чтобы он провозгласил себя диктатором острова Ситэ. Решено было безотлагательно отправиться на поиски. После получасовых бесплодных поисков в одной из улочек вдруг показался полицейский патруль, неся на руках какого-то старикашку, разбитого параличом. Старикашка недвусмысленно проявлял ужас. Когда его вносили в префектуру, он стал рыдать и пытался вырваться,— конечно, безуспешно.

В кабинете префекта делегация полисменов объявила ему, что он диктатор и как таковой должен немедленно издать несколько декретов, устанавливающих понятие законной власти.

Старичок вяло сидел в кресле, не реагируя на предложенную ему почетную власть. Попытались изложить ему вещь в возможно более доступных выражениях. Напрасно. Оказалось, он был глух.

С трудом наконец удалось договориться с ним письменно. Канцелярия составила воззвание, которое старичок по-

сле долгих отнекиваний – под угрозой револьвера – решился в конце концов подписать.

Час спустя на стенах Ситэ появилось первое воззвание нового диктатора. В нем новый диктатор объявил, что он берет в свои руки власть над островом Ситэ, восстанавливая на нем государство законности. Всякое действие, направленное против власти нового диктатора, надо считать незаконным и подлежащим самому суровому наказанию. Под воззванием стояла подпись: Матюрен Дюпон.

Весь остров испустил общий глубокий вздох облегчения. Существование полиции как таковой было спасено. Радостные полисмены ступали по земле, звонко постукивая по асфальту каблуками, как будто желали сами убедиться в своей несомненной реальности.

Однако с выпуском воззвания безработица отнюдь не прекратилась. Против власти нового диктатора никто не собирался протестовать, тем самым понятие незаконности оставлялось в области чистой теории.

Несколько дней спустя старичок, убедившись, что никто не делает ему никакого вреда, стал разговорчивее и даже дал себя уговорить лично взглянуть на государственные дела.

Первым самостоятельным распоряжением нового диктатора были большие маневры на площади перед префектурой. Обрадованные активностью своего диктатора, полисмены бодро проходили церемониальным маршем. Диктатор смотрел на парад с балкона, хлопая в ладоши.

После этого признака оживления он впал, однако, в прежнюю апатию.

На третий день в утреннем докладе, после обычных фраз, что в государстве – порядок и никаких случаев нарушения законности не замечалось, канцелярия донесла диктатору, что необходимо сызнова определить понятие незаконности и назначить хотя бы нескольких преступников, так как полиция без преступников начинает сомневаться в своей подлинной реальности.

В ответ на доклад старичок неожиданно оживился и в первый раз потребовал перо и бумагу.

Через полчаса на стенах Ситэ появился декрет, вызвавший на сонном островке необычайное возбуждение. В силу этого декрета все жители острова – блондины – объявлялись врагами отечества, в отличие от благонадежных граждан – брюнетов. Законным кадрам полиции повелевалось ликвидировать новых преступников в возможно кратчайший срок, не разбираясь в средствах.

К вечеру того же дня остров Ситэ имел вид, как в лучшие свои времена. Из ворот префектуры один за другим выходили дисциплинированные вооруженные патрули, поочередно исчезая в мрачных проулках. Преступники-блондины спрятались и забаррикадировались в домах. Облава длилась три дня, переходя местами в кровавые стычки. К концу третьего дня преступники были ликвидированы и доставлены в полицейский арестный дом. На острове Ситэ снова воцарилось спокойствие.

Утомленный внезапным проявлением энергии диктатор опять впал в состояние полной апатии, и не было никакой возможности принудить его читать даже ежедневные доклады.

Опираясь на вышесказанное, мы принуждены заключить, что храброму островку вряд ли удалось бы спасти весьма полезное установление полиции, если бы на выручку вялому диктатору не пришла такая же вялая, но более последовательная чума...»

VIII

В Париже на левом берегу утро это ознаменовалось необычайным оживлением. Русская монархия Пасси готовилась в этот день к приему большевиков, выданных ей, наконец, правительством Бурбонской монархии. На площади Трокадеро поспешно сколачивали из досок импровизированную трибуну. Согласно решению временного правительства, выданных большевиков должны были судить публично под открытым небом. В роли обвинителя выступала вся русская эмиграция. Наспех расставлялись столы и стулья.

Около девяти часов утра на дороге, ведущей к мосту Иены, начала уже собираться возбужденная, нетерпеливая толпа. Больше всего было женщин. Забыв в это утро даже принять ванну, пухленькие, увешанные бриллиантами дамочки, не привыкшие глядеть на дневной свет раньше часа дня, в лихорадочной торопливости высыпали на улицу за три часа до назначенного времени. Покрывая пудрой раскрасневшиеся от волнения лица, дамы развлекались болтовней.

Темы большей частью были одни и те же: сколько их привезут и каких — старых или молодых? Десятки фамилий передавались из уст в уста. Их снабжали на лету обильными подробностями о фантастической кровожадности и зверствах того или другого большевика. О первом секрета-

ре полпредства сороковая по счету дама рассказывала, что он собственноручно перебил три тысячи семейств; допрашивал в собственном апартаменте, за столом, уставленным всевозможными блюдами, и у упрямых арестованных выкалывал глаза зубочисткой.

Рослый, бородатый поп в сотый раз рассказывал жадным слушателям о святотатственном поругании церкви Св. Митрофана: пресвятые мощи великомученика выбросили в сортир, а в церкви устроили больницу, и сестрички-большевички оскверняют святые места блудом.

Вся реквизированная мебель, конфискованные драгоценности, незабываемые обиды, вытащенные опять на дневной свет со дна запревших эмигрантских сундуков, из-под многолетнего слоя нафталина, не устаревшие, вечно актуальные, скалили гнилые зубы, алкая мести, теплой булькающей крови; и толпа, как кот перед мышеловкой, из которой через минуту выпустят для него мышь, облизывалась в нетерпеливом ожидании.

Было уже больше одиннадцати, а с французской стороны все еще не видно было никакой повозки. Измученная неудовлетворенным предвкушением толпа начинала волноваться.

Ровно в три четверти по ту сторону моста показался большой грузовик, предшествуемый двумя мотоциклетками. Автомобиль медленно выехал на мост и остановился на середине. С мотоциклеток соскочили два французских офицера и подошли к ожидавшим их русским. Завязался оживленный разговор. Толпа нетерпеливо заколыхалась. Все глаза устремились на грузовик. Людей на нем издали разузнать было нельзя.

Разговор на мосту затягивался. Офицеры оживленно жестикулировали и разводили руками. Наконец французы откозыряли и сели опять на свои мотоциклетки. Грузовик медленно покатился по мосту, на русскую сторону. Толпа притаилась в ожидании. Когда же, переехав через мост, грузовик показался на набережной, из всех уст широким раскатом вырвался вдруг глухой рев бессильного бешенства. На грузовике развевался флажок красного креста.

Его окружили тесным кольцом. Теперь всем было уже ясно видно. На платформе грузовика вповалку валялось несколько человек с серыми, искаженными судорогой лицами, извиваясь, как черви. Это были зачумленные.

В одно мгновение площадь вокруг грузовика опустела. Толпа в паническом ужасе отхлынула на тротуары. Загудело несколько тысяч голосов.

Через несколько минут, жестикулируя и ругаясь, как публика, разочарованная тем, что отложили долгожданный бенефис внезапно заболевшего знаменитого тенора, толпа медленно и неохотно расходилась по домам.

На опустелой площади одинокий, никому не нужный остался стоять черный грузовик, полный сдавленного стона корчившихся на нем людей.

* * *

Ротмистр Соломин чернее тучи возвращался домой по безлюдным улицам. Разочарование было слишком глубоким, чтобы можно было тотчас же перейти к порядку дня.

Казалось, долгие годы он ждал вот этого момента, переносил ради него унижения и мытарства, мечтал о нем по ночам, и вдруг в последний миг кто-то коварный показал ему кукиш. И, забыв свою важность, ротмистр в бессильной злобе фыркал, как конь.

— Сволочи! — ворчал он сквозь стиснутые зубы. — Французишки! Нарочно оттягивали каждый день, выжимали всё деньги и дожидались, пока все передохнут!

Он ненавидел в этот момент французов не меньше тех. Чувствовал: подшутили над ним, насмеялись самым обидным образом, отыгрались разом за все его чаевые, за все свои су, выжатые когда-то с таким трудом.

И глухая, тяжелая злоба, — как вскипевшее молоко, готовое вылиться через край, ошпаривая все кругом, — клокотала на спиртовке сердца.

Все вдруг потеряло смысл и ценность, все стало ненужным. Единственное возмездие за долгие годы испорченной жизни, за разбитую карьеру — обмануло; не осталось ничего. Шел отяжелевшим шагом, не зная сам — куда и зачем.

Пустая тенистая комната, с мебелью в серых чехлах, отдавала серой, больничной скукой, и кресла, как больные в серых, на рост, больничных халатах, навязчиво напоминали о болезни, о смерти, о черной яме в рыхлой сырой земле. Хотелось сорвать злобу на ком попало, хотя бы на этой мебели в больничных халатах, выпустить ударом заржавелой шашки спутанные кишки пружин из распоротых брюх кресел, как когда-то в перехваченном у красных лазарете.

Подвернулся под руку денщик, спешивший на цыпочках с подушкой; получил в живот тяжелым, вычищенным до глянца сапогом, отлетел, задержался у двери, бараньим,

непонимающим взглядом лизнул сапог и бесшумно, торопливо исчез за дверью.

Нет, дома нельзя.

Хлопнул дверью, вышел на улицу. Долго, до поздней ночи шатался бесцельно по переулкам, по скверам, опустошенный, никому не нужный. Под вечер голод напомнил о себе.

Вошел в маленький ресторанчик на углу. Сразу ошпарил его гул голосов:

— Соломин!..

В углу, за столом — компания. Офицеры. Лоснящиеся, красные морды. Лезут целоваться. О степени накопленной нежности свидетельствует батарея опорожненных бутылок. Потянули к столу. Налили стакан до краев: «Пей!»

Выпил залпом, не поморщился.

А через четверть часа, под хрипящую «Волгу» граммофона, под лязг стаканов и бульканье разливаемой водки, на плече, на колючем эполете рыжего усатого поручика размяг, расплакался, слезами смочил френч, к складкам френча прижался лицом рыхлым, мокрым, липким, как блин.

Рыжий усатый поручик, бережно, по-матерински запрокинув ему голову, влил ему в рот стакан спирта.

* * *

Каким образом и когда очутился на улице, он не отдавал себе отчета. Было совершенно темно. С трудом удерживая равновесие, он пошел вперед, нащупывая руками стены.

У фонаря заметил: что-то торчит из кармана. Оказалось, начатая бутылка коньяку. Мучила икота. Отпил глоток и, заткнув пробкой бутылку, поплелся дальше. Улицы путались под ногами причудливыми вензелями.

Когда он наконец выбрался на площадь, показалось, будто из густого леса вдруг попал на поляну. Шатаясь и неуверенно ставя ноги, пошел напрямик.

Однако, пройдя десяток-другой шагов, наткнулся внезапно на какое-то препятствие. Препятствие при более тщательном осмотре оказалось громадным грузовиком на колесах с двойными шинами.

Соломин остановился, стараясь что-то вспомнить. Точно рыбак, склоненный над садком памяти, он несколько раз неуклюже закидывал в него удочку, и воспоминание, как форель, трепетало в прозрачной воде: вот-вот нырнул уже

танцующий поплавок, чтобы, блеснув переливом чешуи, замутив воду, через мгновение появиться опять.

Вдруг сверху, с платформы, долетел к нему придушенный стон. Поплавок камнем нырнул в воду, и на конце удочки засверкала ослепительным блеском огромная тяжелая рыба — не вытянешь: вся жизнь оловянной гирей повисла на этом воспоминании.

— Вот как, голубчики!..— забормотал ротмистр.— Не подохли еще. Что ж, видно, без моей помощи так и не суждено вам покинуть эту юдоль...

Хмельной ротмистр, с налитыми кровью пьяными глазами, стал карабкаться наверх. Это было ему нелегко. Шаткие ноги соскальзывали с колес, руки, точно деревянные, не могли удержать грузного тела. Наконец тяжелым взмахом он перекувырнулся через перекладину и шлепнулся лицом во что-то мягкое и неподвижное. Оправившись, тяжело сел на какой-то приплюснутый валик...

* * *

Когда наутро санитары отвезли в крематорий черный неподвижный грузовик,— бросая тела в печь, среди трупов большевиков они заметили труп белого офицера в мундире с погонами. Прибывший из главного командования офицер опознал в нем ротмистра Соломина.

Произведенное следствие обнаружило только, что в трагическую ночь ротмистр Соломин в сильно нетрезвом виде вышел из ресторана.

По приказу командования тело его было сожжено отдельно, с воинскими почестями.

IX

В роскошной гостиной мистера Давида Лингслея были еще наполовину спущены шторы, и в зыбком полумраке неподвижные, выпрямленные силуэты равви Элеазара бен Цви и плотного господина в американских очках казались на фоне пунцовых обоев двумя восковыми фигурами, принесенными сюда неизвестными шутниками из музея Гревен[1].

— Что прикажете? — возясь с галстуком, машинально спросил странных гостей мистер Давид.— К сожалению, я спешу на заседание и могу вам посвятить не больше десяти минут.

---

[1] Музей восковых фигур в Париже.

Сутуловатый человек с седой бородой, в неуклюжей потертой тужурке сказал что-то на еврейском языке плотному господину в американских очках.

Мистер Давид Лингслей с любопытством пригляделся к патриархальному лицу, к тонким семитским чертам человека в тужурке.

Плотный господин в очках, по-видимому исполнявший роль переводчика, передал на приличном английском языке:

— Дело наше недолгое. Будьте только любезны сесть и выслушать нас внимательно.

— Слушаю,— сказал мистер Давид, усаживаясь в кресло.

Оба пришедшие коротко поговорили о чем-то между собой, после чего господин в очках повторил:

— Дело наше недолгое. Вы можете, конечно, пойти на это дело либо нет — воля ваша. Но прежде, чем приступим к его изложению, вы должны обещать нам, что ни одно слово из нашего разговора не выйдет за пределы этих четырех стен.

— Я не люблю секретов, к тому же с людьми незнакомыми,— ответил сухо мистер Давид.— Если, однако, вам это очень важно, могу дать вам слово джентльмена не передавать нашего разговора никому.

— Именно *никому*,— подчеркнул господин в очках.— Это для нас крайне важно. Даже вашей подруге, мадемуазель Дюфайель.

Мистер Давид поморщился.

— Я вижу, что вы великолепно осведомлены о моей интимнейшей жизни,— ответил он ледяным тоном.— Все это начинает пахнуть шантажом. Мне неинтересно ваше дело, и я полагаю, что лучше всего будет, если вы, не излагая мне его, покинете мою квартиру.

Господин в очках, по-видимому, совершенно не смутился.

— Дело наше простое, и оно должно заинтересовать равным образом вас, как и нас. Мы пришли вас спросить, не хотите ли вы выбраться из Парижа и вернуться в Америку?

Мистер Давид Лингслей посмотрел на говорящего с недоумением:

— Что это значит? Выражайтесь яснее.

— Это значит, что мы можем помочь вам выбраться из Парижа и вернуться в Америку в кратчайший срок,— повторил господин в очках.

Мистер Давид недоверчиво прищурил глаза:

— Каким же образом, разрешите спросить, сможете вы это сделать? Будьте уверены, что все члены нашей концессии испробовали уже для этого все пути, нажали все кнопки,— как видите, безрезультатно.

— Это уже вас не касается,— ответил спокойно господин в очках.— Будьте добры дать нам ответ: да или нет?

— Разумеется, да,— засмеялся слегка неискренне мистер Давид.— Я готов дать вам за это дело любую сумму. Не понимаю только, почему вы обращаетесь с этим предложением исключительно ко мне. Уверяю вас, что сотни джентльменов уплатили бы вам за это сколько хотите. Или, может быть, речь идет о каком-то новом оптовом предприятии, которое по определенному тарифу перевозит состоятельных людей на другую сторону кордона? Изумительно выгодное предприятие! С закрытыми глазами вхожу в него компаньоном.

— Денег за перевоз мы не берем,— спокойно ответил господин в очках.— Наоборот, мы готовы доплатить вам любую сумму, если бы вы в этом нуждались. Но мы превосходно знаем, что вы в этом не нуждаетесь.

— В таком случае, либо вы — филантропы, либо же вы предлагаете мне эту сделку ради моих прекрасных глаз, так как знать вас я не имею удовольствия.

— Мы не предлагаем вам этой сделки ради ваших прекрасных глаз,— с невозмутимым спокойствием продолжал господин в очках.— Мы предлагаем вам услугу за услугу. Мы вывезем вас за пределы Парижа, вы окажете нам взамен другую услугу.

— Вы меня интригуете, господа. Любопытно послушать.

Господин в очках обернулся к седобородому старику в тужурке, и оба они с минуту разговаривали между собой на еврейском языке. Мистер Давид нетерпеливо прислушивался. Через минуту господин в очках придвинул ближе свое кресло к креслу мистера Давида и, наклонясь к нему, отчетливо сказал:

— Мы пришли из еврейского города как делегаты.

— Каким же образом вам удалось проникнуть на территорию концессии? — с недоумением вскрикнул мистер Давид.

— Это дела не касается. Будьте любезны выслушать нас внимательно. Евреи из еврейского города на днях выйдут из Парижа.

— Это каким же способом?

— Способ здесь не важен. Мы купили войска одного сектора. Войска пропустят через кордон еврейское население. Чтобы не обращать на себя внимания, оно дойдет до застав

подземельями метрополитена. По ту сторону кордона будут ждать товарные поезда. В пломбированных вагонах, зафрахтованных якобы для амуниционных ящиков, еврейское население уедет в Гавр.

— Замечательно, хотя не совсем правдоподобно. Сколько же людей, если можно знать, насчитывает население еврейского города?

— Уедут, понятно, только люди богатые. Вся беднота останется в Париже. Уедут одни здоровые, отбыв предварительный трехдневный карантин в вагонах. Общим числом надо считать около пятисот человек. Остальные вымерли или вымрут в ближайшие дни. Уехать они должны в самый кратчайший срок. Оставаться в Париже с каждым днем опаснее. Не говоря уже о том, что ежедневно умирает от чумы свыше ста евреев, над еврейским городом нависла другая опасность, заразительнее заразы: еврейская община соприкасается непосредственно с коммуной Бельвиль. Со дня ее образования среди наших бедняков началось заметное брожение. Не дальше как вчера весь квартал Репюблик оторвался от еврейского города и присоединился к большевикам. Свыше тысячи купцов были вырезаны чернью, и имущество их разграблено. Все голодранцы еврейского города только о том и помышляют, чтобы последовать этому примеру... Оставаться дольше в Париже нельзя...

— Итак, вы утверждаете, что из оцепленного кордоном Парижа выйдет отряд в пятьсот человек и никто этого не заметит?

— Так и будет. Все приготовлено и предусмотрено.

— Извините, но это что-то напоминает мне фантастический роман. Допустим, однако, что это правда. Если я хорошо вас понял, вы хотите взять меня с собой, уделить мне место в ваших пломбированных вагонах. Не так ли? Какой же услуги вы требуете от меня взамен?

— Услуги простой и для вас лично нетрудной. Дело именно в том, что пристроить столько евреев где-нибудь поблизости в Европе, не привлекая этим ничьего внимания, было бы физически невозможно. К тому же чума рано или поздно переберется, по всей вероятности, через кордон и завладеет всем материком. Евреи не для того убегают из Парижа и тратят на это бегство миллионные суммы, чтобы дожидаться прихода чумы в другом месте. Евреи должны пробраться в место совершенно безопасное, они должны пробраться в Америку.

— Ба! Вам, должно быть, известно, что Америка закрыла все свои гавани, опасаясь занесения в нее чумы, и что ни

один пароход не может причалить к ее берегам, не подвергаясь обстрелу.

— Нам это известно так же хорошо, как и вам. Поэтому мы и обращаемся именно к вам. Вы при помощи своих громадных связей похлопочете, и Америка пропустит один пароход.

— Абсурд!

— Подождите. Вы не скажете, конечно, что пароход везет людей из Парижа и вообще из Европы. Известите, что вы прибываете на пароходе из Каира. Все будет указывать на это. Пароход ждет уже в Гавре. Из Гавра, чтобы не обращать на себя внимания, он отчалит ночью с потушенными огнями. По дороге он переменит флаг и название. Не причалит он ни в Нью-Йорке, ни в Филадельфии, а в какой-нибудь маленькой пристани. Причалит, высадит пассажиров и отчалит ночью. Никто не узнает ни о чем. Вы только выхлопочите благодаря вашим связям, чтобы местные власти на минуту закрыли глаза. Вот и все.

Мистер Давид Лингслей погрузился в глубокое раздумье.

— Вы требуете от меня, господа,— сказал он после долгого молчания,— ни более, ни менее, чтобы я, использовав свои связи, перевез в Америку чуму, так как не подлежит ведь сомнению, что из пятисот человек, покидающих Париж, по крайней мере у нескольких она обнаружится в дороге или после высадки. Отказываюсь.

— Не надо отказываться, не обдумав. Подумайте хорошенько, прежде чем дать нам ответ.

— Я уже подумал. Я не могу взять на себя подобной ответственности. Почему вы избрали именно Америку? Поезжайте в Африку, в Азию.

— Евреям нечего делать в Африке или в Азии. В Америке у каждого еврея — родственники, и Америка наиболее отдалена от Европы. Впрочем, в ваших собственных интересах, чтобы евреи поехали именно в Америку. Если бы они ехали в Африку или в Азию, они не нуждались бы в вашей помощи.

— И не имели бы основания брать меня с собой. Понимаю великолепно. Тем не менее не могу взяться за то, чего вы от меня требуете. Останусь в Париже.

— Вы — самоубийца. Вы хотите умереть, имея возможность спастись.

— Спасение сомнительно, если, убегая в Америку, я привезу в нее вместе с собой чуму. Это не спасение, а только отсрочка.

— Вы пессимист. Где же сказано, что среди евреев, которые уедут, обязательно должен найтись сейчас же какой-нибудь больной? Перед отъездом всех осмотрят врачи. Все отбудут трехдневный карантин. Если бы даже кто-нибудь заболел по дороге, его просто сбросят в море. Допустим даже худшее, что один или два еврея заболеют после высадки,— так ведь это еще не есть эпидемия. От двух евреев не заразится же вся Америка.

— Из пятисот могут заболеть не двое, но двести евреев.

— Зачем же быть таким пессимистом? Всегда надо предполагать, что будет лучше. Подумайте. Мы придем завтра за ответом.

— Я уже подумал и согласиться на ваше предложение не могу.

— Это ваше последнее слово?

— Да. Последнее.

Господин в очках, поговорив со стариком в тужурке, снова обратился к мистеру Давиду:

— Вы — идеалист (мистер Давид улыбнулся про себя с невольной гордостью). Мы думали, что вы человек реальный. Вы обрекаете себя на смерть потому, что боитесь возможности заразить нескольких американцев. Вы не принимаете во внимание, что одновременно спасаете этим несколько сот других достойных людей с капиталами, запертых здесь, в Париже, которых мы согласны забрать с собой в Америку на нашем пароходе. Кстати, если уж вы такой человеколюбец, почему бы вам не пожалеть этих пятисот евреев? Если они не уедут, они тоже все заразятся и перемрут.

— Почему же мне жалеть именно этих пятьсот евреев, а не миллионы остальных жителей Парижа, которые, оставаясь здесь, тоже обречены на гибель?

— Нельзя жалеть всех. Так нельзя было бы жить. Надо жалеть тех, кто ближе.

Мистер Давид Лингслей наморщил брови:

— Почему же вы предполагаете, что именно евреи должны быть мне ближе?

Господин в очках не ответил.

Мистер Давид Лингслей вынул папиросу, закурил и затянулся.

— Кажется, я начинаю понимать первопричину вашего визита. Собирая относительно меня исчерпывающие сведения, вы, по всей вероятности, узнали, что отец мой был еврей, и подумали, что, если я не пойду на сделку, меня можно будет взять сантиментами. «А идиш харц»[1],— как вы го-

[1] Еврейское сердце.

ворите между собой. Я должен вас разочаровать. Я воспитан в Америке, в Америке же я добился богатства. Я — американец. Еврейству я ничем не обязан, и у нас нет никаких точек соприкосновения. Наши линии, которые в прошлом поколении, быть может, еще пересекались, разошлись бесповоротно. Вопрос происхождения — это вопрос исключительно метрики. Еврейство не имеет оснований ожидать от меня чего-либо.

Господин в очках торопливо возразил:

— Кто же говорит о происхождении? Позволю себе вам сказать: вы поступаете необдуманно. Что когда-нибудь сможет заразиться и умереть несколько американцев,— это ведь только возможно, а вот что, оставаясь здесь, через пять-шесть дней умрете вы сами,— это несомненно. Разве это можно назвать логическим рассуждением? А что, если из этих пятисот евреев не заболеет ни один? Ведь есть же такая возможность; а тем самым не заразится ни один американец. А вы, вместо того чтобы испробовать и эту возможность, предпочитаете примириться с тем, что через неделю, когда вы были бы у себя в Америке, в кругу семьи и друзей, вдали от зараженной Европы, вы будете лежать здесь, даже не в земле, а так где-то простой кучкой пепла, ибо в загробную жизнь вы ведь не верите. А что таков именно будет ваш конец здесь, в этом вы, надеюсь, не сомневаетесь.

Мистер Давид Лингслей с шумом отодвинул кресло.

— Разговор наш бесполезен. Извините меня, я не могу больше терять времени, я опоздал уже на заседание.

Оба посетителя встали и торопливо направились к выходу. На пороге господин в очках остановился и сказал с доброй улыбкой:

— Дело не к спеху. Вы сейчас торопитесь. Мы не будем отнимать у вас времени. Вы подумаете, рассудите еще сами. Завтра мы зайдем за ответом.

Мистер Давид Лингслей хотел было резко заявить этим людям, что им незачем трудиться, что решение его непоколебимо, но людей не было уже в комнате. Мистер Давид смял в пальцах папиросу, ощупал карман, заметил, что забыл часы; вернулся в спальню, с нервным отвращением сунул в жилетный карман покоившиеся на столике часы, машинально опустил в карман брюк лежавшую в ящике маленькую стальную вещицу и, надвинув на лоб шляпу, быстро сбежал по лестнице. На повороте он наткнулся на двух санитаров, сносивших сверху черные прикрытые носилки. Мистер Давид поспешно посторонился и быстрым шагом направился в «Америкен-экспресс».

* * *

У входа в «Америкен-экспресс» мистера Давида дожидался уже бой, который поднял его на лифте на второй этаж (секретное заседание, кабинет № 7).

В кабинете, сквозь голубоватый туман сигарного дыма, мистер Давид не сразу разглядел своих пятерых коллег-американцев, покоившихся в уютных объятиях клубных кресел. Его удивило отсутствие коллег-англичан.

Мистер Давид уселся в предназначенное для него кресло и, взяв из услужливо подвинутого ему ящика толстую сигару, погрузился в вопросительное молчание.

Из клубов глубокого дыма, как под бархатную сурдинку, до него донесся гортанный, полный достоинства голос мистера Рамзая Марлингтона:

— Я думаю, что, раз мы все в сборе и всем нам хорошо известна цель сегодняшнего заседания, мы можем, не теряя времени, приступить сразу к обсуждению подробностей. Мне хотелось бы, однако, раньше услышать мнение по этому поводу моего высокоуважаемого коллеги Давида Лингслея, так как оно послужит нам основой для дальнейших обсуждений.

— Извините, господа,— медленно сказал из глубины своего кресла мистер Давид,— бархатно-голубая атмосфера комнаты действовала на него усыпляюще.— Я должен, однако, признаться, что мне ничего не сообщили относительно повестки нашего сегодняшнего заседания, и, прежде чем выразить свое мнение, мне необходимо с ней ознакомиться.

Все головы, утопавшие в креслах, повернулись одновременно в его сторону.

— Неужели? — сказал с расстановкой мистер Марлингтон, и в голосе его прозвучало удивление.— Разве вас сегодня не посетила делегация еврейского города?

Кресло мистера Давида Лингслея испустило сдавленный крик истязаемых пружин.

Невидимый среди облаков окутывающего его дыма, как плотная, пятипудовая пифия, мистер Марлингтон продолжал:

— Как мы только что установили, каждого из нас пятерых в одно и то же время, то есть приблизительно около девяти часов утра, посетили два делегата от еврейского города с одним и тем же предложением. Эти делегаты сообщили нам, что одна из делегаций направилась к вам как к

лицу, имеющему в этом деле голос, в некоторой степени решающий. Разве вы не приняли ее?

Прихотливые полосы дыма повисли над креслами пятью вопросительными знаками.

Из кресла мистера Давида раздался спокойный голос:

— Действительно, у меня была такая делегация. Однако мне не сообщили, что предложение, сделанное мне, делается одновременно всем американским членам правительства нашей концессии. Поэтому я понял его как предложение индивидуальное и не ожидал, что сегодняшнее заседание будет посвящено именно этому вопросу.

— Великолепно,— промычал из своего кресла мистер Марлингтон.— Теперь, когда мы уже установили фактическое положение вещей, не могли бы мы узнать, я и мои коллеги, какого рода ответ дали вы еврейской делегации?

— Пожалуйста,— сказал спокойно мистер Давид.— Я ответил ей отказом.

Теперь, в свою очередь, все пять кресел испустили невнятное восклицание. Водворилась тишина.

Из одного кресла раздался добродушный хохот:

— Коллега изволит острить. Хе-хе-хе! Великолепная шутка.

— Вы ошибаетесь, коллега,— ответил сухо мистер Давид.— Мне не до острот. Я не знаю, известны ли вам все условия, выдвинутые евреями за предлагаемую нам услугу. Еврейские делегаты заявили мне, что они согласны взять нас с собой с условием, что Америка пропустит пятьсот евреев, бежавших вместе с нами из зачумленного Парижа, или же, другими словами, что она согласится впустить к себе чуму. Я не счел возможным брать на себя подобную ответственность.

— Конечно,— отозвался после некоторой паузы мистер Марлингтон,— ввоз в Америку пятисот евреев,— что и говорить,— отрицательная сторона этого предложения. Трудно, однако, ставить на этот счет какие-либо условия. Не надо забывать, что ведь, в сущности, все же не мы забираем с собой евреев в Америку, а они — нас. Всем нам превосходно известно, что все наши попытки пробраться за кордон кончались неизменной неудачей. Отклонить представляющуюся оказию было бы безумием. К тому же с момента, как только нам удастся выбраться за пределы кордона, роли наши заметно меняются. По прибытии в Америку нет ничего проще, как под предлогом какого-нибудь врачебного осмотра не дать евреям высадиться на берег и не пустить их вообще в Америку. В ту минуту, когда мы будем уже на бе-

регу, мы, понятно, поступим так, как это покажется нам нужным и полезным для блага нашего любимого отечества. Не так ли, господа?

Головы в креслах молчаливо склонились в знак одобрения.

Мистер Марлингтон продолжал в промежутках между двумя клубами благоухающего дыма:

— Желая избежать ненужной огласки, исходя из принципа, что дело касается исключительно нас, американцев, мы решили не посвящать в него наших английских коллег, которых, как видите, мы не пригласили на сегодняшнее заседание. Пусть уж они сами постараются как-нибудь выбраться собственными силами к себе на родину. Им, кстати, гораздо ближе, да и не по дороге с нами. Я, признаюсь откровенно, не вижу смысла в том, чтобы мы вывозили отсюда, так сказать, на своей спине людей, которые за последние десятки лет неизменно подставляют нам ножку в наших мировых операциях. Ссылки на родство рас довольно неубедительны и абстрактны. Я полагаю, что являюсь выразителем мнения всех моих коллег, предлагая разрешить этот вопрос по старому принципу: Америка для американцев.

Джентльмены в молчании склонили головы.

Мистер Марлингтон конфиденциально перегнулся в сторону кресла мистера Давида Лингслея.

— Я вижу, что на этот счет между нами нет разногласий. Дело почти исключительно в наших руках, мистер Лингслей. Весь военный флот Соединенных Штатов — у вас в кармане. Стоит вам послать маленькую телеграмму, чтобы крейсеры, стерегущие наши побережья на данном отрезке, уехали на день куда-нибудь на маневры. Дав еврейской делегации слишком торопливый ответ, вы не взвесили всех сторон вопроса. Все мы здесь горячие американские патриоты. Мало, однако, одного чувства патриотизма,— нужен разумный патриотизм. Наше возвращение в Америку принесет, несомненно, нашей любимой родине огромные выгоды, содействуя ее промышленному расцвету, в то время как наша бессмысленная смерть здесь была бы сопряжена для нее с неисчислимыми потерями. Понятно, что при выборе наших соотечественников, которых мы вывезем из Парижа, чтобы вернуть их Америке, мы будем руководствоваться не количественным, а качественным признаком. Вместе с нами отбудут исключительно люди, имущество которых ставит их в первый ряд граждан нашей великой родины, мощными столпами социального порядка которой они

являются. Мой секретарь приготовит к вечеру соответствующий список. Я считаю, что откладывать это дело не следует ни в коем случае и что вы должны по возможности скорее известить правительство еврейского города о своем согласии.

Мистер Давид Лингслей отложил сигару и поднялся.

— Дайте мне, господа, двадцать четыре часа на размышление. Завтра утром, обдумав вопрос обстоятельно, я по телефону дам вам ответ. Дело слишком серьезное, чтобы можно было решать его с места в карьер.

Все пять джентльменов грузно поднялись со своих кресел.

Мистер Давид распрощался и поторопился к выходу.

— А что касается этих пятисот евреев и их въезда в Америку,— дунул ему вслед вместе с облаком голубого дыма мистер Рамзай Марлингтон,— так об этом, пожалуйста, не беспокойтесь. Это пустяки, которые мы легко сможем разрешить на месте. Предоставьте это дело мне...

Впрочем, мистер Давид расслышал лишь половину последней фразы. Вторую отрезали задвинутые с шумом дверцы лифта.

После его ухода джентльмены обменялись значительными взглядами.

— Интересно знать, какого рода комбинацию преследует наш глубокоуважаемый коллега Лингслей,— бросило вскользь одно из кресел.

— И во сколько она нам обойдется,— прибавило другое.

— Не условился ли он с евреями уехать один, оставив нас всех в Париже? Вы заметили его смущение, когда он узнал, что у всех нас были делегаты еврейского города?

— Да, по-моему, за Лингслеем необходимо старательно последить. Несомненно, здесь что-то кроется. Сам Лингслей по происхождению — еврей. Было бы крайне глупо, если б вдруг оказалось, что мы остались в дураках и прозевали такую исключительную возможность.

— Не беспокойтесь, господа,— раздался из угла спокойный голос мистера Рамзая Марлингтона.— Благодаря тому, что мистер Давид и я давно работаем в смежных областях промышленности, мой сыщик, по обыкновению, не отступает от него ни на шаг. О каждом его поступке мы будем в точности осведомлены и в нужный момент всегда сможем вмешаться в дело. А покамест будем готовиться к отъезду, чтобы не быть захваченными врасплох.

К сожалению, этого интересного разговора мистер Давид уже не слышал. Он был на улице и, отыскав в веренице

ожидавших вдоль тротуара автомобилей свой роллс-ройс, погружаясь в мягкие подушки, привычно буркнул:

— Елисейские поля!..

В эту минуту он увидел обернувшееся к нему незнакомое лицо шофера.

Мистер Давид Лингслей подумал, что ошибся автомобилем, посмотрел на свои вензеля, вышитые на подушках, хотел было спросить, но не спросил. Как солист сумасшедшего ревю, он привык уже к постоянной смене ролей, которую среди запуганного ансамбля артистов производила ежедневно истерическая режиссерша — смерть. Сухим, металлическим голосом повторил точный адрес. Автомобиль тронулся.

Предвечерняя жара, как скульптор, торопящийся снять посмертную маску со слишком медленно умирающего больного, облепила лицо мистера Давида душным гипсом. Мистер Давид подумал о мягких шелковых подушках, холодных и пушистых, в которые можно погрузиться, как в полусон...

Замечтавшись, он полузакрыл глаза. Когда же он открыл их, заметил, что автомобиль уже стоит перед хорошо знакомым особняком. Окна в особняке были закрыты ставнями.

«Спит...» — нежно подумал мистер Давид и улыбнулся своей мысли.

Два раза, долгим звонком, позвонил он у подъезда. Протекла длительная минута. Никто не отворял. Мистер Давид позвонил опять. Внутри царила тишина. Неужели нет никого из прислуги? Мистер Давид нетерпеливо нажал кнопку. Звонок задребезжал тревожным сигналом. Опять молчание.

Из ворот соседнего особняка показалась голова пожилого, седеющего человека. Раздражительная, злая голова. Голова отчетливо сказала на ломаном английском языке:

— Нет никого. Мадам умерла сегодня около полудня. Забрали уже в крематорий. А прислуги нет. Разбежалась.

Мистер Давид Лингслей застыл, не отрывая руки от кнопки звонка. Стоял так, должно быть, долго, так как первой вещью, которая опять бросилась ему в глаза, было удивленное, вопросительное, как будто слегка насмешливое лицо незнакомого шофера.

Мистер Давид тяжелым шагом сошел со ступенек и грузно опустился на сиденье. Обернувшись к нему, шофер не переставал смотреть вопросительно.

— Поезжайте так... немного... вперед...— медленно произнес мистер Давид.

Шофер почтительно склонился. Машина тронулась.

* * *

Когда поздно вечером машина мистера Давида Лингслея остановилась у подъезда Гранд-Отеля, в нижнем этаже, в кафе Де-ля-Пэ, визжал уже джаз, и обреченные на смерть джентльмены с вытаращенными глазами, как гигантские комары, облепили круглые столики, сося сквозь трубки соломинок красную кровь коктейлей.

Очутившись один в своей комнате, мистер Давид машинально завел часы, положил их на ночной столик и медленно начал раздеваться. Прикосновение холодных простынь сквозь тонкий шелк пижамы вывело из оцепенения сознание крепкого, правильно действующего тела, и сознание это, как включенная машина, покатилось по своей старой, обычной линии.

Сорокалетний мужчина под складками одеяла впервые ясно отдал себе отчет в том, что прошлой ночью он целовал, сжимал и брал женщину, которая сегодня умерла от чумы.

Мысль была так остра и холодна, что мужчина ощутил легкий холодок вдоль позвоночника.

Где-то, на поверхности, залгавшееся социальное «я» мужчины, известное под кличкой «мистер Давид Лингслей», как этикетка на бутылке, содержащей химический раствор,— даже не стекло, а приклеенная к стеклу бумажка с определенным количеством условных знаков,— попыталось возмутиться: умерла любовница, единственная, незаменимая и прочее. Понятно было бы отчаяние, крик, безнадежность, но не грубый эгоизм — тревога: заразился! Умру! Но этикетка, как этикетка, не имеет и не может иметь влияния на химический состав содержимого бутылки (иногда невнимательный химик перепутает этикетки) — и тело сорокалетнего мужчины, нисколько не стыдясь этого, продолжало свою мысль по праву собственной непоколебимой логики.

И сейчас же за первую мысль зацепилась следующая: «Итак, я заразился. Чума уже во мне. Самое позднее завтра умру. Может, даже сегодня ночью».

Сорокалетний господин быстрым движением поднялся на кровати. Мысль была так проста, так неопровержима в своей безупречной логичности, так прозрачна и полна кислорода, что по сравнению с ней воздух в комнате показался чистым углеродом, и у сорокалетнего мужчины на мгновение захватило дыхание.

«Любовь», «любовница» — все эти категории, по которым некий мистер Давид Лингслей классифицировал некогда степени своих впечатлений, отпали вдруг, непонятные, как слова иностранного языка. Осталась чужая, зараженная, мертвая женщина,— не женщина — килограмм пепла,— живущая в настоящую минуту лишь в нем, в бациллах своей заразы, пробирающихся сейчас, вот в это мгновение, в его кровь.

Сорокалетний мужчина дернул рукой выключатель и осветил комнату. Стоявший напротив зеркальный шкаф искривился навстречу ему гримасой бледного, знакомого лица.

«Неужели уже нет спасения? Действительно ли нет уже спасения? Давай подумаем спокойно...— рассуждало тело сорокалетнего мужчины.— Бывали ведь случаи, когда даже люди, заразившиеся сифилисом, приняв решительные меры непосредственно после сношения, препятствовали этим распространению болезни».

«Поздно»,— пытался возразить мозг.

«Нет, может быть, как раз еще не поздно. Не прошло ведь еще и двадцати четырех часов. Если поторопиться...»

Впрочем, тело как тело, отвлеченному рассуждению предпочитало язык конкретных действий. Сорокалетний мужчина босиком спрыгнул с кровати на пол, с суеверным отвращением скинул, или, скорее, сорвал, с себя пижаму и нагишом побежал к туалетному столику. Из расставленных на нем флаконов рука сорокалетнего мужчины выхватила банку с сулемой и, приготовив под краном крепкий красноватый раствор, стала обливать им и натирать до красноты косматое, покрытое гусиной кожей тело, начиная с половых органов, кончая лицом и ушными раковинами.

Когда потребность непосредственного действия оказалась удовлетворенной и энергия упала, как раскрутившийся волчок, мистер Давид Лингслей смог на минуту взять слово и, взглянув через глаза сорокалетнего мужчины на отражающееся в зеркале покрасневшее косматое тело, высказал мнение:

— Я смешон.

Это было, однако, замечание несмелое, и оно осталось где-то в стороне, точно совершенно не касаясь сорокалетнего господина. В своей непривычной наготе он вдруг почувствовал дрожь холода; обходя бесцельно валявшуюся на ковре пижаму, он направился к шкафу, откуда достал свежий халат и окутал им свои прелести.

С минуту сорокалетний господин обдумывал, не лечь ли ему обратно в кровать, потом подоспела мысль: переменить белье. Хотел было позвать боя, но в этот момент вмешался мистер Давид Лингслей, который стыдился встретиться в неурочное время с глазу на глаз с боем, и сорокалетний мужчина уступил, уселся глубоко с ногами в кресло, решая переждать так до утра.

Усевшись, сорокалетний господин стал внимательно ощупывать живот, нажимая его до боли, так же как и железы под мышками. Осмотр, однако, не принес никаких положительных результатов, и сорокалетнему господину оставалось только ждать.

Тогда сквозь окошко ожидания попытался выглянуть снова мистер Давид Лингслей, который наскоро сформулировал свою мысль:

«Я трус. Боюсь смерти. Какой абсурд! Ведь, живя среди зачумленных, я знаю великолепно, что в любой день могу умереть».

Однако то, о чем знал великолепно мистер Давид Лингслей, совершенно, по-видимому, не касалось сорокалетнего господина, который, все больше ежась в своем кресле, упорно не принимал этого к сведению.

«Умру, я должен умереть,— старался убедить сорокалетнего господина мистер Давид Лингслей.— Что же тут удивительного? Вот был я, и вот меня не будет».

Сорокалетний господин, однако, никоим образом не мог вообразить себе этого простого факта и лишь больше ежился в своем кресле. Мистер Давид Лингслей испугался, чувствуя, что сорокалетний господин хочет кричать.

«Нельзя, услышат, прибежит прислуга, стыдно!» — лихорадочно уговаривал он.

Но сорокалетнему господину было в этот момент не до прислуги. Сорокалетний господин чувствовал что-то черное, склизкое, облепляющее уже все его члены, и рычал протяжно, как зверь, пока мистер Давид Лингслей не заткнул ему рот рукой.

«Услышат!»

Минуту мистер Давид Лингслей прислушивался. Однако не было слышно ничего. Тогда только он вспомнил: во всем этаже больше никого нет.

«Тише, тише!» — ласково успокаивал он сорокалетнего господина.

Сорокалетнему господину, голому, в одном парчовом халате, было холодно, и он дрожал всем телом.

Пользуясь его минутной апатией, мистер Давид Лингслей попробовал рассуждать дальше.

Как опытный делец, он привык, раньше чем приступить к ликвидации какого бы то ни было предприятия, составлять баланс его пассивов и активов. И теперь с высоты бархатного кресла, словно с возвышения, мистер Давид Лингслей попробовал оглянуться назад на прожитую жизнь и подвести в общих чертах ее итоги. Оглянувшись, он увидел необозримые массы цифр, стекающихся к нему со всех сторон плотной всесмывающей лавиной, точно серые миллиардные стада крыс, окруживших его кресло, и в невольном страхе он подобрал под себя свои босые трясущиеся ноги.

В сером море цифр единственным зеленым островком цвела любовь последних недель, и мистер Давид Лингслей, как тонущий, хватающийся за доску, попытался стать твердой ногой и утвердиться в этих маленьких пределах. Но тут схватил его за руку сорокалетний господин, который ненавидел мертвую, зачумленную женщину и опасался поставить ногу на ее наследство.

Жизнь оказалась предприятием убыточным, и мистер Давид Лингслей чувствовал, что он без сожаления закрывает ее торговую книгу. Стоило ли ему двадцать долгих лет, днем и ночью, как каторжнику, вертеть тяжелые жернова миллионов, обильно смазывая их липким красным маслом, чтобы в момент подведения баланса убедиться, что в трудолюбиво сооружаемых амбарах вместо муки миллионами расплодились крысы цифр, чудовищная, несметная армия, вечно голодная и алчная, точащая уже зубы на него самого,— на него, который мнил их своим орудием, средством, а внезапно оказался сам лишь средством для какой-то неведомой цели.

И мистер Давид Лингслей, как на экзамене, прямо, без запинки, ответил: «Нет, не стоило».

«Итак, я умру, и от меня не останется ни следа».

Сформулированная таким образом мысль показалась неудобоваримой даже для мистера Давида Лингслея и упорной икотой вернулась обратно к горлу.

«Сейчас... Разберемся хладнокровно: умирают писатели, мыслители, артисты. Остаются навсегда жить в своем творческом материале. Что же было моим материалом?»

И мистер Давид Лингслей ответил:

«Деньги, имущество».

Неблагодарный, безымянный материал. Имущество поделят наследники. Не останется ничего, даже фамилии.

Фамилию старательно вычеркнут из текущих счетов всех банков материка. Что же останется? Тупая ненависть нескольких миллионов рабочих, среди которых он до сих пор жил страшной легендой? Даже оттуда выскребут его фамилию, заменят ее новой. Через пять лет от него не останется ни следа.

Мистер Давид Лингслей в первый раз понял, то, что он называл всегда добродетельным психозом стареющих миллионеров, всех этих Карнеджи и Рокфеллеров, завещающих миллионные суммы на благотворительные цели, основывающих миллионные фонды своего имени. Вдруг почувствовал и понял кричащий в них старческий страх перед небытием, судорожное усилие остаться в чем-либо, прилепиться к чему бы то ни было хотя бы буквами собственной фамилии. В первый раз пожалел, оправдал снисходительной улыбкой. Бедные! Финансируя чужую идею, они обманывают себя, воображают, что закрепляют себя в ней, прицепив к ней свою визитную карточку, так же мало имеющую общего с их личностью, как номер их чековой книжки, который они могли бы отпечатать на ней с равным успехом.

Здесь обеспокоился даже сорокалетний господин, почувствовав ускользающую из-под ног почву, и судорожными пальцами стал хватать воздух.

Сорокалетний господин был не в силах соперничать с логическими выводами мистера Давида Лингслея; глухим звериным инстинктом он стал искать чего-либо, за что можно было б зацепиться, как моллюск, чувствующий приближающуюся волну, которая его смоет, судорожно ищет выступа, шероховатости скалы, чтобы к ней присосаться на время опасности.

Бродя ощупью в пустоте сознания, сорокалетний господин наткнулся вдруг на знакомое, притаившееся там лицо и внезапно съежился...

Мистер Давид Лингслей был человеком бездетным. Эта маленькая печаль постоянно точила его, как червяк, хотя он не сознавался в ней даже перед самим собой. Уверившись на тридцать шестом году жизни, что детей у него не будет, мистер Давид Лингслей впервые подумал о родственниках. У него когда-то был брат, который, как он в свое время узнал, умер с голоду в какой-то норе в предместье Лондона. На такого человека, лишенного всяких семейных чувств, как мистер Давид, известие это не произвело ни малейшего впечатления. Докучало немножко сознание вины (когда-то в отцовском завещании пришлось сделать ма-

ленькую поправку...). Подумав о родственниках, мистер Давид вспомнил, что после неудачника-брата осталось какое-то потомство, и решил его отыскать. После долгих поисков он разузнал, что из целого потомства остался в живых лишь двадцатилетний юноша по имени Арчибальд Лингслей, зарабатывающий сам себе на жизнь в Лондоне.

Приказав переслать ему пароходный билет первого класса и несколько тысяч долларов на ликвидацию дел в Европе, мистер Давид в коротком письме предложил племяннику переехать учиться в Нью-Йорк.

Приехал тощий высокий мужчина, с добрыми карими глазами, с прядями светлых шелковистых волос на умном широком лбу, с лицом худым и болезненным, изрубцованным прорехами преждевременных морщин. Поселился он в левом флигеле дворца.

Мистеру Давиду понравилось широкое открытое лицо племянника, и он решил, откормив его, сделать его своей правой рукой. Сразу, однако, пошла канитель. Племянник оказался коммунистом и, не распаковав еще как следует жиденького чемоданчика, принялся за агитацию на заводах у дяди. Мистер Давид принимал тревожные доклады на этот счет от подчиненных директоров со снисходительной улыбкой.

Желая положить конец юношеским сумасбродствам племянника, он назначил его генеральным секретарем одного из своих предприятий, в длинной, ласковой и задушевной беседе дав ему понять, что выбрал его себе в компаньоны и наследники.

Племянник службу принял, но агитации не прекратил. Кончилось тем, что взбаламученные рабочие в одно прекрасное утро завладели заводом и объявили его собственностью заводского комитета. Пришлось прибегнуть к помощи полиции и с трудом восстановить порядок, убрав зачинщиков.

После бурного разговора между дядей и племянником дело дошло до окончательного разрыва.

С тех пор мистер Давид Лингслей не хотел больше слышать о неблагодарном племяннике, которого и след простыл.

Вплоть до одного весеннего дня. К этому времени из-за увольнения нескольких главарей на четырнадцати фабриках мистера Давида Лингслея вспыхнула забастовка. По приказу мистера Давида управление объявило заводы закрытыми, рассчитав всех рабочих. Уволенные рабочие попытались овладеть фабриками силой. Управление вызвало

воинские части. Силой вытесненная из заводских строений толпа организовалась в шествие и боковыми улицами со всех сторон хлынула к дворцу мистера Давида Лингслея. Зазвенели стекла.

Выведенный из себя мистер Давид позвонил в полицию за подкреплением. Полицейский комиссар, состоявший у него на жалованье, услужливо спросил по телефону, желает ли он, чтобы полиция пустила в ход оружие. Мистер Давид лаконически брякнул:

— Считаю, что пора покончить с этой смутой. Ваши слезоточивые бомбы не производят никакого впечатления. Толпа привыкла к холостым патронам и не обращает на них ни малейшего внимания. Два настоящих залпа рассеют демонстрантов и отобьют у них охоту на будущее время. Впрочем, это уже ваше дело.

Комиссар не обманул питаемого к нему доверия. Мистер Давид имел возможность видеть лично из-за занавески, как из боковой улицы вдруг показался отряд полиции, как грянул залп и толпа в смятении обратилась в бегство. Через пять минут площадь опустела, если не считать нескольких человек, оставшихся неподвижно лежать на асфальте.

Минуту спустя в кабинет мистера Давида лично явился полицейский комиссар. Видимо, смущенный, он мял безукоризненно белые перчатки. Мистер Давид сначала не мог понять причины его визита.

— Ваш племянник...— бормотал комиссар.— В первом ряду... Нельзя было предвидеть...

— Убит? — сухо спросил мистер Давид.

— Да...— выкашлял несколько ободренный его тоном комиссар.— Прикажете перенести его сюда?

— Нет, что вы! — удивился мистер Давид.— Хотя, впрочем... вы правы... Прикажите перенести убитого в его комнату, в левом флигеле.

Поздно вечером, в первый раз за весь год, мистер Давид появился на пороге комнаты племянника. Племянник лежал на тахте, закинув голову, и из уголков рта двумя тоненькими струйками стекала кровь на дорогой ковер.

Мистер Давид Лингслей видел с этих пор много лиц, живых и мертвых, но это одно, неестественно увеличенное, осталось навсегда висеть на завешанной всякой мишурой стене его памяти.

Он способен был понять все: рабочие волнуются, идут грудью навстречу залпам полиции. Не видел в этом никакого геройства. Просто нищие завидуют богатым. Какое уж

тут геройство? Увеличить заработки — и вернутся послушно на работу. Не ненавидел их даже — просто презирал.

Но здесь обрывались все логические предпосылки. Племянник мистера Давида Лингслея, будущий наследник тридцати фабрик, ведущий на разграбление предназначенных для него в будущем богатств оборванную, хищную толпу...

Это не могло никак уместиться в голове мистера Давида, и его мысль, привыкшая вращаться во всех социальных широтах, как в своем личном кабинете, ударялась об это лбом, как о непреодолимую стену.

Опять широким потоком полились цифры, но не смыли, не стерли никогда бледного лица с прядями светлых волос и двумя струйками крови в страдальческих уголках губ. Племянник Арчи, похороненный на кладбище в родовом склепе Лингслеев, явно издевался над дорогими мраморными плитами, продолжая свою прерванную работу. Из толпы осажденных демонстрантов, из телеграммы о новой забастовке, из столбца утренней газеты, извещающей о революции в Китае,— отовсюду глядело на мистера Давида Лингслея бледное лицо с шапкою светлых волос, бодрствующее, вездесущее, неуничтожимое.

Неоднократно, когда мистеру Давиду приходилось пробегать глазами доклад о преувеличенных требованиях рабочих, когда нетерпеливая рука тянулась к телефонной трубке, чтоб проворчать в нее лозунг локаута,— из трубки, как улитка из раковины, вдруг выползало навстречу лицо племянника Арчи, и мистер Давид откладывал трубку, брал опять доклад в руки, шел на уступки.

Бессознательно — где-то глубоко, под устоями «принципов» и «мнений», в маленьком блиндированном сейфе души — племянник Арчи остался навсегда символом бескорыстного идеализма; и беззастенчивый мошенник и грабитель, мистер Давид Лингслей, когда ему изредка случалось сделать какой-либо действительно бескорыстный жест, тайком от самого себя, как еврей — мезузе, касался пальцами дверцы этого сейфа, словно с невольной гордостью ища в нем одобрения.

Так и сегодня, когда седобородый равви Элеазар и плотный господин в американских очках предлагали ему сделку, в безнравственности которой у него не было ни малейших сомнений, мистер Давид Лингслей, готовый было уже на нее пойти, инстинктивно протянул руку в этот потаенный уголок и, неожиданно для самого себя, с катоновской непреклонностью ответил отказом.

И теперь, когда вылущенный из одежды, голый сорокалетний мужчина перед лицом обступающего его небытия судорожным криком рук искал вокруг себя чего-то, к чему можно было бы прилепиться, на чем запечатлеться, закрепить себя навсегда, наперекор очевидности смерти и процессу разложения, руки его наткнулись в пустоте на бледное лицо в шапке светлых волос, и сорокалетний человек вздрогнул, будто коснулся электрического провода.

Да. Племянник Арчи знал этот секрет. Придавленный тяжелыми дорогими плитами склепа Лингслеев в Нью-Йорке, он жил усиленной, неискоренимой жизнью; и на каждом квадратном километре мира, лишь только соберется несколько сот ободранных, гонимых людей, сплоченных общей волей нового лада, он вылетал опять горячей, жизненосной искрой.

И дядя в первый раз в жизни познал всю тяжесть и убожество своего нечеловеческого одиночества и понял, почему не захотел перенять его, вместе с тридцатью фабриками, его легкомысленный, безрассудный племянник.

«Все останется по-прежнему, только меня не будет...— пытался вообразить себе мистер Давид Лингслей.— И зеркало, и комод, и кровать — все, как сейчас. Пройдет эпидемия. Продезинфицируют. Вот и все. На кровати будут спать другие люди, мужчины и женщины, кто знает, может быть, даже знакомые. Все будет отражаться в зеркале. Только я исчезну бесследно. Забавно! А может быть, однако, после смерти от человека что-нибудь остается? Надо бы по крайней мере запомнить хорошенько, как я выглядел».

Мистер Давид Лингслей зажег люстру и посмотрел в зеркало. Но, посмотрев, испугался. Из зеркала смотрел на него сорокалетний мужчина в расстегнутом на голой груди халате, с согнутыми, касающимися подбородка коленями, с взлохмаченными седоватыми волосами и прыгающей челюстью.

— Это не я, это ведь не я,— обомлев, залепетал мистер Давид, ибо никак не мог узнать свои величавые черты в бледном, дряблом лице сорокалетнего мужчины.

Сорокалетний человек с обвисшей трясущейся челюстью выпрямился во весь рост и заполнил собой зеркало.

Мистер Давид Лингслей вдруг почувствовал, что почва ускользает из-под его ног, что он расплывается, как призрак. В последнем рефлексе самозащиты он схватил стоявшую под рукой банку с сулемой и изо всех сил запустил ею в зеркало...

* * *

Когда на следующее утро новый бой ввел в гостиную мистера Лингслея ребе Элеазара бен Цви и плотного господина в американских очках, оба они долгое время ожидали в молчании.

Через двадцать минут на пороге гостиной появился мистер Давид Лингслей. Он был немного бледнее обычного и еще жестче. Смотря куда-то в окно, он сказал матовым голосом:

— Я обдумал за ночь ваше предложение и пришел к заключению, что вчера рассуждал неправильно. В самом деле, почему заранее предрешать, что кто-то должен обязательно заразиться? Будем надеяться, что при тщательном медицинском осмотре и карантине мы оставим чуму в Париже. Сегодня же я пошлю моему секретарю в Нью-Йорк соответствующую шифрованную радиограмму. Полагаю, что не надо дольше дело откладывать и что было бы лучше всего, если бы мы тронулись в путь сегодня же вечером.

Равви Элеазар бен Цви и господин в очках в молчании склонили головы.

* * *

Холодный восточный ветер руками ловкого парикмахера завивал поэтическую шевелюру взволнованного ночного моря.

Пароход «Мавритания» шел на всех парах с потушенными огнями. Последние очертания берегов уже давно растворились в тумане. Толпа пассажиров, теснившихся первые часы после отплытия на палубах, медленно расползалась по ящикам классов и кают, зарываясь в мягкие перины сна. В громадном корпусе парохода, точно прицепившиеся к нему два больших светляка, блестели два иллюминатора в ряде окон кают первого класса.

На мягком, пушистом диване одной из кают, свернувшись в клубок, спит старый шамес, и губы сквозь сон повторяют слова недоконченной молитвы.

У стола, в старом полосатом талесе, словно седобородый Нептун в полосатом купальном халате, сидит равви Элеазар бен Цви. Размеренно, в такт колыханию парохода, покачивается тощее туловище ребе Элеазара, а губы его шепчут благодарственную молитву:

— ...Я господь бог твой, который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства...

Медленно слипаются бессонные очи ребе Элеазара и медленно, в такт молитве, качается в сторону мизрах[1] громадный брюхатый корпус парохода.

В угловой, западной каюте, вытянувшись на постели, с папиросой во рту лежит мистер Давид Лингслей, устремив взгляд на дрожащую на потолке тень лампы; переворачивается с боку на бок, закуривает от окурка уже десятую папиросу. Как гамак, колышется комната, маня сон, а сон убегает, точно шарик по покатому полу каюты. Каждое колыхание пола — это миля прочь от Европы, от Парижа, от чумы, от смерти, это миля вглубь, в теплый, косматый, пушистый луг жизни.

На ночном столике тикают безучастные часы: шесть часов с момента отплытия из Европы.

* * *

На следующий день к вечеру раскаленный утюг солнца начисто разгладил смятые складки волн. Пароход широким полукругом поворачивал на запад, как волшебная игла на кружащейся слева направо гигантской граммофонной пластинке океана.

Все палубы чернели пассажирами.

Наверху несколько сотен джентльменов в клетчатых кепи, укутавшись в пледы, пятнали безукоризненную синь безоблачного воздуха клубами сигарного дыма. Джентльмены порезвее развлекались: кто гольфом, кто теннисом, кто просто бриджем. Мягкостопые, гуттаперчевые стюарды[2] с подносами в руках благоговейно балансировали между шезлонгами, как канатобежцы по незримым, протянутым над пропастью проволокам, опасаясь уронить не только каплю драгоценной влаги из стакана, но даже малейшее слово или нечаянный вздох.

На палубе первого класса толстые, отъевшиеся господа, перебирая в пальцах коммерческие четки брелоков, любовались морем, полулежа в удобных шезлонгах. Несколько находчивых молодых людей из двух случайных труб, барабана и кухонной посуды составили импровизированный джаз-банд, и под мяукающие звуки модной музыки молодежь развлекалась танцами.

На палубе третьего класса менее влиятельные пассажиры, усевшись на объемистых чемоданах, ловили падающие

---

[1] Мизрах — по-древнееврейски «восток».

[2] Лакеи на пароходе.

сверху осколки звуков, открывая от удивления рты, как рыбы, ловящие брошенные им крошки хлеба.

Вдруг в кучке танцующих поднялась невероятная суматоха. Как от внезапного дуновения ветра, палуба опустела; испуганные танцоры отхлынули широким кругом.

В середине круга, на полу, извивался в внезапных судорогах молодой человек в пенсне. По-видимому, падая, он разбил одно стеклышко пенсне, и испуганный близорукий глаз, лишенный прикрытия, растерянно всматривался теперь в убегающих. Молодой человек, словно выброшенная на песок рыба, неуклюже бился короткими плавниками рук.

Неизвестно откуда, из-за угла, появились два человека в белых халатах, с носилками, и, бросив на них трепещущего, как карп, юношу, исчезли за выступом. Второе стеклышко пенсне упало и беспомощно покатилось по палубе.

В одно мгновение на палубе началось сильное смятение. Плотные господа, напирая друг на друга и теряя брелоки, столпились у лестницы, ведущей к каютам. Добрую минуту слышен был только гул голосов и шум захлопываемых дверей. Через пять минут на палубе не осталось ни души.

Тогда с одного из кресел, незаметных в тени кубрика, поднялся седоватый господин в клетчатом спортивном костюме. Медленным спокойным шагом он прошелся по палубе и облокотился о перила.

Седоватый господин закурил папиросу.

Внизу, у бортов, трепетали волны.

* * *

На следующее утро подул ветер, и подхлестываемое им море заколыхалось тревожно.

На палубе первого класса было пусто, и, как лакеи после бала, сновали по ней лишь упругие, бессонные стюарды.

Около десяти часов утра на палубе показался седоватый господин в клетчатом спортивном костюме.

Он шел неуверенно, пошатываясь не в такт качке парохода. Пройдя несколько шагов, он наткнулся на удобное кресло у борта и грузно опустился в него. Усевшись, седоватый господин вынул из кармана зеркальце в роскошном кожаном футляре и внимательно осмотрел свой язык.

Без определенного выражения на лице он спрятал зеркальце и осторожно оглядел палубу. Палуба была пуста.

Убедившись, что никто его не видит, господин в спортивном костюме произвел руками несколько странных движений, как будто делая шведскую гимнастику. Потом, не переставая оглядываться, он быстро пощупал у себя под мышками, как человек в неудачно сшитом костюме.

На палубе появился стюард. Седоватый господин поспешно вынул из кармана книгу и погрузился в чтение. Из его угла развертывался вид на палубу третьего класса, где сбитые в кучу пассажиры, расположившись на своих чемоданах, развертывали провиант и усердно принимались за завтрак.

На палубе, где сидел седоватый господин, стюарды расставляли по местам кресла.

Седоватый господин быстро прелистывал книгу.

Перевалило уже за полдень, когда с нижней палубы до его ушей вдруг донесся говор и шум. Шум был такой внятный, что седоватый господин оторвался от книги и, перегнувшись, посмотрел через перила. Нижняя палуба кишела теперь разворошенным муравейником. В черной гуще людей можно было заметить суетившуюся пару белых халатов. Заслонив от солнца глаза ладонью, седоватый господин увидел в другом углу нижней палубы два других белых халата. Третья пара белых халатов, неся тяжесть, сходила по лестнице, ведущей к каютам. Внизу стояли стон и вопль.

Седоватый господин погрузился опять в чтение книги. По-видимому, однако, шум рассеял его внимание, так как, минуту спустя, он отложил книгу и, вытянувшись в небрежной позе, закрыл глаза. Долгое время он оставался в этом положении, и могло показаться, что он уснул.

Через некоторое время он вынул из кармана стило и, вырвав из записной книжки листок, написал на нем несколько слов. Потом, поднявшись с кресла, он твердым шагом направился к лестнице, ведущей вниз.

Очутившись в кабинете радиотелеграфа, седоватый господин попросил дежурного телеграфиста переслать в Нью-Йорк срочную коротенькую шифрованную депешу. Телеграфист поклонился почтительно. Застучал аппарат.

Выходя через минуту из радиотелеграфной кабинки, седоватый господин наткнулся в дверях на пожилого плотного господина в американских очках.

— Ах, это вы, господин Лингслей! — обрадовался господин в очках.— Я ищу вас по всей палубе. Через три часа мы будем у цели. Все ли в порядке?

— В полном,— ответил мистер Давид Лингслей.— Я вам показывал ведь телеграмму. Все приготовлено. Для боль-

шей уверенности я послал только что моему секретарю еще одну телеграмму.

— Превосходно,— сказал господин в очках.

Мистер Давид Лингслей посмотрел на часы.

— Часа через два мы будем уже на линии броненосцев, охраняющих побережье. Будьте любезны проверить, чтобы все было сделано согласно моим инструкциям. Вы не забыли поднять египетский флаг!

— Все готово согласно вашим указаниям.

— Не исключена возможность, что если на палубе одного из броненосцев находится случайно какой-нибудь непосвященный адмирал, они будут принуждены нас обстреливать. Понятно, холостыми снарядами. Будьте добры предупредить об этом пассажиров, во избежание ненужной паники. Чтобы никто не смел в переполохе спускать спасательные лодки! Командующие сектором, уведомленные обо всем, дадут по нас, в кранем случае, для виду несколько холостых выстрелов. Ехать мы будем с потушенными огнями. Через пять минут будем уже по ту сторону линии.

— Не предвидится ли возможность какого-либо осложнения?— беспокойно спросил господин в очках.

— Ни в коем случае. Вы видали телеграмму. Все готово до малейших подробностей. Мое присутствие на борту, я полагаю, лучшая тому гарантия. Не думаете же вы, надеюсь, чтобы я сам пошел на риск?

— Конечно. Я спросил просто так, для спокойствия. Вы послали еще одну телеграмму?

— Да, через минуту должен быть ответ.

В эту минуту на палубе появился посыльный.

— Телеграмма мистеру Давиду Лингслею.

Мистер Давид пробежал листок.

— Секретарь телеграфирует, что все предусмотрено,— сказал он, комкая листок в пальцах.— Будьте добры предупредить пассажиров, как я уже говорил, и отдайте последние распоряжения. В момент приезда встретимся на палубе.

Мистер Давид Лингслей медленным шагом поднялся по лестнице на борт.

Смеркалось быстро. В полумраке мистер Давид наткнулся на две белые фигуры, выносившие какую-то тяжесть на носилках. Он торопливо уступил им дорогу, прислонясь к трубе. В темноте щелкнула зажигалка. Поднеся к ней бумажку с полученной телеграммой, мистер Давид медленно зажег ее папиросу. Пламя зажженной бумажки осветило на мгновение лицо — бледное, суровое, почти каменное. Огонь потух. Лицо растворилось во мраке.

* * *

В одиннадцать часов на горизонте показались огни первых броненосцев. На борту началось сильное оживление. В темноте тут и там забегали человеческие тени, раздались отголоски приказов. «Мавритания» с потушенными огнями шла на всех парах.

Огни на горизонте приближались с каждой минутой; в темноте можно уже было различить простым глазом черные очертания плавающих зданий. С башни одного из них, как из пульверизатора, брызнул прожектор. Он неровно ощупал море и задержался на корпусе «Мавритании», ослепляя потоком света всех на борту.

В то же мгновение другой прожектор осветил борт с северной стороны. В глухой ночной тишине заунывно, протяжно завизжала сирена, и визг ее, одна за другой, подхватили ее с более отдаленные сестры. Напряжение на палубе достигло высшей степени.

От броненосца, стоявшего напротив, со свистом отделился столб огня и снаряд дугой прореял над «Мавританией».

— Стреляют холостыми снарядами,— хихикнул господин в американских очках окружающей его группе плотных джентльменов.

— Не может ли по ошибке между холостых затесаться случайно один настоящий?—беспокойным шепотом спросил господин с черной остренькой бородкой.

— Ни в коем случае,— снисходительно уыбнулся господин в очках.— Где дело идет о мистере Давиде Лингслее, там не может быть ошибки.

«Мавритания» неслась вперед полным ходом. Теперь уж, одновременно с трех сторон, брызнули вверх три столба огня, и грохот выстрелов встряхнул свисающий, как парус, воздух. Где-то у юта раздался крик, потом грохот рушащихся обломков. На борту почувствовалось замешательство. Орудия палили непрерывно. Из середины палубы «Мавритании» вылетел черный столб дыма, подпирая рушащееся небо.

В ту же минуту на освещенной снопами прожекторов палубе «Мавритании» появился старый шамес в развевающемся, растегнутом халате и побежал с криком, размахивая руками.

— Убит. Ребе Элеазар убит!—ревел обезумевший шамес.

— Мистер Давид Лингслей! Где мистер Давид Лингслей? — кричал господин в американских очках, хватая за грудь всех встречных джентльменов и заглядывая им в лицо.

Взрыв досок и дыма отбросил его на перила.

Господин в американских очках попробовал встать, но какая-то невидимая громадная гиря придавила его к земле. Наклонился над ним старый взлохмаченный шамес. Господин в очках хотел что-то сказать. Из горла его вылетел глухой хрип. Шамес наклонился ниже.

— Телеграмму... Послал сегодня в Нью-Йорк новую телеграмму... — прохрипел господин в американских очках.

Снаряды падали непрерывно. Размозженный ют «Мавритании» с молниеносной быстротой погружался в воду. Над волнами возвышался лишь бак с высоко водруженным килем.

На баке, торчащем высоко в небо, перекинутый через перила, висел мистер Давид Лингслей. Из его руки, оторванной вместе с частью туловища, обильной струей хлестала на палубу кровь.

Мистер Давид Лингслей не ощущал боли. Он чувствовал, как медленно погружался куда-то вниз, но это не была вода, это был скорее мягкий, плавный лифт, медленно опускающий его вдоль мелькающих этажей сознания. Мимо него в обратную сторону поднимались другие стеклянные лифты, полные знакомых, полустершихся в памяти лиц. На первом плане он увидел неестественно увеличенное лицо племянника Арчи с добрыми карими глазами, с прядями светлых шелковистых волос на умном широком лбу: племянник Арчи улыбался. Мистер Давид Лингслей попытался отразить эту улыбку странно неподвижными уголками губ. Он с гордостью сознавал, что минуту тому назад выполнил какое-то крайне важное дело, на которое у него всю жизнь не хватало времени и которым племянник Арчи должен был бы быть очень доволен, но никак не мог вспомнить, какое именно. Потом освещенные этажи стали все реже и реже в черном непроницаемом колодце.

Плавный, качающийся лифт мягко скинул его в смерть.

X

В холодном зале заседаний института над громадным столом, покрытым зеленым сукном и усыпанным кипами бумаг, в высоком председательском кресле сидел П'ан Тцян-куэй в серых кожаных перчатках и в плотно обмотан-

ном вокруг шеи шарфе (дабы возможно меньшая поверхность кожи непосредственно соприкасалась с поверхностью зачумленного воздуха).

На двух концах стола две машинистки одновременно выстукивали текст двух диктуемых им циркуляров. Настольный телефон, то и дело прерывающий работу острым причитанием звонка, выбрасывал из черного дула трубки рапорты из разных пунктов сеттльмента.

Донесения в общем были неутешительны. Несмотря на исключительные меры, чума распространялась на территории нового сеттльмента медленно, но непрерывно. П'ан Тцян-куэй решил свести с ней счеты по-азиатски.

На второй день существования сеттльмента на стенах домов появился леденящий кровь декрет. Декрет извещал, что так как господствующая ныне форма чумы оказалась на практике неизлечимой и зараженные ее лица, жизнь которых поддерживается искусственно, становятся лишь дальнейшими распространителями заразы, в будущем каждый зараженный будет немедленно расстрелян. Здоровые жители обязаны тотчас же доносить о каждом случае заболевания. Виновные в укрывательстве зараженных подлежат немедленному расстрелу наравне с зараженными.

Сухие телефонные рапорты доносили каждую минуту о новых расстрелах. Чума приняла вызов. На зеленом сукне стола, где вместо карт падали с шелестом подписываемые на лету листки приказов, разыгрывалась азартная партия. Из глубины высокого кресла П'ан Тцян-куэй клал на подаваемые ему очередные декреты зигзаг своей фамилии, будто бросал на стол новый козырь. Партнерша отвечала откуда-то издалека в рупор телефонной трубки цифрой новых расстрелов.

Продиктовав очередные циркуляры, П'ан Тцян-куэй жестом отправил обеих машинисток и остался один в темнеющем зале. Напряженный в неравной бессонной борьбе мозг требовал отдыха. Звонок телефона выкашлял новую цифру расстрелов. П'ан Тцян-куэй со злобой снял трубку и положил на стол. Бессильный рот трубки шипел тихо в пустоту.

П'ан Тцян-куэю вдруг захотелось воздуха. Вот уже три дня он не покидал зала, прикованный к креслу. Нахлобучив шляпу, он запер зал на замок и по широким каменным ступеням быстро сбежал на улицу мимо вытянувшихся в струнку часовых.

На улицах было пусто. По узким тротуарам шмыгали кое-где одинокие желтые прохожие.

Знакомыми улицами добрел П'ан Тцян-куэй до Люксембурского сада, превращенного в государственный крематорий. Откуда-то из глубины его приветствовал глухой треск залпа. П'ан Тцян-куэй поморщился и ускорил шаг.

Странным рикошетом впечатлений ему вдруг пришел на ум профессор, вызвав на его губах редкую улыбку.

В ночь переворота, в силу особого приказа, профессор был арестован и интернирован в одном из особняков Латинского квартала, где он жил до сих пор в строжайшей изоляции.

В особняке была оборудована лабаратория, где под личным руководством профессора двадцать четыре часа в сутки китайские студенты-бактериологи корпели над изобретением спасительной сыворотки, способной побороть смертоносный микроб.

Надо признать, что профессор был верен своему слову, работая круглые сутки до изнеможения. В азартной тяжбе с непобедимой болезнью в нем ожила его жилка ученого; работая сначала неохотно, он с каждой неудачей постепенно сам стал увлекаться борьбой, задавшись целью во что бы то ни стало победить коварную бациллу, задевшую его самолюбие бактериолога и осмелившуюся подвергнуть сомнению самую силу современной науки. Чем дольше длились неудачные опыты, тем сильнее загорался он в своем непреклонном упорстве. Кончилось тем, что он почти перестал спать, не оставляя ни на минуту лаборатории, и с трудом удалось заставлять его принимать еду. Запертый среди микроскопов, пробирок и реторт, исхудалый и желтый от бессонницы и переутомления, с дико взъерошенной мочалкой бородки, он напоминал средневекового алхимика, поставившего себе целью отыскать заветный философский камень и не отказывающегося от своей затеи, несмотря ни на какие неудачи.

На третий день после переворота П'ан Тцян-куэй лично навестил профессора в его новом жилище, желая узнать, не нуждается ли он в чем-нибудь. Профессор лихорадочно переставлял какие-то пробирки и возился с микроскопом.

— Я обязуюсь умертвить эту проклятую бациллу,— сказал он, потряхивая у света какой-то пробиркой,— но обещайте мне, что изобретенную мною сыворотку вы не используете исключительно для вашего желтого населения, сделаете ее достоянием и белых кварталов города. Я отнюдь не намерен спасать от смерти азиатов, предоставляя моих соплеменников собственной участи.

— На этот счет могу вас успокоить,— ответил с улыбкой П'ан Тцян-куэй.— Ваша сыворотка в день ее изобретения станет достоянием, правда, не всех белых кварталов, но зато несомненно самого людного из них: рабочего квартала Бельвиль. Кстати, если вы не знаете последних новостей, я могу вас уведомить, что рабочие кварталы Бельвиль и Менильмонтан обладают уже в настоящее время лабораториями не хуже наших, в них ваши коллеги по науке трудятся над ликвидацией упорного микроба. Я подумал, что вам небезынтересно быть в курсе их работ и обмениваться с ними своими личными наблюдениями. Мне удалось — признаюсь, не без труда — завязать с ними телефонное сообщение. Для этого необходимо было не более и не менее как соединиться проводами через все отделяющие нас от них кварталы, а это при настоящем раздроблении Парижа на обособленные государства — вещь далеко не легкая. Мы ухитрились использовать для этой цели тоннели метро. Сегодня вечером для вас поставят аппарат, который соединит вас непосредственно с лабораторией коммуны Бельвиль.

Профессор восторженно засуетился.

— Что вы говорите! Это изумительно придумано! Конечно, это громадное облегчение. Если у них есть хорошо оборудованная лаборатория, можно будет одновременно проделывать ряд опытов. Это несомненно ускорит результат моих исканий.

— Нет ли у вас еще какого-нибудь желания?

— Да. Велите убрать из лаборатории радио. Ассистенты могут послушать известия, если они их интересуют, где-нибудь в другом зале. А мне сейчас не до известий. Мешает работать.

— Ваше желание будет удовлетворено.

Они расстались, обменявшись крепким рукопожатием, словно два добрых старых друга.

Спускаясь по лестнице к выходу, П'ан столкнулся внезапно с одним из ассистентов, маленьким пухлощеким японцем. В свое время были они коллегами по Сорбонне. Маленький японец-чистюлька по тщательности своего туалета напоминал всегда П'ану старательно обтертую от пыли безделушку.

Японец, казалось, поджидал его здесь специально. П'ан Тцян-куэя поразили строгая бледность его лица и решительность, с которой тот загородил ему дорогу.

— Что случилось? Вы хотели мне что-нибудь сказать?

— Осмеливаюсь обратиться к вам с большой просьбой, с громадной просьбой...— произнес вполголоса японец

узкими, как-то странно, не в лад словам, подпрыгивающими губами, и губы эти затрепетали, упали, приникли к костлявой огрубевшей руке П'ан Тцян-куэя.

П'ан Тцян-куэй от неожиданности выдернул руку.

— Вы с ума сошли! В чем дело?

— Осмеливаюсь обратиться к вам с большой, с громадной просьбой...— повторил ассистент, быстро пережевывая слова и отрезывая каждое белыми, торчащими наружу зубами.— Я здесь нахожусь в абсолютной изоляции. Мне нельзя встречаться ни с кем. Сегодня мне позвонили из города... Жена захворала... Боли... Быть может, вовсе не чума. Даже, наверное, не чума. Должно быть, съела что-нибудь несвежее... Соседи донесли... За ней приехали и увезли ее в барак. Сегодня вечером, в восемь часов, она будет расстреляна. Вы понимаете, сегодня вечером. Если б переждать хоть до завтра... Производятся опыты над новой сывороткой. Завтра будут результаты. Все указывает на то, что результат будет положительный. Вы понимаете, нельзя же ее при таких обстоятельствах убивать сегодня. К тому же возможно, что это вовсе не чума. Первые симптомы бывают ошибочны. Быть может, что-нибудь просто желудочное, необходимо переждать, убедиться. Изолировать по крайней мере на несколько дней. Ведь в изоляции она не будет представлять ни для кого опасности. Надо только задержать выполнение казни. Ваш приказ по телефону... Понимаете, коллега?.. Зовут ее...

П'ан Тцян-куэй смотрел на ассистента с удивлением и любопытством.

— Не понимаю вас, товарищ. Или, вернее, начинаю вас, кажется, понимать,— сказал он резким, полным презрения голосом.— Если я не ошибаюсь, дело в протекции. Вы требуете от меня нарушения закона о борьбе с эпидемией для того, чтобы продлить на несколько дней жизнь одного из зараженных индивидов на том единственном основании, что индивид этот — ваша жена. Вы забываете, должно быть, что ежедневно гибнут, *без всякой протекции*, десятки наших лучших работников и что лишь благодаря введению закона о ликвидации зачумленных нам удалось понизить смертность в республике свыше чем на пятьдесят процентов...

Японец слушал, быстро моргая веками.

— Производятся как раз опыты над новой сывороткой. Завтра должны быть результаты. Завтра чума может оказаться излечимой. Задержите весь сегодняшний транспорт. Если опыт не удастся, не поздно будет казнить их завтра.

А может быть, нам как раз удастся их спасти... Впрочем, я уверен, что у жены вовсе не чума... Просто что-нибудь желудочное... Если б изолировать...

П'ан Тцян-куэй сухо оборвал:

— Вы повторяете песенку каждого зачумленного. Если у вашей жены и не было даже чумы, сейчас она больна ею уже без сомнения. Из заразного барака не выходит никто. К тому же мы не имеем никакого права делать исключение кому бы то ни было и разводить носителей заразы. Все ваши сыворотки до сих пор не дали никаких положительных результатов. Нет оснований полагать, что последний опыт будет удачнее прежних. По-вашему, нам пришлось бы откладывать со дня на день ликвидацию зараженных и копить зачумленных, не в силах будучи уберечь их от соприкосновения со здоровым населением, не располагая к тому же столь многочисленным штатом санитаров. Другими словами, это означало бы повышение смертности в республике на прежние пятьдесят процентов. Я поражаюсь, товарищ.

Губы маленького японца беззвучно вздрагивали.

П'ан Тцян-куэй сбежал по лестнице вниз и миновал ворота. На улице глазам его представился вновь на мгновение маленький японец-чистюлька с вздрагивающими уголками серых губ.

«Ради одной юбки перезаразить всех? — подумал П'ан с горечью. — Собственно, таких надо бы расстреливать».

Впрочем, тут же забыл про весь инцидент.

Занятый делами крохотного сеттльмента, П'ан Тцян-куэй не заглядывал с тех пор к профессору. Правда, ежедневно получал подробный телефонный бюллетень о состоянии работ профессора, которые, вопреки всем усилиям, по-прежнему не давали положительных результатов. Пользуясь свободным моментом, П'ан Тцян-куэй решил его навестить.

Тропинками вечереющих улочек ноги вскоре вывели на площадь Пантеона. Окно в третьем этаже в доме № 17 зияло по-прежнему бельмом закрытых ставней.

Внезапно пошел дождь, заслоняя дома шторой из стеклянных капель. П'ан Тцян-куэй, желая переждать его, вошел в открытый Пантеон.

Пантеон был пуст, и от высокого купола, от тенистых сводов веяло прохладой и покоем. Пустая касса сияла по-прежнему негостеприимной надписью: «Вход 2 франка». Одинокие шаги по каменному паркету долго перекликались звонким многократным эхом. Со всех сторон белками глаз без зрачков всматривались в пришельца хорошо знакомые фигуры.

* * *

Дождь прошел уже давно, когда П'ан Тцян-куэй появился опять у выхода из Пантеона.

У решетки собралась за это время кучка желтых студентов, приветствуя диктатора восторженными восклицаниями. П'ан Тцян-куэй застенчиво поднял воротник пальто и через минуту исчез в извилистых проулках.

Между тем быстро наступали сумерки, и на утопающих во мраке мостиках тротуаров желтые фонарщики поспешно развешивали игрушечные бумажные шары, пестрые аксессуары какой-то причудливой венецианской ночи.

В лаборатории профессора устоялся тошный тепличный воздух, облекающий все контуры зыбкой, извилистой линией; точно мухи под толстым стеклянным колпаком, копошились в нем валившиеся от усталости прозрачные ассистенты.

Профессор с растрепанной шевелюрой переливал из одной колбы в другую мутноватую, белесую жидкость и, смешивая ее с содержимым различных пробирок, приготовлял какую-то реакцию. На вопросы П'ан Тцян-куэя отвечал невнятным бормотанием, раздраженно отмахиваясь от них руками. Невозможно было вытянуть из него ни единого слова.

Полуживые от изнурения ассистенты, казалось, не понимали задаваемых им вопросов, отвечали не сразу и невпопад.

Побродив по залам, П'ан Тцян-куэй взглянул на часы: семь — час вечернего рапорта. Быстрым шагом направился к выходу. В дверях налетел на него с размаха небольшой ассистент в белом халате. Хрустнуло стекло. Разлитая жидкость обрызгала П'ан Тцян-куэю лицо и пиджак.

Маленький ассистент рассыпался в извинениях. П'ан Тцян-куэй кинул взгляд на зажатую в пальцах ассистента шейку разбитой пробирки со стекавшей еще мутной белесой влагой, поднял глаза на белевшее перед ним лицо. Лицо показалось откуда-то знакомым. Одно мгновение силился вспомнить. Узкие вздрагивающие губы... Маленький японец-чистюлька... Просил протекции для жены...

Японец продолжал извиняться. П'ан Тцян-куэй посмотрел в упор ему в глаза и натолкнулся на отпор пары холодных, устремленных на него зрачков. Ему показалось, что в них мелькнули две злорадные искорки.

Не произнеся ни слова, П'ан Тцян-куэй круто повернул и направился в глубь лаборатории. Вынув из шкафа боль-

шую бутыль с раствором сулемы, он выплеснул ее содержимое на пиджак, долго и тщательно мыл лицо и руки. Затем, не глядя на все еще извинявшегося ассистента, он быстро сбежал по лестнице.

Вернувшись в институт, П'ан Тцян-куэй занялся приемом докладов и распоряжениями на завтрашний день. Стрелка больших часов приближалась уже к двенадцати, когда, отдав последние распоряжения, диктатор отпустил курьера и притушил слишком яркую люстру.

В углу зала, у стены, принесенная сюда три дня тому назад и все три дня остававшаяся нетронутой, стояла узкая походная кровать. П'ан Тцян-куэй постелил ее сам и в первый раз за три дня стал раздеватся. Оставшись совершенно голым, он тщательно вытер все тело каким-то прозрачным раствором. Натираясь под мышками, он на минуту задержался и, подняв руку, внимательно присмотрелся. Железы под мышками ему показались слегка набухшими. Долго и тщательно он ощупывал их пальцами.

— Самовнушение,— пробормотал он наконец и, набросив на себя рубашку, быстро нырнул под одеяло.

Уснул тотчас же.

Ночью ему снились разукрашенные флагами кварталы, оркестры и марширующие по улицам колонны китайской Красной армии. Украшенный красным флагом Пантеон открыт был настежь, и у решетки его ожидала вереница утопавших в цветах грузовиков. По обе стороны шпалеры солдат, словно деревянные, отдавали честь ружьем. П'ан Тцян-куэй удивленно спросил первого солдата о причине торжества.

— Перевозим их в Китай,— ответил солдат.

Теперь только П'ан Тцян-куэй вспомнил, что пришел ведь сюда именно за этим, и, пересекая зал, быстро сбежал в подвалы.

Подвалы были открыты, и в них толпилась торжественная желтая толпа. Протиснувшись вовнутрь, П'ан Тцян-куэй увидел взвод солдат, приподнимавших громадными железными ломами саркофаг Руссо. Саркофаг, будто прикованный к земле, не давался.

— Еще! Разом! Р-р-раз!

Ни с места.

П'ан Тцян-куэй, оттолкнув первого солдата, всей тяжестью тела налег животом на лом.

— Теперь по команде: р-р-раз!

Не пошатнулся.

— Р-р-р-раз!

Опять ни черта.

— Р-р-р-раз!

Пот каплями выступил у него на лбу.

Образ исчез. П'ан Тцян-куэй долго не мог осознать, что именно случилось, где он, погруженный в непроницаемую тьму.

Первым рефлексом, который затрепетал, как рыба, на зеркальной поверхности сознания, была сильная боль внизу живота. Сейчас... Что же это было? Ага. Налегал животом на лом. Когда же это было и где?

Боль становилась с каждой минутой все невыносимее и помогла мысли утвердиться в пространстве. Тьма. Ночь. Кровать. В зале института. Боль. Разве???

Боль становилась нестерпимой. П'ан Тцян-куэй спрыгнул босиком на холодный паркет, нащупал выключатель и повернул его. Вспыхнул свет, отрезывая вымощенное бумагами зеленое сукно стола, высокие спинки кресел, потолок, ночь.

Дикая боль в животе не унималась. П'ан Тцян-куэй с трудом добрался к окну, где на подоконнике стояла оставленная с вечера бутылка коньяку, и залпом выпил ее жгучее содержимое. Коньяк раскаленной струею разлился по внутренностям, заглушая на миг ощущение боли.

П'ан Тцян-куэй медленным, неуверенным шагом вернулся к кровати. Мысли прыгали, укороченные, недодуманные до конца, как картины в старом, рвущемся ежеминутно фильме.

Острая боль в животе снова давала себя чувствовать.

П'ан Тцян-куэй вытянулся во весь рост и попытался не думать ни о чем. Проглоченный коньяк кипел под черепом теплым плеском ритмичных волн. Живот, точно мешок, полный боли, удалился куда-то; все тело словно удлинилось чрезмерно, увеличивая на несколько метров расстояние между головой и животом. Холодные волны боли наплывали оттуда одна за другой. Усталый мозг, напрасно пытавшийся погрузиться опять в теплую ванну сна, бросал на экран закрытых век рассыпающиеся и с трудом вновь соединяемые образы. На минуту одолел его сон.

В полусне действительные очертания предметов стали медленно стираться и изгибаться, создавая из новых сочетаний одних и тех же линий все новые пейзажи.

Там, где только что тысячью свечей сияла люстра, теперь пламенело громадное, шарообразное солнце, тяжелое, как капля раскаленного металла, готовая каждую минуту упасть на землю, обугливая ее. То, что минутой рань-

ше казалось рядом скамеек, томно изгибалось теперь на солнце горбом тысяч борозд, торчащих из мутного стекла воды. Погруженные по колена в воду, маленькие, сморщенные, желтые люди в лохмотьях сажают рис. Куда ни кинешь взгляд — всюду вода, борозды и сгорбленные, скорчившиеся под вековым ярмом труда человеческие спины под раскаленной каплей солнца, готовой каждую минуту упасть.

Громадная, мучительная волна всеобъемлющей любви медленно ползет от живота к гортани валом накопленных теплых слез. П'ан Тцян-куэй чувствует: еще миг, и он бросится лицом в размокший лёсс борозд; станет целовать горькими губами раскаленные, пожелтевшие от пота зерна животворного риса; схватит в руки и прижмет с плачем к сердцу крохотное, морщинистое, бабье личико согбенного мужика.

Вдруг, точно сквозь слезы, видение начинает дрожать и блекнуть. На первом плане в воздухе мерещится пара гигантских ступней, мелькающих в беге, и туман спиц несущейся навстречу коляски.

Острая, жгучая боль и мрак. Да, это упала раскаленная капля солнца. Серый, едкий дым заволакивает все мягкой хищной лаской. В прядях дыма, как в петлях, колышутся искаженные человеческие лица.

Чье же это припухшее женское лицо с глазами, расширенными детским испугом? Близкие, знакомые черты. Чен! Слов не слышно, но в рисунке губ внятно трепещет где-то уже раз услышанная фраза: «Как страшно умирать».

Дым медленно рассеивается, открывая красные скелеты зданий.

Нанкин.

Пламя пожирает китайские кварталы, останавливаясь, как зачарованное, перед ажурной решеткой концессий. Из-за решетки белое, сытое лицо рябого мастера с похабной гримасой высунуло язык над дымящимся жерлом пулемета.

— За мной! — кричит П'ан Тцян-куэй наступающей за ним толпе, перерезывая гигантскими прыжками отделяющую его от решетки площадь.

Внезапно он оглядывается. Площадь пуста. Нет ни одного человека. Рябое лицо из-за решетки оскаливается гримасой дразнящего хохота над белой струйкой дыма, выбивающейся из пулемета.

Страшная боль в животе, кажется, рвет напряженные струны внутренностей.

— Попало в живот, — шепчет П'ан Тцян-куэй, напрасно силясь подняться и продолжать бег.

Боль вьется во внутренностях, как червь. Дым рассеялся. На потолке ясно светит люстра. Зеленое сукно стола. Телефон. В большом, ярко освещенном зале по углам извивается чей-то стон.

— Кто может здесь стонать?

П'ан Тцян-куэй одним броском приседает на койке. Оказывается, это стонет он сам. Нечеловеческая боль в животе бьется, как раненая птица.

— Ага, значит, конец?

П'ан Тцян-куэй дважды громко повторил это слово, не в состоянии доискаться в нем какого-либо смысла. Скрючиваясь от боли, он начал одеваться. Одевался долго, с перерывами, чтобы перехватить дыхание после особенно острых припадков боли.

Протянул руку за пиджаком. Пиджак был еще влажный. П'ан Тцян-куэй остался с протянутой рукой. Пятна от сулемы... Разбитая пробирка... Маленький японец... Две злорадные искорки в глазах... На лестнице — влажное прикосновение к руке теплых вздрагивающих губ.

П'ан Тцян-куэй выпрямился. Машинальным жестом натянул на руки серые кожаные перчатки и обмотал шею шарфом — средство, чтоб возможно меньшая поверхность кожи соприкасалась с зачумленным воздухом.

Окончив одеваться, П'ан Тцян-куэй с трудом добрел до стола, отыскал перо и бумагу. Боль, ползущая к глотке, наполнила уже весь рот, и дрожащие зубы беспомощно звонили тревогу. Чтобы писать отчетливо, он левой рукой должен был придерживать челюсть. Написав два письма, он аккуратно запечатал их и надписал адрес.

Только по окончании этой процедуры он вынул из ящика стола большой наган, товарища красных дней Нанкина, и уселся в кресло. На столе позвонил телефон.

П'ан Тцян-куэй отложил револьвер и взял трубку. В первый момент из-за перепуганного дрожащего голоса в трубке он не мог понять, кто говорит. Говорил адъютант, заведующий лабораторией профессора.

— Сегодня ночью неожиданно — не было симптомов — профессор умер. С вечера не ложился спать. Ассистенты при смене обнаружили...

П'ан Тцян-куэй повесил трубку. На бледные закушенные губы с трудом выкарабкалась едва заметная улыбка. С улыбкой он положил обратно в ящик черный наган и из

бокового ящика достал небольшой полированный шестизарядный револьвер.

Телефон зазвонил вторично.

— Алло! Товарищ П'ан Тцян-куэй? Нас разъединили, я хотел вам сказать еще, что изобретенная профессором позавчера сыворотка оказалась вполне удовлетворительной. Опыты дали положительные результаты. Арестованные фашисты, которым после прививки вспрыснута чумная сыворотка, не заболели. С завтрашнего дня можно будет организовать массовую прививку. Эпидемию в принципе можно считать ликвидированной.

— Хорошо, очень хорошо. Поздравляю вас, товарищ,— спокойно и отчетливо сказал в трубку П'ан Тцян-куэй.— Известите немедленно по телефону лабораторию в Бельвиле и сообщите им рецепт прививки. Немедленно! Уже сделано? Хорошо! Благодарю вас.

П'ан Тцян-куэй повесил трубку.

Не переставая улыбаться, он всунул себе в рот тонкое блестящее дуло. Зубы, как камертон, зазвенели о холодную сталь. Посаженная крепко между зубами мушка попала во рту на выдолбленное для нее место.

В пустом, ярко освещенном зале института от удивленных торжественных стен странным эхом отлетел грохот выстрела.

* * *

Хоронили П'ан Тцян-куэя с военными почестями, без музыки, в солдатском грохоте барабанов. Тридцать три барабанщика в сиротливом, зловещем соло, как барабанный туш среди умолкшего циркового оркестра в минуту смертельного прыжка, дробью мелькающих палочек прошивали перед ним длинную траурную дорожку. Экстренным декретом народного правительства тело его было освобождено от принудительного сожжения и временно положено в Пантеон.

В центральной части зала, в резном деревянном ларе, покрытом красным флагом, его оставили одного, захлопнув чугунные ворота. Белые без зрачков глаза мраморных фигур, словно расширенные изумлением, смотрели на странного пришельца.

В простом деревянном гробу, на простой парусиновой подушке лежал П'ан Тцян-куэй, прямой и неподвижный, в серых кожаных перчатках и плотно окутанном вокруг шеи шарфе, как будто желал он, чтобы возможно меньшая поверхность его зачумленной кожи непосредственно соприкасалась с прозрачным жизненосным воздухом.

XI

Этой ночью в Париже, серединой Сены, от моста Берси на восток шел небольшой пароход, весь окрашенный в черный цвет, как громадный плавучий катафалк с потушенной свечой трубы. Пароход быстро двигался серединой реки.

На носу, облокотившись на перила, двое людей четырьмя клиньями глаз врезывались во мрак.

На горизонте, точно белая черта, проведенная мелом по черному сукну ночи, сверкала густая полоса света.

— Через три минуты мы будем уже на линии первых огней. Сейчас без пяти двенадцать. Придется две минуты обождать перед линией,— произнес вполголоса один из стоявших.

— Ночь — лучше не придумаешь! Только бы ветер не разогнал туч. Все за то, что нам удастся проехать незамеченными. Обойдите-ка, товарищ, еще раз палубу,— не забыли ли там где-нибудь потушить свет. Да чтобы никто не посмел курить. Ни звука! Подъезжаем.

Товарищ Лаваль должен был на минуту прищурить глаза. Буксир выплывал из-за изгиба. На расстоянии полкилометра река, залитая светом, казалось, горела. Товарищ Лаваль гортанным шепотом бросил в рупор:

— Стоп!

Винты завертелись на месте, и пароход стал как вкопанный.

Теперь, по сравнению со стеной света, мрак казался еще темнее и гуще.

Вдали, вправо и влево, тянулась белая черта демаркационной зоны, освещенной прожекторами, словно раскаленная добела полоса железа.

Товарищ Лаваль весь обратился в слух. Прошла длинная, бесконечная минута. Среди невозмутимой тишины откуда-то из города донеслись первые удары бьющих полночь часов. Почти в ту же минуту сзади, из города, раздался первый взрыв, через мгновение — грохот упавшего снаряда, и опять тишина.

— Промах! — зашипел сквозь зубы товарищ Лаваль.

Раз за разом загудели два других выстрела. Через минуту третий, четвертый, пятый. Орудия гремели одно за другим.

Вдруг, почти одновременно с грохотом разрывающегося снаряда, рухнула заграждающая реку стена света, и в пролом, словно в воронку, со свистом ринулся мрак. Орудия гремели непрерывно.

— Трогай! — загудел в рупор товарищ Лаваль.

Буксир дрогнул, подался вперед и на всех парах помчался в черный туннель мрака. Где-то в отдалении брызнул прожектор, ощупывая молчаливое небо дрожащими, растопыренными пальцами Фомы Неверующего.

Тогда на небе, в ореоле света, показался черный, беспомощно колыхающийся воздушный шар. Почти одновременно выпорхнула навстречу ему серая ракета снаряда.

— Все как по нотам, — пробормотал, потирая руки, товарищ Лаваль. — Теперь немного повозятся с этим, пока не переедем. Ну, р-раз его!

По направлению к воздушному шару одна за другой вылетали в небо стройные ракеты снарядов. Погруженный в мрак Париж отвечал канонадой.

Пароход, как задыхающийся бегун, большими залпами глотал расстояние. Выщербленная стена света демаркационной зоны осталась уже где-то позади. Теперь, справа и слева, берег переливался и мерцал тысячью огней, гудел глухим дуновением тревоги.

Вдруг позади от поцелуя одной из ракет черный, неуклюжий воздушный шар внезапно лопнул красным пузырем пламени и, как громадная ночная бабочка с горящими крыльями, начал падать.

— Рано, черт побери! — присматриваясь к нему, пробормотал товарищ Лаваль. — Теперь, пожалуй, обратят внимание и на нас...

Орудия еще гудели, хотя слабее и реже.

Река в этом месте заметно суживалась, и огни, падавшие на нее с берега, фантастическими зубцами изрезывали ее цельный лампас.

Канонада мало-помалу утихла. Еще один, еще два последних выстрела, как запоздалые рукоплескания, и толстый занавес тишины опустился.

Товарищ Лаваль задержал дыхание и всем телом, в напряженном ожидании, налег на перила, как будто желая прикрыть слишком короткими крыльями рук, точно курица шумливого птенца, грузный, запыхавшийся буксир.

Постепенно огни на берегах стали редеть, вырастали временами тут и там, спугнутые, убегали назад, как блуждающие огоньки. Еще три, четыре последних семафора, и пароход въехал в непроницаемый туннель ночи.

Долго ехали впотьмах, тяжелым взмахом винта отмеряя расстояние. Наконец товарищ Лаваль вытащил из кармана папироску и, закурив ее, жадно затянулся. При мига-

ющем свете зажигалки он взглянул на часы. Стрелка показывала пять минут второго.

Товарищ Лаваль наклонился к рупору.

— Все на борт! — рявкнул он отчетливо.

В один момент борт зачернел десятком рослых фигур.

— Можете закурить, товарищи. Скоро подъем. Расставить на бакборте прожекторы. Меньший можете зажечь. Так. Теперь — внимание! На левом берегу, здесь где-то поблизости, должна быть пристань и несколько барж. Кто заметит первый, подавай знак. Боюсь, не проехали ли уже. Где здесь товарищ Монсиньяк? Вы, товарищ, служили на флоте? Умеете карабкаться по канату? Хорошо... Вы мне понадобитесь.

— Баржа! Есть баржа! Есть две, три, четыре, баржи! — загудело разом несколько голосов. — Есть и пристань!

— Стоп! — скомандовал товарищ Лаваль.

Буксир остановился.

— Зажечь оба прожектора! Здесь у берега должно быть где-то шоссе.

— Есть, есть шоссе, — раздались голоса.

— Добре. Где-то поблизости, у самого берега, шоссе разветвляется. Одна ветка идет в глубь побережья. Должно быть, прозевали. Дать задний ход. Ближе к берегу! Так.

Буксир стал медленно пятиться назад.

— Есть ветка! — закричал кто-то с бакборта. — Стоп!

Пароход остановился.

— Зажечь все прожектора! Осветить, ребята, хорошенько это место! Вот-вот. Превосходно. Видно как на ладони. Еще чуть ближе к берегу. Стоп! Хватит! Товарищ Монсиньяк! Сюда поближе! Видите этот узловой телеграфный столб, от которого проволоки расходятся на три стороны? Сколько, по-вашему, будет от нас до него?

— Метров десять, — подумав, сказал коренастый матрос, измеряя расстояние глазами знатока.

— Сумеете забросить на него канат?

— А как же! Если подъехать еще чуточку ближе...

Буксир подвинулся еще метра на два ближе к берегу.

— Стоп! Не подходить вплотную к берегу! Хватит! — скомандовал товарищ Лаваль. — Так. Теперь попробуйте-ка забросить канат. Да сделайте петлю покрепче, чтобы полезть можно было по канату прямо на столб. Надо перерезать проволоки и справа и слева и соединить наш провод с проводами, идущими перпендикулярно к берегу.

— А для чего ж тогда, товарищ, по канату? Я спрыгну на берег и в один момент буду на столбе, а с канатом — канитель большая.

— На берег прыгать не сметь! Кто спрыгнет на берег — тому пулю в затылок! — сурово сказал товарищ Лаваль. — Ежели вы не баба, а матрос, сумеете пробраться по канату прямо с борта.

— Суметь — сумею, да времени много потеряем. Времени жалко. Рассвет нас застанет.

Товарищ Лаваль сухо отрезал:

— Спорить будем, товарищ, по возвращении. Если вам жалко времени, так не теряйте его даром. Бросайте канат!

Товарищ Монсиньяк молча завязал петлю, примерился, закинул и промахнулся.

— Говорил я, что так легко не пойдет... — пробурчал он себе под нос, примеряясь к новому броску.

Только через пятнадцать минут канат удалось прикрепить. Коренастый матрос перевесил через плечо связку проволоки, заткнул за пояс клещи и ножницы и, засучив рукава, стал ловко карабкаться по канату по направлению к столбу.

Лаваль молча вытащил из кобуры револьвер.

— Товарищ Монсиньяк, — сказал он, отчеканивая каждое слово: — На случай, если б вам пришло в голову не вернуться на борт и спрыгнуть со столба на землю, имейте в виду — прежде чем вы успеете коснуться ее, первая же пуля из этого револьвера раздробит вам череп.

Карабкаясь по канату, матрос ничего не ответил. Через минуту он сидел уже верхом на верхушке столба. Два перерезанных ряда проволок, как оборванные струны балалайки, со звоном соскользнули на землю. Минуту-другую матрос возился еще наверху.

— Готово? — спросил с борта товарищ Лаваль.

— Готово... — прозвучал ответ.

— Лезьте обратно.

Матрос минуту отмерил глазами расстояние, отделявшее его от земли, потом расстояние от буксира, черный наведенный маузер товарища Лаваля и молча, послушно стал спускаться по канату на борт. Став твердой ногой на палубе, он со свистом сплюнул и сухо сказал:

— Спрячьте свой маузер, товарищ командующий. Вот отстрелили бы им лучше канат. Говорят, меткий вы стрелок.

Товарищ Лаваль в молчании прицелился и выстрелил. Канат с плеском упал в воду. Его втянули на борт. Матрос

пробормотал что-то одобрительное и в молчании принялся разматывать концы двух прикрепленных проволок.

— Подать на середину реки! — скомандовал Лаваль.

Буксир медленно, покачиваясь, отплыл, соединенный с берегом двумя тонкими нитками проволок.

— Стоп!

— Товарищ Монсиньяк, вот вам телефонный аппарат, прикрепите к нему проволоки,— командовал товарищ Лаваль.

Матрос завозился возле аппарата. Работа, видимо, не клеилась, так как он то и дело ругался, отплевываясь с присвистом. Наконец, минут через двадцать аппарат был готов.

Товарищ Лаваль взял трубку.

— Зажечь все огни! — скомандовал он с трубкой у уха.— Тишина!

Сухо хрустнула ручка полевого аппарата.

В телефонной трубке долго переливалось время, пока не раздалось, наконец, откуда-то издали терпеливое меланхоличное:

— Алло-о-о...

— Алло. Тансорель? — заревел в трубку товарищ Лаваль.

— Тансорель...— как эхо откликнулась плавным раскатом трубка.

— Позовите к телефону мэра![1]

— Кто говорит?..— прозвенело издали.

— Говорит префектура,— спокойно продолжал товарищ Лаваль.— Разбудите немедленно мэра и кюре[2] и позовите их обоих к телефону. Дело срочное.

— Не кладите трубку...— прозвенело эхо.

Товарищ Лаваль, опершись локтем о колено, с трубкой у уха, в молчании ждал, докуривая папиросу. Прошло минут десять.

Вдруг в трубке закашляли чьи-то торопливые шаги. Издали долетел, затрепетал, зажжужал, как муха, голос, запутавшийся в паутине проволок:

— Говорит мэр Тансореля.

— Разбудили кюре?

— Идет уже.

— Дайте ему другую трубку. Дело относится равным

[1] М э р — лицо, возглавляющее административную власть.

[2] К ю р е — священник.

образом и к нему. Я не хочу повторять дважды...— повелительным тоном говорил Лаваль.

— Слушаем. Кто говорит? Это вы, господин префект?

— Слушайте внимательно. Говорит экспедиция Советской республики Парижа. Сегодня в двенадцать часов ночи мы прорвались через кордон и прибыли за провиантом. Пролетариат Парижа подыхает с голоду. Пароход наш стоит на реке перед вашей пристанью. Говорю с вами с палубы парохода. Не пытайтесь телефонировать в гарнизон: все телеграфные провода перерезаны. Единственная оставшаяся линия соединяет вас с нашим пароходом. Теперь слушайте внимательно: экспедиция приехала с мирными намерениями. Пароход стоит по середине реки и, ежели вы выполните в срок наши требования, даже не причалит к берегу. Мы приехали за продовольствием для подыхающей с голоду голытьбы Парижа. Ежели в продолжение получаса вы не доставите нам к пристани и не нагрузите стоящие там баржи шестьюстами мешками муки, мы высадимся на берег, обстреляем и перевернем все село. Даем вам полчаса. Вы, гражданин мэр, разбудите немедленно деревню, распорядитесь насчет подвод и будете руководить доставкой к пристани. Вы, гражданин кюре, употребите свое влияние, чтобы убедить нерасторопных, и присмотрите, чтобы все было готово к сроку. Проверьте оба свои часы. Сейчас без десяти два. Ежели в двадцать минут третьего на шоссе, ведущем к пристани, не появиться первая подвода с мукой, мы причалим и высадимся на берег. Послушанием и точностью исполнения вы спасете от заразы себя и, быть может, всю Францию. Поняли вы, гражданин мэр? Шестьсот мешков муки через полчаса к пристани.

В трубке гудела тишина. После продолжительного молчания в ней закопошилось первое, с трудом выкашлянное в проволоку слово:

— У нас в деревне нет столько муки...

— Найдется! Далеко искать не придется. Возьмите их на мельнице братьев Плон. Нагрузите на баржи лесопильного завода. Как видите, мы знакомы с вашей местностью не хуже вас. Не забудьте захватить с мельницы брезенты, чтобы прикрыть баржи. Поняли ли вы меня хорошо?

— Поняли...— простонало эхо.

— Отлично. Я сразу узнал, что имею дело с разумными людьми. Давайте не терять времени. Набавлю вам пять минут; это позволит вам проверить мои слова. Можете за это время убедиться, что провода в самом деле перерезаны и что деревня находится в области обстрела нашего парохо-

да. Кстати, предупреждаю вас, что первый посланный вами верховой или велосипедист, который показался бы на шоссе, получит пулю в лоб. А теперь к делу! Повторяю еще раз: если через полчаса возы с мукой появятся на берегу и еще через полчаса баржи будут нагружены, мы отплывем, не причаливая и не причиняя никому никакого вреда. Мы приехали не для грабежа, а лишь за провиантом для голодающих. Время бежит. До свидания. Через полчаса!

Товарищ Лаваль повесил трубку и нервным шагом прошелся по палубе. По неуверенному голосу в трубке он не мог заключить наверняка, подчинится деревня его приказу или заупрямится. Его снедало беспокойство. А что, если нет? Если через полчаса на берегу не появится никто? Что тогда? Тогда — придется поворачивать и возвращаться ни с чем. Знал ведь он хорошо, что к берегу, несмотря ни на что, не причалит. Тогда вся затея ни к чему.

Товарищ Лаваль в бессильной злобе сплюнул сквозь зубы, сжимая в руке часы с подвигавшейся по-черепашьи стрелкой.

Меж тем на другом конце провода уже поднялась неописуемая суматоха, шум открываемых и захлопываемых дверей, оклики и беготня. Люди бежали с фонарями, заспанные и огорошенные, толпясь на дороге, ведущей к мельнице.

На пороге мельницы бледный, растрепанный мэр, без воротничка, в наспех накинутом пиджаке и в башмаках на босу ногу, отдавал торопливые распоряжения. Первая подвода, нагруженная мукой, отъезжала уже по направлению к пристани.

Тогда внезапно, расталкивая толпу, в освещенном круге дороги показался запыхавшийся кюре в расстегнутой рясе и в ночных туфлях.

— Подождите! Подождите! — издали кричал кюре, размахивая в воздухе руками. — У меня явилась мысль!

Мэр торопливо побежал ему навстречу.

* * *

Медлительная стрелка касалась уже двадцати пяти минут третьего, когда на повороте дороги показался первый воз с горбом белых нагроможденных мешков.

Товарищ Лаваль отер платком пот, выступивший у него на лбу, и весело сунул часы в карман.

Вслед за первой подводой появилась вторая, третья длинный обоз, белая литания напевно кряхтящих подвод.

В ярком свете прожекторов перепуганные крестьяне, выпачканные в муке, кропотливой толпой муравьев тащили в плавучие муравейники барж тяжелые грузы. Белые сугробы на баржах росли с каждой минутой.

Товарищ Лаваль нетерпеливо посматривал на часы. Прошел уже час, а кончали нагрузку только второй баржи. Где-то далеко черный шов между землей и небом, заштопанный линией горизонта, казалось, расползался на глазах, как изношенная протертая материя, и белесая прореха все росла и росла. Товарищ Лаваль беспокойно поглядывал в эту сторону.

Когда, наконец, третья баржа была нагружена доверху, часы показывали четыре. Полоса рассвета на востоке обозначилась уже широкой щелью. Снежные бугры баржи, как бы растопленные первыми лучами солнца, зеленели несмелой, подснежной муравой брезента. Нельзя было терять больше ни минуты.

Перепрыгивая с борта на борт, матросы поспешно скрепляли канатами баржи, оттолкнутые жердями на середину реки, привязывая их к буксиру. Теснясь на берегу, толпа в молчании присматривалась к этой работе.

Товарищ Лаваль в последний раз взял телефонную трубку.

— Алло! Кто говорит? Почтовый чиновник? Отлично. Скажите, пожалуйста, мэру, чтобы завтра, когда будут поправлять телефонные линии, на всякий случай сожгли узловой телеграфный столб и поставили на его место новый. Да, да. Больше ничего. Передайте жителям Тансореля пролетарский привет от революционного Парижа.

Товарищ Лаваль отставил аппарат.

— Все на палубу! — скомандовал он громко. — Выстроиться на палубе в ряд! Пятнадцать. Хорошо. Все по местам! Перерезать проволоки! Потушить прожектора! Трогаем!

Буксир дрогнул, качнулся на месте и грузно поплыл по плескавшим волнам, точно громадный верблюд с тремя горбами барж.

— Пошли на всех парах!

Товарищ Лаваль прошелся по палубе. В темноте он натолкнулся на чью-то фигуру, облокотившуюся о перила.

— Это вы, товарищ Монсиньяк? Как по-вашему, будем мы в Париже до рассвета?

— Не думаю, с такой поклажей... — угрюмо ответил матрос.

— Но зато мы плывем теперь по течению, значит, легче.

Матрос молча обернулся на восток и указал рукой на расползающееся прорехой рассвета тряпье горизонта.

— Светает...— сухо сказал он.— Раньше, чем доедем, рассветет совершенно.

Товарищ Лаваль долго с видимым беспокойством всматривался в широкую полосу, разраставшуюся у него на глазах.

— Опоздали...— сказал он задумчиво.

По бокам плыли черные, уже заметно вырисовывающиеся берега с первыми брызгами огней.

Товарищ Лаваль не знал, что из Тансореля час тому назад боковыми полевыми тропинками выехал к городу на велосипеде небольшой сутулый человечек.

Небольшой человек прибыл в город, когда серая проталина на востоке стала заметно обозначаться.

Через десять минут упругое резиновое слово, как мячик, катилось уже по проволокам взапуски с задыхавшимся буксиром. Слово, перескакивая с проволоки на проволоку, опередило буксир, покатилось дальше, в лес красных мигающих огней.

Через двадцать минут в штабе армии, в мягкой накуренной гостиной старого помещичьего особняка, шел такой разговор:

Лейтенант. Будем ли мы обстреливать их буксир?

Капитан. Понятно, даны уже соответствующие распоряжения.

Лейтенант. Собственно говоря... Раз уже проехали... к тому же, как говорит сама телеграмма, не причаливали совершенно к берегу и приняли все меры предосторожности... Что бы нам стоило пропустить их с этим провиантом в город? Ведь в данный момент они не представляют уже никакой опасности, и, потопив их, мы ничего, собственно говоря, не выиграем.

Капитан. Вы с ума сошли, Монтелу. Пропустить их безнаказанно в город? Чтобы завтра попробовали пробиться другие? К чему же в таком случае кордон? Наглость должна быть наказана беспощадно! Кстати, вы, кажется, забыли, что это большевики и что везут они провиант для своей коммуны? Может, прикажете еще кормить их коммуну? Благодарю покорно!

Лейтенант. Да нет, конечно... Только просто... я думал... раз уже проехали...

* * *

В Париже у моста Берси с двух часов ночи стала собираться любопытная, выжидающая толпа, беспокойно глядевшая на восток, где все заметнее медленно прорезывался меж губами горизонта белый оскал рассвета.

К пяти часам белый шрам занял уже половину неба. Возвращение экспедиции становилось все менее правдоподобным. Разочарованная толпа понемногу стала расходиться по домам. Тогда-то и послышался вдруг гул первого орудийного выстрела. Толпа встрепенулась, заколыхалась и всем телом подалась на восток.

— Едут,— пронесся гул.

Орудия гудели одно за другим. Толпа бурлящей волной хлынула к берегу. Какая-то женщина, причитая во весь голос, билась, точно птица, на железных перилах моста. Ей вторил глухой человеческий гул. Минут через десять гул перешел в вой.

Вдруг кто-то с берега первый заорал:

— Едут!!!

Наступило гробовое молчание.

У поворота реки действительно появился черный буксир с размозженной трубой, с бессильно повисшими щепками палубы. Буксир, тяжело дыша, уже почти лежа на боку, из последних сил тащил две баржи. На месте третьей баржи черный, наполовину отломанный борт трепетал плавниками искромсанных досок.

Буксир медленно приближался к мосту. Восторг толпы достиг точки кипения.

— Лаваль! Да здравствует Лаваль! — ревела толпа.

Буксир с трудом причалил к берегу. На песок спрыгнул коренастый окровавленный матрос.

— Лаваль! Где Лаваль? — не унималась толпа.

Матрос рукой, обмотанной платком, указал на палубу.

Несколько красногвардейцев вскочили на борт. Толпа затихла в ожидании.

Через пару минут на палубе показались два красногвардейца, неся что-то на растянутой шинели.

Толпа двинулась вперед.

На шинели лежал человек в форме красногвардейца с закрытыми глазами и закинутой головой. Вместо ног у него был ком кровавого желе.

В толпе обнажили головы. Импровизированными шпалерами красногвардейцы понесли товарища Лаваля в соседнюю аптеку.

Толпа заклокотала.

* * *

В белом лазарете, в проходе меж больничных коек, продвигалось четверо людей в голубых солдатских шинелях. Ведущий их санитар задержался у одной кровати.

— Здесь, товарищ главнокомандующий.

Товарищ Лекок наклонился над постелью.

Веки раненого, на которого пала тень, дрогнули, затрепетали, как пламя, вот-вот готовые взлететь. Стеклянные, большие глаза открылись, задержались на лице товарища Лекока. От соприкосновения с знакомым лицом стеклянные глаза зацвели улыбкой. Губы бессильно дрогнули, забились, как крылья, и пропустили неуклюжее, с трудом прорвавшееся слово.

— Это вы, товарищ командующий?.. Вот видите, привез... Одну баржу затопили, сволочи...— прохрипел синеющими губами товарищ Лаваль.

Товарищ Лекок в молчании наклонился и запечатлел на этих губах тихий, братский поцелуй.

Товарищ Лекок не сказал умирающему со счастливой улыбкой человеку, что в четырехстах привезенных мешках под тонким слоем муки оказался песок...

XII

Влажные удушливые газы бурыми лондонскими туманами медленно расползались над Европой.

В двадцатом столетии Европу отделяла Великая китайская стена от Балтийского до Черного моря. Стену строили не одну и не две пятилетки лучшие архитекторы Европы. И в колледжах, на экзаменах географии, ученики первых классов на вопрос: что начинается за китайской стеной? — отвечали без запинки: Азия.

В эти годы ученые отмечали резкую перемену европейского климата. Летом под ударами снарядов польских двенадцатидюймовок в китайской стене образовалась брешь и по всей Европе подуло сквозняком. Сквозняк дул с запада на восток, унося с собой клубы лохматого удушливого газа, похожего на лондонский туман. Газ тяжелой вуалью проплыл над Збручем и потянулся дальше, обволакивая предметы и города серой бархатной замшей. Серые лохматые клубы ползли по равнинам, как дым.

В городах в буром газовом тумане горели фонари, и в мутноватой, белесой влаге шмыгали съежившиеся люди с тупыми свиными рылами противогазов.

У солдат, вероятно, вместо легких — губки, чтобы впитывать газ и, впитав, выжимать его потом сгустками красной влаги.

В полдень по всему материку задранные к небу остроконечные морды труб оружейных заводов выли протяжно долго, как собаки, почуяв мертвечину, и из заводов, с полей, из контор, из государственных учреждений высыпали миллионы человеческих губок и ползли на восток впитывать газ, чтобы выжимать его потом сгустками красной влаги.

В черных, как угольные копи, гаванях ежедневно в одно и то же время гудели брюхатые броненосцы, и на броненосцах отплывали на восток дальнобойные орудия, ящики с амуницией и эшелоны солдат, чтобы белые туманы Ленинграда разбавить цветной дымкой иприта.

В это лето газеты всего материка принесли прискорбную весть о том, что в прекрасном городе Париже непонятно откуда вспыхнула чума и город пришлось окружить железным кордоном войск, чтобы не дать эпидемии распространиться по всей Европе. Газеты сообщали о разрухе, воцарившейся в оцепленном городе. В связи с чудовищной смертностью в городе появились признаки массового психоза. Восточными кварталами овладела секта анархистов-нигилистов, поставившая себе целью уничтожение Парижа. Три правительственных летчика, которые попытались пролететь над Парижем, были сбиты выстрелами зенитных орудий.

Две недели спустя радио принесло известие о пожаре Парижа. На возвышенности, на холмы Франции высыпали толпы французов взглянуть на пожар. Огонь черной спиральной пружиной дыма бил в небо, пока подожженное небо, как горящая соломенная крыша, не рухнуло, покрывая город черной косматой папахой. Это было незабываемое зрелище.

Летчик, вздумавший пролететь над горевшим Парижем, благодаря едкому дыму был принужден повернуть обратно и не сумел рассказать ничего, кроме того, что Париж горит со всех концов.

Сердобольную бабушку-Европу растрогала в этот день судьба несчастного города до настоящих, не глицериновых слез. Пожилые господа всего мира с умилением вспоминали годы молодости, «Мулен руж», «Максима», мидинеток и гризеток. Попы с амвонов туманно намекали на наказание господне и призывали к покаянию.

Этим летом в Европе шел мелкий колкий дождь. По колеям рельсов с запада на восток днем и ночью бежали поезда, длинные вереницы вагонов с звонким стальным грузом. Каждую ночь поезда соскакивали с рельсов, иные взлетали на воздух огненной тысячепудовой ракетой. К утру воинские части чинили путь, связывали телеграфные провода, и по исправленным рельсам бежали новые поезда, позванивая стальным грузом. А потом по окрестным деревушкам, по рабочим поселкам пулемет настойчиво выстукивал азбуку Морзе и поселки горели под дождем дымным оранжевым пламенем.

В Марселе невнимательные докеры, грузившие пароход ящиками с амуницией, посбрасывали ящики в море.

* * *

В этот день во Франции опять не вышли газеты. Разгоряченные толпы, жадные до известий, к восьми часам вечера стали осаждать уличные громкоговорители торговых домов, парков и редакций в ожидании последних депеш.

Ровно в три четверти восьмого громкоговорители выкашляли первые позывные сигналы ожидаемых станций.

Тогда-то неожиданно, сквозь минорный аккомпанемент размеренно-отсчитываемых чисел, заглушая их, как медный трубный звук в играющем под сурдинку струнном оркестре, внезапно загудел оглушительный голос:

— Здесь говорит Париж.

Слова были так неожиданны, что толпы от возбуждения заклокотали и приумолкли, неуверенные в том, что это не обман слуха.

Минуту слышен был лишь невнятный голос в громкоговорителе, досчитывавший: восемь, девять, десять... Разгоряченные ожиданием толпы возбужденно придвинулись ближе. Тогда сквозь звук отсчитываемых цифр во второй раз раздался раскатистый металлический голос:

— Здесь говорит Париж.

Теперь не могло быть уже никакого сомнения. Толкаясь и давя друг друга, люди взволнованно подались вперед. После недавнего пожара, после известий о миллионных жертвах эпидемии и о царящей в Париже разрухе это звучало, как голос потустороннего мира. За две недели с момента вспышки чумы радио-Париж не давало ни одной передачи.

После минутной паузы голос раздался опять, оглушительный и внятный:

— Говорит Париж. У микрофона председатель Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов города Парижа. Рабочие, крестьяне, солдаты! Париж, который вы считаете вымершим,— жив. Слухи, распространяемые буржуазной печатью о неожиданно вспыхнувшей в нем эпидемии, которая якобы принудила правительство изолировать столицу в кольце кордона,— ложны! Две недели тому назад, в момент объявления империалистическими державами войны Советскому Союзу, в Париже вспыхнуло рабочее восстание. Войска, которым приказали стрелять в народ, перешли на сторону рабочих. Тогда правительство, по плану генерального штаба, ночью, накануне захвата всего города рабочими, эвакуировало Париж, отравив предварительно станцию водоснабжения чумными бациллами, разгромив все бактериологические лаборатории и радиостанции. Четырехмиллионное население Парижа, окруженного кольцом верноподданнических наемных войск, империалистическое правительство обрекло на смерть от чумы и голода, для того чтобы истребить парижский пролетариат и взбунтовавшиеся войска. Но, несмотря на ...ный... план...

Сквозь спутанную паутину слов, заглушая голос Парижа, ворвалась внезапно Тулуза игривыми аккордами рояля:

> ...Маргарита, Маргарита!
> В кружевах твоих дессу,
> Я заблудился, как в лесу,
> И не могу никак найти
> Знакомого пути.
> О, помоги мне, Маргарита!—

ревел неистовый тенор.

...рабочее правительство Парижа ликвидировало эпидемию и разруху, вызванную контрреволюционными вспышками в отдельных кварталах. Три дня назад, после окончательной ликвидации эпидемии, чтобы воспрепятствовать ее дальнейшему распространению, рабочее население Парижа сожгло на площадях города около двух миллионов трупов зачумленных. На этом основании буржуазная печать пустила утку о пожаре Парижа... рабочие... сол... яне...

> ...Я стучусь и тут и там,
> О, открой мне твой сезам...—

надрывался неугомонный тенор.

...ская война против СССР, это война против нашей коммуны, которую буржуазия захочет раздавить и которую вы

должны защищать всеми средствами как международный революционный бастион в сердце капиталистической Европы. Все к оружию! Все... щиту... ционального Парижа! Долой импер... войну против СССР. Да здравствует гражданская война... тенных против... ателей. Да здравствует Париж, столица французской республики советов!

Черные пасти громкоговорителей грянули медной фанфарой «Интернационал».

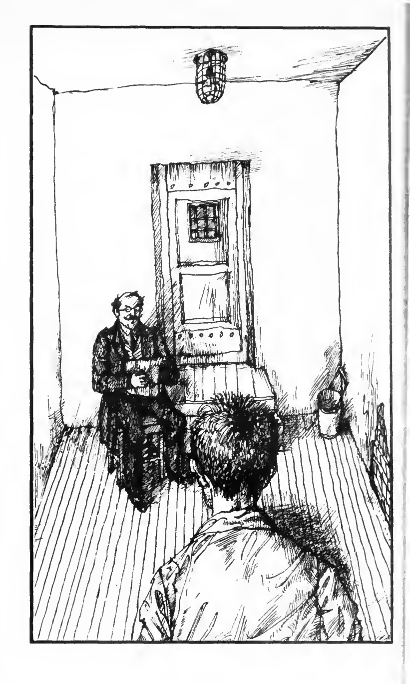
Толпами овладело какое-то неистовство. Тысячи раскрытых удивлением глоток подхватили затихавший напев.

И под раздутыми парусами песни массы дрогнули, как гигантские корабли, треща по швам, закачались на мелях мостовых и грузно поплыли.

1927

ГЛАВНЫЙ ВИНОВНИК





Голая равнина перед окопом, начисто подметенная прожекторами, слепила ровным, мертвенным сиянием. Походило на то, что неприятель, отступая, потерял здесь иголку и этой пасмурной ночью взялся ее отыскивать. Вдали удивленно ахали орудия. В окопе было тихо. Слышно было, как у солдат от напряжения и страха мелко позванивают зубы.

— В атаку!

Никто не шелохнулся. Даже орудия вдали умолкли, прислушиваясь. Стояла накаленная, белая тишина.

— Господи! Может, не пойдут! Может, на этот раз не пойдут!

Но уже на правом фланге, мешкая и путаясь в полах шинелей, лезли на бруствер. Кто-то первый, пригнувшись к земле, спрыгнул на полыхающую светом луговину. И вдруг, словно подчеркивая трудный акробатический номер, в гулкую тишину ворвалась барабанная дробь пулеметов.

Люди бежали теперь развернутой цепью. Они стали падать как-то сразу, лицом вперед, вытянув руки, будто споткнувшись о невидимую проволоку...

Судорога, сковывавшая все его тело, отскочила, как пружина. Он взобрался на бруствер. Резкий свет прожекторов полоснул по глазам. Земля светилась, как фосфор.

Он поднялся и побежал, почти на карачках, волоча по земле прикладом. Воздух жалобно взвизгивал от уколов. «Хотя бы маленькая выемка от снаряда!» Выемки не было. Может быть, мешал видеть этот страшный, режущий свет.

Слева, в нескольких шагах, торчал из кочки тонкий березовый пенек. От пенька струилась по земле узенькая полоска тени...

Он дополз и уткнулся в нее лицом, припав всем телом к кочке. Желание вдавиться в землю было так неистово, что на минуту показалось: земля поддается, и он уходит в нее, как крот.

Мимо, задевая, бежали сапоги и приклады. Кто-то споткнулся и рухнул на него со всего маху. Он приподнял голову. Молодой поручик смотрел на него, мигая глазами, обожженными светом.

— Трррус!— прошипел поручик, расстегивая кобуру...

...Он проснулся в поту, с лицом, облепленным соломенной трухой. Вдавливаясь в постель, он разорвал ногтями подушку. Долго сидел, громко дыша, не в состоянии сообразить, где он. Опять этот навязчивый кошмар!

Это началось с ним давно, вскоре после окончания той первой, большой войны. Для него она окончилась несколько раньше, чем для других. По счастью, его притравили газами, и последние месяцы он провел почти комфортабельно в тыловом лазарете. Они не сообразили, что отравили его не насмерть, а потом, пока в госпитале возились с его дырявыми легкими, война вдруг кончилась. Так утверждали газеты. На самом деле она продолжалась по ночам. Он недовоевал нескольких месяцев, и она мстила ему за это каждую ночь. Она заставляла его переживать заново часы смертельного страха, велела умирать на сотни ладов ему, ухитрившемуся не умереть раз по-настоящему.

Это длилось целых два года, пока, наконец, ей надоело гримироваться сном, и она снова началась наяву. По правде, он никогда не верил, что она действительно кончилась. Теперь он понимал: это была просто передышка, он получил двухлетний отпуск на поправку. (Ребята с фронта получали двухнедельные,— ему повезло и в этом,— но зато после возвращения их убивали обычно уже без долгой волокиты, многих в первый же день.)

Газеты наперебой уверяли, что это вовсе не та же самая война, а совсем-совсем другая: священный поход в защиту цивилизации от наступающего восточного варварства. Воскресшая всего два года назад, независимая Польша в силу особой, предначертанной ей свыше миссии обязана была продвинуть до Днепра форпосты культурного Запада. Впрочем, о предыдущей войне они писали приблизительно то же самое.

Он знал, как катехизиз, как десять заповедей солдата, внушаемых унтерами новобранцам, что всякая война священна, каждый воюет в защиту цивилизации и всегда кому-то необходимо куда-то продвинуть какие-то форпосты. Он знал, что газеты — это те же унтера, только для штатских, и предоставлял желторотым новичкам демонстрировать по улицам с маршевыми песнями свою боевую прыть. Понюхав фронта, они быстро запоют по-другому.

Что касается его, то он нанюхался достаточно, до кровавой рвоты, и его на эти штучки не возьмешь.

В банке, где он работал младшим счетоводом, смотрели на эти вещи по-другому. Большинство мелких чиновников давно ушло добровольцами. Положение с каждым днем становилось все щепетильнее. Когда же форпосты культурного Запада, оттесненные варварами от Днепра, стремительно приблизились к варшавским заставам, старший бухгалтер из другого отдела закатил ему на глазах у всех звонкую оплеуху и обозвал трусом и изменником.

Со службы пришлось уйти. Он заперся дома и попробовал отсидеться. У него были кое-какие сбережения, достаточные, чтобы переждать. В то время он был еще здорово наивен — он верил, что его, быть может, оставят в покое.

Его разыскали на дому и вручили мобилизационный билет. На улицах растрепанные почтенные дамы ловили молодых людей в штатском и отводили к ближайшему полицейскому посту, срывая с них на ходу галстуки. Укрыться было негде. Каждая улица, стоило лишь ступить на нее ногой, захлопывалась, как мышеловка.

В казармах им выдали французские шинели и выстроили на перекличку. Бывалых, принимавших участие в прошлой войне, построили отдельно, дали снаряжение и обещали завтра же отправить в окопы. Народ попался все молчаливый, незнакомый, за исключением Яна Гловака,— служили когда-то в одном взводе и потеряли друг друга в Мазурских болотах.

Ночь провели на одних нарах, не вороша бранных воспоминаний.

— Я знал, что они не успокоятся, пока всех нас не перебьют! — сказал вдруг среди ночи Гловак и, помолчав, добавил: — С меня хватит, надоело!

Утром Гловака на нарах не оказалось. Его нашли в сортире, когда рота собиралась к отправке. Он висел на ремне от штанов, прикрепленном к рычагу для спуска воды,— длинный и нескладный, в подштанниках, с лиловым

шрамом от осколка снаряда через левую скулу. Вода, журча, текла, омывая большие пальцы его костлявых ног.

Так он и остался в памяти: вытянувшийся и длинный, словно на цыпочках стоящий в воде.

Офицер в сердцах обругал покойника проклятым трусом и велел убрать его в мертвецкую. До передовых позиций было всего полчаса езды на грузовике, и этот идиот Гловак, право, мог подождать.

Опять шла война. Мирный стол в банке с кипами разграфленной бумаги казался отсюда радужным видением. Скорее всего это как раз и был сон. Действительность была здесь. Она состояла в бесконечных переходах от звериного страха, пробкой закупорившего горло, к абсолютному отупению: «Скорей бы уж! Пусть!» Ночью Ян Гловак, длинный и босой, с лиловым шрамом через скулу, шел на цыпочках, как Христос по журчащей воде. Идти за ним мешал страх...

...Очнулся в лазарете с комом белой марли вместо головы. Из марли, как уголек в башке снегового болвана, смешно щурился единственный глаз. Опять говорили, что война кончилась. Он закрывал глаз и улыбался в марлю: старые штучки!

Через несколько месяцев его выписали. Молодой госпитальный хирург, большой любитель новых веяний в медицине, заплатал ему нос куском ляжки. Нос сросся почти незаметно, с легким уклоном вправо. Починить вытекший глаз при нынешних консервативных методах медицины было несколько труднее. Пришлось удовлетвориться стеклянным. Голубой, с томной поволокой, по заверениям фельдшера, он был даже выразительнее и задумчивее правого.

Дома, рассмотрев в зеркало свое слегка примятое лицо с испуганно вытаращенным глазом, он немного приуныл. Залог жизненного успеха, привлекательная внешность, которой он раньше так дорожил,— даже ее поспешили у него отнять, устранить оперативным путем.

Взамен оставалась несмелая надежда: может быть, теперь, с одним глазом, его больше не погонят на войну. Впрочем, стреляя из винтовки, все равно надо закрывать левый глаз, значит, солдату он вовсе не нужен. Надеяться было не на что.

В банк, как пострадавшего за родину, его приняли обратно, великодушно забыв его первоначальное упрямство.

Война как будто приутихла. Она продолжалась еще урывками по ночам. Днем все, как по уговору, делали вид, что и знать о ней не знают. Прохожие сновали по улицам, расфуфыренные, нарочито деловитые или притворно безза-

ботные. Только среди этой пестрой толчеи, подчеркивая ее призрачность, какие-то люди, внешне не отличающиеся от других, вдруг значительно перемигивались судорожной гримасой контузии.

В газетах опять время от времени проскальзывали упоминания про «историческую миссию» и про «форпосты». По улицам, надменно улыбаясь, фланировали расшитые позументом офицеры, чиркая по тротуарам ослепительными ножнами длинных, как шлейфы, сабель. Все свидетельствовало о том, что отпуск приближается к концу. Однако шли дни, шли месяцы, а знакомые белые пятна мобилизационного приказа на облупленных стенах домов все еще заставляли себя ждать.

Война бродила где-то стороной. Теперь она шла в Марокко. Газеты наперебой сообщали о ней смачные подробности. В Варшаве жизнь шла своим чередом. В доме старшего счетовода по пятницам пекли пончики. Подавала их к столу дочь хозяина дома, панна Ядвига. В глазах панны Ядвиги было столько мира и любви к ближнему, что, глядя в них, легко было поверить даже в бессрочный отпуск. Он поверил еще раз. Их обвенчали в костеле пресвятой девы Марии.

На следующий день его разбудила шальная пуля, разбившая на кухне оконное стекло и попавшая в банку с вареньем. Он вскочил в расстроенных чувствах. В городе гремела перестрелка.

Газеты уверяли потом, что это вовсе не война, а моральная революция. Пан маршал решил оздоровить Польшу, которую не сумели оздоровить его предшественники. Убитых совсем немного, и все они, без различия лагеря, будут похоронены с одинаковыми военными почестями.

Увы, ничто не в состоянии вернуть дважды утраченные иллюзии! Семейный мир был нарушен. Его не смогло восстановить даже утешительное сообщение об одинаковых почестях...

Два года спустя,— война шла тогда в Китае,— вернувшись неожиданно домой, он застал в передней длинную, как шлейф, саблю. Дюжий офицер, застегивая китель и прилаживая на себе многоременную сбрую, угрюмо изъявил готовность дать ему любое удовлетворение. Тут он выразительно хлопнул себя по кобуре и, подвесив саблю, не спеша освободил помещение.

Все обошлось само собой. Удовлетворения от дюжего офицера он не добился, упав еще ниже в глазах своей неверной супруги, непримиримой в вопросах мужской чести.

Он хорошо запомнил недавний случай с офицером, который зарубил на улице штатского, не то толкнувшего его, не то еще каким-то образом проявившего свою непочтительность. Офицер был оправдан по суду, как постоявший за честь мундира. В витрине большого фотоателье был выставлен его снимок с букетом роз.

Как раз в эти дни газеты принесли известие о страшном взрыве на химическом заводе в Гамбурге. Огромная туча фосгена чуть было не обволокла город. К счастью, ветер дул в другом направлении и отнес ее к морю. Группа экскурсантов в восемнадцати километрах от города случайно набрела двумя днями позже на остатки газового облака и свалилась замертво, отравленная газами. Не могло подлежать сомнению: это начиналось сызнова.

Несмотря на явные признаки, она не началась ни в этом году, ни в следующем. Правда, теперь уже готовились к ней открыто. Газеты только и писали что о новых вооружениях европейских держав, отставать от которых не позволяла Польше ее историческая миссия.

Иногда по ночам он думал, что, оттянись дело еще на три-четыре года, его, пожалуй, и не призовут по возрасту. Это обманчивое утешение развеялось вконец, когда однажды он прочел в статье весьма авторитетного военного лица, что будущая война будет направлена не столько против неприятельских армий, сколько, в первую голову, против гражданского населения неприятельской страны — главного виновника морального сопротивления и экономической мощи противника.

Прочитав статью, он даже несколько опешил: оказывается, это именно он, сам того не подозревая, был главным виновником, над уничтожением которого ломают себе голову генеральные штабы!

Газеты каждый день приносили ошеломляющие известия о новых сверхмощных дредноутах, танках и бомбовозах. С экрана кино многоэтажные броненосцы медленно поворачивали на него жерла своих орудий. Все пулеметы и пушки мира, наведенные на него, ждали только условного сигнала. Мечтать о спасении было бессмысленно.

Во сне ему опять стали мерещиться штыковые атаки. Вдавленная подушка — единственный свидетель бесплодных попыток втиснуться в землю — глядела на него по утрам с ироническим укором: разве не сообщал вчерашний «Варшавский курьер», что новейшие бомбы, весом в одну тонну, взрывают землю на глубину двадцати четырех метров? Бомбовозы-гиганты, чемпионы тяжелого веса, поды-

мали уже на воздух до двадцати пяти тонн груза. Несколько таких самолетов могло уничтожить весь город.

Он зачитывал до дыр каждую газету в смутной надежде найти хоть какие-нибудь сведения о возможных мерах обороны. Сведения большей частью были малоутешительны. Англичане сокрушенно признавались, что во время последних воздушных ночных маневров из ста двадцати самолетов, совершивших налет на Лондон, тридцать шесть достигло своей цели совершенно незамеченными. Сбрось они настоящие бомбы, Лондон был бы разрушен.

Однажды в сухом коммюнике о состоявшейся в Женеве конференции, где обсуждались итоги последних воздушных маневров, он вычитал черным по белому, что конференция признала несостоятельными все существующие средства противовоздушной защиты. В качестве единственной эффективной меры обороны она рекомендовала политику репрессий — столица за столицу: ты мне Париж, я тебе Берлин! Таким образом по крайней мере главный виновник — штатский — будет истреблен наверняка и окончательно.

Господа военные, не ограничиваясь насущными задачами, предусмотрительно подумывали и о будущем. Все они в один голос находили нынешние города неудачным плодом малосмыслящей в этих делах штатской публики. Некий военный автор доказывал, что города впредь нужно строить глубоко под землей в виде скоплений бетонных убежищ. При наличии электричества и аппаратов, вырабатывающих кислород, это не должно представлять для жителей особых неудобств. Поскольку постройка таких городов потребовала бы слишком много времени, ближайшая война, очевидно, обойдется уж как-нибудь и так, но предпринять такое строительство к следующей будет совершенно необходимо. Эти господа не сомневались в том, что доживут невредимыми до следующей войны.

Какой-то иностранный полковник с трудно выговариваемой фамилией предлагал строить человеческие поселения в виде разбросанных на приличном расстоянии друг от друга высоких (этажей в шестьдесят) бетонных башен-минаретов. По его заверениям, они представляют наименее удобную мишень для авиации.

Генерал Пудеру, фамилию которого легко было запомнить, так как она напоминала пудру, рекомендовал взамен нынешних городов рассеять по склонам гор сотни тысяч небольших несгораемых домиков из стали и металлизированного дерева. Домики такого типа легко поддаются

маскировке, причем циркуляция горного воздуха защитит их в известной степени от ядовитых газов. Привлекательный проект природолюбивого генерала, к сожалению, был малопригоден для стран, не изобилующих высокими горами, как, например, Польша. Всему ее населению пришлось бы переселиться в Татры, что неизбежно вызвало бы давку, нежелательную в интересах обороны.

Увлекаясь мечтами о следующей войне, генералы не забывали и о ближайшей. В городе открыто строили газоубежища. Господин Ле Вита, изобретатель люльки-чемодана, снабжаемой кислородом, в красноречивых объявлениях предлагал почтеннейшей публике свои газоубежища для младенцев. На службе чиновникам читали лекции, как избежать отравления ядовитыми газами, и собирали членские взносы на Лигу противовоздушной обороны.

...Его сагитировали записаться в Лигу, и он стал посещать оборонные упражнения, усердно напяливая свиное рыло противогаза, пока не вычитал в одной оппозиционной брошюре, что фильтрующий противогаз представляет собой весьма сомнительное спасение: он не защищает всего тела и бессилен против иприта и сенеизита; он не вырабатывает кислорода и не применим в атмосфере, густо насыщенной газом; он не универсален,— а неприятель перед атакой обычно не предупреждает, каким газом намерен воспользоваться; наконец, во время войны, несомненно, будут пущены в ход новые газы, не предусмотренные нынешней оборонной промышленностью. Автор брошюры вполне убедительно доказывал, что от воздушно-газовых атак защищены лишь страны, занимающие огромные географические пространства, как СССР, в странах же территориально небольших, как Польша, единственным эффективным средством защиты является немедленное бегство, предпочтительно на собственном автомобиле.

Однажды — война шла тогда в Абиссинии и немецкие форпосты стояли уже на Рейне,— во время инсценированной газовой атаки его заставили таскать носилки. Партнером его был лысый толстяк, похожий на муравьеда в табачном пиджаке. Город казался вымершим. По первому воплю сирен люди неохотно поплелись в газоубежища. Запоздавших хватали и тащили в ближайший санитарный пункт. Для полноты иллюзии приказано было затыкать мнимо отравленным рот мокрым платком, а то и просто пригоршней грязи. Люди бранились и плевались. Для усмирения иных приходилось вызывать подмогу. Окна молчаливых квартир мертвенно поблескивали, заклеенные

крест-накрест полосками бумаги, словно их перечеркнули мелом вместе с похороненными за ними жильцами.

К концу упражнений с санитаров-любителей пот катил градом. Лысый в табачном пиджаке, сняв с лица хобот, долго отдувался и фыркал. При его комплекции такие забавы — это верная астма, и, выбирая из двух зол, он предпочитает уж умереть от газа, чем от противогаза. Толстяка звали Ягельский, и служил он управляющим одного из соседних доходных домов. Ягельский пригласил партнера по носилкам на кружку пива, промочить пересохшую глотку. С этой противогазовой обороной не оберешься хлопот. До недавнего времени он вынужден был исполнять обязанности противовоздушного коменданта всего дома. Жильцы и слушать не хотят ни о какой дисциплине. В знак протеста целую неделю не смывали с окон полосок бумаги, пока им, наконец, не пригрозили штрафом. Во время последних ночных маневров, пока на улицах не горел свет, вся стена дома оказалась оклеенной антивоенными воззваниями. Коммунисты воспользовались темнотой и разукрасили целый квартал. Слава богу, после этого инцидента обязанности коменданта взял на себя сын домовладельца. На здоровье! Что касается пана Ягельского, то он предпочитает таскать носилки.

За пивом выяснилось, что пан Ягельский в германскую войну побывал на фронте и что эта возня с новой войной ему совсем не по нутру. Может быть, все еще как-нибудь утрясется и войны не будет.

Партнер по носилкам попался из пессимистов. Он посмотрел на Ягельского стеклянным глазом и заявил, что война будет непременно. «Они не успокоятся, пока всех нас не перебьют!» — это сказал ему один умный человек, который никогда не ошибался.

Тут к столику подсел еще один, вертлявый, в люстриновом пиджаке, и поинтересовался, как звать того человека, который так метко выразил эту замечательно верную мысль. Узнав, что того звали Ян Гловак, вертлявый пожалел, что с ним не знаком, и справился о его месте жительства. Мрачный собеседник с неподвижным глазом сказал, что Гловак отправился туда, куда всем им следовало бы отправиться,— для мыслящего человека это единственный выход. Вертлявый понимающе подмигнул и с этого момента стал еще разговорчивее и откровеннее. Ему тоже совсем не нравится вся эта шумиха с войной. Надо, чтобы трезво мыслящие люди объединились и сказали свое слово. Он узнал у собеседников, как их звать и где они служат («встретив умных, одинаково мыслящих людей, не хочется

терять с ними связи»). Они разошлись, крепко пожав друг другу руки.

...Ночью пессимиста со стеклянным глазом разбудила незнакомая личность, стоявшая среди комнаты в пальто и шляпе, и предложила ему быстренько собираться. В ответ на недоуменное бормотание ему было сообщено, что он арестован, всякое сопротивление бесполезно. Два других господина с педантичной аккуратностью потрошили мебель. В передней внушительно покашливал полицейский. Внизу ждал уже извозчик. Пролетка крякнула под тяжестью пассажиров и лихо покатила, подпрыгивая на булыжниках. Цокот копыт звонкими комьями отлетал от спящих, молчаливых стен.

В известном учреждении на Театральной площади тщательно проверили, не забыл ли он, как его звать, сколько ему лет, кто его родители и чем он занимается. Затем, без всякого перехода, ему предложили назвать по-хорошему всех известных ему членов нелегальной антивоенной организации, в руководстве которой он состоит, в частности, рассказать подробнее о некоем Яне Гловаке и о связи, которую организация поддерживает через него с соседней державой.

Он попробовал было заверить, что Ян Гловак повесился в 1920 году, но получил по зубам и отлетел к стенке. Ему дали пять минут на размышление и предложили папиросу. Когда он докурил, его спросили еще раз, назовет ли он, без дураков, фамилии тех, кто требуется. Он еще раз побожился, что называть ему некого. Атлетического сложения полицейский попросил следовать за собой. Сзади поднялись еще один полицейский и один скуластый в штатском. В дверях все трое смерили его взглядом, от которого холодок побежал по спине, словно заранее изучали его комплекцию.

В комнате, куда его ввели, не было окон, и всю ее меблировку составляла одна скамья. От сильного удара в подбородок он сразу же потерял сознание. Очнулся на полу,— колени упирались в подбородок. Попробовал разогнуться. Кисти рук, плотно обхвативших ляжки, заныли от железных наручников. Он не узнал своего тела, оно превратилось в колесо,— осью была деревянная палка, продетая под коленками. Нечеловеческая боль: как будто ковыряли воспаленный нерв. Боль отдавала в голову. Он увидел полицейского в рубашке, с засученными рукавами. Взмах резиновой палки... Вспомнилось вычитанное когда-то в детстве: в Китае преступников бьют бамбуком по пяткам.

— Назовешь? — чинно осведомились скуластый и второй полицейский.

Он съежился, пытаясь поджать под себя ноги. Опять страшная боль дернула его, как ток, и он вторично потерял сознание.

К концу сеанса он назвал Ягельского, трех знакомых чиновников из банка и двоюродного брата, проживающего в Кельцах. Он всхлипывал и просил, чтобы его больше не били, — он действительно забыл фамилии остальных знакомых, но он придет в себя и вспомнит, обязательно вспомнит и скажет. Его отпоили водой и отправили в камеру босиком: на распухшие ноги не влезали ботинки.

Ночью ему снилась атака, горели прожекторы, и офицер, обозвавший его трусом, медленно расстегивал кобуру. Он проснулся в смятении, с лицом, облепленным соломенной трухой. Вдавливаясь в постель, он разорвал ногтями подушку.

Ныло все тело. Сколько времени прошло с момента допроса? Может быть, целые сутки? Каждую минуту его могли вызвать опять. Он обещал, кажется, назвать еще какие-то фамилии. (По коридору гулко загремели шаги.) Какие фамилии? Откуда их взять? (Шаги прогремели мимо. Он вздохнул с облегчением.) Рано или поздно все это недоразумение выяснится. Разберутся, что ни он, ни названные им лица ни в чем не повинны. Лучше назвать любую фамилию, лишь бы не били. Он тщетно напрягал память. Только сейчас он убедился, как, к сожалению, ничтожно мал круг его знакомых. Можно назвать главного бухгалтера, родителей жены, кого еще? С большинством чиновников он был незнаком и часто путал их фамилии. Кого ж еще? Директора банка? Не поверят. Да к тому же за это могут прогнать со службы. Кого же еще?

От напряжения у него разболелся живот. Параши в камере не было. Он несмело постучал в дверь. Молчаливый часовой, гремя винтовкой, проводил его в уборную. На полу валялась помятая бумажка. Он расправил ее и машинально бросил взгляд на столбик мелких печатных букв:

Миколайчик Иосиф, парикмахерская. Крахмальная, 1.	12	29	74
Микста Андрей, адвокат. Новый свет, 42, кв. 17.	03	98	43
Микульский Фома, агент страхового общества. Круглевская, 23, кв. 24.	05	17	80

Он скользнул глазами ниже: Микуловский Ян... Микуловский Казимир... Мильбарт Франциск... Мильчек Викентий... Милейко Виктор... Милевич Игнатий... Милевский Станислав... Милевский Алоиз... Милевский Збигнев... Милленберг Исаак... Мильский Бонифатий...

На мгновение он застыл с бумажкой в руках. Убедившись, что часовой не глядит, он сунул ее за пазуху.

Весь следующий день, сидя на топчане, спиной к двери, и размеренно покачиваясь, он бормотал нараспев с закрытыми глазами: «Милевич Игнатий, врач. Ново-Липки, 18, кв. 37... Милевский Алоиз, бюро похоронных процессий. Старое място, 6, во дворе... Милевский Станислав, графолог, Пржеязд, 12, кв. 2... Милевский Збигнев...»

Ночью его увели на допрос. Он назвал семь фамилий, предусмотрительно приберегая остальные семь до следующего раза. Его почти не били.

В следующий раз он назвал только четыре, оставив три на всякий случай, про запас. Он не прогадал. Его вызывали еще раз и били довольно основательно. Очевидно, три фамилии показалось им недостаточно. Зато после четвертого допроса его оставили в покое. Пару дней спустя его перевели в Мокотовскую тюрьму, в одиночную камеру № 212.

В тюрьме больше не допрашивали. Оправившись от побоев и убедившись, что бить, по-видимому, уже не будут, он стал терпеливо ждать: вот-вот все это недоразумение выяснится и предложат убраться домой. Однако шли дни, шли недели, а ничего на выяснялось.

К концу второго месяца им овладело беспокойство. Целыми днями, сидя без дела на нарах, он предавался размышлениям и догадкам. Как выглядит Милевский Алоиз, владелец бюро похоронных процессий? Молод он или стар? Судя по кварталу, в котором помещается его заведение, и по примечанию «во дворе», вряд ли дела его особенно процветают. А Милевский Станислав, графолог? У того, наверное, шикарная квартира. Номер два не бывает выше второго этажа. Графологи хорошо зарабатывают. Что он сказал, когда за ним пришли ночью и велели быстренько собираться? На что живет сейчас его жена, если она не занимается графологией?

К концу третьего месяца, когда недоразумение по-прежнему не выяснялось, арестанта из 212-й камеры одолели угрызения совести. Он потерял аппетит и сон.

В половине четвертого месяца он передал через надзирателя, что хочет дать следователю очень важные показания. Когда его провели в кабинет начальника тюрьмы, он твердо отчеканил следователю: все показания, данные им на предварительных допросах,— ложны, ни с одним из названных он никогда ни в какой связи не состоял, не знает их даже в лицо и понятия не имеет, кто они такие.

Следователь надел пенсне и, смерив заключенного ироническим взглядом, сухо сказал, что увертки его бесполезны: все названные им лица полностью признали себя виновными.

Узник из 212-й камеры раскрыл рот и медленно попятился к двери, глядя на следователя во все глаза.

Следователь добавил, что лица эти оказались значительно разговорчивее, чем их идейный руководитель, и назвали целый ряд членов организаций, выдать которых он не захотел. Суд не преминет зачесть им это смягчающее вину обстоятельство. Что касается подследственного, то запоздалая попытка ввести в заблуждение органы правосудия может только усугубить вину и повлечь за собой более строгую меру наказания.

Когда узника из 212-й камеры уводили обратно, тюремщик вынужден был поддержать его за локоть и насильно втолкнуть в соответствующую дверь: коридор качался из стороны в сторону, и дверь камеры почему-то оказалась на потолке.

К концу восьмого месяца в камеру № 212 явился плешивенький, востроносый господин средних лет в сильно подержанном костюме и с таким же портфелем. Он отрекомендовался заключенному как его защитник по назначению и сообщил, что процесс начинается через две недели. Пора, так сказать, договориться относительно поведения на суде. Дело абсолютно ясное, и никаких добавочных материалов ему, как защитнику, не требуется. Речь свою он намерен строить, так сказать, в психологическом плане, апеллируя в первую очередь к патриотическим убеждениям судей. В этом отношении крайне выигрышным моментом в биографии подзащитного является его участие в войне против большевиков и потеря одного глаза, так сказать, в интересах родины. Путь подсудимого — от доблестного солдата и патриота к главарю антигосударственной нелегальной организации — защитник намерен объяснить, с одной стороны, частичной инвалидностью подсудимого, с другой — его врожденной подверженностью чужим влияниям. Главным обвиняемым на этом процессе должен

являться не сам подсудимый, а его злой дух, Ян Гловак, умело использовавший инстинктивную неприязнь подсудимого к войне, легко объяснимую у всякого инвалида. Негодяй Гловак, посеяв смуту в душу честного солдата, сбежал в СССР и оставил расхлебывать кулеш свою слабовольную жертву.

Защитник был уверен, что после таким образом построенной речи у судей не подымется рука подписать смертный приговор, и дело обойдется десятью годами. Все зависит от того, как будет себя вести на процессе сам обвиняемый. Процесс несомненно приобретет широкую огласку. Шутка сказать! Восемьдесят человек на скамье подсудимых! Антигосударственные элементы попытаются использовать процесс в целях своей преступной антивоенной агитации. Поэтому крайне важно, чтобы подсудимый своим поведением не давал пищи этим элементам. Ему нужно лишь подтвердить все показания, данные на предварительном следствии, и выразить в своем последнем слове чистосердечное раскаяние. При этих условиях защитник берет на себя ответственность за благоприятный исход процесса. Возможно, все обойдется даже не десятью, а лишь какими-нибудь восемью годами.

Беседа длилась около получаса. Говорил преимущественно защитник. Впечатление, которое он вынес от обвиняемого, было самое благоприятное. Тот ничему не перечил, слушал очень внимательно и на прощание выразительно пожал ему руку. Так по крайней мере передавал впоследствии защитник содержание своего разговора следователю и прокурору.

До самого суда узник из 212-й камеры вел себя безукоризненно. В день процесса его переодели в собственныый костюм, тщательно постригли и побрили. Тюремный парикмахер, служивший некогда в одном провинциальном театре, обрызгал подсудимого с головы до ног одеколоном и долго, любуясь, глядел ему вслед.

Во дворе дожидался уже тюремный автомобиль. Узника из 212-й камеры усадили в него весьма церемонно, со свитой из двенадцати отлакированных, как на парад, полицейских, вооруженных винтовками. Распахнули настежь тюремные ворота, и автомобиль торжественно укатил в город. По дороге несколько раз останавливались, слышны были пронзительные свистки, шум и галдеж. Подсудимый пробовал было выглянуть в маленькое зарешеченное окошко, но двенадцать адъютантов любезно попросили его не шевелиться. Раза два ему показалось, что он явствен-

но слышит звуки стрельбы. Потом автомобиль остановился. Дверцы раскрылись, и вся свита вместе с подсудимым устремилась по широкой лестнице в здание суда.

Подымаясь по ступенькам, он оглянулся. Он увидел в прилегающих к площади улочках черное море голов и небо в красных полосах плакатов. С одного из плакатов аршинные белые буквы кричали: «Долой зачинщиков новой войны!» Площадь была оцеплена полицией, и черные кордоны полицейских, щелкая затворами, отжимали толпу в переулки.

Он застыл в смятении, вдруг поднял обе руки и шагнул вниз. Два полицейских подхватили его под мышки и почти бегом внесли в здание.

Большой зал был битком набит публикой. Когда его вводили, зал вдруг зашушукался. Ему указали место на первой скамье. Скамьи подсудимых стояли в несколько рядов. Густо натыканные на них люди сидели, как деревянные. Он украдкой обвел взглядом эту незнакомую толпу, которую должны были судить вместе с ним. Большая лысина Ягельского тускло поблескивала в сомкнутом строе усатых и безусых, бородатых и безбородых лиц.

Дребезжал звонок. Упругий бас гудел: «Встать! Суд идет!» Все вставали и садились, как по команде. Потом, как в армии, была перекличка, и все на разные лады кричали: «Есть!» Затем тонкий субъект с огромными ушами поднялся из-за стола и стал читать обвинительное заключение. Чтение длилось два часа с четвертью. Публика зевала и клевала носами. Зато скамьи подсудимых слушали с явным, неослабевающим любопытством.

По мере чтения пространной филиппики, оповещавшей слушателей о его злодейских махинациях как главаря и вдохновителя инспирированной соседней державой антивоенной организации, с узником из 212-й камеры на глазах у всех начало совершаться странное превращение. Он постепенно выпрямлялся, словно вырос на несколько вершков, в посадке его головы обозначилась даже особая горделивая осанка. Раз и другой он открыто обвел глазом длинные ряды подсудимых, и во взгляде его — как уверяла потом одна из присутствовавших дам — было что-то от полководца, озирающего свои боевые резервы. Черты его лица обострились и выражали нарастающее возбуждение, даже стеклянный глаз засверкал необычным, возбужденным блеском.

Когда чтение оборвалось и председатель, назвав фамилию главного обвиняемого, спросил, признает ли он себя

виновным, тот вдруг встал и сказал очень громко, голосом, прерывающимся от волнения:

— Да, я признаю себя виновным! Виновным в том, что нас здесь только восемьдесят. На самом деле нас больше, гораздо больше! Я понял это только сегодня! Мы все не хотим войны! Нам надоело жить в постоянном страхе, что не сегодня-завтра вы опять начнете нас убивать!..

Поднялся шум. Старик за столом долго, как цепами, дубасил звонком гомон. Обращаясь в сторону подсудимого, он сурово напомнил ему, что здесь не коммунистический митинг, а суд. В случае еще одной подобной выходки он будет вынужден удалить обвиняемого из зала.

Подсудимый, оглушенный колокольным звоном, молчаливо опустился на место. Видно было, что шум и звон сбили с него все красноречие, он как бы поперхнулся словами. Он безразлично смотрел на востроносого защитника, сокрушенно качающего головой и горестно разводящего руками.

Все постепенно пришло в норму. Люди на скамьях подсудимых один за другим, как школьники, прилежно твердили: «Да, признаю!» Среди выкрикиваемых председателем фамилий были и все три Миевские и Мильский, но узник из 212-й камеры на звук их фамилий даже не обернулся.

Шли показания свидетелей. Потом был объявлен перерыв.

Гвоздем процесса, как отмечали некоторые газеты, явилась не столько речь главного обвиняемого, сколько неожиданное выступление защитника подсудимого Миколайчика, имевшее место на вечернем заседании. Защитник — молодой юрист с ничего не говорящей фамилией, мало известный в судейском мире,— за весь день процесса не обратил на себя ничьего внимания. Во время показаний свидетелей он один из всей массы защитников не ставил никому никаких вопросов и только почти к концу заседания попросил у председателя разрешения задать вопрос главному обвиняемому.

Начал он с того, что, просматривая список подсудимых, он подметил одно весьма странное совпадение: фамилии четырнадцати из них начинались на одну и ту же букву.

Председатель снисходительно пожал плечами. Что же тут странного, если из восьмидесяти человек четырнадцать носят фамилию на одну и ту же букву? Впрочем, защитник сможет развить свои соображения на этот предмет в защитительной речи. Сейчас он получил слово только для того, чтобы задать вопрос обвиняемому.

Защитник заверил, что это-то он и намеревается сделать; совпадение, о котором он упомянул, несомненно, покажется странным и самому суду, если тот потрудится взять вот эту книжку, озаглавленную: «Список абонентов варшавской телефонной сети», и раскрыть ее на странице 217. Суд убедится тогда, что фамилии всех четырнадцати обвиняемых перечислены на этой странице подряд в разделе телефонных абонентов на букву «М».

Защитник прочитал вслух все четырнадцать фамилий, с указанием профессий, мест жительства и номеров телефонов.

По залу покатился смех. Председатель укоризненно замахал звонком.

Так вот, не находит ли обвиняемый странным, что четырнадцать членов его организации завербованы им как будто прямо по телефонной книжке. Не могло ли случиться так, что обвиняемый, под известным нажимом, во время допросов вынужден был назвать ряд фамилий своих сообщников и, не располагая таковыми, почерпнул их наугад из списка телефонных абонентов.

Хохот усилился. Теперь уже смеялся почти весь зал. Неловко улыбались даже скамьи подсудимых.

Председатель сурово призвал защитника к порядку за неуместный намек на принудительные меры при допросах, порочащий национальное правосудие.

Дабы положить предел смешкам, председатель обратился к подсудимому и сурово спросил, правда ли, будто тот, как пытаются здесь утверждать, почерпнул фамилии своих четырнадцати сообщников из телефонной книжки.

Подсудимый минуту смущенно молчал, что вызвало в зале новый взрыв смеха, потом поднялся и, покраснев, твердо сказал:

— Нет!

Сев на место, он сразу как-то обмяк, мигом утратив прежнюю вызывающую осанку. Правый его глаз глядел вперед так же неподвижно и тупо, как и левый.

Защитник заявил, что больше вопросов не имеет.

Веселое оживление в зале не унималось.

Положение спас прокурор, потребовавший, ввиду секретного характера показания ряда обвиняемых, затрагивающих военные тайны, чтобы заседание продолжалось при закрытых дверях.

Суд после короткого совещания решил требование прокурора удовлетворить.

Процесс продолжался еще три дня, однако о дальнейшем его ходе ни печать, ни тем более широкая публика так и не узнала ничего достоверного. В трамваях и кафе шепотом передавали, что в первые же сутки после инцидента в суде шестьдесят тысяч абонентов варшавской телефонной сети сняли у себя телефоны и попросили вычеркнуть их фамилии из телефонной книги. Говорили, что компания, очутившись перед лицом краха, обратилась в правительство с настойчивым ходатайством оправдать всех ее абонентов. С другой стороны, сообщали, что военные власти категорически настаивают на примерном наказании всех восьмидесяти подсудимых.

Судя по приговору, дело кончилось компромиссом. Четырнадцать обвиняемых на букву «М» были оправданы, остальные приговорены к более или менее длительным срокам заключения. Один лишь главный обвиняемый был присужден к смертной казни через повешение. Впрочем, глава государства, принимая во внимание военное прошлое приговоренного и его заслуги в деле защиты воскресшей родины, смягчил ему меру наказания, заменив повешение расстрелом.

Когда приговор приводили в исполнение, стояло на редкость пасмурное февральское утро. Пришлось зажечь прожекторы у четырех автомобилей. И когда по полыхающей светом голой луговине к смертнику подошел ксендз и, подсовывая распятие, осведомился о последнем желании, тот, щурясь от света, ответил совсем невпопад: «Я всегда знал, что одним глазом от них не отделаться!..»

1936

ЗАГОВОР РАВНОДУШНЫХ





Не бойся врагов — в худшем случае они могут тебя убить.
Не бойся друзей — в худшем случае они могут тебя предать.
Бойся равнодушных — они не убивают и не предают, но только с их молчаливого согласия существует на земле предательство и убийство.

(Роберт Эберхардт.
«Царь Питекантроп Последний»)

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

31 декабря 1934 года на четверти земного шара лежал снег. В городах с улиц его сметали механическими щетками, ледяную корку скалывали вручную скребком. Снега от этого не убавлялось, он порошил не переставая. В столицах обильно солили мостовые и тротуары, посыпали песком. Семь с половиной миллионов людей с утра до вечера только и занимались этой непроизводительной работой. Прохожие скользили, падали, отряхивались и приплясывая бежали дальше.

К вечеру в городах, на фасадах зданий, зажглись синие и красные — аргоновые и неоновые — трубки. Оба газа найдены были недавно английским химиком Рамзаем и быстро нашли применение как дешевая световая реклама, вытесняя электрические лампочки.

В большинстве стран в этот вечер, по очень старому обычаю, люди собирались в ресторанах и на частных квартирах, много ели и выпивали, поминутно поглядывая на часы. Ровно в двенадцать под общий звон и гомон они поднимали тост за наступивший Новый год. Большинство из них полагало, что истекший год был на редкость плох и тяжел, но новый будет непременно лучше. Впрочем, так они думали и год тому назад.

На следующее утро десятки миллионов людей вставали с головной болью, с отрыжкой, глотали чай с лимоном, минеральную воду, соду, всякие пилюли и с туманом в го-

лове отправлялись на работу. Начинался новый, лучший год.

Итак, когда большая стрелка приближалась к двенадцати, где ее уже поджидала малая, она была, как любили выражаться журналисты, «в центре внимания всего мира».

В одном только городе большие часы на городской башне показывали неизменно 8.26. Город назывался Санта-Рита и лежал в Центральной Америке, в республике Гондурас. Часы на его башне показывали 8.26 не потому, что таково было местное время, а потому, что две недели назад в маленьком городе Санта-Рита случилось большое землетрясение, разрушившее до единого все дома. По непонятным причинам уцелела лишь городская башня с часами, которые остановились навсегда, отметив час и минуту постигшего город бедствия. Лишенные крова, сантаритяне вместе с населением других разрушенных районов бежали в горы Гватемалы и встречали новогоднюю ночь под открытым небом при свете костров. Новый год не сулил им ничего хорошего.

Впрочем, и в других странах много людей не смотрело в эту ночь на часы.

В Польше, в Домбровском бассейне, шел снег. У ворот шахты «Баська» всю ночь до утра толпились женщины, много женщин в платках. На шахте происходили странные вещи. В поселках об этом передавали шепотом. Когда управление решило закрыть шахту, горняки заявили, что добровольно не уйдут,— уйти им было некуда. Последняя смена в восемьдесят человек осталась под землей. Забастовщики сняли с тросов подъемную машину и объявили голодовку.

На следующий день из шахты «Дорота» на «Баську» прорвалась вода. Вода затопила лаву «А». Восемьдесят человек, отступая по пояс в воде, укрепились в штреке 12. В штреке сильно пахло газом.

На пятый день у забастовщиков под землей осталась всего одна лампа и совсем немного карбида. Наверху, у спуска в шахту, молчаливо караулили полицейские. Управление на запрос профсоюза ответило, что шахту спасти нельзя.

31 декабря, в одиннадцать часов вечера, лампа в штреке 12 потухла. Люди остались впотьмах.

В городе Саарбрюккене царило в эту ночь необычайное оживление. Все «истинные германцы» приветствовали новый год как год освобождения Саара от французской оккупации и приобщения его к единому телу праматери Герма-

нии. В пивных и винных погребках настоящие патриоты, изъявившие готовность поднять тост за рейхсканцлера Гитлера, получали бесплатно бокал рейнского вина и пиво в неограниченном количестве.

Рабочий Карл Люксембургер не раз в беседах заявлял своим друзьям, что ему не нравится рабочее законодательство в Германии. В конце концов он эльзасец, и из двух зол он предпочитает французскую оккупацию национал-социалистской.

В этот день рабочий Карл Люксембургер был особенно доволен. После длительных хлопот он заполучил наконец французский паспорт. Теперь ему на этих свиней наплевать! Он французский подданный, и ему нет до них никакого дела.

Новый год он решил для вящей безопасности встретить в семейном кругу, с женой и двухлетней дочкой. Поздно вечером, нагруженный покупками, он возвращался домой. Над улицами сплошным потолком нависли гирлянды электрических лампочек. Город, как в мировую войну, кишел офицерами всех союзных армий, с той только разницей, что к англичанам и итальянцам прибавились еще голландцы и шведы. Итальянцы в эту ночь оккупировали отель «Месмер», англичане укрепились в баре «Эксцельсиор». На пороге бара долговязый капитан индийской армии, в красном смокинге и зеленых брюках в желтую клетку, воинственно потрясал в воздухе шестидюймовым снарядом для сбивания коктейлей. Рабочий Люксембургер плюнул и прошел мимо.

Дома, когда он сел с семьей за стол и стал раскупоривать бутылку недорогого, но честного вина, стекла окна звякнули, раздалось несколько выстрелов. Карл Люксембургер был убит на месте, его жена и дочь в тяжелом состоянии были доставлены в ближайшую больницу.

«Отчизна-мать, цвети века! На Рейне мощь твоя крепка!»

В Союзе Советских Социалистических Республик, в городе Москве, происходила в это время радиопередача для зимовщиков Арктики.

«Алло! Алло! Говорит Москва! Говорит Москва! Радиостанция имени Коминтерна... У микрофона председатель Центрального Исполнительного Комитета СССР Михаил Иванович Калинин».

«Товарищи работники Арктики! Вы разбросаны в отдаленных, безлюдных местах, в местах суровой природы, где появление человека, в особенности в зимнее время, счита-

лось исключительным геройством отдельной личности, исключительным геройством мучеников науки, либо где люди появлялись в результате бедствия полярной экспедиции...»

На полярной станции Маре-Сале, у западного побережья полуострова Ямал, в теплом помещении станции люди, затаив дыхание, гурьбой стояли у радиоприемника.

Вчера с вечера продовольственные склады станции подверглись атаке полярных мышей — лемингов. Голодные рыжие леминги, похожие на бесхвостых крыс, ринулись пожирать съестные припасы, заготовленные на зиму, до будущей навигации. С севера надвигались новые необозримые стаи.

Весь день на станции кипела работа. Продукты поднимали на навес, водруженный высоко над землей на деревянных столбах. На дворе ревела метель. Ночью леминги приступом взяли столбы.

Не дослушав передачи, люди кинулись к навесам защищать драгоценный провиант.

2

В городе Н., большом центре большого края, затерянного среди снежных просторов СССР, еще в полдень зажглись фонари.

В городе Н. был большой завод за номером таким-то. Завод был расположен на отлете, километрах в пятнадцати от центра.

В заводском клубе, на сцене, где среди красных склоненных знамен — огромный Ленин в два человеческих роста, длинный стол накрыт огненно-красным сукном. Там, меж графинов с водой и набитых окурками пепельниц, в сизом табачном дыму и в нервном сиянии ламп восседают сегодня знатные люди завода.

Торжественная часть близится к концу. После перерыва — большой художественный концерт, а после концерта — танцы, западноевропейские и национальные. «Обильно снабженный буфет». «По случаю Нового года имеются всевозможные сладкие вина».

Завтра День ударника, неплохо бы козырнуть перед страной одним-другим рекордом. О богатой выпивке не может быть и речи: какая уж работа с перепоя!

Но, во-первых, не все работают в утренней смене, а во-вторых, пропустить несколько рюмок не значит еще напиваться.

Одна беда — помещение клуба не рассчитано на такое количество народа. Где тут танцевать! И повернуться-то особенно негде.

И вот, немного покрутившись, молодежь разбредается по квартирам к тем, у кого попросторнее: в щитковые и каменные дома, где уже ждут накрытые столы, наскоро оборудованные в складчину.

У Юрия Гаранина целых две комнаты в новом каменном доме, как подобает редактору заводской газеты «За боевые темпы». У Шуры Мингалевой премиальный патефон «Тизприбор». По нескольку пластинок принесет каждый: у Кости Цебенко весь Утесов, Гуга Жмакина собирает Ирму Яунзем, у Васи Корнишина «Черные глаза».

Всего двенадцать человек: комсомольцы, активные рабкоры, сотрудники газеты, а в основном — по принципу «кто с кем дружит». После бюро обещал зайти Филиферов, второй секретарь райкома. Жалко только, что первый секретарь Карабут в Сочи, а то пришел бы обязательно. Ничего, пусть поправляется, выпьем за его здоровье!

Уже человек восемь колдуют вокруг ступенчатого стола, искусно смонтированного из трех разнокалиберных столиков, рассматривают на свет графины, полные белой, желтоватой и вишнево-красной истомы, вертят по очереди с размаху безотказную ручку патефона, словно заводят на морозе грузовик, и патефон, давясь механической слезой, ревет о том, как много девушек хороших, как много ласковых имен, и о сердце, которому не хочется покоя.

Тут раздается очередной стук в дверь ногой. Это пароль сегодняшнего вечера. Приглашая Борю Фишкинда, Цебенко сказал ему на прощание:

— Приходи часов в десять и стучи в дверь ногой.

— Почему ногой? — удивился Боря.

— Потому что, надеюсь, руки будут у тебя заняты.

Все бросаются к двери открывать — Костя Цебенко собственной персоной! Руки у него действительно заняты. Под мышками по бутылке «Баяна». В руках стопка пластинок и консервы — налимья печенка. Из левого кармана вытягивает жирафью шею колбаса. Из правого сыплются на пол конфеты «Джаз».

Он подходит к патефону («...спасибо, сердце, что ты умеешь так любить!..»), берет за шейку, как гуся, и ловко, без хруста, выворачивает ее назад. Патефон мгновенно умолкает. Цебенко снимает пластинку и кладет только что принесенную, новую.

— Внимание! Вот пластиночка! Чин-чинарем! Последний выпуск. И для сердца и для ног!

«Каховка, Каховка, родная винтовка, горячею пулей лети!..»

— А где же, собственно говоря, Гаранин?

— Ах, они все на бюро райкома. Созвали их срочно по какому-то экстренному вопросу. Скоро, наверное, кончат. Обещали не позже одиннадцати. Придут вместе с Филиферовым.

А вот и Петька Пружанец, он же поэт Сергей Фартовый, заводской Маяковский.

— Здрасьте, товарищ поэт! Читал сегодня в уборной твое последнее произведение... Да нет, вовсе не думаю его обидеть! Это он сам развесил свой плакат по уборным.

— Правильно! Правильно! Читали! Подожди, как это? «В рабочее время ты куришь, а вот попробуй подсчитай-ка — дело простое: каждая папироса, помноженная на завод, это десятки тысяч минут простоя!»

— Что же вы от него хотите? Это совсем неплохо. По крайней мере со смыслом.

— Да надо же хоть в уборной отдохнуть от его стихов!

— Чудак! Наоборот! Заметь, что именно в уборной людей особенно тянет на рифму. Раньше все стены исписывали стишками.

— Уж не ты ли сочинял эти стишки?

— Ого, Гуга кусается! Не троньте лучше Петьку! — И Сема Порхачев примирительно заводит патефон.

«Под солнцем горячим, под ночью степною немало пришлось нам пройти. Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути...»

Вроде буржуазный фокстрот, а все-таки с нашей начинкой.

Петька Пружанец не обижается. Есть еще на заводе лодыри, которые четверть рабочего дня прокуривают в уборной. Почему по ним не ударить рифмованным лозунгом, который стегал бы их на месте преступления? Да и можно ли сердиться на Костю Цебенко? Они с ним закадычные друзья.

Костя в глубине души немало гордится Петькиными стихотворными успехами.

Если Петька на кого-нибудь и сердится, так это на себя: кто бы и когда бы ни заговорил о его стихах, Петька неизменно краснеет, как барышня. Это — идиотство, но это так. И ничего с этим не поделаешь. Дурацкая ошибка природы, наделившей его хрупкой, почти женственной внешностью, совершенно не соответствующей его поэтическому жанру. Стихи его лозунговые, рубленые, такие читать надо басом. А голос у Петьки высокий, девичий. Поэтому Петька и стесняется выступать, а если заставят, краснеет вдвойне. Слушатели думают, что парень конфузится, и хлопают — наверное, из жалости.

Сейчас Петька, постояв минуту с шахматистами, обсуждающими результаты четвертого тура Гастингского турнира (впереди идут Эйве и Томас, на третьем месте — Капабланка, Ботвинник выиграл у Веры Менчик), незаметно протискивается к окну, будто хочет открыть форточку (духота, дым!), на самом же деле, чтобы пробраться поближе к Гуге. С Гугой они сегодня опять в ссоре. Началось это, собственно, еще вчера. Гуга вернулась из города злая-презлая. Собиралась сшить себе юбку, обегала весь город — нигде ни булавки, ни кнопки, ни крючка. Вот и шей! Безобразие! Скоро юбки делать придется из гофрированной жести, на заклепках!

Петька взъелся: что за обывательские разговоры! А еще комсомолка! Ясно, металл нужен для машиностроения. Обходились без вещей поважнее, проживем и без застежек.

Целый вечер после этого не разговаривали.

Сегодня утром Гуга подошла и без слова положила к нему на станок свежую «Правду» с отмеченной статьей «Булавки и кнопки». В статье говорилось, что в нехватке элементарных предметов галантереи повинно прежде всего разгильдяйство некоторых хозяйственников, которые не потрудились использовать для этой цели отходы металлообрабатывающей промышленности.

В обеденный перерыв Петька встретился с Гугой в столовой. Разговорились мирно, будто и не ссорились.

— Ты меня за вчерашнее извини,— беря Гугу за руку, промычал под конец Петька.— Я в главке не сижу, не знаю, сколько у них отходов. «Правде» виднее.

А разве у тебя по какому-нибудь вопросу есть свое мне-

ние, пока не вычитаешь в «Правде»? — раздраженно пожимая плечами, сказала Гуга.

— То есть как это?

— А так. Запоздай «Правда» на три дня, ты и стихов писать не сможешь. Обязательно подождешь, что сказано в последней передовице.

Она засмеялась коротким, недобрым смехом, встала и ушла.

Вечером Петька, не выдержав, забежал к ней в общежитие объясниться, но не застал. Встретились только здесь, у Гараниных.

Присев рядом на подоконник, Петька осторожно погладил ее по спине. Гуга ежится, но не протестует. Он наклоняется к ее уху.

— Злючка! Ты же знаешь, как я тебя люблю.

Но тут загремела дверь, вваливается Боря Фишкинд и, разгружаясь от пакетов, кричит с порога:

— Знаете, кто оказался матерым троцкистом? Не отгадаете!

— Ну? Ну?

— Да говори, без дураков!

— Грамберг!

— Замдиректора по снабжению?

— Не может быть!

— Скрыл это на чистке!

— А кто же его разоблачил?

— Релих. Сегодня по этому вопросу — экстренное заседание бюро.

— Ребята, знаете, сколько сейчас времени? Без трех минут двенадцать!

— Наливай бокалы!

— Ну, а как же Гаранин, Филиферов? Надо их подождать!

— Отставить Новый год! Переведем стрелки!

— Товарищи!

— Тише! Слово имеет Цебенко!

— Товарищи! Гаранин и Филиферов освободятся неизвестно когда. А кончат заседать — присоединятся к нам и нагонят упущенное, как подобает честным морякам.

— Правильно!

— Молодец, Костя!

— Жизнь идет чин-чинарем! Республика растет и шагает! И никому не остановить ее ни на одну минуту...

— Правильно!

— Потому Новый год у нас начинается в двенадцать часов, а не в пять минут первого! Прошу без пререканий наполнить бокалы.

— Есть наполнить бокалы!

— Товарищи! В каждый Новый год получается так, что встречаем мы его уже не в том составе, что предыдущий. Кто отбыл учиться поближе к центру, кто ушел в армию, а кто еще куда. Один древний философ говорил, что жидкость в реке через пять минут уже не та, что была раньше, а в рюмке и подавно. Так что будущий Новый год вряд ли многим из нас придется встречать вместе. Вот, для примера, Женя Гаранина кончит летную школу и уйдет петлять в Военно-Воздушные Силы Республики, да и забудет про нас с вами и про все это хозяйство. Петька Пружанец кончит комвуз и рванется в Москву. Там, говорят, такие, как он, в очередь за славой стоят,— кому повезет, того премируют отрезом на памятник. Гуга вероятнее всего смотается за ним, поскольку, как известно, оба эти товарища маленечко друг друга уважают. И встретимся ли мы еще когда-нибудь, чин-чинарем, за одним столиком — неизвестно и даже сомнительно. А если и встретимся, то через много лет. Кое-кто из нас сложит, может быть, к тому времени свои косточки на японской или германской территории, в зависимости от того, где нам придется обороняться. А те, кто останется в живых, может, и не сразу узнают друг друга. Женя будет уже тогда героиней Советского Союза. Юрку Гаранина переименуют к тому времени в Туполева. Петька Пружанец, виноват, Сергей Фартовый, народный поэт Республики, будет похлопывать по плечу и угощать водкой молодые дарования из провинции. А я, как подобает честным морякам, буду строить гидростанции где-нибудь на Северном или Южном полюсе, в зависимости от сезона. И если встретимся вместе, то всем нам покажется чудно, что вышли мы из одного инкубатора... Почему из инкубатора? Не мешай, я тебе сейчас скажу почему... Кладут в инкубатор тупое несознательное яйцо, подпускают температуру, и выходит, чин-чинарем, вполне оформленная курица... Правильно, не обязательно курица, иногда и петух... Так вот, разве не таким же инкубатором был для нас всех наш завод? Пришли мы на него неграмотные, как чурки, кто в лаптях, кто без лаптей, а кто, как я, с фонарем под глазом и тремя приводами. А разбредемся мы, и каждый из нас будет представлять

собой вполне оформленную личность. В общем, говорить я не спец, мне бы речи держать на пару с Петькой: я бы насчет смысла, а он по части образов и всякого этого хозяйства... Словом, размахнулся я не в меру, а хотел только сказать: выпьем, ребята, за наш завод!

Тут зазвенели стопки, фигурально именуемые бокалами, поднялся невероятный шум и гам.* «Так вспомним же юность свою боевую, так выпьем за наши дела!..»

Потом пили за год «19-35», как за номер телефона любимой, за дружбу, за секретаря райкома Карабута, поправляющегося после болезни в Сочи, за Женю Гаранину и за неудачно отсутствующих.

Под звон и гомон никто не заметил, как в комнату вошел Володя Ичкуткин и вызвал в коридор Петю, как Петя вернулся и знаком вызвал Цебенко, как Цебенко вызвал в коридор Фишкинда, а Фишкинд — Васю Корнишина. Спохватились только тогда, когда за столом стало вдруг пусто и тихо. А Боря Фишкинд стоит уже в коридоре в кепке. А Вася Корнишин надевает пальто.

— Что вы, ребята? Случилось что-нибудь?

И тогда из передней появляется Костя Цебенко и подходит к Жене Гараниной. Лицо у него необычное, строгое, а глаза беспокойные, жалостливые.

«Чего он на меня так смотрит?»

— Что такое? Случилось что-нибудь?

И уже сердце стучит: да, да, случилось, непременно случилось!

— Женя,— говорит Цебенко.— Мы все тебя любим, как товарища, и доверяем тебе безусловно... Какие смешные слова!

— К чему ты это, Костя?

— И ты, как комсомолка, должна нас понять...

— Что же я должна понять? Зачем такое витиеватое предисловие?

— Сегодня на бюро Гаранина исключили из партии...

— Что-о-о? Этого не может быть! За что?

— Говорят, за троцкизм.

— Какая нелепость! Подожди, ты всерьез? Ведь он никогда не был ни в какой оппозиции. Какой он троцкист? Ему двадцать пять лет...

— Женя, ты же комсомолка. Раз бюро исключило с такой мотивировкой, очевидно были какие-то данные.

— Но я тебе говорю, это нелепо. Ведь я же знаю Юрку!

— Если мотивы окажутся недостаточными, партгруппа может их отвергнуть. Да и после партгруппы остается комиссия партийного контроля. Но пока что никто из нас, ни я, ни ты, не вправе ставить под сомнение выводы нашего партийного бюро. А бюро исключило Гаранина как врага партии.

— Зачем же, Костя... зачем же сразу такие страшные слова?

— Женя, тебе тяжело. Поверь, и нам не легче. Но ты понимаешь сама: после того, что случилось, выпивать у него на квартире... Ты же сама понимаешь...

— Я думала, это в равной степени и моя квартира?

— Мы все знаем тебя, Женя, как преданного товарища... И никто из нас не сомневается: какой бы оборот ни приняло дело Гаранина, ты поступишь так, как должна поступить комсомолка.

— Конечно, я никого из вас не задерживаю,— тихо говорит Женя.— Вы совершенно правы. Только... все это свалилось на меня до того неожиданно...

— Погодите, так нельзя!— вступается Костя. Он несколько растерян.— Я думаю... чтобы тебе не остаться одной... с тобой побудут Гуга и Шура.

— Нет, ребята, спасибо, вы хорошие. Но я именно хочу побыть сейчас одна. Мне надо подумать... Я же должна понять. Идите, товарищи!

— Нет, Женечка, мы с Шурой останемся.

— Поймите, девушки, мне хочется побыть одной. Идите.

— Ты не сердишься на нас, Женя?

— Ну, что ты, Петя? Разве я не понимаю? Я все понимаю. Просто мне сейчас немного трудно. В большом несчастье человек всегда до того одинок...

— У тебя, Женя, много товарищей, которые тебя по-настоящему любят и в тяжелую минуту всегда с тобой. Если бы у меня не было надежды, что все еще как-то выяснится и обернется по-другому, я бы первый предложил тебе: иди, Женя, с нами! В коллективе всегда легче.

— Спасибо, Костя, за хорошее слово. Я тоже думаю, что все это еще выяснится.

— До свидания, Женечка.

Они уже в коридоре. Как они тихо идут! Ни смеха, ни голосов, ни привычного грохота по лестнице. Как с похорон... Вот их уже нет. Хлопнула дверь внизу. «Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути...»

Теперь она совсем одна. На столе наполовину опорожненные графины, серебристая пробка от шампанского «Баян», кусок селедки на вилке, неоткрытая банка налимьей печенки, окурки, дым.

«Что ж это такое? Как же быть?»

Она бродит по комнате, натыкаясь на стулья. Беспомощно хрустят пальцы, и прямая складка на лбу обозначается все глубже и глубже. Уже час ночи. Заседание, наверное, давно кончилось. Почему все еще нет Юрки?

Лихорадочно долго стучит она по рычагу телефона. Толцыте и отверзется вам.

— Алло! Пожалуйста, квартиру Филиферова! Арсений, это ты? Говорит Женя! Арсений, мне необходимо тебя видеть. Сейчас же! Если можешь, зайди ко мне. Или я к тебе сейчас зайду... Да, знаю уже обо всем. Вернее, ничего не знаю, ничего. Скажи, у вас давно кончилось заседание? Уже больше часа? Нет, не приходил. Ты не знаешь, где он?.. Значит, придешь? Хорошо, я тебя жду. Только, пожалуйста, сейчас же.

Трубка, покачиваясь, повисла на крючке рычага.

Минут через десять в комнату стучит Филиферов. Дверь отпирает Женя. Она спокойна и сдержанна. Так по крайней мере кажется ей самой. Но Филиферов видит: на Жене лица нет: «Как человек может измениться за каких-нибудь полчаса! Уф! Нелегкое дело! Здорово, видно, любит своего Юрку».

— Гаранин не приходил?

— Нет. Не знаю сама, где его искать. Арсений, я так боюсь!

— Ну вот еще, какие пустяки! — успокоительным басом ворчит Филиферов. Он долго возится в поисках стула, который тут, под рукой. — Гаранин не ребенок, чтобы делать глупости. Бродит, наверно, где-нибудь по улице. Трудно после такой вещи сразу вернуться домой...

Филиферов вытирает платком больные красные веки. У него давнишний конъюнктивит. Стоит ему понервничать — и веки начинает щипать. После сегодняшней бани на бюро щиплет, нет сил.

Он достает пачку папирос «Бокс» и долго раскуривает папиросу. Спички гаснут, как на дожде.

Наконец Женя не выдерживает:

— Объясни мне, Арсений! Скажи! В чем тут дело? Неужели ты считаешь Юрку троцкистом? Ведь это нелепо!

— Во-первых, к твоему сведению, я за исключение Гаранина не голосовал...

— А кто выдвинул против него такое обвинение? Нельзя же такими вещами бросаться без всякого основания!

— Кто выдвинул, безразлично. Докладывать о том, что происходит у нас на бюро, я тебе не обязан, да и не имею права. А основания были. Если подходить со стороны, пожалуй и достаточные основания.

— Но какие же, какие? Это, я думаю, не секрет?

— Во-первых, Грамберг. Кто знал, что Грамберг — троцкист? Никто. Скрыл, подлец, перед партией. Твердокаменным большевиком прикидывался. Никто из нас его не раскусил. А оказывается, два раза исключался из партии. Релих разоблачил его в лоск. Прижал к стенке, деваться некуда. Ну, а Гаранин, сама знаешь, поддерживал с Грамбергом весьма близкие отношения.

— Но ведь все вы поддерживали с Грамбергом близкие отношения. Сам говоришь, никто не знал о его троцкистском прошлом. И Релих, наверное, не знал, раз не разоблачил его раньше. Откуда же Юрка мог знать?

— Поддерживать-то поддерживали, но не все печатали его троцкистские статейки. А Гаранин напечатал.

— Какие статейки? Когда?

— Ты, Женя, успокойся. Нельзя так волноваться. Говорю тебе: я лично не думаю, чтобы Гаранин делал это сознательно. Но против факта не попрешь. Напечатал на прошлой шестидневке. По поводу отмены хлебных карточек. Грамберг утверждает в этой статейке, что введение у нас карточной системы было следствием бессилия партии в борьбе с кулаком. Конечно, говорит он об этом в завуалированной форме, но смысл несомненно такой. Все мы это проглядели. А теперь перечитываешь и хлопаешь себя по лбу.

— Но ведь ты сам говоришь: все это проглядели, не один Гаранин!

— А ты думаешь, мне выговора не влепили? Сам голосовал.

— Но почему же Юрку...

— За газету непосредственно отвечает Гаранин. Будь только этот случай, наверняка отделался бы строгим выговором. Ну, сняли бы с газеты...

— А разве еще что-нибудь?

Филиферов кивает головой. Ах, как щиплет глаза. Может, это от дыма? Ну, и накурено же здесь!

— В передовой самого Гаранина очень скользкое место. Доказывает он там, что заводская молодежь значительно резче реагирует на неполадки производства, чем старики, даже старики из руководящих. Дескать, те успели свыкнуться с неполадками. Поэтому к сигналам молодежи всем нам очень и очень надо прислушиваться...

— Ну, а разве это неправильно? Что ж тут такого?

— Раз «всем нам», значит, и партийной организации, и всей нашей партии, и «старикам из руководящих», как там сказано. И что же это иное, если не старая троцкистская теория барометра?

— Но ведь Юрка вовсе этого не хотел сказать! Просто неудачно выразился.

— В политическом словаре нет такого термина: «неудачно выразился». Гаранин — парень достаточно грамотный, чтобы выражаться удачно.

— Но ведь ты тоже этого не заметил?

— Вот и бьют за то, что не заметил. Скорее всего снимут и пошлют на низовую работу.

— И это все обвинения?

— Нет, не все. Когда Гаранин в прошлом году учился в КИЖе, был там у них один преподаватель, некто Щуко. Сейчас арестован. Гаранин работал у него в семинаре. Сам в этом признался на прямой вопрос Релиха. Говорит, на дом к нему заходил раза два за книжками. А потом ни с того ни с сего бросил КИЖ и вернулся обратно на завод... Ну вот, одним словом, эта связь со Щуко, внезапное возвращение на завод... Завод наш оборонный... К тому же, говорят, Гаранин когда-то — я, между прочим, об этом не знал — не то выходил, не то заявлял о своем выходе из комсомола. Словом, одно к одному...

— Но ведь Юрка-то тут ни при чем! Как вы можете смешивать его?

— Да ты успокойся, успокойся, — мягко повторяет Филиферов. — Глаза щиплет нестерпимо. Вот накурили! — Арсений подходит к окну и открывает форточку. — Ты ничего, не простудишься? А то накинь на себя что-нибудь.

Но она не слышит его слов.

— Скажи мне, Арсений! Вот ты лично, ты веришь в виновность Юрки? Ты ведь понимаешь, что исключили его

зря? Что же ты намерен предпринять, чтобы исправить эту ошибку? — И, не дожидаясь его ответа: — Надо немедленно, немедленно телеграфировать Карабуту! Пусть приезжает сейчас же, сейчас же!

Она замолкает, сообразив, что допустила оплошность. Филиферов может обидеться: как будто в отсутствие Карабута он сам ничего предпринять не в состоянии. И Женя тут же добавляет, чтобы загладить неловкость:

— Ведь тебе самому легче будет.

— Карабуту я телеграмму уже послал, сразу после заседания. Все равно отпуск его пропал. Придется ему расхлебывать эту кашу.

— Когда он сможет быть здесь?

— Дней через пять-шесть, не раньше.

— А можно до его приезда как-нибудь оттянуть, не ставить этот вопрос на партийном собрании?

— Что ты, шутишь? За такие вещи распускают все бюро.

— Что же тогда делать?

— Завтра съезжу в крайком. Попрошу Адрианова, чтобы меня принял. Изложу ему все как есть. Он может выделить дело Гаранина для доследования или вообще отменить решение бюро... Ну вот, так и скажи Гаранину. Пусть повременит психовать. — Филиферов устало поднимается. — Знаешь что, надень-ка на себя пальтецо и выгляни на улицу. Гаранин наверняка бродит где-нибудь тут, поблизости. Забери его домой. Я пойду прилягу. Голова болит. Завтра — День ударника, дел не оберешься...

Они расходятся на углу. Под калошами Филиферова хрустит снег. Из окна поблизости долетает истерический вопль патефона: «Сердце, тебе не хочется покоя!..» Ой, и как еще хочется... Порошит снег. Завтра разговор с Адриановым. Нечего сказать, веселое начало нового года.

4

...А снег кружится, легкий, веселый, — столько снега и в ночь не приснится. И снежинки садятся, как пчелы, на ее золотые ресницы...

Она идет быстро, озираясь по сторонам и взволнованно заглядывая в лица прохожих. Уже раз и другой ей ответили грубой шуткой. Вот впереди человек. Идет ссутулившись. Юркина походка. Черное пальто с меховым воротни-

ком. Она нагоняет его у фонаря и порывисто прижимается к его плечу. Незнакомое усатое лицо смотрит на нее осуждающе-укоризненно.

— Простите, я ошиблась,— лепечет она в испуге и продирается дальше сквозь хлопья, как сквозь березовую чащу.

Слезы медленно наплывают к горлу. «Где же искать? Может, пойти в больницу? Он такой сумасшедший!.. О-о! Только бы не это!»

А снег идет. Большие башенные часы в городе Санта-Рита по-прежнему показывают 8.26. На шахте «Баська», у ворот, по-прежнему толпятся женщины. На шахте темно и тихо. Только в одном здании ярко горит свет. Это добровольцы-кочегары поддерживают работу котельного отделения, чтобы товарищи под землей могли погреться у паровых труб... В городе Саарбрюккене, в морге, лежит рабочий Люксембургер. «Хе-хе! Мы ему поставили визу на его французский паспорт!» С вечера принесли сюда еще четверых. «Здесь им никто не помешает, могут устроить небольшое заседание своего революционного комитета. Хайль Гитлер! Немецкий Саар навсегда останется германским!»

А Женя сворачивает в утлый лесок, он же парк культуры и отдыха. «Советский рабочий на зависть всем работает не десять часов, а семь...» Петькины плакаты забрели даже сюда и размокшими буквами веют над аллеей.

У фонаря на скамейке сидит мужчина. На кепке большой снеговой блин, на плечах снеговые эполеты. Скамейка мягко обита снегом. Мужчина закуривает папиросу от папиросы.

— Юрка! Я тебя всюду ищу! Как ты можешь! Пойдем скорее домой. Даже не подумать обо мне!..

Он неохотно встает. Она отряхивает с него снег. Берет под руку и уводит. Он здесь, живой, какое счастье!

Он идет послушно, как слепой. Она прижимается к нему крепко, как можно крепче. Он ведь, наверное, озяб. И ей хочется сказать что-нибудь такое, от чего бы ему сразу стало тепло и спокойно. Но слов таких нет. И только на ухо, как признание, чтобы никто не расслышал:

— Я так волновалась!..

Наконец-то они дома. С порога взгляд ее падает на стол, на недопитые стопки, на разбросанные конфеты «Джаз». И ей почему-то неловко. Она кидается убирать со стола. Или нет!

— Ты ведь озяб! Я тебе сейчас подогрею чай. Или, знаешь что, выпей немножко водки. Ну, выпей, я тебя прошу! Сразу согреешься.

Он сидит как истукан. Опять тянется за папироской. А ей уже стыдно за свои слова. Все это не то! И вдруг — из глаз слезы. Уткнулась мокрым лицом в его колени. Плечи вздрагивают.

— Юрка!..

Но уже через минуту: «Что я делаю! Разве так надо?».

И нет больше слез. Глаза сухи, лицо напряженно-спокойно.

— Слушай, Юрка! Я только что говорила с Филиферовым. Он послал молнию Карабуту. Через два-три дня Карабут будет здесь. Завтра Арсений идет на прием к Адрианову. Собирается говорить по твоему вопросу. Адрианов наверняка отменит решение бюро. Ничего страшного еще нет. Нельзя же сразу так поддаваться! Ну, запишут тебе выговор. Большое дело!

Час спустя они сидят за столом. Гаранин маленькими глотками пьет горячий чай, закусывая его папиросой.

— Филиферов — шляпа. Релих ясно куда гнет. Хочет добиться снятия Карабута.

— Да, но ведь Карабут действительно проглядел Грамберга?..

— Все мы его проморгали. Один Релих докопался, факт. Кто-то из его товарищей работал в двадцать пятом году с Грамбергом в Узбекистане и присутствовал, когда того исключали из партии. Релих случайно разузнал. Это у него против Карабута козырь бесспорный. Да тут еще подвернулся я: прошляпил грамберговскую статейку... Теперь у него все козыри на руках: Карабут окружил себя подозрительными людьми, доверил им газету, опирался на них в своей борьбе с дирекцией. Тут даже Адрианов не станет брать Карабута под защиту — дело предрешенное...

— Но ведь Арсений завтра будет у Адрианова и расскажет ему обо всем. Он же был против твоего исключения.

— Э, тоже нашла защитника — Филиферов! Во-первых, Филиферов не голосовал против моего исключения. Он только воздержался. Дескать, надо еще это дело доследовать. А во-вторых, Филиферов испокон веков — релиховский человек. Релих всегда вытаскивал его за уши. Карабут провел его во вторые секретари, чтобы прекратить сплетни на

заводе, будто райком на ножах с дирекцией. Взял нарочно любимца Релиха и посадил к себе в заместители.

— Нет, ты не прав! Арсений очень привязан к Карабуту и всегда проводил его линию.

— Конечно, за полгода работы в райкоме обтесался и стал подражать Карабуту. Но всегда сидел на двух стульях. А теперь Релих и его прищучил: «Смотри, на кого опирался!». А главное, Филиферов — шляпа. Сам не знает, как ему быть. Будь здесь Карабут, может, и Арсений держался бы кое-как. А остался один — сдрейфил. Релих на него жмет. Для бюро Филиферов не авторитет...

— Я все-таки уверена, что Арсений будет говорить с Адриановым в твою пользу.

— У Релиха на руках решение бюро. Что теперь может сделать Филиферов? После драки кулаками не машут.

— А почему бы тебе самому не записаться на прием к Адрианову? Если ты считаешь, что Арсений не представит дела как следует... Я уверена, что Адрианов тебя примет. Расскажешь ему все, как коммунист коммунисту. Адрианов всегда поддерживал Карабута. Так уж он сразу и поверит первому слову Релиха! Ну попробуй, что тебе стоит?

— Глупости! Адрианов меня не примет. Станет он принимать каждого исключенного! А потом, что я ему скажу? Что прошляпил? Что не так выразился?

— Слушай, Юрка! А что у тебя за дело со Щуко? Ты действительно был с ним в близких отношениях?

— Ерунда! Знал, как знает всякий студент своего преподавателя. Историк и историк. Не я один учился у него в семинаре.

И вот она опять мечется из угла в угол. Звонко тикают часы. Уже четвертый. Юрка сидит, подперев голову руками, и тупо глядит в чашку. За окнами задувает метель, и на стеклах отчетливым негативом проявляются папоротники — допотопная фауна. (Говорят, на Венере сейчас буйный растительный хаос, еще не примятый нигде ногой первого зверя.)

— Послушай, Юрка, только выслушай меня и не сердись. Я пойду завтра к Релиху. Он всегда хорошо ко мне относился. Я с ним поговорю. Скажу ему, как товарищу и партийцу: нельзя убивать человека за то, что он допустил ошибку. Пусть запишут тебе выговор.

— Ты с ума сошла! Я тебе запрещаю вмешиваться в мои дела! Только этого не хватало: иди и поплачь перед Релихом!

Он отодвигает стул и уходит в соседнюю комнату. Выносит оттуда комплект газет.

— Иди, Женя, ложись спать. Уже поздно. Оставь меня одного.

Он перелистывет номера газеты «За боевые темпы», останавливается, перечитывает, отмечает карандашом.

— Ложись, Женя, очень тебя прошу. Уже пятый час!

Она послушно уходит, говорить с ним сейчас бесполезно. Первое дело — к столу. В боковом ящике — револьвер. Спрятать, спрятать подальше! Кто знает, что может взбрести в эту голову? Потом она тушит свет и садится на стул, лицом к двери. Отсюда в щель видна голова Юрки над ворохом старых газет.

5

...Часы показывают семь. Юрка спит, положив голову на толстую кипу газет. За окном рассвет и снег. Воздух в комнате сиз от густого табачного дыма.

Она бродит в дыму, как в тумане, тихо, чтобы не разбудить Юрку. Она сейчас пойдет к Релиху. Релих — не зверь. Юрка немного ослеплен. По существу Релих — хороший коммунист и неплохой директор. К ней он всегда относился заботливо и внимательно, выдвигал, помогал расти...

Сейчас уже семь. Надо пойти к нему на дом. В восемь Релих уезжает на завод. Там с ним не поговоришь — все время толкутся люди.

Она тихо прикасается губами к голове спящего Юрки и, накинув шубу, бесшумно затворяет за собой дверь. В коридоре прислушивается. Нет, не проснулся. Она поправляет шапочку, поднимает воротник и на цыпочках спускается вниз. Надо спасти Юрку. Спасти любой ценой!

Она шагает по снегу. Снег хватает ее за туфли. Она вытаскивает ногу в одном чулке, нагибается, вытаскивает туфлю вместе с калошей, надевает, шагает дальше. Скорее, скорее! Вот еще только направо, за угол.

У подъезда большого дома ИТР дожидаются две машины. Только бы не опоздать! Поймать хотя бы на лестнице! Она стремительно вбегает по ступенькам. Третий этаж. Дощечка: К.Н.Релих. Задыхаясь от бега, она нажимает звонок.

Сперва тишина, потом чьи-то шаги. (Ох, как колотится сердце!)

Дверь открывает домашняя работница.

— Вам кого?

— Мне Константина Николаевича. По очень важному делу. Моя фамилия Астафьева.

Это ее фамилия, хотя товарищи чаще зовут ее Гаранина.

— Константин Николаевич по утрам дома не принимает. Зайдите через полчаса в заводоуправление.

— Я очень вас прошу, очень прошу,— умоляюще лепечет Женя,— объясните Константину Николаевичу: в восемь мне нужно на работу. И у меня чрезвычайно срочное дело, чрезвычайно срочное!

Женя врет. Она работает сегодня в вечерней смене. Но повидать Релиха ей надо немедленно. И глаза ее смотрят так искренне и полны такой неподдельной тоски, что работница уступает.

— Зайдите, подождите здесь.

Она уходит в глубь молчаливой, неведомой квартиры, плотно затворив за собой дверь.

В коридоре темно, на вешалке бурое пальто и ушанка Релиха. Еще что-то. «Нужно ли снимать пальто?» Она успевает снять только калоши.

— Проходите. Вторая дверь налево.

В комнате горит электричество. Из-за большого низкого стола, такого большого, что занимает почти половину комнаты, встает навстречу высокий человек с угловатой военной выправкой, в сером, хорошо пригнанном и в то же время просторном костюме. У человека — седеющие виски, большой коричневый лоб и серые пристальные глаза. Но в глазах теплится что-то неуловимое, какой-то добродушный огонек, и цвет глаз кажется от этого мягким, как бархат. Человек поднимается из-за стола, отодвигая кресло.

— Здравствуй, Женя,— говорит он, протягивая большую, чуть холодную руку, и в глазах его столько неподдельной дружбы, что у Жени на сердце сразу хорошо и легко.— Небось, по делу, а так ведь никогда не зайдешь.

И она смущена. Сконфуженно бормочет, что все как-то некогда, занята, в цехе много работы, по вечерам учеба...

— Да и вам, наверно, не до гостей...

Она садится в мягкое глубокое кресло, точно и в самом деле зашла к нему запросто, в гости. А он уже спрашивает про цех: как справляется Моргавинов? Вытянут ли со свар-

кой? Как Петр Балашов? А то сварка казалась Петру сначала кляузной, и он все рвался на монтаж... А как там орлы Кости Цебенко? Рванули или только раскачиваются? А ее ученик Артюхов? Выйдет из него толк? Не списать ли на клепку? А Шура Мингалева? Все еще презирает парней после неудачного опыта с Волынцом? Не пора ли уже послать к ней сватов? А то вот Сапегин в сборочном запсиховал, хочет сниматься с завода. Женить бы его на Шуре! Знаменитая вышла бы пара: ударная чета на весь завод — хватят вдвоем за целую бригаду!

И Женя отвечает. Сначала робко улыбаясь, потом нет-нет и засмеется. Такие смешные и меткие характеристики находит для каждого из ребят Релих.

— Да ведь вы, Константин Николаевич, знаете наш цех и всех ребят не хуже меня. Что я могу нового рассказать?

А потом сразу серьезно, почти строго, без улыбки и вся как-то съежилась:

— А я ведь к вам, правда, по делу...

— Что ж, выкладывай. Ты ведь, можно сказать, моя воспитанница. Будет чем гордиться на старости лет. Если что случилось, в минуту жизни трудную, как говорят поэты, хорошо сделала, что ко мне зашла.

Вот она и запнулась. Как это ему сказать попроще, чтобы прозвучало в таком же дружеском тоне. Да, она к нему за помощью. Никогда не обращалась, но сейчас вся ее жизнь на карту. Нет, так нельзя! Надо просто, без блата, как со старшим товарищем.

На столе книги, много книг, чертежи, уйма немецких технических журналов. Горит электричество. В пепельнице груда свежих окурков. Наверное, встал не позже пяти. Занимается. А она боялась зайти к нему слишком рано, разбудить! Да, надо говорить в открытую, как со старшим товарищем партийцем.

— Константин Николаевич, я к вам по делу Гаранина.

И сразу глаза узкие, пристальные.

— Понимаю. Ты ведь жена Гаранина. Прости, Женя, это выскочило у меня как-то из головы. Да, я понимаю, это — тяжелое, очень тяжелое испытание...— Пальцы его барабанят по столу.— И ты правильно сделала, что пришла посоветоваться со старшим товарищем.

— Я именно так думала, Константин Николаевич.

— Видишь, Женя, ты не только жена, ты еще и комсо-

молка. И, пожалуй, прежде всего комсомолка, а потом уже жена. Не правда ли?

— Да, Константин Николаевич.

— Комсомолец, Женя,— это аспирант партии. Для того чтобы перейти в нашу партию, ему не надо делать никаких дипломных работ... Вернее, его дипломная работа состоит лишь в том, чтобы доказать свою беззаветную преданность делу большевизма. Доказать свою готовность в любую минуту, если партия этого потребует, пожертвовать своей личной жизнью во имя интересов партии, интересов своего класса...

— Да, если партия этого потребует...— холодея, повторяет Женя.

— Ты знаешь хорошо, Женя, что партия — не монастырь и она не требует ни от кого отказа от личного счастья. Наоборот, чем внутренне богаче человек в своей личной жизни, тем он полноценнее и как член общества и как член партии. Но наша партия есть воинствующая партия, окруженная врагами. Наша страна есть воинствующая страна, отстаивающая в кольце блокады интересы всего человечества. И если в нашей стране и если в нашей партии обнаружится враг, который притаился только затем, чтобы вонзить нам нож в спину,— кто б он ни был, будь он мой отец, мой сын, мой друг, моя жена,— чем глубже он сумел меня обмануть, чем хитрее он вкрался в мое доверие, тем беспощаднее должен быть мой приговор! Я говорю о том внутреннем приговоре, о котором никого не надо ставить в известность. Но для нас самих, если б это происходило даже в безлюдной пустыне, он является как бы нашим моральным партбилетом. С кем я? С партией или с врагом партии?

— Константин Николаевич, Гаранин — не враг партии! Он человек, преданный партии беззаветно. Он мог ошибаться, но ведь партия учит нас исправлять ошибки. Партия не отбрасывает преданных людей. Я-то его знаю!

— Видите, Женя, разговор на эту тему у нас может быть двоякий.— Глаза Релиха, еще минуту тому назад такие понимающие и приветливые, полузакрыты теперь тяжелыми серыми веками. Так иногда, не разглядев нас хорошо в темноте лестничной клетки, перед нами услужливо распахивают дверь, чтобы через мгновение, почуяв в нас просителя, затворить ее перед нашим носом с неизменным ворчливым «нет дома».

О, Женя уже чувствует это «вы». Что ж, она готова принять бой на любых условиях.

— Я не совсем вас понимаю, Константин Николаевич...

— Я могу говорить с вами, как с женой Гаранина...

— Я не говорю, как жена Гаранина. Я говорю, как его товарищ.

— Я не сомневался, — глаза Релиха еще раз распахиваются гостеприимно,— что Женя Астафьева ответит именно так. Знаю я тебя слишком давно, и в таких людях, как ты, нельзя ошибиться.

— Я утверждаю, как комсомолка и как товарищ, что Гаранин никогда не был и не может быть врагом партии.

— Ты давно знаешь Гаранина?

— С тридцать первого года.

— Ты знаешь, что в конце двадцать девятого года он выходил из комсомола?

— Я не знала его в это время, но я знаю, по каким мотивам он ставил вопрос о выходе. На него навалили двенадцать нагрузок. Чем он только одновременно не был: и комсомольским пропагандистом, и групоргом, и руководителем кружка марксизма-ленинизма, и кандидатом в члены бюро, и членом райсовета,— всего и не запомнишь! Да в то же время он учился в индустриальном институте. Вы сами знаете, тогда в комсомоле это была повальная болезнь. Об этом писала даже «Комсомольская правда». Гаранин поставил перед бюро вопрос, что расти он в таких условиях не может, беспартийные ребята давно его обогнали. Он только и делает, что призывает других читать, повышать свою техническую грамотность, а сам делать этого не в состоянии. Ребята это видят и считают его, вероятно, ханжой и болтуном. Он спрашивал: нужны ли комсомолу такие работники? Ставил вопрос, сигнализировал об опасности, которая грозила вовсе не ему одному, а не выходил. Вне комсомола он не был ни одной минуты.

— Ты изучала историю партии и помнишь, в какой момент ставил Гаранин вопрос о своем выходе из ВЛКСМ,— мягко говорит Релих.— Если не помнишь, я тебе напомню. Это было накануне года великого перелома, накануне развернутого наступления на кулачество. Ты должна помнить, хотя бы из нашей беллетристики, что партия бросила тогда в деревню, на ответственнейшие участки, тысячи и десятки тысяч лучших комсомольцев. Тысячи комсомольцев пали на своем посту, подло убитые из-за

угла кулацкой пулей. На героических могилах этих людей выросла наша социалистическая деревня. Один из труднейших боев, где решалась судьба построения социализма в нашей стране, мы выиграли, быть может, в значительной степени благодаря беззаветному героизму этих безымянных рядовых партии и комсомола. Что бы ты сказала о комсомольце, который в эту решительную минуту бросил свой комсомольский билет и заявил: «Я пока поучусь, закончу высшее образование, а когда вы уже выясните окончательно, кто кого, тогда я приду к вам опять». Как это, по-твоему, называется? Предательство или рвение к учебе?

— Я... я думаю, что Гаранин, как рядовой комсомолец, не отдавал себе отчета... И потом, он ведь не вышел из комсомола!

— Не вышел, потому что его пристыдили, обещали всякие поблажки. Другие просто уходили, солидаризируясь с кулаком. Это было по крайней мере откровенно и в известной степени честнее. Гаранин на это не решился. Он предпочел шантажировать свою молодую, бедную кадрами комсомольскую организацию угрозой ухода. Да, именно шантажировать. Видишь, это он не счел нужным тебе рассказать. А ты уверяешь, что знаешь Гаранина, как никто! Поверь мне, партия знает его гораздо лучше.

— Он не скрывал от меня этого эпизода. Я же вам сказала, просто я давала этому другую оценку. Я уверена, Гаранин не сознавал, что совершает серьезный проступок. Ведь ему тогда было всего девятнадцать лет! Мало ли вещей делают в этом возрасте не обдумав, по глупости!

— Не надо кривить душой, Женя. Ты познакомилась с Гараниным всего двумя годами позже. Ты знаешь хорошо, что в двадцать девятом Гаранин не был уже неграмотным рядовым комсомольцем. Наоборот, в это время он был одним из самых грамотных комсомольцев в своей организации. Ты сама говоришь: ему доверяли руководство кружками марксизма-ленинизма, он был кандидатом в члены бюро комсомола, вполне сложившимся работником, способным всесторонне политически осмыслить каждый свой поступок. Да разве дело только в этом эпизоде? В прошлом году, поехав на учебу в КИЖ, Гаранин завязал там близкие отношения с неким Щуко...

— Это неправда! Ни в каких близких отношениях с этим человеком он не состоял!

Она говорит быстро, как слезы глотая слоги. Глаза Релиха бесстрастно внимательны. Она отбивается от этих глаз градом взволнованных слов, как отбиваются побежденные, без надежды на успех, в порыве отчаяния. Щеки ее горят. Серая барашковая шапочка сбилась на затылок.

— Откуда ты знаешь?

— Он сам мне сказал.

— Сам сказал? Когда же это?

— Сегодня ночью.

— Ах, сегодня ночью! А вот вернувшись из Москвы, рассказывал ли он тебе что-нибудь о гражданине Щуко?

— Н-нет. А может быть, и рассказывал. Не помню.

— Помнишь, Женя, помнишь! Ничего не рассказывал. Даже не заикнулся

— Константин Николаевич, я думаю, в КИЖе у него были десятки преподавателей. Ничего удивительного, если Гаранин не рассказывал мне о каждом из них в отдельности. Тем более о тех, которые ничем особенно не выделялись.

— Наивный ты человек, Женя! Гаранин, по его собственному признанию, работал у Щуко в семинаре. Профессора по семинару студент выбирает себе сам, никто ему никого не навязывает. Гаранин говорит, что выбрал Щуко потому, что тот сумел его заинтересовать своими лекциями. Значит, из десятка преподавателей, лекции которых слушал Гаранин, именно Щуко для него выделялся. Он встречался с ним чаще, чем с другими...

— Но ведь Гаранин об этом сам рассказал! Значит, ему нечего скрывать.

— Милая Женя, Гаранин до сих пор не знает, что именно известно нам о его связях со Щуко. Попробуй он отрицать все, с начала до конца, он рискует каждую минуту, что его уличат во лжи. Поэтому он вынужден признаваться по крайней мере в том, что мы можем без большого труда узнать другими путями.

За окнами встает заспанное январское утро все в гусином пуху снежинок. В жидком, как чай с лимоном, электрическом свете лицо Жени отливает неприятной мертвенной желтизной. Релих подходит к стене и выключает электричество.

— Вы создали себе о Гаранине представление как о закоренелом злодее,— выпрямляясь, говорит Женя.— Все, что

бы он ни сказал и ни сделал, вы толкуете с этой предвзятой точки зрения. Ее можно применить ко всякому.

— Нет, Женя, это ты создала себе образ своего Гаранина, ничем не похожий на того, кто носит эту фамилию. И ты пытаешься слепо отстаивать плод твоего воображения и любви назло очевидности... Не надо плакать, Женя. Я понимаю тебя больше, чем ты понимаешь самое себя... Ты пришла сюда защищать свою любовь, свою веру в близкого человека. Тебе кажется, что если отнять у тебя это доверие, простое человеческое доверие к мужу, у тебя не останется больше ничего, пустота. Это неверно, Женя. Ты не просто женщина, ты женщина нашего класса. И для того, чтобы спасти именно то, что в тебе есть самого ценного, эта операция необходима.

— Константин Николаевич, если б я убедилась, что он меня обманывал, это было бы так ужасно... так ужасно... Как же тогда жить? Нельзя жить без веры в людей!

— Вот видишь, я так и знал. Это самое опасное. Нельзя из трагического случая личной судьбы делать слишком далеко идущие обобщения. Из того, что ты имела несчастье полюбить человека гадкого и чужого, который обманул тебя маской благообразного партийца, вовсе еще не следует, что все люди носят маску. Разгадать притаившегося лицемера, или двурушника, как мы их сейчас называем, не так уж трудно. Нужно лишь немножко больше опыта. Из тех же фактов, которые тебе известны о Гаранине, очень легко сконструировать его подлинный образ. Не надо только завязывать глаза и называть это «взаимным доверием», без которого будто бы немыслима жизнь вообще, а семейная жизнь и подавно. Большевик, дорогая Женя, и в семейной жизни обязан сохранить известную долю настороженности и критицизма. Это шестое чувство на нашем партийном языке мы и называем бдительностью. И еще одно: нельзя страдать забывчивостью. Каждый факт в отдельности, в отрыве от других, всегда может показаться случайным. Но если на протяжении лет в биографии одного и того же человека ты подметишь три, четыре, пять таких случайных фактов и попробуешь сопоставить их вместе, ты почти всегда убедишься, что эти «случайные» факты прилегают друг к другу, как костяшки домино...

На столе задребезжал телефон. Релих снимает трубку и кладет ее на стол.

— Я пойду,— поднимается Женя. Глаза у нее матовые.— Я все равно не в состоянии переубедить вас насчет Гаранина.

Релих грустно качает головой.

— Ты не уходишь, ты бежишь. Ты боишься, чтобы сомнение, которое пускает в тебе сейчас ростки, не превратилось в очевидность. Пойми, Женя, я хочу только помочь тебе. Что ты знаешь о Гаранине? О связях с Щуко он перед тобой умолчал. Да разве только об этом? Обо всем, Женя, обо всем! Умалчивал, врал, скрывал. Возьми сопоставь факты и вообрази на одну минуту, что речь идет не о твоем муже и друге, а о неизвестном тебе разоблаченном двурушнике. Просмотри его политическую биографию. В один из ответственнейших моментов жизни страны он бросает комсомол, чтобы отсидеться на школьной скамье. Пусть другие вывозят социализм на своем горбу, мы за это время подучимся, в грамотных кадрах нехватка — живо пойдем в гору! Его стыдят, уговаривают взять заявление обратно. Он жалуется всем и всякому: трудно! Не успеваю! Вот если бы послали в Москву!.. Наконец мечта осуществляется, его посылают в Москву, в КИЖ. И что же? Не прошло и года, он опять тут: «Здрасте! Не могу жить без родного завода! Буду учиться на инженера без отрыва от производства!» Жене, вероятно, говорит: «Не могу жить без тебя! Подумай, оставаться в Москве целых три года!»

— Константин Николаевич!

— Погоди, Женя! Давай попробуем разгадать: что же случилось в Москве с нашим энтузиастом учебы? Явно какая-то неувязка. А случилась вещь довольно простая. Среди преподавателей нашелся «историк» из тех, которые «историю» хотят делать револьвером из-за угла — так быстрее. «Историку» и его хозяевам до зарезу нужны кадры, предпочтительно из молодежи, затем он и стал педагогом. Нащупывание возможных кадров — дело щепетильное. Но есть порода людей, с которыми легче всего столковаться,— это карьеристы...

— Вы не имеете права так говорить!

— Я говорю о неизвестном тебе двурушнике. И вот опытный психолог от истории уже заприметил нашего юношу. Через месяц тот у него в семинаре. Для углубленной работы нужны книжки. «Заходите как-нибудь вечерком ко мне на дом». Ну, а там, естественно, и беседа. От исторических тем до современных — один шаг, на то и су-

ществуют исторические параллели. Для профессора наш юнец — клад: в оппозиции не был, из партии не исключался да еще, оказывается, работал на оборонном заводе.

— Константин Николаевич!..

— Погоди, Женя. Попробуем проследить до конца. Перед нашим юношей выбор: корпеть три года в КИЖе, с тем что потом пошлют куда-нибудь в районную газету, а тут — только бы работа пошла — служебная карьера обеспечена. И вот наш юнец опять на заводе — жить без производства не может! Посадили на газету. Первое дело — принюхаться. Секретать райкома — крепкий большевик, умный, растущий работник. Но молод, а стало быть, и не совсем опытен. Горяч. У секретаря с директором нелады. Пахнет склокой. Наш юнец тут как тут! Вся беда — не знает он ни того, ни другого и не уверен еще, на чью сторону встать. Карьеру собирается делать не по партийной линии, а по линии ИТР, следовательно, поддержка дирекции как будто важнее. Недолго думая, он бежит к директору, предлагает ему свои услуги и столбцы газеты...

— Это неправда!

— Спроси у него, он тебе скажет сам. Он тебя заверит, что всегда был принципиален. Ему показалось, что в данном вопросе прав директор. Потом он убедился в ошибке, и, по-прежнему дорожа принципиальностью, он перешел на сторону райкома. В действительности, если тебе интересно, директор, разгадавший сову по полету, заявил, что ни в какой поддержке не нуждается. Тогда наш юнец решает действовать поосторожнее. Сначала несмело, потом все развязнее он начинает громить дирекцию.

— Да, этого-то вы и не можете ему простить!..

Релих грустно улыбается.

— Чем же, по-твоему, вызвана стремительная перемена фронта?

— Не знаю. Я вообще ничего не знаю.— Голос ее дает трещину, вот-вот расколется на мелкие брызги слез.

— Видишь ли, странным стечением обстоятельств как раз большинство из тех мероприятий дирекции, которые подвергались самому яростному обстрелу газеты, впоследствии неизменно получало полное одобрение наркомата и крайкома. Наконец дирекция и райком, при активном содействии вышестоящих органов, находят общий язык и в интересах производства решают изжить до конца все ненужные дрязги. Подвергается некоторым изменениям со-

став бюро. Умный секретарь искренне желает положить конец ненужной драке и выдвигает своим заместителем честного рабочего-производственника, слывшего любимчиком директора. Работа завода начинает налаживаться. Нашему юнцу все эти перемены не по нутру. Он старается всячески затеять склоку между секретарем и его заместителем, трубит на всех перекрестках, что новый заместитель — шляпа и подхалим, бегает-де к директору и доносит ему обо всем. Разве не так?

Она молчит, низко опустив голову.

— Но разжечь склоку все же не удается. На время наш юноша вынужден прекратить свою активность. Ему поручают поплотнее связаться с Грамбергом. Тот когда-то исключался из партии, но сумел замазать следы... К твоему сведению, Женя, сегодня ночью Грамберг арестован. В какой мере помогал ему в его махинациях Гаранин, выяснят, очевидно, соответствующие органы. Факт, что с Грамбергом он состоял в последнее время в самых близких отношениях. Печатал в своей газете грамберговские статьи и сам, под его диктовку, протаскивал в передовицах кое-какие недвусмысленные теорийки. Пока не был пойман на этом с поличным... Вот тебе и весь Гаранин.

Женя встает, в лице ее ни кровинки.

— Я не верю, я не хочу верить, чтобы это могло быть так, как вы говорите!

— Что ж, не хочешь верить — не верь. Римляне говорили когда-то: «Надеюсь вопреки отсутствию всякой надежды». Бедная жена Гаранина может сказать: «Не верю вопреки всякой очевидности». Но ведь жену Гаранина я и не брался убеждать. Я хотел спасти Женю Астафьеву. А для Жени Астафьевой одного того, что человек, которому она доверяла, оказался врагом партии, было бы, я уверен, вполне достаточно, чтобы отшатнуться от него с ненавистью и отвращением.

Она поворачивается и уходит. Комната, еще комната, передняя, лестница.

— Товарищ, вы забыли калоши!

Это кричит женщина, открывавшая ей дверь.

— Ах да, я забыла калоши...

Ступеньки лестницы бегут, как растянутая гармоника. Стоит сжать гармошку — и люди посыплются вниз. Разве если держаться за перила...

На дворе — снег. Столько хлопьев, что можно в них заблудиться. Кто-то гудит. Протяжно запели тормоза. И рядом, совсем близко, стоит протянуть руку — никелированная морда автомобиля с посаженными по-рачьи глазищами фар.

— Эй, мамзель! Уши отсидела?..

6

А на столе шепотом, застенчиво лебезит обезоруженный телефон. Релих поднимает трубку:

— Слушаю. Что? Да, да, сейчас буду!

Оказывается, уже девять.

Он берет со стола портфель, объемистый, как чемодан, и начинает в него запихивать всякую бумажную начинку. И отчего это портфелей не делают сантиметра на два пошире!

Опять звонит телефон.

— Иду! — ревет в трубку Релих и, не слушая, кладет ее на вилки.

Внизу, у подъезда, ждет автомобиль, похожий на сугроб на колесах.

* * *

«Сегодня начинается продажа хлеба без карточек!»

«В Москве открыто 368 новых булочных, хлебных отделений в продовольственных магазинах и палаток. План развертывания сети выполнен на 128%. Двадцать шесть ответственных работников НКВнуторга, во главе с заместителем наркома, прикреплены к ряду булочных на первые дни широкой торговли хлебом...»

В кабинете, на письменном столе, двенадцать телефонных трубок. Каждая из них снабжена лампочкой особого цвета. Кабинет директора соединен прямым проводом со всеми основными цехами завода. Лампочки на столе загораются и тухнут, как сигнальные огни. На бюваре расписание совещаний, список вызванных лиц и большая стопка телеграмм. Направо, надо лишь повернуть голову, — огромное венецианское окно. За окном — снег, площадь, люди в папахах и ушанках, плакаты, зима.

«Советский рабочий на зависть всем работает не десять часов, а семь. Помни, что каждый час, минута даже, зря проканителенные, равносильны краже!»

Вспыхивают и тухнут лампочки. Проворно скользит по блокноту отточенный карандаш стенографистки. Нос у стенографистки остренький, как карандаш. Телефонистка в диспетчерской исполняет на стенной клавиатуре свои замысловатые упражнения.

«Пленум Колтушинского сельсовета, Пригородного района, Ленинградской области, на территории которого расположена биологическая станция академика Павлова, единодушно избрал великого ученого первым делегатом на районный съезд Советов... Академик Павлов, принимая мандат, сердечно поблагодарил делегацию за оказанное ему внимание. По словам председателя Пригородного районного комитета, академик Павлов в беседе с делегатами коснулся своих научных работ:

«О чем я мечтаю? Я мечтаю о том, чтобы добиться возможности оздоровления человечества, чтобы люди, вступающие в брак, давали физически здоровое, умное, мыслящее поколение. Этого я добиваюсь».

Четвертое совещание приближается к концу. Любое совещание не должно и не может продолжаться дольше тридцати минут. В двенадцать часов заседание в крайкоме. Первая кнопка налево: «Вызовите машину!» Третья кнопка сверху: «Личный секретарь-информатор». В обязанности его входит два раза в день — в двенадцать и в двадцать — докладывать директору обо всем, что случилось на заводе и в поселке.

— Вы должны, как братья Патэ, все видеть и все слышать,— поучал Релих, переводя на эту работу Катю Якубович.— Директор завода должен знать о том, что произошло на заводе, раньше, лучше и подробнее всех.

Кате Якубович лет за тридцать. Английская блузка с галстуком. Лицо красивое, в веснушках, волосы стрижены по-мальчишески. Сослуживцы говорят, что с ее памятью можно выступать в цирке: она знает лично всех рабочих завода и всех «итэеров» с женами и домочадцами. На заводе ее любят и называют запросто — Катя. За Релиха она готова пойти в огонь без каких-либо для этого эротических предпосылок. Релиха она обожает за четкость в работе, за американскую сжатость, за полное отсутствие неделовых элементов в отношениях с женским персоналом заводоупра-

вления. Беседы ее с Релихом лаконичны до предела и продолжаются не больше пяти минут.

У Кати в руках блокнот для пущей деловитости, хотя все, что в нем записано, она знает наизусть.

— Слушаю.

— Сегодня ночью арестован Грамберг. Был обыск на квартите.

— Знаю. Дальше.

— В третьем цеху мастер Шавлов после новогодней попойки явился на работу пьяным. Отправлен обратно.

— Который это Шавлов? С усами, рябой?

— Да. Шавлов Никифор. В том же цеху четверо рабочих, два из бригады Лагутко и два из бригады Азаренкова, с перепоя не вышли на работу. Треугольник цеха предполагает завтра устроить над ними товарищеский суд.

— Правильно.

— В седьмом цеху по собственной неосторожности автогенной лампой обжег себе колено ударник Карелов. Отвезен в больницу. Опасности нет. В том же цеху по нераспорядительности мастера Ильина вышла из строя пескоструйка.

— Кстати,— перебивает Релих,— утром в поселок приезжала машина НКВД. Что там случилось, не знаете?

— Знаю. Это у меня в разделе бытовых: Женя Астафьева застрелила Юрия Гаранина.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

С крыши бумажной фабрики видна река, круто поворачивающая на восток, и холмистые поля в снегу, косогорами взлетающие к горизонту.

— Видите?—спрашивает Костоглод, рукой указывая на север.

Адрианов видит: с севера сплошным зеленым массивом движется лес. Вот он, перевалив через холм, быстро спускается к реке. И Адрианов не совсем уверен: нужно ли удивляться тому, что лес сам идет на фабрику, или это так и должно быть?

— Кто это организовал? — спрашивает он на всякий случай.

— Кобылянский,— говорит Костоглод.— Поехал и сагитировал. Двести гектаров!

«Молодец Кобылянский!» — думает Адрианов, и от сознания того, что фабрика, уже пять дней стоящая без баланса, заработает опять полным ходом, ему хочется петь.

Лес спустился уже к реке и вступил на лед. Лед трещит и, не выдержав тяжести, проваливается. Адрианов не успевает даже вскрикнуть. И вот сосны переходят реку вброд. Прямые, медноствольные, они шагают по пояс в воде, подняв высоко над головой зеленый ворох ветвей, словно боясь замочить одежду. Первые, взбежав по обрыву, вваливаются на фабричный двор и с грохотом ложатся наземь. Им наскоро обрубают крону и, голые, оттаскивают вглубь. Но в ворота гурьбой ломятся новые. Вот ими уже завален весь двор, вся набережная, все подъездные пути, а их все больше и больше, и под длинными красными штабелями один за другим начинают исчезать хрупкие корпуса комбината.

— Скорее! Людей! — надрываясь, кричит Адрианов.— Надо вызвать из города пожарную команду! Алло! Станция! Дайте мне город!..

И Адрианов крутит, крутит что есть сил дребезжащую ручку телефона, а телефон звенит, звенит, захлебываясь своим картавым «ррр»...

Адрианов вскакивает и сонной рукой машинально хватает за глотку раскричавшийся не в меру будильник. Половина седьмого. Пора!

Он накидывает мохнатый халат и бежит в ванную. Там для него уже приготовлен таз со снегом. Адрианов натирает докрасна снегом свое большое тридцативосьмилетнее тело, тут и там туго стянутое узлами мышц. Вытянув вперед левую руку, он смотрит не без удовольствия, как под коричневой кожей юркой мышью бегает мускул. «Нет, пока что я еще не зажирел!»

Запах снега и ощущение напряжения в мышцах вызывают смутную мечту о лыжах.

«В ближайший выходной выгоню за город все бюро. Пусть походят на лыжах. Засиделись!»

Десять минут гимнастики. Теперь можно одеваться. Застегивая рубашку, Адрианов смотрит в окно.

По противоположному тротуару продвигается человек в шубе. Именно не идет, а продвигается. Поскользнулся. Упал. Сердито отряхивается. Исчез за поворотом. Поверх соседних крыш (дом стоит на горе) виден широкий ледяной тракт — река, а за рекой — поля в холмах и белом сиянии снега.

Мысль о лыжах возвращается навязчиво и почти сердито:

«Треть года весь край под снегом — скатерть. А дураки скулят. Связь разлаживается. Не хватает людей расчищать дороги. Из колхоза в район, за каких-нибудь двадцать километров, по любому пустяку гоняют лошадей, когда лес лежит невывезенным. А секретари? А инструктора? Без машины в деревню ни ногой. Каждый день сажают машины в сугробы. Автомобилисты! А на лыжах не угодно? Быстрее — раз; вернее — два; здоровее — три. Никакого зряшного разбазаривания транспорта плюс экономия горючего».

Адрианов перед зеркалом намыливает лицо. Мысль, навеянная запахом снега в тазу, растет, наливается румянцем:

«Начать с пробегов. Втравить в это дело комсомол. Потом — великое дело сила примера! — инструктора крайкома в ближайшие районы только на лыжах! Про автомобили забудьте! Секретарям райкомов запретить зимой пользоваться машиной в радиусе меньше тридцати километров. Другой темп жизни края! До сих пор, чего греха таить, в деревне живуча старая традиция, освященная веками: зимой отсиживайся у печки, русская кость тепло любит! Работников из районов метлой не выгонишь, одна отговорка — дороги. Поставить край на лыжи, и тонус жизни мигом поднимется на пятьдесят процентов. По-иному зациркулирует кровь в районах. Мороз не велик, да стоять не велит! Довести лыжи до каждого колхозного двора. Межколхозные лыжные эстафеты по обмену сельхозопытом и проверке подготовки к посевной. Да что эстафеты! Краевой слет колхозников-ударников на лыжах!»

От чересчур воодушевленного взмаха руки бритва задевает за подбородок. Проступает капелька крови. Вместе с капелькой крови проступают сомнения. Откуда раздобыть сразу такое количество лыж? Физкультурники и те жалуются: куда ни ткнись — всего нехватка.

Бритва разочарованно смахивает со щеки мыльную пену.

Но мечта не сдается:

«А почему бы нам не затеять собственное производство лыж? Леса, что ли, у нас мало? Год-другой понадобится, пока насытим лыжами один только наш край. А там другие края оторвут их у нас с ногами!»

С полунамыленным лицом Адрианов бежит к гимнастерке, достает из кармана записную книжку. На белом листке крупным почерком пишет: «Сварзин. Лыжи!!!» — и дважды подчеркивает карандашом.

Одетый, он выходит в столовую и, развернув свежую газету, принимается за бифштекс. В доме знают: если Адрианов встал в шесть, значит, в крае все благополучно. Тогда подают ему к завтраку пару яиц всмятку. Если встал в половине седьмого, значит, дела в крае обстоят неважно (надо поспать лишних полчаса — это окупится), тогда к завтраку дают ему честный кусок жареного мяса.

Передовица: «Звуковое кино в деревню!»

«Решение правительства срочно озвучить киноустановки в 900 районных пунктах послужит новым толчком... Сверх того создается сеть звуковых кинопередвижек, установленных на автомобилях... В течение 1935 года отправятся в разъезд по стране, по самым глубинным, отдаленным от железных дорог сельским местностям, 400 таких передвижек...»

Записная книжка Адрианова опять появляется из кармана.

«Четыреста, конечно, мало. Чего доброго, могут нас и обделить. Больше двух-трех передвижек на край не придется».

В записной книжке появляется новая строчка: «Вызвать Дичева!» — и рядом, в скобках: «(кинопередвижки)».

«Пусть культпроп предпримет шаги, спишется. Может быть, даже стоило бы двинуть в Москву Дичева или Сентюрина. Пусть поклянчат в ГУКФ. Без десятка передвижек не возвращаться! Пошлем передвижки в Лисецкий, в Борхатинский, в самые отдаленные районы. Вот будет праздник!»

Записная книжка исчезает в недрах адриановского кармана.

«Первый пленум Московского Совета». «Об итогах пятого пленума ВЦСПС».— Вот они, внутренние резервы! — «Французский министр иностранных дел Лаваль выезжает сегодня вечером в 8 ч. 30 м. в Рим...» — Вот точная информация, до одной минуты! — «Стачка под землей... Бастующие захватили шахту и не поднимаются наверх, тре-

буя гарантий, что их не оставят без работы... Несколько человек заболели вследствие отравления газами...» «Международный шахматный турнир в Гастингсе. В партии против Митчелла Ботвинник имеет шансы на выигрыш...» — Эх, неплохо было бы после возвращения заполучить Ботвинника на недельку к нам — рассказал бы о турнире и сыграл с нашими краевыми чемпионами. В последнее время народ крепко следил за турниром. Поедет Дичев в центр, надо ему поручить, чтобы сагитировал Ботвинника...»

Шахматы — один из коньков Адрианова. Так говорят в крайкоме. На самом деле Адрианов вовсе не такой уж любитель шахмат. Но воспитать в активе железную традицию — не пьянствовать, не жениться по два раза в год, не резаться по ночам в карты — дело не такое уж легкое, если не дать людям ничего взамен. Надо дать по возможности больше. Самообразование, работа над собой — раз. Но нельзя ехать на одной работе. Беллетристика — это уже кое-что. Правда, трудно ее достать. Все же в последнее время кое-как это дело наладили. Основные новинки секретари районов получают на местах, через аппарат крайкома. Очень важное дело — спорт. Здесь сдвиг налицо. Большинство секретарей районов — ворошиловские стрелки. До весны подтянутся остальные, теперь это — дело чести. Не позже июля все обязались сдать на значок ГТО. Многие прыгали с парашютом. Ну, а когда у секретаря два-три значка, тут уж и активу показаться без значка неповадно. Очередная задача — вытеснить карты шахматами. В деле внедрения шахмат тоже кое-чего удалось Адрианову добиться. В известной степени, как всегда, личным примером. Сабулевских кустарей переключили целиком на производство шахмат. Нет ни одного района, где бы не было шахматного кружка. Соревнования и межрайонные турниры постепенно входят в быт. Конечно, приезд Ботвинника или Ласкера здорово двинул бы это дело вперед!

Завтрак окончен. Бросив газеты на столик, Адрианов переходит в кабинет. В кабинете ждет уже инженер Величко. По утрам, с восьми до девяти, Величко читает Адрианову курс по станкостроению.

Хочется до зуда в пальцах снять телефонную трубку и спросить, как обстоит дело с подвозом баланса для остановившейся бумажной фабрики. Но Адрианов знает по опыту: забить голову текущими делами до утренней лекции — значит зря потерять час, все равно в голове ничего от лекции

не останется. В крайкоме привыкли: до девяти часов звонить Адрианову нельзя, разве в самых что ни на есть аварийных случаях. Сначала никак не могли с этим примириться, звонили с семи, а то и раньше. Каждому его случай представлялся неотложным и исключительной важности. Но постепенно приноровились.

Чтобы телефон не мозолил глаза, Адрианов садится к нему спиной.

— Давайте, на чем мы остановились?

— «...Процесс Феллоу заключается в вертикальной прострожке промежутков между зубьями, пользуясь в качестве резца зубчатым колесом с 24 зубьями... Для шестерен с числом зубьев меньше 24 образующая эвольвенты, характеризующая профили зубьев, составляет с касательной к окружностям зацепления угол не в 25°, как в обыкновенных случаях, а угол в 20°...»

Девять часов. Хрипло звонит телефон. Крайком вступает в свои права. Величко прощается и уходит. Адрианов снимает трубку, словно открывает шлюз. Сейчас на него низвергнется край — водопадом дел и заданий.

— Слушаю!

Говорит Товарнов, помощник:

— Сегодня, в пять утра, Бумкомбинат возобновил работу. Для подвоза баланса мобилизовано четыреста тридцать грузовиков и девяносто процентов лошадей четырех близлежащих сельсоветов.

— Почему девяносто, а не все сто?

— По данным сельсоветов, три процента лошадей больны, а семь процентов необходимы для самых неотложных нужд колхозов.

«Известно, для каких нужд: катать в район! Эх, лыжи бы, лыжи!»

— Как дело с подвозом?

— Бесперебойно. Лес идет, как по конвейеру.

Адрианову отчетливо припоминается сегодняшний сон: как сосны шли вброд, подняв высоко над головой зеленый ворох ветвей.

— А лед выдержит? — спрашивает он, бессознательно повторяя сказанные уже сегодня кому-то слова.

— Что? Я не совсем вас понял, Андрей Лукич, — озадаченно сопит в трубку Товарнов. — Какой лед? На реке? Ведь сейчас январь.

— Ну и что ж, что январь? Все-таки четыреста машин с грузом...— оправдываясь, ворчит Адрианов.

Ему совестно перед помощником за нелепый вопрос, и он круто меняет тему:

— Радиосовещание с секретарями райкомов подготовлено?

— Точно к шести часам.

— Почему нет еще сегодняшнего «Рабочего»?

— Только что получили. Вышел с небольшим опозданием.

— Решение бюро напечатано?

— Есть. Потому-то номер и запоздал. Бюро ведь кончилось вчера в час ночи...

В решении бюро записан выговор редактору. Такие вещи всегда печатаются туго.

— Через двадцать минут буду в крайкоме. Подготовьте все дела. В двенадцать уеду на Бумкомбинат.

— Андрей Лукич! — умоляюще вскрикивает трубка.— Погодите минуточку! У меня еще уйма вопросов.

— Вот и хорошо. Доложите мне обо всем в крайкоме.

Адрианов вешает трубку. Он просматривает папку с письмами секретарей районов. Это ответы на вопрос, поставленный Адриановым в связи с его последней беседой о типе партийного работника: «Пусть каждый из вас попытается сам определить отрицательные черты своего характера, прощупать собственные недостатки, мешающие ему в работе. Не торопитесь, не приукрашивайте. Понаблюдайте за собой со стороны и изложите мне в личном письме, в чем же, по-вашему, состоят ваши основные недочеты и что вы предпринимаете для того, чтобы от них избавиться».

Уже третью неделю поступают ответные письма. Выдвигая вопрос, Адрианов не переоценивал объективного интереса такого рода самокритических сочинений. Привычно отсчитывая по пунктам положительные стороны каждого, даже самого незначительного мероприятия, он подытожил в уме: известная затравка к пересмотру каждым своих методов работы — раз; материал для будущей беседы о методике работы над собой — два; для меня лично — материал для более углубленного знакомства с командным составом нашей краевой организации.

В этом разрезе письма представляли и вправду незаурядный интерес. Характер автора сказывался отчетливо уже в самой манере изложения. Были письма, сжатые до

предела, состоящие всего из нескольких слов, вроде: «обидчив», «вспыльчив», «запущенное мальчишество»,— деловые, почти стенографические характеристики, выдержанные в тоне беспристрастного заключения, в редких случаях с учетом смягчающих вину обстоятельств. Были письма почти библейские в бесхитростной своей простоте.

Секретарь Шеболдаевского района Барабих писал:

«По вечерам дома выпиваю. Вреда от этого никому никакого нет. На людях и в рот не беру, значит, дурного примера не показываю. О том, что пью, дома никто не знает. На работе моей это не отражается — встаю каждый день в пять, без опоздания. Если причиняю кому вред, то разве только собственному организму. Да и то свидетельства медицины в этом вопросе весьма сбивчивы. Умом себя оправдываю, но сердцем все же смущаюсь. Получается, вроде как бы ушел я в подполье: пью один при закрытых дверях. Бороться пробовал — не выходит. Придешь домой усталый, как лошадь, голова не варит. А пропустишь стаканчик-другой — как часы завел: могу еще читать и работать до двенадцати».

Секретарь Дубняковского района Глухарев каялся в том, что человека, не выполнившего его задания, «способен возненавидеть и обругать самыми нехорошими словами». Черту эту в своем характере знает и борется с ней по возможности. «Говорят, американцы, чтобы не ругаться, резину жуют, но у нас, к сожалению, таковой не производят. В последнее время испытываю такой метод: вспылив, стискиваю зубы и молчу, кто бы меня о чем ни спрашивал. Обратно, не знаю, как лучше. Иной раз сами колхозники просят: «Кондрат Трофимыч, покрыл бы ты нас лучше матом, по-божески, а то молчишь, смотреть на тебя страшно».

Нижнереченский секретарь Руденко сокрушенно признавался, что «сильно недолюбливает единоличников», и просил не рассматривать этого, как отрыжку его ошибок двадцать девятого года. Перегибы свои тогдашние он полностью осознал и исправил на практике. Всю партийную литературу о работе в деревне читал и усвоил. Единоличников своих не трогает — от греха подальше,— да и осталось их у него в районе всего тридцать штук, но зато все народ на редкость упрямый. Никакая сила разума их не берет. Как с ними быть — неизвестно. Поддерживать их искусственно — смысла нет, да и политически неправильно:

район — не богадельня. Выселить их из района не выселишь, сидят, как грибы. Выходит, по всему СССР скоро все население будет в колхозах, а ему одному в Нижнереченском придется открывать заповедник для последних единоличников.

Были письма пространные, ночные раздумья со ссылками на Фейербаха, Плеханова, Гете, однажды даже на Лабрюйера, с литературными параллелями из классиков и современных беллетристов. Видно было, что авторы писали ночью, долго расхаживая по комнате, от времени до времени доставая с полки то ту, то другую книгу. А когда кончили свое необычное послание руководителю краевой организации, не похожее на официальные рапорты и письма о достижениях и нуждах района, на дворе, наверное, кричали уже петухи и вставало седое декабрьское утро в серьгах из ледяных сосулек...

Из посланий этих Адрианов видел наглядно, чтó прочли и продумали за последние месяцы его воспитанники, чем обогатились их книжные полки. Из самого стиля писем он дополнительно узнавал, казалось бы, так хорошо (и все же не до конца) знакомых ему людей. Люди говорили, как на чистке, чистейшую, неприкрытую правду, честно делясь с Адриановым своими сомнениями и слабостями.

Больше всего поразило Адрианова по своему началу письмо маляевского секретаря Шингарева.

Шингарева знал он, чтобы не соврать, лет тринадцать, и начало их знакомства, если рассказать о нем сейчас, могло показаться даже несколько необычным: Шингарев принимал Адрианова в губернскую партийную организацию. Удивительного в этом ничего не было, поскольку сидел тогда Шингарев на кадрах и прошел через его руки не один Адрианов, а добрых несколько тысяч здравствующих и поныне членов партии.

Всю свою сознательную политическую жизнь, если не считать фронтов в гражданскую да нескольких лет учебы, Адрианов провел в крае, начав свое восхождение с секретаря маленькой заводской ячейки. Это стало для него впоследствии источником дополнительных затруднений. Руководить Адрианову приходилось людьми, которые еще вчера были его начальством. Люди эти выдвижение его встретили кисло, как личную обиду. Когда же Адрианову впервые пришлось по кое-кому из них ударить, атмосфера обиды стала еще напряженнее. Каждый из них считал себя

предназначенным по крайней мере Адрианову в советники и подчеркнутую самостоятельность нового секретаря воспринимал как простое зазнайство.

Авторитет Адрианова вырос как-то незаметно. Отчитывал Адрианов по заслугам всех, но особенно строго тех, кого выдвигал сам и кого привыкли считать его любимцами. Снимал же с работы только тогда, когда случай оказывался явно безнадежным. За сто́ящих работников дрался вплоть до КПК.

Первоначально Адрианов руководил цеховой ячейкой, а Шингарев ведал кадрами в губкоме. Потом встретились они и подружились в городском комитете партии, куда выдвинут был Адрианов и куда за какие-то промахи сплавили из губкома Шингарева. Когда же Адрианов пошел вторым секретарем в крайком, Шингарев секретарствовал уже в одном из отдаленных лесных районов.

Письмо Шингарева, написанное убористым почерком на нескольких листках, вырванных из тетрадки, начиналось так:

«Главный мой недостаток как руководителя районной организации состоит, мне кажется, в том, что я не люблю своего района...»

Прочтя первые строки, Адрианов насторожился. Такое признание у своих секретарей он встречал впервые, и звучало оно почти неправдоподобно.

Адрианов сбрасывает пальто, выключает дребезжащий телефон и, сев за стол, погружается в чтение:

«Сижу я в моем Маляевском районе вот уже шесть лет. Нельзя сказать, чтобы сначала я не взялся за работу с воодушевлением. Построил мебельную фабрику, понастроил школ, прорубил просеки для дорог. Года три проработал как вол, и думать было некогда. А потом однажды подумал и осекся. Район мой лесной — лес шумит, птицы поют. До железной дороги далеко. Проводить тут ее в ближайшие пятилетки не предполагается. Перспектив перед моей мебельной фабрикой никаких. Делаю школьные парты для своего и близлежащих районов. Благо еще школьное строительство у нас из года в год разрастается, а то и фабрику пришлось бы закрыть. Произвожу из дровосеков фабричных пролетариев — в этом, пожалуй, единственный смысл моей фабрики. Люди учатся, растут. Подрастут — уходят из района, делать им тут нечего. Из леса приходят новые. А я

один сижу и сижу, как леший. Вырастил я за это время добрые три смены. Любого посади на мое место — справится: хозяйство несложное.

Сейчас мне сорок три года. Ну, просекретарствую я еще года три-четыре. А потом что? Люди у нас растут. Скоро каждый рядовой работник будет с высшим образованием. Дровосеки мои, небось, уже во втузах учатся. Встретишься с ними через несколько лет — инженеры. А я кто? Думается мне, скоро и самый тип районного секретаря, такого, как я, отомрет. Стране не нужны будут больше мастера на все руки, вроде нас. Секретарями промышленных районов будут коммунисты-инженеры, секретарями сельскохозяйственных — коммунисты-агрономы. А нас куда? В пятьдесят лет на учебу? Не поздновато ли?

Вот руковожу я районом, где мебельная фабрика. Производство освоил назубок, не хуже любого инженера. А попробуй я завтра идти работать по этой линии — не примут. Спросят: а где у вас диплом? Поставят в лучшем случае мастером, да и то если фабрика из отсталых. На передовых — все мастера с дипломами. И выходит, потрачу я на секретарство все мои силы — работа у нас, известно, тяжелая, нервная,— а потом иди куда хочешь. На учебу будет уже поздно, на «социалку» — рано.

Вот четвертый год каждую осень ставлю вопрос, чтобы послали меня учиться, пока еще что-нибудь из этого может выйти. И четвертый год крайком отказывает, посылает других, помоложе. Что же, вам видней. Только секретарь, который не горит своим районом,— плохой секретарь.

С коммунистическим приветом

Ф. Шингарев».

Адрианов задумчиво складывает письмо и сует его в портфель.

2

В крайкоме рабочий день в полном разгаре. Проскользнувший за Адриановым в кабинет Товарнов уже пять минут докладывает самые неотложные дела. Адрианов слушает. Кое-что берет на заметку.

Дел много, всех не перечесть. Главное, не дать себя сбить с основных, очередных задач, отвести в сторону половодье мелочей.

На сегодня основные задачи: 1) о делах на заводе Н., 2) прорыв на Бумкомбинате, 3) большой падеж телок нового отела, шире — животноводство. Остальное приходится решать попутно, по мелочам поручать и перепоручать.

Есть ряд интересных дел. Хочется взяться за них самому. Но Адрианов знает: займешься ими как следует — глянь, и день прошел, а дела не основные. То же самое с приемом. Станешь принимать всех, разменяешься на мелочи, все равно всех не примешь, а к концу дня ничего из основных дел не сделано.

И от прикосновения адриановского карандаша список записавшихся на прием быстро тает. Часть людей отправлена к заведующим отделами. Рядом с фамилиями других — пометка: «Подготовить к 6 часам проект решения». Дела эти Адрианов знает, и говорить о них еще раз бесцельно. От аршинного списка осталось несколько фамилий.

Уходя из кабинета с папкой подписанных бумаг, Товарнов останавливается на полдороге и докладывает вполголоса с видом заговорщика:

— Андрей Лукич, опять звонил Карабут. Спрашивал, не сможете ли принять его сегодня.

— В два часа на бюро.

— Третий день звонит,— вкрадчиво пробует настаивать Товарнов.— Очень волнуется. Хотел бы с вами поговорить до бюро.

— Товарищ Товарнов, я не имею обыкновения повторять одно и то же два раза.

Товарнова с бумагами как ветром сдуло. Черт разберет этого Адрианова! Карабут, можно сказать, его птенец. На самом хорошем счету. Не было случая, чтобы по первому звонку не принял его в тот же день. А тут ровно вожжа под хвост! Вопрос о Карабуте поставил сегодня на бюро. Принять Карабута не хочет. Докладчиком по его делу назначил Сварзина. Всем известно: Сварзин с Карабутом на ножах. Видимо, Карабуту капут!

— Андрей Лукич,— еще раз приоткрывает дверь Товарнов.— Заходил этот... Шингарев, из Маляевского района. Спрашивал, когда сможете его принять. Я сказал, что сегодня не выйдет.

— Почему вы не сообщили мне об этом сразу? И кто вас уполномочивал решать за меня, приму я Шингарева или нет?

— Вы же сами видели, сколько народу записалось сегодня на прием...

— Отыщите Шингарева и скажите ему, что приму его сегодня в одиннадцать.

— Будет сделано.

Адрианов разворачивает свежий номер краевой газеты. На первой странице решение вчерашнего бюро. Для постороннего читателя как будто ничего особенного: очередное решение о животноводстве. Один Адрианов знает, что стоило оно ему бессонную ночь.

В крае падеж и продажа скота. «Правда» уже била тревогу, хотя и по адресу других краев. Надо ударить в набат. Сделать это труднее, чем решить. Если в набат бьют раз в год, все население вскакивает и выбегает на площадь. Если бить каждую ночь, кончится тем, что, сколько ни звони, все продолжают мирно спать. Так и с животноводством. Слишком часто били тревогу, записывали выговора. Все уже к этому привыкли и успокоились. Ну, запишут еще один выговор, не мне же одному! Злоупотреблять партвзысканиями опаснее всего: притупляется реакция. Нужно воткнуть шило в ягодицу, иначе ничего не сделаешь. Поставить вопрос по-новому, но как? Нового содержания не придумаешь, можно лишь изменить аппаратуру. Найти меру более обидную, чем партвзыскание,— раз. Подать ее в такой форме, чтобы народ заволновался, сиречь сыграть на нервах,— два.

И вот вчера, в двенадцать часов ночи, Адрианов созывает экстренное заседание бюро. Все знают, что очередное заседание назначено на завтра, знают повестку дня. Почему же вдруг экстренно и ночью? Народ собирается встревоженный. Это уже хорошо! Доклад Адрианова о положении со скотом, как о вопросе, требующем принятия аварийных мер со стороны всей краевой организации. Сегодня в газете резолюция: «Записать выговор редактору, тов. Июльскому, за то, что газета в последнее время плохо освещала вопрос о положении со скотом». Ага! Значит, дело не шуточное! Можно было записать выговора всем секретарям райкомов, и эффект был бы меньший. А так вместо сорока выговоров один, и каждый чувствует: вот за меня, сукиного сына, Июльский получил выговор! А вторым пунктом: «Послать на места работников крайкома, которые повернули бы районы...» Обиднее формулировки не придумаешь. Ведь там не дети сидят, сами поворачивать умеют. А выходит, вроде

крайком посылает им няньку. Ни один секретарь спать после этого не будет. Сегодня вечером еще дополнительная баня по радио из кабинета секретаря крайкома. Извольте сами отчитываться каждый у себя перед микрофоном, что вами предпринято для ликвидации этого безобразия!

Адрианов складывает газету. Все рычаги нажаты, очередь за проверкой исполнения. Дело, очевидно, пойдет.

А теперь открываются огромные, обитые кожей, непроницаемые двери адриановского кабинета и начинается ежедневное шествие.

Первыми идут школы, громыхая партами, изрезанными перочинным ножичком; за ними вслед, скрипя стопудовыми башмаками, шагают гордые красавцы станки, густо нафиксатуаренные маслом; бегут двухнедельные телки, ни за что не желающие умирать, и ворчливые самолеты, осанистые, как сомы, с жесткими усами-пропеллерами; трусят колхозные родильные дома, шурша сенниками и грозно требуя матрацев, и со звоном шагают, корча рожи, угрюмые стекла — безрадостные детища молодого стекольного завода: мир, видимый сквозь них, кажется приплюснутым и одутловато-уродливым.

Одиннадцать.

В кабинет Адрианова входит член бюро крайкома Вигель — большой прямоугольный дядя с хитровато-смешливыми глазами. Вигель крепко жмет руку Адрианову.

— Ну, как с Гараниным? — спрашивает Адрианов.— Выживет или нет?

— Выживет! Прострел правого легкого. Ничего особенного. Недели через две пойдет на поправку. Пока, конечно, температура и всякое такое...

— А жена его как?

— С женой дело сложнее. Лежит без памяти. Какие-то мозговые явления. Врачи подозревают менингит. Скорее всего — нервное потрясение.

В дверь заглядывает Товарнов.

— Пришел Шингарев.

— Давай, давай! — роясь в бумагах, кивает Адрианов.— Здравствуй, Федор! — кричит он из-за стола, завидев в дверях бритую, с проседью голову Шингарева.— Садись!

Вигель уходит. Но уже верещит телефон.

— Андрей Лукич! Вас Кобылянский!

— Сейчас! — кивает Шингареву Адрианов, поднося к уху трубку.

Кобылянский — зампред крайисполкома. Звонит четвертый день, прямо неудобно.

— Алексей! — кричит в трубку Адрианов. — Не смогу сегодня, голубчик. Никак! Должен обязательно на Бумкомбинат. Ты не поедешь? Жаль. Сам понимаешь, там такое дело... Хочешь завтра, в одиннадцать? Твердо, невзирая на погоду! Ну, есть, давай!

Ему хочется рассказать Кобылянскому, как тот сегодня сагитировал лес идти пешком на фабрику, но, взглянув на сосредоточенно-угрюмое лицо Шингарева, он вешает трубку.

— Читал я твое письмо, Федор. Хандришь? В лесу своем заскучал?

— Раз читал, тем лучше, — пыхтит Шингарев, трудолюбиво раскуривая трубку. — Курить у тебя нельзя? — спрашивает он, поглядывая исподлобья на недвусмысленную надпись на стене, и смущенно накрывает трубку ладонью.

— В основном нельзя, но для тебя — так и быть, кури. Все равно сейчас уеду, проветрят.

— А то могу и потушить, — ворчит Шингарев, густо затягиваясь дымом.

— Ты что, в табак сосновые иглы подбавляешь? Запах от твоей трубки, будто лес горит.

— Не нравится?

— Ничего. Дым как дым.

— Так вот, раз читал, значит и повторять мне нечего. Я там, по-моему, все ясно изложил.

— Как же, яснее ясного!

— И что ж ты мне на это скажешь?

— Скажу, во-первых: много ты там на себя наврал.

— Как это «наврал»?

— Наврал, что не любишь своего района. Зашился просто и перспектив не замечаешь. А я тебе скажу: ни один наш район не имеет таких шансов стать базой культурной реконструкции всего края, как именно твой.

— Медведей в краевой зоопарк поставлять будем или как?

— Вот приехал ты в район, линия у тебя была правильная: на мебельную фабрику. Только масштабы у тебя куцые. Создал фабричку районного значения и успокоился. Потому-то она у тебя и прозябает.

— А на чем мне продукцию прикажешь вывозить? На самолетах разве? Проведи ко мне железную дорогу — я тебе разверну фабрику на весь Союз.

— Вот у тебя всегда так: соедините меня прямой магистралью с Москвой, тогда я вам покажу! Да тогда каждый покажет! Какой же это фокус? А ты вот покажи сейчас! Сколько от тебя до железной дороги? Каких-нибудь сто двадцать километров?

— Сто двадцать пять.

— Пусть сто двадцать пять. По хорошей дороге это три часа на грузовике.

— У меня во всем районе три грузовика. Много на них не вывезешь.

— А за что тебе давать грузовики? За твои дороги? По этим ухабам и трех жалко. Проложи у себя хорошие трассы — дадим не три, а тридцать три. И пятьдесят дадим, раз понадобится.

— Если ты бывал когда-нибудь в лесах,— ехидно сопит Шингарев,— то должен знать: дерево на камне не растет. Мне, чтобы проложить шоссейную дорогу, камень надо возить за семьдесят километров.

— А дерева тебе возить не надо?

— Дерева не надо.

— И песка не надо. На песке как будто лес растет?

— Растет.

— Тогда почему тебе не вымостить дороги торцом? В Москве бывал? Торцовые мостовые видел? Лучше и фасонистее булыжника. Или у тебя в районе иначе как по асфальту не привыкли? Сколько у тебя дубовых пней пропадает? И какие пни! Пусти их на торец, и будут у тебя завтра не дороги, а дубовый паркет! Какой город может себе позволить такую роскошь? А ты можешь, и даром. Просмоли их — смолы тебе тоже небось покупать не надо — они у тебя сто лет простоят, любому гудрону нос утрут! Да к тебе тогда народ со всего края съезжаться будет покататься по твоим дорогам! Чего тебе не хватает? Рабочей силы, что ли?

— Рабочая сила найдется, были бы деньги.

— И деньги найдутся, была бы смекалка. У тебя ведь там санаторный воздух попусту пропадает!

— А что мне его — экспортировать?

— Вот чудак! Да к тебе никто не суется потому, что дорог нет. Будь хорошие дороги, у тебя же можно развернуть целое санаторное строительство! Дешевый строительный лес под рукой. Воздух прямо целебный. Чего ж еще?

— Далеко. Не поедут.

— В Швейцарию люди ездят лечиться, а ему в Маляевку далеко! Вот совпроф хочет строить санаторий в Карнайском районе. А разве их леса с твоими сравнишь?

— Куда им до наших! Знаешь, какой у меня воздух? Посмотри на моих дровосеков — шкаф, а не грудная клетка!

— Заметно! Так и запишем: предложить совпрофу строить санаторий в Маляевском районе. Они тебе сразу тысяч сто на строительство дорог подкинут. У них денег куры не клюют. А ты им за это строительный лес по дешевке отпустишь, чтобы сравнять там как-нибудь авансы с балансами. Погоди! Крайздрав, если не ошибаюсь, собирается строить в этом году санаторий для туберкулезных детей. Найдут для туберкулезных в другом районе место получше?

— Нигде не найдут, кого хочешь спроси.

— Вот тебе еще денежки. На этих особенно не разживешься, но кое-что выжать из них можно. А ты говоришь: дороги строить не на что! Да ты на эти деньги еще районный дом отдыха отгрохаешь для своих ударников! Разве я тебя не знаю!

— Но-но, хватило бы на дорогу, и то хорошо!

— Ты другим расскажи! Небось, уже подсчитал. Словом, идея у тебя с этим санаторным строительством неплохая...

— Какая ж это моя идея! Это ведь ты выдумал.

— Что я, воздух у тебя выдумал? Этого, брат, не выдумаешь! Короче, превращаем Маляевский район в краевую здравницу. Со временем откроем там у тебя образцовую лесную школу. Главное, налегай на дороги. До весны заготовишь торец. Кончатся морозы, крой вовсю, ни на кого не оглядывайся! Дортранс поддержит. Идея у тебя с торцом хорошая. Бери инициативу и покажи класс, чтобы другие по тебе равнялись. Как думаешь, Барабих выдержит, если у тебя в районе будут торцовые мостовые, а у него плохие «американки»?

— Не выдержит, в лепешку расшибется! И Руденко с ума сойдет!

— Вот это нам и надо! А ты дразни, вызывай на соревнование. Поставь дело так, чтобы к тебе из других районов учиться приезжали. Знаешь, какое из этого дело можно заварить? Массовое движение за культурную дорогу! Втравим Автодор. Организуем велопробеги. Красота! Сумеешь возглавить это дело, знаешь, как тебя поднимем! Да ты са-

дись, садись, а то шагаешь перед глазами как маятник. Теперь — главное, зачем я тебя вызывал. Сначала была у меня мысль расширить твою мебельную фабрику и построить при ней лыжный цех. Но сейчас вижу, это была бы кустарщина. Построим у тебя отдельную лыжную фабрику!

— Лыжную?

— Лыжную, лыжную! Посадим на это дело трудкоммуну. Смотри, вот Болшевская коммуна! Делают коньки, ракетки, бутсы, футбольные мячи. Гениально придумано! Чем увлечь и занять беспризорников? Гробы их поставить делать? Конечно, предметы спорта! Наши будут производить лыжи.

— А на кой ляд тебе столько лыж? Что ты с ними будешь делать?

— Вот чудак! Снега у нас мало, что ли? Поставлю на лыжи весь край, каждого колхозника! Ты ко мне будешь приходить на лыжах, докладывать, как у тебя разворачивается работа. Никакого катания на машинах! Кончилось! А бензин сэкономлю — дам твоим грузовикам: развози на них свою деревянную продукцию по своим деревянным дорогам. Что, не согласен?

— Да ведь можно же расширить старую фабрику. Зачем строить отдельно?

— Коммунарам нужно создать особое предприятие, где бы они чувствовали себя хозяевами, а не сбоку припека при твоих партах. Освоят лыжи — станут выпускать что-нибудь другое. Байдарки, скажем; река у нас зря пропадает. Ракетки для тенниса. Выучим колхозников играть в теннис, пусть тренируются. А твою фабрику надо расширять в другом направлении. Думаешь, я даром буду сводничать между тобой, совпрофом, крайздравом и еще черт знает кем? Нет, брат, шутишь! Назвал свою фабрику мебельной — давай мне мебель! Стулья давай, насиделись на лавках! Шестьдесят новых кино в будущем году надо оборудовать в крае. Что я, деньги для тебя на дороги буду добывать, а сам стулья возить из Москвы? Новый Дом Красной Армии заканчиваем. Два дома культуры. Шесть заводских клубов. На чем там народ у нас сидеть будет? Изволь, потрудись, доставь кресла, и чтобы удобные! А рабочий должен иметь приличную обстановку или не должен? В этом году заканчиваем десять жилых домов для рабочих, в будущем — двадцать. На третий год — шестьдесят. Четыре тысячи квартир! Шутка? Купить паршивый сосновый шкаф и то люди за полгода

вперед записываются в очередь. А кровать рабочему и колхознику нужна? На топчанах им, что ли, спать при социализме или на полатях?

— Да я что ж, расширять так расширять. Дерева у меня на сто лет хватит. Рабочая сила найдется. Одна остановка — деньги.

— Что ты все заладил: деньги да деньги! Найдутся деньги! Ты о продукции беспокойся, а не о деньгах. Мебель у тебя должна быть европейская, без всяких там провинциальных выкрутасов, просто, красиво, чтобы глядеть было приятно. Говорю тебе: твой район должен стать базой культурной реконструкции края. Обстановка жилья — это, по-твоему, пустяк? Это быт! Это сумма культурных навыков! Человек хочет жить красиво. Помоги ему, воспитай его вкус. Вытрави из него мещанство, всякие там шишечки, этажерочки. Съезди в Москву, посмотри. Там тоже барахла много выпускают под видом уюта. Смотри, этому не учись! Свяжись с художниками, привези эскизы, посмотрим. Главное, с места наладить производство, подобрать людей. Специалистов хороших подыщи. Денег на это не жалей. Покустарничали, хватит!

— Эх, давно у меня мечта,— наклоняясь над столом, говорит Шингарев, глаза его блестят.— Видел я в одном заграничном журнале мебель — все отдашь, и мало! Дай кусочек бумажки, я тебе нарисую.

— Потом будешь рисовать. И лучше сам не рисуй, найми рисовальщика.

— Да это одна минута! Понимаешь — шкаф. Спереди вот так. Здесь открывается дверца...

— Погоди! Насчет шкафа... Не забудь про книжные! Придется под это дело отвести целый цех. Народ начал собирать книги, а держать их негде: кто на столе, кто под столом. Надо людей приучить ценить книгу, обращаться с ней бережно. Попробуй выпусти первую серию книжных шкафов — сами к тебе на завод за ними приедут!

— Эх, американские бы! — мечтательно вздыхает Шингарев.

— Что ж, можно и американские. Стекла через год будет у нас в крае — засыпься!

Адрианов смотрит на часы. Двенадцать.

— Мне пора. Ну, так как же? Решай. Хочешь твердо на учебу? Тогда поставлю вопрос на бюро. Придется тебя отпустить. А в Маляевский район пошлем другого.

Шингарев смущенно сопит в трубку:

— Поизголяться надо мной хочешь? Издевайся! Ну, заскучал. Нельзя? Сидишь в районе, идеи иной раз приходят в голову неплохие, а без поддержки крайкома все равно ничего не сделаешь. Раз обещаешь поддержать — другой разговор. Увидишь, какое дело завернем!

— Эх ты, ты! — смеясь хлопает его по плечу Адрианов.— Инженер! «Района не люблю!» Я думаю, тебе в этом районе работы еще лет на пятьдесят хватит, а там потолкуем. Приходи сегодня на бюро. Поставим твой доклад. Успеешь приготовиться к шести? Хорошо бы тебе до этого связаться с Вигелем. В июне приеду смотреть твои дороги.

— Погоди! В июне рановато. Приезжай в сентябре!

— Что ж, можно и в сентябре.

Адрианов весело напяливает пальто.

Опять звонит телефон. Стучат в дверь. Люди, дела, бумаги. «Только минуточку!» Стоит поддаться, и вновь крайком засосет его на весь день, не выпустит за порог. Дел всегда хватит. Надо уметь вырваться. Не дать себя сбить с главных задач. Вот полчаса проговорил с Шингаревым...

Сквозь строй умоляющих взглядов Адрианов выходит на лестницу. Из приемной до него долетает голос Товарнова, беспомощно кричащего в телефон: «Товарищ Карабут? Нет. Никак. Сказал: в два часа на бюро...»

Веселое настроение внезапно покидает Адрианова. Медленной, озабоченной походкой он спускается по лестнице мимо окаменевшего на мгновение милиционера.

Пока машина, мягко покачиваясь, несется вон из города, Адрианов в десятый раз спрашивает себя, как быть с Карабутом. Через два часа — заседание бюро.

Не снять Карабута нельзя. Доверил газету Гаранину. К тому же история с покушением на убийство Гаранина собственной женой — комсомолкой и ударницей — бросает на все дело сугубо неприятный свет: позволяет ожидать дополнительных разоблачений. А о заводе, на котором происходят такие вещи, ребенок скажет, что атмосфера на нем нездоровая. Релих вправе утверждать, что созданию этой атмосферы способствовала длительная драка, которую вел с ним на заводе Карабут при молчаливой поддержке Адрианова. Снять Карабута придется, ничего не поделаешь. Но...

Снять Карабута с выговором — это для Адрианова то же, что выдернуть самому себе здоровый зуб. Карабут — его способнейший ученик, умный, талантливый, растущий ра-

ботник, один из лучших в краевой организации. На осеннем пленуме Адрианов предполагал выдвинуть его в секретари сложнейшего промышленного Илецкого района и ввести в состав бюро. А там, испытав год-полтора на ответственной самостоятельной работе, посадить в крайком на промышленный отдел, на место туповатого Сварзина. А там, если парень продолжал бы так же быстро расти, кто знает, может, во вторые секретари?.. Это, конечно, мечта, но мечта вполне реальная, хотя сам Карабут вряд ли догадывается, какие далеко идущие виды имеет на него Адрианов.

Дело Карабута зачеркивает все эти мечты одним махом. После такого дела Карабуту придется начинать сначала. В течение ближайших двух-трех лет ни о каком выдвижении не может быть и речи. Больнее всего мысль, что он, Адрианов, мог ошибиться в Карабуте. Так, несомненно, думают сейчас все, хотя сам Адрианов по-прежнему упорно гонит прочь такого рода предположение. Поддерживал ли он Карабута в его борьбе с Релихом? Да, поддерживал. Карабут вел борьбу всегда с принципиальных позиций. Разве не правильно обвинял он Релиха в недооценке рабочей инициативы и в неумении резко повернуть завод в помощь ее первым росткам? Правильно обвинял! Правда, Релих быстро перевооружился. Но в этом как раз несомненная заслуга Карабута.

И все же Карабута придется снять. Оставить его на работе — значит расписаться в поблажке любимцам, значит подмочить доверие бюро к себе, к своей непреклонной принципиальности, вошедшей в поговорку. Именно на этой основе удалось Адрианову сплотить вокруг себя актив. Малейшая трещина может оказаться непоправимой, свести на нет четыре года непреклонной борьбы. Завтра он уже не сможет с прежней безапелляционной твердостью бить по заслугам каждого, без учета его авторитета и занимаемого положения. Отстоять Карабута — значит вызвать за спиной шушуканье и усмешки, дать право Релиху говорить или хотя бы думать, что в своей систематической поддержке Карабута он, Адрианов, не беспристрастен.

И все же пожертвовать Карабутом во имя собственного престижа тоже ведь не годится!

За стеклами машины бегут худые ветлы, скрюченные в одну сторону, как еврейские скрипачи на свадьбе с игриво вздернутым смычком, и машина, переваливаясь с ноги на ногу, одышливо пляшет по ухабам.

Адрианов морщится и сердито пыхтит. Ему неприятно, что он отказал в приеме Карабуту. Принять же его Адрианов не мог, покуда сам для себя не решил его вопроса. Думал обмозговать и решить по дороге на Бумкомбинат.

Но вот уже видны зубчатые корпуса фабрики. По ледяной равнине реки, с того берега на этот, ползет длинная процессия грузовиков — целое муравьиное шествие в поисках нового муравейника. У ворот, в бобровой шапке и нагольном тулупе, похожий на мужичка из оперетты, мечется и голосит Костоглод, руками, как овец, загоняя во двор грузовики.

Что ж, придется решить на обратном пути...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

А в краевой больнице, в изоляторе, лежит Женя Гаранина. Глаза у нее полузакрыты, подбородок вздернут кверху над белой зыбью простыни. Старая женщина в белом халате достает из ведра лед, и льдинки в ее руках плещутся, как рыбы, норовя ускользнуть в ведро.

Внизу, в приемной больницы, — гул голосов. Костя Цебенко, Сема Порхачев, Гуга Жмакина и Шура Мингалева с увесистыми свертками пришли навестить Женю.

— Да говорю же вам, она без памяти! Никого не узнает, — загораживает дорогу наверх, увещевает их сестра.

— Кого не узнает? Вас не узнает? Да она с вами никогда и не была знакома! — артачится Костя Цебенко. — Вот увидите, узнает она нас или нет!

— Товарищи, если будете шуметь, я вызову главного врача.

— Очень хорошо! Пожалуйста! Четвертый раз приходим!

— Будьте ж сознательны. Граждане! Неужели трудно понять! Лежит в беспамятстве. Пускать к ней никого не велели. Хотите ей повредить?

— А что с ней такое, выяснили в конце концов?

— Выяснили. Менингит, воспаление мозговой оболочки. Нужен абсолютный покой.

— А умереть она может? — уже тихо спрашивает Цебенко.

— Если будете шуметь и не давать ей покоя, конечно, может.

— Ладно, уйдем. Так бы сразу и сказали.

— А может, ей что-нибудь оставить, передать? — вкрадчиво спрашивает Гуга.

— Мандарины можно. Захочет пить — дадим. А ни конфет, ни цыпленка, ни колбасы — нельзя. Съешьте сами за ее здоровье.

— Да это не колбаса, это телятина! Белое мясо всем больным дают,— пробует настаивать Костя.

— Будет выздоравливать — принесете. Пока ничего, кроме льда, ей не надо.

— Может, мороженое?

— Какое там мороженое! Лед ведь для компресса. Из мороженого ей, что ли, компресс класть!

Сконфуженные, они выходят на площадь.

— Погодите, я сейчас вернусь,— бросает Костя и исчезает в вестибюле больницы. Через минуту появляется обратно. В руках у него одним свертком меньше.— Отдал конфеты сестре!

— Взяла?

— Малость поломалась. Да я попросил, пусть передаст половину ночной сиделке. Будет ночью конфеты грызть, может, хоть не уснет.

Молча они идут к трамваю.

— Как ты думаешь, может она умереть? — спрашивает вдруг Цебенко у Порхачева.

— Я почем знаю! Может быть, нам сложиться и вызвать профессора из Москвы?

— Надумал! — пожимает плечами Шура.— Если б операция — другое дело. А тут ведь говорят тебе: абсолютный покой и лед. Больше ничего. Чем же тут может помочь профессор?

У остановки трамвая на них налетает запыхавшийся Петька Пружанец с большим пакетом яблок.

— Явился, не запылился! — приветствует его Гуга.

Петька смущен. Видно, не рассчитывал встретить здесь в этот час ребят и не знает теперь, куда ему деть этот злосчастный пакет.

— Можешь не спешить — все равно не пускают. Съешь свои яблоки сам.

Петька искоса поглядывает на Гугу. Оба минуту крепятся, но в конце концов не могут удержаться от смеха.

С Гугой они со вчерашнего дня опять в ссоре. На комсомольском собрании, где обсуждался поступок Астафьевой, Петьке поручили выступать общественным обвинителем. Большинство девушек, в том числе и Гуга, в своих выступлениях почти оправдывало Женю. Петьке пришлось сгустить краски и ударить по этим нездоровым настроениям. В самом деле, если каждый будет самочинно справлять правосудие, что ж из этого получится? На восемнадцатом году революции подменять революционную законность самосудом! От этого до индивидуального террора один шаг!

С собрания оба возвращались расстроенные. У входа в общежитие Гуга сказала Петьке:

— Сразу видно, что ты никого не любил. Потому тебе и наплевать. А вот окажись ты завтра врагом и контрой, я бы тебя задушила собственными руками!

Петька растерялся и пробурчал что-то на тему о революционной сознательности и подлинной любви.

В коридоре общежития на стене красовался новый плакат: «Враг стережет нас, зажав обойму. Союз Советов — колюч и лаком. Ответим этим врагам по-своему: выполним план на сто с гаком!»

— Что ты знаешь о подлинной любви! — оскорбительно надув губы, сказала Гуга.— Разве ты человек? Ты рифмованный лозунг. Большие поэты влюблялись, писали своим возлюбленным стихи. А ты написал мне хоть одно любовное стихотворение? «Выполним план на сто с гаком!» — вот твои любовные стихи!

Петя понимал сам: последний лозунг вышел не из удачных. Надо было сказать не «враг стережет», а «враг подстерегает», но никак не втиснешь этого в размер. А потом «на сто с гаком» тоже устаревшая норма. Это было хорошо для времен первоначального ударничества. Сейчас уже надо не на сто, а по крайней мере на двести или на триста. Но признаться самому себе в неудаче куда легче, чем слушать, когда ее высмеивают другие, тем паче, если эти другие — Гуга.

Он ответил не сразу, ледяным тоном: конечно, он и не думает конкурировать с большими поэтами. Возможно, он вообще никакой не поэт. Но ему кажется, для любовных

стихотворений нужен не только поэтический субъект, но и поэтический объект.

Гуга ответила что-то совсем неприличное, отвернулась и ушла.

Петя, обескураженный, побрел домой.

Конечно, он покривил душой и зря обидел Гугу. Но ведь она обидела его первая и, пожалуй, куда больнее. Можно сказать, попала в самую точку. Да, он пробовал писать любовные стихи. Они ему неизменно не удавались. Вместо привычных индустриальных образов, смелых и точных, под перо лезли цветки, звезды, лазури и всякая идеалистическая дребедень. Поэтому он предпочитал делать вид, что становится на горло собственной песне и что званию поэта просто предпочитает звание поэта-гражданина.

Половину ночи Петька промаялся в горьких раздумьях. Пробовал писать, но получалось хуже и трафаретнее обычного. Уморившись окончательно, лег спать.

Ночью ему снилось, что пришла Гуга и кричит с порога: «Вставай, ужак!» Ужаком она звала его в минуты особой близости. Говорила не «мой муж», а «мой уж».

Утром, встав с головной болью, Петька сел за стол и написал первое в жизни любовное стихотворение, выстраданное, как все подлинные стихи о любви. Оно состояло всего из четырех строк:

Ужа ужалила ужица.
Ужу с ужицей не ужиться,
Уж уж от ужаса стал уже.
Ужа ужица съест на ужин.

Положив стихи в конверт, он послал их Гуге...

Как всегда в трудные минуты, он раскрыл томик Маяковского и начал читать нараспев: «В этой теме и личной и мелкой, перепетой не раз и не пять...»

Воспоминание о вчерашнем собрании вернулось, неприятное, как отрыжка с перепоя.

Если разобраться по существу, вчерашнее собрание провалилось. Резолюция, резко осуждающая поступок Астафьевой, прошла всего несколькими голосами. Большинство девушек голосовало против. Виной этому, конечно, он, Петр, плохо подготовивший собрание. Он не учел серьезности вопроса. Не поговорил предварительно с девчатами. Не заручился их выступлениями. В результате получилось так, что с поддержкой обвинения выступали почти одни парни.

Придется откровенно признать ошибку перед комсомольским комитетом. Пусть поставят на вид.

Но почему, собственно, так вышло? Не надо было, пожалуй, выпускать Васю Корнишина. Вася — парень неплохой, но известный петух. Приударял за всеми, в том числе и за Женей. Все об этом знают. Шура Мингалева рассказывает о нем, что раньше каждый вечер Корнишин заявлялся в щитковый дом. Стучит к девчатам. Те знают уже его норов — не откликаются. Взломает дверь и сидит до двенадцати часов,— победитель женских сердец,— метлой его не выгонишь. После того как пробрали на комсомольском комитете, обиделся на весь женский класс, не кланяется и не разговаривает. Пристрастился к парашютному спорту. Прыгал двенадцать раз. Хочет дотянуть до двадцати пяти. Думает, нацепит значок с цифрой «25» — тогда-то уж наверняка ни одна не устоит! Токарь хороший. В прошлом году они с Петькой досоревновались до того, что обоих вызывали в партком и намылили шею. Но вот по женской линии слаб. Девушки таких не уважают. А вчера взял еще и выступил прямо как ортодокс, очень уж по-казенному. Девчата его освистали, не дали говорить. Получился сплошной конфуз.

Ну хорошо, с Васей — ошибка, не надо было его выпускать. Но другие? Возьмем Сему Порхачева. Тоже ведь слушали его плохо, перебивали. В чем же тут гвоздь?

Сему многие любят. Занятный малый. Изъездил весь Союз. Работал на десятке заводов. Нигде больше трех месяцев не задерживался. Мастер на все руки, но бродяга. Раньше таких звали романтическими натурами и живьем производили в литературные герои. Сейчас их зовут летунами и считают паразитами производства.

Порхачев — парень с амбицией, и клеймо летуна для него — нож. На этом заводе работает уже два года. Карабут сумел найти к нему подход. Вовлекли в комсомол, женили. Сейчас у него сынишка четырех месяцев — Эдуард Семенович. Пустил корешок. Накрепко ли? За эти два года дважды пробовал сбежать. Оба раза ребята накрыли его на вокзале. Пристыдили. Вернулся с покаянной. Во второй раз вызывали в комсомольский комитет. Крепко взгрели. Дал слово, что больше не будет. Пока держится. Продолжает кочевать, но уже в пределах одного завода: с клепки на сварку, со сварки на монтаж. На работу — зверь, везде вывозит. Релих, зная его нрав, смотрит на это сквозь пальцы и даже

втихомолку потворствует — не пройдет двух-трех месяцев, чтобы его не перебросили на какой-нибудь новый агрегат, где узкое место. Ребята зовут его «Сема — скорая помощь».

Этой осенью опять заскучал, навалился на беллетристику. Читает запоем. Библиотекарша жалуется: не успеваем выписывать. С Петькой подружился на почве чтения. Кончит читать какую-нибудь книжку, хочется ему о ней поговорить. Воспринимает по-особому: не то, что прочел новый роман, а будто побывал на новом месте. О героях рассказывает, как о старых знакомых. Разделяет их на «сто́ящих ребят», на «кляузных» и на «барахло». Как роман написан и что автор хотел выразить, ему неинтересно. Книжка для него вроде как железнодорожный билет на новую стройку.

А вот в жизни немножко холодноват. Подружится с кем-нибудь — будет ходить неразлучно, водой не разольешь. А пройдет месяц-другой — глянь, и дружбы-то как не бывало. Не то что поссорились, нет. Встретится, поговорит хорошо, по-приятельски. Но ходит уже с другим.

Так и со вчерашним выступлением. Говорил правильно, хорошо говорил. Но все как-то от ума. Будто речь шла не о действительном случае с близким, живым товарищем, а о герое какого-нибудь романа. Вышел, навел критику, рассказал, как, по его мнению, надо было поступить, и сел. И мысли-то высказывал правильные, а до сердца никому не дошли.

Почему лучше всех слушали Костю Цебенко? Костю все уважают. Хороший производственник. Это существенно. Плохие производственники — будь он даже душа-парень, — как правило, народ неинтересный, с обывательщинкой: карты, выпивка, похабные разговоры о девушках — голова работает вхолостую. Костя работает культурно, без сверхурочных, и все к сроку. А потом, ребята чувствуют — Костя вовсе не такой, каким хочет прикинуться. Внешне: «Орлы, рванем! Поднажали — вытянули! Чин чинарем, как подобает честным морякам!» А на самом деле — никакого «рванем». Занимается по ночам. А утром придет в цех — делает вид, будто ездил в город на танцульку.

Очень экспансивный парень. Принимали его в кандидаты партии, дали кандидатскую карточку. Вышел из райкома, а в душе птицы поют. Идет по улице, пройдет два шага, вынет карточку из кармана да посмотрит, вынет да посмотрит.

Субъективно Косте выступать по делу Жени Гараниной было труднее всех. Костя давно и безнадежно влюблен в Женю. Страдает здорово, вот уже год, но ни перед кем не показывает вида. Из всех ребят догадываются об этом, может, одна Женя да Петя. Иногда чувствуешь, бросил бы завод и переехал в другой город. Петя сам намекал ему не раз, что это, пожалуй, самый разумный выход, хотя расставаться с Костей было б ему чертовски тяжело. Но Костя из тех, что строили этот завод собственными руками. Привязался к заводу крепко, с кровью не оторвешь!

Выступать Косте против Жени, конечно, больно. В конце концов он мог и отмолчаться, но сам попросил слово. Говорил не менее резко, чем Петр, но нашел какие-то правильные, душевные слова. Ему одному хлопали даже девчата.

Все испортил он, Петя, своим заключительным словом. Но после Кости выступила Гуга и стала оправдывать Женю. Известно, каким авторитетом Гуга пользуется у девчат и по бабьей линии и по производственной. В цехе ее зовут «заслуженная фрезеровщица республики» или еще «Гуга — золотая ручка».

За Гугой, само собой, пошли выступать в том же духе и другие девчата. Петька вынужден был дать им крепкий отпор и, видимо, перегнул палку. Может быть, не стоило употреблять такие слова, как «самосуд», «индивидуальный террор». В общем, Петька явно заговорился и только подлил масла в огонь. Неприятно, но теперь уж ничего не попишешь.

Неприятнее всего то, что в глубине души он сам чувствовал себя немножко виноватым и перед Женей. Кстати, сегодня он работает в вечерней смене, можно бы сходить навестить Женю в больнице...

Недолго думая, он надел пальто и на трамвае отправился в город, купив по дороге два кило самых отборных яблок.

На площади перед больницей, натолкнувшись на возвращающихся оттуда ребят, Петя сконфузился и покраснел. Будь он без свертка, он мог еще сделать вид, что идет вовсе не туда. Если б можно было проглотить два кило яблок, как глотают секретную записку, он, вероятно, сделал бы это, не размышляя. Теперь Гуга подумает, что после разговора с ней он раскаялся в своем вчерашнем выступлении и побежал извиняться перед Женей. А что подумают ребята?

Ребята сочтут его ханжой, который клеймит Женю на собраниях, а втихомолку бегает к ней и носит гостинцы.

Скажи они ему об этом по крайней мере вот сейчас, в глаза, он сумел бы ответить. Он доказал бы им, что между принципиальным осуждением неправильного проступка и чутким отношением к совершившему этот проступок товарищу нет никакого противоречия. Но они, как назло, не говорят ничего и улыбаются, словно считают его появление здесь вполне естественным. Да разве у них у самих руки не нагружены свертками?

Когда же Гуга, отлично заметившая его смущение, разражается смехом, вовсе не язвительным, наоборот, добрым, дружеским смехом, он отвечает ей тем же, и на душе у него становится легко и ясно, будто никаких утренних сомнений и не бывало. Смеясь, он достает из пакета яблоко и протягивает его Гуге.

— Съем на ужин,— беря яблоко, говорит Гуга.

Никто, кроме Пети, не понимает соли ее ответа. Ясно, она уже читала его стихи. Стихи ее развеселили. Она больше не сердится. Они уже не в ссоре!

Он крепко берет ее под руку, и они идут по площади, смеясь и грызя золотистые ранеты, позабыв о ребятах, оставшихся там, у трамвайной остановки, и даже не угостив их яблочком.

2

Неторопливый трамвай, чинно миновав заставу, вдруг пускается вскачь со скоростью «голубого экспресса»: между городом и заводом остановки разбросаны редко — где, как не здесь, отвести душу вагоновожатому! За обледеневшими непроницаемыми стеклами басом ревет ветер. Трамвай летит, наклоняясь из стороны в сторону. Люди, уцепившись рукой за подвесной ремень, раскачиваются, как бутылки, и с размаху сталкиваются лбами. На конечной остановке, на площади перед заводоуправлением, пассажиры вываливаются скопом и облегченно переводят дух.

На завод рано, нет еще и часа. Вторая смена начинает работу в четыре. Шура Мингалева и Костя Цебенко отправились каждый к себе в общежитие. Сема Порхачев стоит в раздумье один у подножия памятника Ленину. В скомканной бронзовой кепке Ильича приютились от ветра воробьи. Если смотреть снизу, кажется, будто большой, серьезный

Ленин, слегка поседевший от снега, держит сегодня кепку как-то по-особому, бережно и неумело, словно боится уронить ее или смять. У Семы мелькает мысль: любил ли Ленин всякое зверье? Наверное, любил! Не может быть, чтоб не любил.

С памятника Сема переводит взгляд на противоположную сторону площади, на здание райкома. Вчера утром приехал Карабут. Сема хотел зайти к нему вчера же, но ребята отсоветовали. Говорят, у Карабута крупные неприятности... Ну, а сегодня? Удобно уже к нему зайти или нет? Может, обождать еще денек-другой?

Но ждать невтерпеж.

«Пойду загляну в райком. Поздороваюсь и скажу, что забегу в другой раз, когда освободится...»

В райкоме непривычно тихо. Сема решает, что лучше все-таки уйти, не морочить голову Карабуту, но не может удержаться, чтобы не приоткрыть дверь и не заглянуть к нему в кабинет.

Карабут сидит один за письменным столом и перебирает бумаги. У-у, как изменился! Похудел! Видно, после болезни.

На скрип двери секретарь поднимает глаза, коричневые, с искрой, живые, упрямые. И сразу лицо становится прежним. Ничего не изменился, такой же!

— Семка! — с неподдельной радостью кричит Карабут.— Заходи, заходи! Сто лет тебя не видел!

Они крепко жмут друг другу руки.

— Садись, рассказывай. Как живешь? Какие у тебя перемены? Что делаешь?

— Да перемен-то вроде особых нет. Все как будто по-старому... Я к тебе, Филипп Захарыч, собственно, по делу.

— Выкладывай.

— Да дело-то у меня... Не знаю, не помешал ли я тебе?

— Ничего. Бумаги не убегут. Давай, что тебя мучает? Упорхнуть куда-нибудь задумал?

— Да нет же! — Сема смущенно вертит в руках кепку.— По правде, не дело у меня к тебе, а скорее вопрос. Про новую звезду в созвездии Геркулеса читал? В газетах писали!

— Про звезду? — удивленно переспрашивает Карабут.— Погоди, где-то читал. Та, что недавно вспыхнула?

— Во-во!

— Свет от нее до нас идет что-то около тысячи семисот лет?

— Правильно!

— Помню, читал. Выходит, вспыхнула она во времена Гелиогабала. Не скажу, чтоб это событие представляло для нас особо актуальный политический интерес.

— Это конечно. То есть смотря с какой точки... Я вот прочитал тут кое-что по этому вопросу, не про эту звезду специально, а вообще... Выходит, светит звезда и светит, да вдруг, ни с того ни с сего, начнет накаляться и набухать, а потом и вовсе взрывается. Отчего бы ей? И вот, сколько я ни прочел, получается, науке до сих пор причины этого явления неизвестны.

— То есть как «неизвестны»? Звезда — не бомба, ни с того ни с сего не взорвется. Наверное, столкнулась с какой-нибудь другой звездой, только и всего... Чего ты крутишь головой?

— Нет, Филипп Захарыч, это ты по Фламмариону. Устаревшая теория. Джинс давно доказал, что звезда со звездой столкнуться не может. А если и бывают такие случаи, то, наверно, раз во много миллиардов лет. А тут в пределах одной нашей Галактики вспыхивает и взрывается не меньше шести звезд в год! Сейчас наука считает доказанным, что причины этого кроются внутри самой звезды.

— Ну, допустим, внутри. Тебе-то какая разница?

— А как же! По Джинсу выходит, каждая звезда-карлик через столько-то там миллиардов лет делается «Новой». А когда именно и отчего — никому не известно. Но ведь наше Солнце тоже звезда и тоже карлик!

— А ты откуда все это знаешь?

— Интересуюсь.

— Так, а дальше? Ну, ну?

— Значит, и Солнце наше может без предупреждения, не в этом году, так в следующем, сделаться «Новой».

— Вот как! — подавляя улыбку, понимающе кивает Карабут.

— Читал же ты в газете: астрономы высчитали, что блеск этой звезды из созвездия Геркулеса возрос одним махом в восемьдесят тысяч раз! Значит, во столько раз увеличилась ее температура! А если такое случится с нашим Солнцем? Тогда ведь от нашей Земли и головешки не останется!

— Погоди, тут что-нибудь не так! Скажу тебе по правде, я этими вопросами специально никогда не занимался. Пока сам не почитаю, удовлетворительного ответа дать тебе не смогу. Но я уверен, это какая-нибудь новая поповская штучка. Раньше попы пугали верующих кометами. Теперь насчет комет наука доказала, что бояться их нечего. И про эти «Новые» звезды докажет.

— Не то докажет, не то нет. А как же жить-то пока? Вот мы строим, построим образцовое коммунистическое общество. И вдруг — пшик! — сгорело все, как от спички... Я так не могу! Пойми, Филипп Захарыч, я ведь не за себя боюсь. Может, при моей жизни этого и не будет. Может, это случится через сто, двести, через триста лет. Разве от этого легче? Ведь работа-то наша, возведено-то нашими руками?

— Погоди, Сема, рано разводить панику. Давай порассудим здраво. Нигде еще не сказано, что обязательно каждая звезда должна пройти через эту стадию. Шесть звезд в год — это, по-моему, очень незначительный процент. А если б даже так было в самом деле, то нужно еще доказать, что наше Солнце не претерпело уже этой катастрофы когда-то в прошлом. При его почтенном возрасте это вполне допустимо. Как ты думаешь?

— Филипп Захарыч, это догадки! Не может быть, чтобы нельзя было выяснить этого по-научному. Буду учиться на астронома. Выясню!

— Во куда загнул! Я тебе сразу сказал, только в глаза посмотрел: упорхнуть хочешь! На Земле всюду побывал, где мог, теперь на звезды потянуло. Погоди, Порхунок, успеешь. Сперва у нас поучись.

— Я учусь, Филипп Захарыч. Ты не знаешь, насчет науки я любитель. Я ведь этим делом давно увлекся. Эта самая «Новая» Геркулеса вроде как последняя капля. Только книжек у нас мало. Вот я вычитал, есть по этим вопросам книга немецкого профессора Эберхардта. Только на русский не переведена. Куда ни ткнись — без иностранного языка как без рук. Я и решил немецким подзаняться. Ты не смейся! Я уже со словарем сказки Гримма читаю. Выучусь — Эйнштейна буду читать. И этого Эберхардта выпишу. Я ведь не сейчас на учебу прошусь, с осени.

— До осени посмотрим: может, тебя к тому времени на биологию или на океанографию потянет?

— Не знаешь ты меня, Филипп Захарыч! У меня что в голову засело — гвоздь! Я своего добьюсь!

— Так и надо! Пока вот что я тебе могу обещать. Подзаймусь сам этими вопросами, подберу литературу. Спишусь с товарищами в Москве, попрошу их разыскать все, что вышло. Это раз. А потом, скоро у нас будут проходить курсы секретарей. Поговорю в крайкоме, чтобы выписали нам из Академии наук докладчика. Пусть прочтет лекцию о новых теориях в астрофизике. Всем будет интересно. И тебе такую лекцию послушать невредно.

— Вот это было бы здорово!

— А сейчас, дорогой Порхунок, жму твою руку и остаюсь с комприветом. Через полчаса у меня бюро крайкома. Придется малость подготовиться.

— Простите, Филипп Захарыч, ей-богу, простите! Что же вы меня не гнали-то! Я слыхал... у вас неприятности, а я тут со своими делами... Времени сколько отнял...

— Не кокетничай, Сема. Я с тобой поговорил с удовольствием и с пользой. Ты меня убедил, что надо заняться астрофизикой. Не зайди ты ко мне, я бы это, пожалуй, упустил из виду. Иной раз увлечешься заводом и забываешь, на какой он планете построен! А отсюда и все неприятности. Ну, приветствую тебя, Семка!

3

Народ на бюро крайкома собирается ровно в два. Такова традиция, воспитанная Адриановым: начинать без опоздания. Но сегодня уже четверть третьего, а самого Адрианова нет. Впрочем, всем известно: за Бумкомбинат Адрианову влетело на оргбюро; ничего удивительного, если он в комбинате и задержался.

Люди говорят вполголоса о своих повседневных делах, и все же в воздухе носится неуловимый аромат сенсации. Пожалуй, именно потому, что говорят непривычно тихо, даже в отсутствие Адрианова, и обо всем, о чем угодно, только не о втором пункте повестки. Вторым пунктом стоит вопрос Карабута.

А вот и сам Карабут входит в сопровождении Филиферова. Все здороваются с ним с подчеркнутой учтивостью. В рукопожатии иных чувствуется легкий намек на жалость. Филиферов часто моргает покрасневшими веками.

Карабут внешне спокоен. Небольшой, широкоплечий, он даже как будто тверже обычного стоит сегодня на своих коротковатых ногах, обутых в кавалерийские сапоги. Прав-

да, он здорово исхудал, но все знают, что он болел тяжело и продолжительно и приехал, не успев поправиться. Все наперебой справляются о его здоровье, а длинный Сварзин — сегодняшний докладчик по второму вопросу — бросает шутку: «Зазорно тебе, Карабут, болеть такой детской болезнью, как скарлатина. В зрелом возрасте детские болезни особенно опасны».

Карабут отвечает, что есть болезни для зрелого возраста еще более опасные, например, старческое слабоумие. Все воспринимают это как намек на седые волосы Сварзина. Именно потому, что каждый считает Сварзина человеком недалеким, реплика Карабута кажется вдвойне неудобной. Все, как назло, умолкают, длинной паузой подчеркивая неуместную выходку Карабута. Дело спасает появление Релиха.

Релих с особой теплотой жмет руку Карабута и тут же рассказывает Сварзину свежий политический анекдот, вызывающий общее веселье.

Десять минут спустя, когда снизу долетает стук захлопнутой дверцы и кто-то от окна сообщает о приезде Адрианова, глаза всех украдкой бегут опять к Карабуту. Карабут с Релихом мирно беседуют, прислонившись к печке и церемонно угощая друг друга папиросами. Пущенный сегодня Товарновым каламбур «Капут Карабут!» припоминается почему-то всем одновременно.

Адрианов входит в зал заседаний, принеся с собой запах мороза и продолжительную тишину.

Первым пунктом повестки дня идет вопрос о недопустимой текучести состава председателей колхозов. Докладчик от крайзу говорит длинно и высокопарно. Подготовленный им проект решения, написанный на двух листах, переполнен благими пожеланиями.

Адрианов вносит предложение: «Запретить секретарям районов снимать председателей колхозов без особой на это санкции сельхозотдела крайкома. Обследовать все районы по составу предколхозов. Предоставить сельхозотделу право вносить вне очереди на бюро вопрос о неблагополучных районах». Точка.

Предложение проходит единогласно.

Бюро переходит ко второму вопросу. Докладывает Сварзин. Он пространно говорит о том, что только в самое последнее время люди, до сих пор усердно отстаиваемые Карабутом, исключены из партии по настоянию Релиха.

Релих с места:

— Это не совсем верно. Это можно сказать о Гаранине. За назначение Грамберга ответственность ложится не на Карабута, а на меня...

— Товарищ Релих, вы получите слово и тогда изложите свои соображения,— прерывает Адрианов.— Продолжайте, товарищ Сварзин.

Сварзин говорит о беспринципной драке, которую вел Карабут в течение года с заводоуправлением.

В зале очень тихо. Члены бюро рассматривают ногти и рисуют карандашом на клочках бумаги обрывки затейливого орнамента.

Сварзин читает выдержки из статей Грамберга и Гаранина. Он переходит к характеристике атмосферы, устоявшейся на заводе. Только в такой атмосфере мог прозвучать выстрел, которым комсомолка Астафьева пыталась убить своего мужа, предателя и врага партии Гаранина. Факты, известные Астафьевой и толкнувшие ее на этот выстрел, несомненно, еще серьезнее и неопровержимее, чем все, что известно до сих пор крайкому.

Реплика с места:

— Насчет мотивов Астафьевой пока ни вам, ни нам ничего не известно. Нечего гадать на кофейной гуще.

Это говорит Вигель.

— Ваши предложения?— обращается к Сварзину Адрианов.

— Предложения у меня следующие: первого секретаря райкома Карабута снять с работы и исключить из партии...

Минута молчания. Лица поднимаются от бумаг, и все с некоторым удивлением уставляются на Сварзина: загнул!

— ...второго секретаря райкома Филиферова за политическую слепоту снять с работы, записать ему строгий выговор с предупреждением и поставить к станку. Бюро райкома распустить и в ближайший срок провести новые выборы...

— Так...— медленно говорит Адрианов.— Вы кончили? Предлагаю регламент: Релиху, Карабуту и Филиферову — по десяти минут, всем принимающим участие в прениях — по пяти. Возражений нет?

— Дайте уж Карабуту и Филиферову хоть по пятнадцати,— заступается Релих.

— Нечего разводить болтовню. Товарищ Релих!

Встает Релих, большой, сутулый. И сразу сенсация.

— Я считаю предложение товарища Сварзина в корне неправильным.

Что-о? Релих за Карабута? Вот так новость! Интересно!

— Да, в корне неправильным! Нельзя бросаться такими работниками, как Карабут. Исключить из партии легко. Гораздо труднее воспитать. О том, что Карабут не враг партии, ни у кого из нас нет сомнений. Карабут — талантливый работник, незаурядный работник. Он молод, не совсем еще опытен, задирист. Знаем. Но эти недостатки излечимы. Опыт, умение срабатываться с людьми, руководить массой — все это приобретается с годами. Но есть качества, которые не приобретаются: смелость, инициативность, преданность делу партии. Этими качествами как раз Карабут обладает в избытке. Поэтому об исключении его не может быть и речи, и неправильно товарищ Сварзин пытается представить нашу борьбу как беспринципную. Да, Карабут воюет со мной вот уже второй год. Карабут глубоко уверен, что рабочий класс он знает лучше меня, методы руководства производством знает лучше меня, даже технологический процесс — лучше меня. Что ж, это не страшно. Если сегодня и не знает, через год, через два будет знать. У него есть для этого все данные. Пока что самый верный арбитр в наших с ним спорах — это практика. Да, практика. А если она иногда быстро рассудить не может, рассудят нас здесь, на бюро.— Широким движением большой руки он обводит зал.— Что касается меня, то я лично всегда плохому миру предпочитал хорошую драку.

Он выдерживает паузу. В комнате тишина. Румяная стенографистка, используя секундную передышку, стремительно чинит карандаш тем же привычным жестом, каким наверняка еще совсем недавно чистила на кухне морковь.

— У Филиппа Захаровича достаточно своих ошибок,— обращаясь в сторону Карабута, продолжает Релих.— Поэтому я ни в коей мере не намерен навязывать ему еще и мои. Такой безусловно грубейшей ошибкой с моей стороны являлось назначение Грамберга. Я должен признать, товарищ Карабут возражал против этого назначения. К сожалению, я настоял на своем. Ошибку свою я заметил слишком поздно. Что касается товарища Карабута, то ошибка его состоит в том, что он безоговорочно доверился сомнительным людям, отдал в их руки газету. Доверчивость — плохое качество партийного руководителя. У Карабута этот недостаток усугубляет его преувеличенная самоуверенность,

убеждение в собственной безгрешности. Карабут не хочет осознать свою ошибку. Вы знаете, что Гаранин исключен из партии не только решением бюро райкома, но и решением всей нашей заводской партийной организации. Казалось бы, Карабуту после такого урока элементарной политической бдительности не оставалось ничего, как сокрушенно признать свою вину и искупить ее на деле. Нет, Карабут после приезда экстренно созывает бюро райкома только затем, чтобы сообщить и зафиксировать в протоколе свое особое мнение: дескать, он, Карабут, считает решение бюро об исключении Гаранина в корне неправильным и лишенным всяких оснований.

— Не может быть!

— Товарищ Карабут сам это подтвердит. Он изложит нам здесь несомненно мотивы своего поведения. Он заявит, что для окончательного установления вины Гаранина у нас нет на руках достаточных юридических доказательств.

— Вы за меня не излагайте, я сам изложу!

Шорох.

— Я хочу вам только сказать, товарищ Карабут, что партийный руководитель, который не умеет делать выводов на основании первого сигнала,— никакой не руководитель. Это шляпа, а не руководитель! Вот до чего доводит, товарищ Карабут, упорствование в своих ошибках...

— Товарищ Релих, ваше время истекло.

— Я попрошу еще две минуты.

— Давайте. Только, пожалуйста, покороче.

— Я уже кончаю. Я уверен, что бюро поможет товарищу Карабуту осознать до конца тяжесть его ошибок и честно, по-большевистски, признаться в этом перед организацией. И тогда, я думаю, мы сможем ограничиться мерами взыскания значительно более мягкими, чем те, которые предлагал здесь товарищ Сварзин... Два слова о Филиферове. Мера взыскания, предлагаемая Сварзиным по отношению к Филиферову, мне кажется тоже чересчур крутой. Филоферов — честный рабочий парень, безусловно преданный партии. Вся его вина сводится, собственно, к одному: он недостаточно политически подкован, чтобы занимать пост второго секретаря районной организации. У себя в цехе товарищ Филиферов был прекрасным парторгом, и надо было его там оставить еще годик-другой; сначала подучить, а потом уже выдвигать на такую ответственную работу. Товарищ Карабут поспешил. Во имя красивого жеста он поса-

дил своим заместителем неподготовленного человека, не помог ему, и человек на этой работе сорвался. Я предлагал бы вернуть товарища Филиферова парторгом в один из крупных цехов завода.

— Все? Товарищ Карабут!

Карабут встает, сует окурок в пепельницу, облокачивается на спинку стула.

— Я буду краток и уложусь в десять минут. Прежде всего я должен поблагодарить товарища Релиха за ту любезную и лестную характеристику, которую он дал мне в начале своей речи. Я слыхал, что в английском клубе, когда между джентльменами дело доходит до мордобоя, один начинает рассыпаться перед другим в комплиментах. Предполагается само собой, что благородный противник должен ответить тем же. Однако я человек невоспитанный, и правила английского клуба для меня не обязательны. Поэтому я буду говорить так, как будто этого благородного вступления в речи товарища Релиха не было, а говорил он обо мне только то, что думает. Мне предъявляется здесь обвинение в покрывательстве Грамберга.

— А Гаранина? (Сварзин).

— В покрывательстве Грамберга! О Гаранине буду говорить особо. О том, что Грамберг дважды исключался из партии, никто в нашей организации не знал. Как выяснилось позже, Грамберг ухитрился потерять учетную карточку и сделал это настолько виртуозно, что не вызвал наших подозрений даже при последней чистке. Чтобы разоблачить Грамберга, надо было быть либо ясновидцем, либо иметь с ним общих знакомых, как товарищ Релих. Приходится сожалеть, что он не смог этого сделать раньше.

Исключение из партии Гаранина я считаю совершенно необоснованным и в корне неправильным, что и просил занести в протокол на последнем заседании бюро нашего райкома. Единственное, что, по-моему, причиталось Гаранину, это выговор за напечатание статьи Грамберга. Ошибки, которых доискиваются в статьях самого Гаранина, можно при желании найти и в статьях товарища Релиха. Что касается связи Гаранина с арестованным Щуко, никакая такая связь никем не доказана. Все дело Гаранина, Дело с большой буквы, создано богатой фантазией товарища Релиха, который вещественные улики подменил воображением. Присутствуй я лично на том злосчастном заседании, не

было бы никакого «дела Гаранина» и, естественно, не было бы никакого выстрела. Я кончил.

— Это возмутительно! Отрицать факты и говорить о собственных ошибках с таким апломбом! — горячится Сварзин.

— Товарищ Филиферов!

Филиферов говорит тихо, часто сморкается в платок. Как назло, сегодня у него гнуснейший насморк. Да, Карабут прав: насчет Грамберга действительно никто ничего не знал, да и сам Релих узнал случайно, в последнюю минуту. Что касается Гаранина, то ему, Филиферову, тоже не верится. Гаранина все знали: свой парень. Трудно предположить, чтобы человек умел до такой степени маскироваться. Может, он там в чем и напутал, даже наверное напутал, но скорее всего без злого умысла. Он, Филиферов, на бюро голосовать за исключение Гаранина воздержался. Предлагал сначала это дело доследовать. Что же касается его лично, то Сварзин правильно предлагал: надо его послать в цех. Когда выдвигали его в райком, он сразу предупреждал: не вытянет. Нет у него, так сказать, крепкой политической закваски. Работал у себя в цехе парторгом, сам чувствовал — хорошо работал. А тут сразу увидел — не справляется. Говорит по данному вопросу с Карабутом — все ясно для него, иначе и быть не может. А потом станет говорить с Релихом, тот докажет совсем обратное, и тоже вроде правильно. Намаялся он с этим немало. Под конец все больше стало ему казаться, что по основным вопросам прав Карабут. А в общем, конечно, надо ему еще учиться и учиться. Так что действительно правильнее всего будет снять его и послать на низовую работу. А насчет партвзыскания — это уж, конечно, как бюро решит.

— Ну что, товарищи, обменяемся мнениями? — предлагает Адрианов. — Кому слово? Товарищ Вигель!

— Я думаю, предложение товарища Сварзина ни с какой стороны неприемлемо, — с места по-военному рубит Вигель. — Если взвесить объективно и учесть продолжительную болезнь Карабута, то по существу ответственность он несет за одного Гаранина. А дело с Гараниным далеко не ясно. Насчет связи Гаранина со Щуко из Москвы подтверждений нет. Мотивы покушения Астафьевой, покуда не удастся допросить ее самое, тоже остаются неизвестными. А может, девица просто приняла к сердцу, что мужа исключили из партии? Раз исключили — значит предатель, обма-

нул доверие... Травма — пиф-паф, и готово! Можно допустить такое объяснение? Можно с равным успехом. Выходит, хотим мы человека судить на основании совсем неясного дела. За статью Грамберга, которую напечатал Гаранин, Карабут не отвечает: лежал тогда больной и газет не читал... То, что сейчас Карабут демонстративно упорствует насчет неправильности исключения Гаранина, в этом он, пожалуй, виноват; устраивать демонстрацию на бюро райкома не стоило. Раз не согласен, подавай в комиссию партийного контроля... Назначение Грамберга. Да, это безусловная ошибка. За нее надо им отвечать на равных паях с Релихом. Короче, вопрос, по-моему, надо отложить до окончательного доследования дела Гаранина и никакого решения принимать по нему сегодня нельзя.

— Товарищ Гурлянд!

Гурлянд — заведующая сельхозотделом, моложавая, подвижная блондинка, наперекор традициям одетая всегда тщательно и по моде,— любимица всего бюро.

Нет, она не согласна с Вигелем. Вигель чересчур мягко подходит к этому делу. Карабут отвечает не только за свои собственные ошибки, но и за всю систему взаимоотношений на заводе. Прежде всего за несработанность райкома с заводоуправлением.

— Почему только Карабут, а не Релих? — возражает Вигель.

Атмосферу на заводе создает секретарь райкома. В прошлый раз, когда бюро слушало их очередную распрю, вторую или третью по счету, оно твердо предложило Карабуту сработаться с Релихом. Создалось ли сегодня у кого-либо впечатление, что Карабут принял к сердцу указания бюро и пытался сработаться с заводоуправлением? У нее лично создалось обратное впечатление: ни о какой сработанности нечего и говорить. Поэтому зря дальше тянуть эту волынку. И откладывать вопрос незачем. В большей ли степени или в меньшей виноват Гаранин, это в данном случае решающего значения не имеет. Ошибочные статьи в газете печатались? Печатались! Несет за это ответственность секретарь райкома? Ясно, несет! Поэтому она предлагает: Карабута и Филиферова снять, Карабута с выговором, Филиферова можно без выговора...

— Товарищ Дичев!

...Часы, простуженно сипя, вызванивают пять. Уже час длится обмен мнениями. В пепельнице перед Карабутом вырастает громоздкая пирамида окурков и на синем сукне стола — бугорки папиросного пепла. Релих, украдкой позевывая, перелистывает записную книжку и на клочке бумаги подсчитывает какие-то цифры. За окном бледное январское солнце томится, как муха, в паутине телефонных проводов.

Адрианов, прямой и строгий, сидит во главе стола. Неизвестно, слушает или что-то додумывает. Время от времени делает пометки на листе бумаги и опять откладывает карандаш. Раза два во время прений в зал заседаний на цыпочках входит Товарнов и передает Адрианову срочные телеграммы.

— Товарищ Ткач, вы говорите уже восемь минут.

— Я кончил.

— Все, товарищи, высказались? Больше никто не желает? Тогда разрешите мне. Прежде всего краткое сообщение, имеющее прямое касательство к разбираемому нами делу. Только что получена из Москвы шифрованная телеграмма — ответ на мой двукратный запрос относительно арестованного Щуко и его связи с Гараниным. Из ответа следует, что историк Щуко Иван Витольдович, преподававший в прошлом году в КИЖе, находится на свободе и ни к какой ответственности не привлекался. Может, действительно бюро райкома несколько поторопилось с исключением Гаранина...

— Я в этом глубоко убежден!

— Погодите, товарищ Карабут. Убеждены вы в этом или нет, это — ваше личное дело... Я предложил бы выделить тройку в составе товарищей Сварзина, Вигеля и Гурлянд, поручив ей доследовать в кратчайший срок дело Гаранина и доложить нам о результатах на следующем заседании...

— Я бы советовал включить в состав комиссии товарища Релиха, — предлагает Сварзин.

— К сожалению, я уезжаю за границу. Об этом Андрей Лукич знает.

— Да, товарищ Релих уезжает по командировке Наркомтяжпрома. Завтра, кажется?

— Сегодня вечером. Очень жаль, что я не смогу присутствовать при расследовании этого дела. По вопросу о Гаранине я твердо остаюсь при своем мнении.

— Вы сможете оставить материал тройке и изложить ей подробно ваши соображения... Возникает вопрос: нужно ли нам, как предлагает товарищ Вигель, откладывать решение о товарище Карабуте до окончательного установления степени виновности Гаранина? Я думаю, что откладывать нет надобности. Найдет ли тройка нужным санкционировать решение об исключании Гаранина или ограничится менее строгим партвзысканием, ответственность Карабута от этого не уменьшится. Ошибки товарища Карабута, на мой взгляд, заслуживают самого пристального внимания. Товарищ Гурлянд правильно говорила здесь, что за несработанность райкома с заводоуправлением в первую голову отвечает Карабут. Исходя из этого, она предлагает развести Карабута с Релихом: раз не сработались до сих пор, нечего, мол, ждать, что «стерпится — слюбится». А я вас спрашиваю, товарищ Гурлянд, что это за политический термин «не сработались»? Как это мы с вами, коммунист с коммунистом, можем не сработаться, выполняя сообща одно задание партии? Что мы с вами — кадриль танцуем и не с той ноги начали?

— Но ведь не срабатываются же люди, факт,— краснея, возражает Гурлянд.

— Партия имеет в своем распоряжении достаточно сильные меры воздействия, чтобы не только предлагать, но и заставить коммунистов сработаться. Стоит нам раз встать на такую точку зрения, и завтра из бюро крайкома мы превратимся в бюро по бракоразводным делам. Каждый с кем-нибудь «не сошелся характером». А интересы производства — это что? Потворствовать этим штукам — значит не наказывать, а поощрять. Нет у нас и не может быть формулировки «освободить как несработавшегося». Может быть только одна: выгнать из партии как саботажника решений бюро... Но есть еще одна сторона вопроса, которой напрасно никто здесь не коснулся. Статья с замаскированным выпадом против партии появилась во время болезни Карабута. По мнению товарища Вигеля, Карабут за нее не отвечает. Отвечает-де второй секретарь, Филиферов. А я думаю, что Карабут отвечает полностью не только за свои собственные ошибки, но и за все до одной ошибки Филиферова. Ссылка на болезнь — это не оправдание.

— Я не оправдывался болезнью...

— Я вас не прерывал, товарищ Карабут. Будьте добры, и вы меня не перебивайте. Вы, и никто другой, выдвигали Фи-

лиферова в свои заместители. Иными словами, вы несете за него полную ответственность. Пора вам усвоить, что коммунист, рекомендующий другого коммуниста на самостоятельную работу, отвечает за него головой. Карабут, это ясно для всех, выдвинув Филиферова, не оказал ему достаточной помощи. Допустим, он ошибся в Филиферове и после тщательных попыток убедился в его неспособности. Случаи такие возможны. Тогда он был обязан поставить этот вопрос у нас на бюро, сигнализировать нам о своей ошибке, просить у нас разрешения заменить Филиферова другим. Этого Карабут не сделал. Значит, за ошибки Филиферова в первую голову отвечает не Филиферов, а Карабут. О Филиферове мы знаем, что он был хорошим парторгом большого цеха. Это говорит о нем как о способном, растущем работнике. Из его выступления ясно, что это честный, преданный партии человек. Путь от парторга большого цеха к секретарю парткома, переименованного затем в райком,— не такой уж головокружительный путь. Филиферов пытался выгородить Карабута, взять основную вину на себя. Но то, что он здесь говорил, прозвучало, помимо его желания, как самое тяжкое обвинение, которое кто-либо бросил Карабуту. Ответственность за дальнейший рост или срыв Филиферова лежит всецело на Карабуте. Мы не позволим никому из наших работников бросаться живыми людьми! Сегодня — из цеха в райком, завтра — из райкома обратно в цех... Это не мячик и не стул, который можно переставлять в зависимости от того, подошел он или нет к обстановке! То, что Карабут не осознал этой тягчайшей своей ошибки, то, что он ни словом не заикнулся о Филиферове, говорит против него красноречивее всех обвинений. Работник, не умеющий воспитывать свои кадры, не умеющий драться за свои кадры,— плохой работник...

Пауза. Тишина в зале становится угнетающей. Карабут сидит красный, нервно обкусывая мундштук папиросы, и папироса стремительно становится все короче. У Филиферова горит лицо. Вид у него такой, словно он охотнее всего провалился бы вместе со стулом сквозь натертый до лоска паркет. Сварзин, приоткрыв рот, горящими, широко раскрытыми глазами всматривается в Адрианова. Релих закрыл свою записную книжку и смотрит на Адрианова с удивлением. Гурлянд глядит в потолок, словно там

именно повис оборвавшийся на секунду голос Адрианова, и внезапно вздрагивает при звуке новой фразы:

— Предложение у меня следующее: записать товарищу Карабуту строгий выговор за плохую работу по воспитанию кадров и за притупление бдительности. Предложить ему в последний раз наладить нормальные отношения с дирекцией завода. Точка. Все. Есть ли у кого другие предложения? Нет. Ставлю на голосование предложение товарища Вигеля.

— Я снимаю свое предложение,— говорит Вигель.

— Голосую предложение товарища Сварзина.

— Я снимаю свое предложение.

— Нет ли других предложений? В таком случае ставлю на голосование мой проект решения. Кто «за»? Восемь... одиннадцать. Принято единогласно. Переходим к следующему пункту повестки...

Внизу, у подъезда, шофер Вася, отплевываясь и кряхтя, заводит ручкой мотор. Вася пыхтит и потеет, но мотор оскорбительно молчит. На дворе мороз. Воздух прозрачно-сухой, выжат до последней слезинки. Люди ушли в шубы, выглядывают из них неохотно и сердито. Вася в двадцатый раз, поднатужась, налегает на ручку.

— Не заведется, что ли?— нетерпеливо спрашивает Карабут.

— Филипп Захарыч, садитесь, подвезу— раздается за спиной голос Релиха.— Зажигание у вас, видно, не в порядке. Долго проканителитесь.

— Спасибо, поеду на своей, а то еще расшибете,— с кривой улыбкой отвечает Карабут.— Сами за рулем или с шофером?

— Сам. В такой день — одно удовольствие. Садитесь, довезу в целости и сохранности.

Машина Релиха соблазнительно фырчит. Вася все еще возится со своим упрямым молчальником. Карабуту надо срочно на завод. Филиферов задержался в промышленном отделе. Все равно пришлось бы за ним отсылать машину обратно.

— Ладно... Подождите тогда Филиферова,— говорит Карабут потному и расстроенному Васе.— Я поеду с товарищем Релихом.

Релих включает скорость, и автомобиль, описав полукруг, пронзительно гудя, мчится по неровному булыжнику.

— Ну что, получили по выговору, и квиты? — поворачивая лицо к Карабуту, смеется Релих. — Хотите руку?

— Держитесь-ка за руль. А то либо меня расшибете, либо задавите кого-нибудь.

— Отвергаете протянутую десницу?

— Я не любитель акробатики. Дам вам руку, когда будем стоять на твердой почве.

— Это что, аллегория?

— Как вам удобнее...

Машина плавно бежит вниз и поворачивает к реке.

— А молодец Адрианов! — вдруг говорит Релих. — Вот умница! И заступился и стукнул — все как полагается. И не обидно. Он один это умеет. Знаете, Филипп Захарыч, вот озолоти меня, ни за что не перешел бы работать в другой край! А вы?

— Не собираюсь.

— Увидите, как мы с вами еще поработаем. Такой встречный в этом году загнем, в Наркомтяжпроме ахнут! Что ни говорите, а все-таки великое дело привычка. Вот лошади и грызутся в одной упряжке, а все-таки везут.

— «Да только воз и ныне там...»

— Если вы хотите этим сказать, что считаете себя крыловским лебедем, то в этом есть известная доля здоровой самокритики. Всячески приветствую.

— А кем же вы себя тогда считаете? Раком или щукой?

— Вы, конечно, хотели бы видеть меня щукой, к тому же предпочтительно фаршированной.

— Преувеличение! Я вовсе не так кровожаден.

Сквозь фермы моста видна карта дорог и троп, проезженных и протоптанных за зиму на ледяной спине реки. Одинокий воз, груженный дровами, отчалил от правого берега. Исчертив крест-накрест весь снеговой пейзаж, мост подается назад.

— Клапана у вас стучат. Насилуете мотор, — после длительного молчания лаконически бросает Карабут.

— Верно! Машину водить не умеете, а все-таки разбираетесь.

— Простейший мотор внутреннего сгорания...

— Я и забыл, что вы скоро будете у нас инженером.

— Инженером не инженером, а технологический процесс буду знать назубок, будьте покойны! Никаких непостижимых секретов в этом нет.

— Зря меняете профессию, Филипп Захарыч!

— Какую профессию?

— Сколько вы лет на партийной работе?

— Со дня рождения.

— Сколько все-таки?

— Восемь.

— Вот видите, и вдруг хотите менять профессию партийного работника на инженера. Ведь инженер-то вы все-таки начинающий.

— Повторите мне еще, что Журавлев великолепно руководил заводом, хотя не вмешивался в технологический процесс.

— Не вмешивался.

— Поэтому-то вы с ним так дружно и работали.

— Я и с вами дружно буду работать, может быть, еще дружнее, чем с вашим предшественником, когда у вас инженерный стаж будет такой же, как сейчас партийный.

— Зря вы этого не сказали Адрианову.

— Вы неверно меня поняли. Я хочу сказать, что с каждым годом мы будем работать все дружнее.

Машина летит по ровной мощеной дороге, через покрытые снегом плоские российские поля. На телеграфных столбах, нахохлившись, сидят вороны. Тишина и раздолье. Только там, вдали, над рекой, вереницей бурлаков шагают ажурные мачты, таща в скрюченных штопором пальцах провода высокого напряжения. На горизонте видны уже первые строения завода.

— Сегодня уезжаете? — спрашивает Карабут.

— Так точно. Дольше задерживаться не могу. Торопят из Наркомтяжпрома. Утром получил шестую телеграмму.

— Что ж, счастливого пути, как говорится в подобных случаях.

— Видите, помогаю вам, как могу, выполнить директиву бюро. В мое отсутствие вам несомненно легче будет со мной сработаться.

— Надолго едете?

— Месяца на полтора, может, на два. Мало? На дольше не пускают. Знаете хорошо, что в угоду вам я способен на любую жертву. Например, остаться за границей еще на месяц и съездить в Италию... Кстати, привезти вам что-нибудь из-за границы? Фотоаппаратами или чем-нибудь в этом роде не увлекаетесь?

— Увлекаюсь сваркой лонжеронов. Привезите мне какой-нибудь новый рецепт.

— Это само собой. А так ничего вам не надо? Все равно неудобно приезжать без подарков.

— Благодарствую. Кто-то из мудрецов, не то Сенека, не то Козьма Прутков, говорил: раз ты принимаешь подарки, очевидно, ты богатый человек. Что касается меня, то мне они не по карману.

— Не слыхал такого афоризма. Очевидно, этого Козьму Пруткова в просторечии звали Карабутом... Вас куда, к райкому?

— Если вам не трудно...

— Вижу, что язык английского клуба вовсе вам не чужд. Изъясняетесь на нем великолепно... Вот мы и приехали. Так как же по-вашему: стоим мы сейчас на достаточно твердой почве, чтобы пожать друг другу руку или нет?

— Для меня решение бюро — достаточно твердая почва. Для вас — не знаю.

— Коль уж на то пошло, то я, кажется, протягивал вам руку первый. И до решения бюро, на заседании, и после. Значит, работаем? Честно и по-большевистски?

— Я иначе не умею.

— Если подеремся, то пусть перья из нас летят, но чтобы на заводе это не отражалось!

— Какой же смысл тогда драться? Пусть отражается, но положительно.

— А знаете, Филипп Захарыч, вы не поверите, но я искренне рад, что нас оставили вместе. На следующий день после вашего ухода я наверняка смертельно бы заскучал. Всего вам хорошего, Карабут. Давайте лапу еще раз. Ну, живите, здравствуйте, работайте и не поминайте лихом!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

И вот, оплевав дымом окрестные поля, поезд с неистовым воем врывается в пригород. «Мицци, Мицци, где мой шарф? Ты его, наверно, засунула в чемодан!» Скрипят ремни от портпледов. И крик и беготня по коридору.

А за окном, прихрамывая, уже бегут навстречу заборы, заборы, рыжие, одинокие стволы фабричных труб, красные квадратные дома и приземистые домишки с тусклыми глаз-

ницами окон и провалившимся носом дверей, бегут трансформаторы и провода, густые, как струны рояля, и опять дома в пестрых пластырях реклам.

Поезд, споткнувшись на стрелке, путает привычный размер и, приноравливаясь к упрямой скандировке заборов, послушно отстукивает такт: «И ныне, и присно, как встарь, германским останется Саар!..»

Да, ведь через четыре дня в Сааре плебисцит!

А уже внизу, под колесами, одна за другой, нагибаясь, прошмыгивают улицы. У пивной на углу, заглядевшись на поезд, дружно, как по команде, зевают два эсэсовца. Собака, задрав заднюю лапу, поливает фонарный столб. «Курите только папиросы «Мурати Приват». И опять дома, заборы, прямая просека улиц, две старухи с продуктовыми сумками, неподвижные, как памятник, у пустынной остановки трамвая, лощеный шупо в черной лакированной каске, похожей на надетый на голову детский унитаз, а потом окна, окна, запотевшие, разрисованные инеем, сквозняк окон, занавесок, тюлевых штор и пухленькая блондинка в ореоле из папильоток над тихим горшком герани. «Съев бифштекс или котлетку, не забудь принять таблетку «Бульрихзальц»... «Бульрихзальц», «Бульрихзальц»...

Где-то вдали промелькнула безыменная товарная станция, и длинный состав красных вагонов оборвался внезапно, как отрезанный шнур сарделек. Окруженный свитой автобусов и легковых машин, поезд вкатывает в город. Вот они все остались позади, отнесенные в сторону медленным течением проспекта. Поезд, громыхая, летит над крышами домов, над внезапно разверзающимися гулкими пропастями улиц — Берлин! Берлин! — и через минуту снова врезается в плоть города, рассекая ее пополам, как круг швейцарского сыра, весь усеянный дырками окон. Плакаты, плакаты, дома. «Тверди, как заповедь божью: правда не может стать ложью! Саар, мы знаем заранее, не может жить без Германии!»

Человек в потертом пальто толкает стеклянную дверь. Огромная вывеска «Ашингер». Газетчик со ртом, раскрытым для крика, размахивает белым флагом газеты. Господин с поднятым воротником остановился у витрины аптекарского магазина. «Нет таких или очень редко, кто не знал бы свойств таблетки «Бульрихзальц». И опять, как упрямый рефрен: «И ныне, и присно, как встарь, германским останется Саар!..»

Поезд бежит, оглушен и окаркан этим назойливым словом, стаей этих слов, слетающей навстречу с каждого рекламного столба: Саар! Саар! Саар!..

Запыхавшийся, истекающий паром, он врывается на вокзал.

Фридрихштрассе!

Крикливый косяк людей. Из вагонов на перрон гурьбой прут пузатые чемоданы. Вслед за чемоданами поодиночке выползают люди. Вспышки восклицаний и поцелуев. «Ах, Франц, как ты плохо выглядишь!..» — «Осторожно, не кидайте, там фарфор!..»

Релих протискивается за носильщиком и долго дрейфует в толпе, окруженный щебечущей стаей японцев. Сколько их! Откуда! Ехало всего семеро, а вдруг стало не меньше тридцати!

Выбравшись из толчеи, он озирается вокруг. Вокзал как вокзал: пассажиры, носильщики, шупо. Первое, что бросается в глаза,— это полное отсутствие штурмовиков. Он готов удивиться, но вспоминает про 30 июня. Очевидно, после неприятности с Ремом всех их понемножку убрали со сцены. Зато эсэсовцы представлены в совершенно достаточном количестве. Подтянутые, в своей черной форме они кажутся штурмовиками в трауре.

На площади перед вокзалом ветер и снег. «Чем расстегивать жилетку, съев обед, прими таблетку «Бульрихзальц». «Саар! Саар! Немецкая вотчина! Не будешь отщепенцами опорочена!»... Дверца такси закрывается, как диафрагма.

В гостинице по фурору, который производит его красный советский паспорт, Релих легко заключает, что советские граждане теперь здесь редкие гости. Он направляется к лифту, почтительно провожаемый портье и любопытными взглядами всей гостиничной челяди.

Комната с мраморным камином после пыльного купе ослепляет чистотой, словно вылизанная языком. Пухлые немецкие амуры, поддерживающие часы, осовело смотрят с камина. Хрупкий бой в шапочке паяца втаскивает чемоданы.

— Сударь...— слышит вдруг за спиной Релих.

Он вопросительно поворачивает голову.

— Разрешите смелость: в России... очень холодно? — спрашивает парнишка, пожирая Релиха глазами, горящими любопытством.

Релих чувствует, что парню хочется спросить совсем о другом. Смущение боя забавляет его. Достаточно ответить, что в России холодно, но хорошо, и парень, ухватившись за это слово, как за протянутый палец, засыплет вопросами. Но Релиху не хочется протягивать палец. Роясь по карманам в поисках мелочи, он отвечает равнодушно:

— Сейчас холодно, полоса морозов, а так ничего, средне.

Он достает из кармана две марки.

Бой, заметив его жест, торопливо и конфузливо исчезает за дверью. Когда Релих протягивает деньги, парня в комнате уже нет. Релих выглядывает в коридор и видит у поворота быстро удаляющуюся треугольную спину. Удрал! Вот чудак!

Распаковав чемодан, Релих принимает ванну, переодевает костюм и спускается вниз. В парикмахерской его стригут, бреют, массируют, пудрят, приводят в порядок ногти и забавляют светским разговором. Основные темы дня: резкая перемена европейского климата и флемингтонский процесс. Действительно ли Гауптман похитил ребенка Линдберга? Не надобно ли и здесь «шерше ля фам»? Вот хотя бы, возьмите, эта шикарная нянечка, фрейлейн Бетти Гоу, не кажется ли она вам немножко подозрительной?

Тем временем часы с амурами на мраморном камине стрелками, как циркулем, уже отворяют вторую половину дня. Пора обедать.

В ресторане отеля седой господин во фраке с перекинутой через руку салфеткой скорбно сообщает Релиху, что сегодня «эйнтопфгерихт» — обед из одного блюда в фонд «зимней помощи». Таков декрет имперского правительства.

На столе перед Релихом появляется тарелка рисовой каши с рассеянными в ней тут и там, как изюминки, мелкими клочками мяса.

Очистив тарелку без особого аппетита, Релих безропотно платит по счету, как за нормальный обед из четырех блюд, и в кисловатом настроении поднимается к себе наверх. Время довольно позднее.

Он решает свой визит в полпредство отложить до завтра и сегодняшний день посвятить бесцельным шатаниям по Берлину.

Монументальный швейцар в облачении посла иностранной державы распахивает перед ним дверь в город.

Прежде всего запастись папиросами.

В табачной лавке на углу гибкий продавец приветствует его почтительным «Хайль Гитлер!». Релих выбирает две коробки папирос «Мурати Приват». «Кто их не пробовал, — тверди навязчиво, — тот недостоин званья курящего»... Коробку спичек.

Продавец, очевидно по акценту, узнает в нем иностранца и провожает уже беспартийным «до свидания».

У автобусной остановки Релих закуривает и на минуту застывает в раздумье: куда ехать?

Двухэтажный автобус высаживает его на Курфюрстендамм.

Бегут одышливые автобусы и длинные, цеппелиноподобные лимузины. У самых длинных и приземистых — таких приземистых, что, кажется, они волочат животы по асфальту, — заткнут за ухо треугольный флажок со свастикой. Торопливо проходят люди в котелках и шляпах. Кепок не видно вовсе.

Релих мысленно пытается уловить, что изменилось в облике этого города. Уличное движение, пожалуй, стало меньше — это бросается в глаза. Люди? Люди более подтянуты и подчеркнуто немногословны. Особенно это заметно в автобусе. Больше рейхсверовцев. Больше шупо. Прохожие более торопливы. Редкие здороваются друг с другом реформированным жестом римских патрициев. Большинство — по-старому: приподымают котелки. Те, кто в приветствии придерживается гитлеровского ритуала, делают это как-то неловко, впопыхах, порывисто сгибая в локте правую руку и подымая ладонь на уровень подбородка, словно немножко стесняются иронических глаз толпы. Для государственных чиновников этот привет будто бы обязателен. Но государственные чиновники, видимо, мало разгуливают по улицам.

Семитских лиц вовсе не так уж мало. Впрочем, может быть, это признанные законом «евреи-метисы», насчитывающие среди предков второй линии не больше двух полных евреев, в отличие от своих презренных собратьев, одаренных целыми тремя?

Размышления Релиха прерывает оркестр эсэсовцев, пружинным шагом, к восторгу уличных мальчишек, пересекающий площадь. «И кровь в артериях саарца, и в Сааре вода немецкою останется, немецкой навсегда!..»

Вечер, татуированный пестрыми разводами реклам, встречает Релиха в незнакомом отдаленном квартале. Уста-

лые ноги настойчиво взывают о передышке. Перед ярко освещенным фасадом театра человек в ливрее сует в руки прохожим рекламные листки. Бурный успех! Комедия из русской жизни «Товарищ» французского автора Жака Деваль, в немецкой переработке Курта Гетца.

«Зайти, что ли? Все равно нет смысла возвращаться так рано в отель».

Релих входит в вестибюль, встречаемый, как триумфатор, низкими поклонами швейцаров. Давки у касс незаметно. Длинная аллея из поклонов ведет его в зрительный зал. Пустовато. Не зря так густо кланяются!

На сцене юный и благородный русский великий князь утонченно бедствует в эмиграции на ролях лакея, имея на текущем счету четыре миллиарда франков. Но деньги эти принадлежат по праву «несчастной» императорской фамилии, и князь не желает к ним притрагиваться, твердо решив при первой возможности вернуть их «законным наследникам престола». Вдруг появляется большевистский комиссар, он же красный генерал Гороченко,— садист и изверг, истязавший князя еще там, в России. Сейчас Гороченко что-то вроде наркомфина. Большевикам до зарезу нужны кредиты, и они, по заявлению Гороченко, готовы отдать в залог иностранному капиталу советские нефтяные источники. Но тут в великом князе просыпается великий патриот. Он не может допустить, чтобы святая матушка Россия открыла свои недра иностранцам! И он великодушно дарит большевикам чек на четыре миллиарда.

Зрительницы прочувствованно сморкаются в платочки. Релих, не высидев до конца, тихо покидает зал.

Улица заметно опустела. Редкие машины скользят по ней, как лакированные тени. Сумрак, запаянный в трубки, горит пунцовым пламенем неона. Зазевавшись у перекрестка, Релих вздрагивает от прикосновения чьей-то руки. Девушка с длинными встревоженными ресницами, в надвинутой на лоб микроскопической шляпке, вкрадчиво берет его под руку.

— Пойдем?

Он отрицательно качает головой и, высвободив руку, переходит на противоположный тротуар.

Предвкушая вечерний «эйнтопфгерихт», он предпочитает зайти выпить честного кофе с честными сдобными булками...

Теперь еще немного подышать свежим воздухом после несвежего запаха этой лежалой французской комедии на немецкий лад! На четвертом перекрестке его окликает большое белое «U»[1] на синем квадрате стекла. Он послушно спускается в подземку. Отходит последний поезд. В наполовину пустом вагоне Релих устраивается на скамейке у окна. «Сев за стол и взяв салфетку, не забудь принять таблетку «Бульрихзальц».

На следующей остановке рядом с ним присаживается молодой, опрятно одетый человек с тонким арийским носом. Новенькая фетровая шляпа делает его еще более неотразимым. Молодой человек ставит на пол небольшой деревянный ящичек и, удобно рассевшись, разворачивает свежий номер «Фелькишер Беобахтер». Вагон постепенно наполняется, вбирая запоздалых прохожих.

На одной из остановок молодой человек выходит. Когда поезд трогается, Релих замечает, что сосед позабыл свой сундучок. Окликать поздно, поезд идет полным ходом. «Ну и черт с ним! Мне какое дело? Как бы самому не прозевать остановку!»

Но тут происходит нечто совершенно неожиданное. Один из пассажиров, пробираясь к выходу, задевает ногой позабытый ящик. И вдруг, как осколки взорвавшейся бомбы, в воздух летят белые листки бумаги. Пассажиры шарахаются в смятении. Один листок падает на колени Релиха. Он видит крупными буквами набранное слово «Геноссен!» и резким движением стряхивает листок на пол. Растерянно смотрит на открытый ящик. Из ящика, извиваясь и вздрагивая, свешиваются на пол обессиленные пружины.

— Тормоз! Живо, тормоз! — кричит проводнику саженный дядя со свастикой в петлице.— Останови поезд!

Пассажиры, повскакав с мест, скопом кидаются к дверям. Толпа оттесняет от тормоза явно неповоротливого проводника, извергающего проклятия, чересчур ретивого «наци». Когда поезд останавливается на станции, все гурьбой вываливаются на перрон.

Релих вовремя соображает, что оставаться здесь с советским паспортом по меньшей мере нецелесообразно.

---

[1] Первая буква слова «Untergrunden» — обозначение станций берлинского метрополитена.

Пользуясь давкой, он вместе со всеми вываливается в открытую дверь и приступом берет лестницу. На перроне верещит свисток.

Теперь уже не опасно: на лестнице перемешались пассажиры из всех вагонов.

Он видит вокруг себя тревожные, взволнованные лица. Толпа, напирающая снизу, почти выносит его в вестибюль. До ушей Релиха долетают разрозненные слова.

— Листовки на пружинах... Оставляют в вечерних поездах... Третьего дня засеяли целое депо...— поясняет соседу в кепке сосед в железнодорожной форме.

— Это еще что! А вот я вчера на Алексе... прохожу... раздают рекламный проспект: зубная паста... Стал читать, а там такое написано... Не дай бог, если кто увидит!..

Заметив, что Релих прислушивается к его словам, человек мгновенно замолкает.

Большое белое «U» над выходом звучит, как вздох облегчения. Толпа рассеивается. Релих сворачивает в первую людную, ярко освещенную улицу. Попав в поток пешеходов, замедляет шаг.

«Ну и везет же мне, черт возьми! Другой ездит по Берлину целый год — и хоть бы что! А мне стоило раз проехаться на метро, сразу чуть не влопался в историю!»

Он дает себе слово больше не пользоваться подземкой. Лучше уж ездить на такси. Но такси, как назло, нет. Впрочем, теперь, кажется, уже близко.

Из-за угла с пением выходит отряд. Гитлеровская молодежь со знаменами. Наверное, с митинга. Отряд проходит мимо, четко отбивая шаг. «И любых из нас спросите: «Христиане вы иль нет?» — «Адольф Гитлер наш спаситель!» — вы услышите в ответ. Лучезарен, бодр и весел, он ведет нас неспроста. И мессия наш Хорст Вессель понадежнее Христа!..»

Красным заревом неона горит над домами небо. На лакированных касках шупо мерцают красные блики. Так, наверное, мерцали они в ночь пожара рейхстага.

Релих смотрит вслед удаляющейся колонне. Ему не по себе. Как будто только что в двух шагах, не за-

метив его, промаршировала целая процессия умалишенных. Опасности нет, но все же немножко неприятно...

Усталый, почти ведомый инстинктом, он набредает наконец на освещенный подъезд отеля. Ряженный министром швейцар, кланяясь в пояс, открывает перед ним дверь в безмятежное царство сна.

2

Следующее утро ушло на визит в полпредство и на телефонные звонки. В полпредстве Релиха встречают с нескрываемым удивлением. Наркомтяжпром великолепно знает, что при нынешней политической обстановке посылать сюда людей нет никакого расчета. Последние две партии энергетиков и тепловиков, не высаживаясь в Берлине, отбыли во Францию. Если Релих дорожит временем, он сделает самое разумное, последовав их примеру.

Релих покидает особняк полпредства, унося целый ворох советов и напутствий. За дверью медным грохотом военного оркестра его встречает Германия.

В укромном элегантном ресторанчике его кормят досыта супом из бычьих хвостов и рябчиками в сметане. «Эйнтопфгерихт», к счастью, полагается один раз в месяц. Бутылка замороженного рейнского вина окончательно мирит Релиха с Берлином. Закурив папиросу «Мурати Приват» («Стоит понюхать их, даже не глянув, чтобы понять наслажденье гурманов»), в самом благодушном настроении он выходит из ресторана.

Долговязый автобус, скрипя рессорами, увозит его в Шарлоттенбург.

Сойдя на Вильгельмплац, после минутного раздумья он подзывает такси и велит везти себя на Бюловштрассе. У Ноллендорфплац он расплачивается с такси и дальше идет пешком. На углу Винтерфельдштрассе он покупает «Берзенцейтунг», «Ангриф» и, зайдя в угольное кафе, заказывает чашку черного кофе по-турецки.

Из блаженной сиесты его выводит мужчина в сером английском пальто из великолепного толстого драпа с чуть широковатыми лацканами.

— Ба! Кого я вижу? — кричит по-немецки незнакомец и, подойдя вплотную к Релиху, восторженно трясет его руку. — Какая встреча! Рудольф только сегодня сообщил мне, что вы в Берлине!

— Очень рад вас видеть, — любезно улыбаясь, говорит по-немецки Релих. — Мария перед отъездом поручила мне непременно повидать вас и передать самый горячий привет. Садитесь. Чашку кофе с ликером?

— Не стоит. Что вы вообще здесь делаете? Поедемте куда-нибудь. Расплачивайтесь поскорее. Я пойду позову такси. Такая встреча заслуживает, чтобы ее достойным образом вспрыснуть!

Они сидят уже в такси. Пять минут спустя такси останавливается у серого четырехэтажного дома, ничем не примечательного на вид. Немец первым поднимается по широкой темноватой лестнице. Релих послушно следует за ним. На площадке третьего этажа немец останавливается и ключом открывает дверь.

— Пожалуйста, прямо и направо.

Несколько старомодная и мрачная гостиная не отличается ничем от сотни других берлинских гостиных времен 1912 года — с кружевными салфеточками на спинках кресел и неизменной копией беклинского «Острова смерти» в почерневшей золоченой раме. Все это пахнет студенческими временами. От тюлевых штор на окнах, от засиженных мухами неразборчивых морских пейзажей Релиха обдает ветерком приятных воспоминаний. Даже воздух в этой комнате, приторно-кислый на вкус, — так пахнут иногда старые ковры — кажется, устоялся с довоенных времен, нетронутый сквозняком неугомонных событий. Нужно заглянуть в суровое трюмо, обросшее, как озеро, резными деревянными лилиями, всмотреться в отражение длинного бритого лица с большим коричневым лбом и с мешками у глаз, чтобы не ошибиться в летосчислении почти на четверть столетия.

— Извините, я тут немного замешкался. Черт их знает, где у них что стоит! — обращается к нему вдруг по-русски спутник, наполняя вермутом две зеленоватые рюмки. — Прозит! С приездом! Хорошо, что вы позвонили с утра. По правде, мы ждали вас значительно раньше. Думали, уже не приедете. Завтра вы бы меня не застали. Уезжаю с вечерним поездом. Через неделю буду в Париже. Там сможем поговорить подробнее. Когда возвращаетесь в СССР?

— Через месяц, возможно, через полтора.

— Срок вашего пребывания за границей придется сократить до минимума. Как только управитесь, поезжайте обратно.

— Намного раньше вряд ли сумею.

— Сумеете. Есть дела поважнее, которые требуют вашего присутствия на заводе.

— Какие именно?

— Пошлем к вам одного человека. Устроите его к себе на завод.

Релих отвечает не сразу.

— К сожалению, должен вас предупредить,— говорит он медленно, взвешивая слова.— Мои дела на заводе сильно пошатнулись. Никого больше, по крайней мере в ближайшие два-три месяца, устраивать у себя не смогу.

— Что, вас сняли с работы?

— Пока еще не сняли.

— Так в чем же дело? Боитесь?

— Не поймите меня превратно. Мне кажется, я могу быть вам полезен лишь постольку, поскольку остаюсь в партии и занимаю определенный пост. Если меня снимут с завода и вышибут из партии, польза от меня будет минимальная.

— На основании чего вы решили, что вас подозревают?

— Для этого не надо быть особенно проницательным. Спас меня лишь удачный маневр: я вовремя взял в свои руки инициативу!..

— Вот как!

— Счастливое стечение обстоятельств,— спешит пояснить Релих, приняв восклицание собеседника за проявление интереса.— Заболел мой секретарь райкома. Подсиживает меня уже год. А второй секретарь, к счастью, парень малограмотный, не особенно разбирается в тонкостях политики.

— Гм... Это клад, а не секретарь. Чем же вы еще недовольны?

— В моем положении, чтобы завоевать доверие, надо было проявить чудеса сверхбдительности! — Он выдерживает паузу и добавляет почти со скорбью: — Пришлось разыграть целую детективную комедию с прологом и эпилогом... Впрочем, снятия секретаря я так и не добился. Заступился крайком... Сейчас там работает специальная комиссия...

— Но вы, видимо, должны были сообщить мне не только об этом...

— Вы правы,— выпрямляясь, говорит Релих.— Я приехал передать информацию и получить указания.

— Давайте, что у вас там?

Релих расстегивает портфель.

— Докладная записка?

— Да.

— Это все, что вас просили передать?

— Нет. Вот еще новый шифр. Прежним на всякий случай лучше не пользоваться.— Релих достает из портфеля однотомник Гвиччардини.— Страница помечена...

— Хорошо! Управляйтесь поскорее и возвращайтесь обратно. В конце будущего месяца мы направим вам отсюда человека. Будьте добры устроить его у себя на заводе.

Релих долго закрывает упорно не застегивающийся портфель.

— Я только попрошу об одном,— говорит он после длительного молчания; уши его горят.— Чтобы у этого человека не было таких липовых бумаг, как обычно.

— Не беспокойтесь, бумаги у него будут в порядке. Устроите его у себя месяца на два. Парень изворотливый, одна беда — не знает советских условий... Без опытного руководства может засыпаться...

Релих молча кивает головой.

— Давайте чокнемся за успех! Первоклассный вермут, зря брезгуете. Вид у вас не больно веселый. Если бы мне не говорили о вас как об одном из преданных людей, можно было бы подумать, что немножко дрейфите. Ну, обижаться нечего, я пошутил! Так как же, когда выезжаете в Париж?

— Завтра.

— Позвоните мне по парижскому телефону так недельки через четыре, перед отъездом. Сведу вас там с одним близким нам человеком, немцем. Он оказывает нам очень большие услуги. Договоритесь с ним окончательно. Насчет субъекта, которого направим к вам на завод, и еще кое о чем другом... Допивать не будете? Тогда давайте уберу... Можете меня не дожидаться. Выходите один. На углу найдете такси. Всего хорошего!

Такси высаживает Релиха на Александерплац. Релих пересекает площадь и, нарушая вчерашний зарок, спускается в подземку. На небольшой пустынной станции он выскакивает на перрон перед самым сигналом к отправлению. Поезд уходит. Убедившись, что никто не выскочил вслед за ним, Релих поднимается наверх, берет на углу такси и велит везти себя в отель. Осторожность никогда не мешает. Он заказывает у портье билет на утренний парижский поезд и затем, оплатив счет, поднимается к себе. Восьмой час вечера. Ужинать еще рано. Идти никуда неохота.

Релих сбрасывает пиджак, берет с кровати подушку и, притушив свет, вытягивается на диване. Приятная горечь папиросы действует успокаивающе. За окном приглушенно звучит гневная маршевая песня. Потом улицу заволакивает тревожная городская тишина.

Потухшая папироса летит в угол. Релих переворачивается на бок и закрывает глаза.

Где-то далеко, в пространстве, растет низкий заунывный звук. Звук раскалывается сначала надвое, потом на все более мелкие осколки. Воздух протяжно гудит. Волны звуков вздымаются и падают, размеренные, как прилив. Звонят, что ли?

Релих вспоминает, что в последние дни перед плебисцитом декретировано звонить по вечерам во все колокола. Кирки всей Германии перезваниваются с кирками Саара.

Диван, на котором лежит Релих, начинает раскачиваться, как люлька. Убаюканный колокольным перезвоном, Релих опускается в сон.

Ему снится пасха, белый накрытый стол, розовый поросенок с яйцом в зубах и сахарный барашек, придерживающий крохотную хоругвь с вышитой на ней свастикой. Релих протягивает руку, чтобы отрезать ломтик румяной, соблазнительно пахнущей колбасы. Но тут колбаса, свернутая в кольцо, внезапно по-змеиному поднимает голову и, раскачиваясь, тянется к его руке. Релих вскрикивает и просыпается, чтобы через секунду еще глубже погрузиться в сон.

Теперь он висит высоко, на колокольне Ивана Великого, обхватив руками и ногами медный язык колокола. На площадке внизу стоит звонарь в сером английском пальто из великолепного толстого драпа с чуть широковатыми лацканами и, откинувшись назад, обеими руками изо всех сил

тянет за веревку. Релих кричит, обуянный ужасом, еще плотнее прильнув к холодной меди языка, а колокол раскачивается влево-вправо, влево-вправо — бамм!..

Релих просыпается. Кажется, хлопнула дверь. Впрочем, он не совсем в этом уверен. Некоторое время, еще вконец не очухавшись от сна, он лежит, прислушиваясь. Колокольный звон утих. Сейчас явственно слышен какой-то другой шум. Словно сильная струя воды низвергается из крана в раковину. Неужели он забыл закрыть воду в умывальнике?

Несколько секунд он лежит и слушает. Несомненно, это шум воды в ванной. Надо проверить. Он встает, зажигает в передней свет и подходит к двери ванной комнаты.

Дверь в ванную заперта, причем заперта изнутри. Релих прислоняет к ней ухо и отчетливо слышит шум воды, напускаемой в ванну. Это еще что такое?

Он дергает несколько раз за ручку двери и прислушивается опять. Никакого ответа. В раздражении он громко стучит в дверь. Молчание. Он стучит в дверь кулаком.

Щелк отодвигаемой задвижки. Дверь приоткрывается. На пороге появляется незнакомый голый мужчина с намыленной грудью.

— Чего вам надо? — сердито бросает мужчина по-немецки.

— Что вы здесь делаете? — спрашивает изумленный Релих.

— Видите, что делаю. Принимаю ванну.

— Да, но как вы попали в мою ванную комнату?

— То есть как это в вашу?

— Очень просто, это мой номер.

— Простите, почему вдруг ваш? Это мой номер.

— А вы вот посмотрите, — предлагает Релих, проходя в комнату и приглашая жестом незнакомца. Вся эта история начинает его забавлять.

Мужчина босиком пересекает переднюю и заглядывает в комнату. Окинув взором обстановку, он смущенно пятится, прикрывая дверью свой стыд.

— Извините, — бормочет он сконфуженно. — Я, кажется, действительно ошибся номером... Должно быть, мой номер рядом. Ради бога, простите! Я сию минуту оденусь...

— Да ничего, мойтесь уж, — смеется Релих. — Воды хватит.

— Нет, нет! Пожалуйста, извините! Сейчас оденусь.— Мужчина притворяет двери.

Релих в веселом настроении возвращается на диван. Забавная ситуация! Субъект явно под мухой.

В ожидании ухода незваного гостя он просматривает сегодняшние газеты.

Щелкнула открываемая задвижка.

— Извините, пожалуйста, еще раз...— бормочет мужчина, просовывая голову в дверь.— Пожалуйста, извините...

Лицо его кажется Релиху откуда-то знакомым. Впрочем, Релих не успевает к нему присмотреться. Субъект уже выскользнул в коридор.

Дочитав газеты, Релих принимается укладывать чемодан. Эта операция отнимает у него всегда очень много времени. Вещи, как правило, не влезают. Приходится с ними бороться, давить их в грудь коленом, чтобы заставить потесниться. Поэтому Релих укладывается всегда не спеша, накануне.

После длительных манипуляций ему удается наконец запереть чемодан. Тут только Релих с отчаянием припоминает, что забыл про костюм, который отдавал сегодня чистить и оставил на вешалке в передней. Ничего не поделаешь, придется расстегивать все сначала.

Он идет в переднюю. Костюма на вешалке нет. Более того, нет ни пальто, ни шляпы. Вот это здорово! Оказывается, застенчивый купальщик не зря перепутал номер.

Теперь все приключение не кажется вовсе Релиху забавным. Черт с ним, с костюмом, но пальто и шляпа! Как же ехать без пальто и без шляпы?

Он нажимает кнопку и вызывает коридорного. В конце концов, что это — отель или воровской притон? По всем правилам гостиница должна ему возместить убыток. Но завтрашний отъезд, видимо, придется отложить... О поимке вора нечего и думать. Уже больше получаса, как он успел покинуть гостиницу. Почему не является коридорный?

Релих со злостью нажимает кнопку еще и еще. Коридорного нет.

Выведенный из себя, Релих запирает номер и сам отправляется на поиски прислуги. В конце коридора он замечает группку людей, стучащихся в дверь чьего-то номера. Черная форма эсэсовца заставляет Релиха насторожиться...

Откуда ни возьмись перед ним вырастает знакомый бой, тот самый, который вчера притащил его чемодан.

— Послушайте! — в раздражении обращается к нему Релих. — Почему нельзя дозвониться коридорному?

Бой почтительно склоняет голову.

— Простите, пожалуйста, — говорит он вполголоса. — Тут у нас случилось одно небольшое происшествие. За господином из 444-го номера пришли господа из гестапо. Господин в одном белье куда-то выскочил. Вот и ходят сейчас по всем комнатам, проверяют. Скоро, наверное, дойдут и до вашего номера...

Релих испытующе смотрит на парня. По конфиденциальному полушепоту, которым бой предупреждает, что скоро дойдут и до него, Релих готов заключить, что парень видел, как тот господин в кальсонах заходил к нему в номер. Но если даже и видел, все равно не скажет — это ясно по глазам.

Релих бормочет что-то невнятное и возвращается в комнату. У него пропала охота вызывать коридорного и взыскивать с гостиницы за украденные вещи. А ну их! Лучше не связываться! Потом не выпутаешься. Пальто и шляпу можно будет купить завтра с утра в магазине на углу.

Он останавливается в раздумье. Увидят пустую вешалку, могут спросить, где у него пальто и шляпа. Тогда получится еще хуже: как будто скрывал.

Он достает из чемодана дождевик и дорожную кепку и вешает их на видном месте. Опять весь чемодан придется упаковывать заново.

Четверть часа спустя в номер стучатся.

— Не заходил ли к вам сюда незнакомый человек? Нет? Извините за беспокойство. В гостинице обнаружен вор.

Заглянув в уборную, в ванную и потрогав портьеры, выходят, церемонно раскланиваясь.

— Кстати, из вашего номера вызывали коридорного?

— Да, я хотел... заказать покушать.

— Пожалуйста!

— Принесите мне шницель по-гамбургски и бутылку вермута.

— Сию минуту.

Доедая шницель и обильно запивая вермутом, Релих медленно обретает прежнее расположение духа. «Черт возьми, неужели даже в командировке нельзя пяти минут прожить без политики? Очевидно, нельзя».

Ему хочется поскорее уехать из этого беспокойного города. «Если того субчика поймают в моей одежде, могут еще возникнуть черт знает какие неприятности!»

Он искренне желает человеку, удравшему в его пальто, чтобы тот засыпался завтра же, но не раньше одиннадцати часов утра, когда уйдет парижский поезд. А еще лучше — послезавтра.

В двенадцать часов, когда Релих ложился спать, новый стук в дверь заставляет его вскочить на ноги. В испорченном настроении, с колотящимся сердцем он идет открывать.

Посыльный в картузе с надписью «Отель Империаль» протягивает ему объемистый сверток.

— Войдите.— Релих пропускает посыльного в комнату.

Разорвав бумагу, он обнаруживает свой костюм, пальто и чуть примятую шляпу.

— Кто это вам передал? — строго спрашивает он у посыльного.

— Один господин, фамилию не сказал.

— Он остановился в вашем отеле?

— Нет, он встретил меня случайно минут двадцать назад на Унтер ден Линден. Предложил, не отнесу ли я этот пакет. Поскольку я все равно шел в эту сторону... Пара марок всегда пригодится.

Релих достает десять марок и дает их низко кланяющемуся посыльному.

— Вот дырявая у меня башка! Чуть было не забыл! Этот господин просил вам передать, что он очень извиняется за беспокойство и никогда бы себе этого не позволил, если бы знал, с кем имеет дело.

— Хорошо, можете идти!

Релих в раздражении бросает на кресло чудом вернувшийся к нему костюм. Опять открывать чемодан!

«Интересно, откуда он успел узнать, кто я такой!»

Взор его падает на отвернувшийся воротник пальто и на красующееся там клеймо «Кооператив сотрудников и войск ОГПУ. Москва».

Он достает из кармана перочинный ножик и со злобой спарывает с пальто фабричную марку.

— Вот идиотизм!

Потом он выпивает залпом целый стаканчик вермута и, тщательно заперев дверь на ключ, тушит свет.

— Джентльмен! — бормочет он сквозь зубы, ложась в постель.— Ничего, голубчик, еще свернешь себе шею! В другой раз мой костюм тебя не спасет...

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

«А в это время...», как принято говорить в фильмах.

А в это время всего в нескольких километрах на юго-запад, в квартале Вильмерсдорф, в большом каменном доме (второй подъезд, вход со двора), в одной из квартир четвертого этажа, на распластанном на полу тюфяке сидит человек (тот самый, которого Релих костит про себя) и спокойно снимает ботинки: по всем данным, он тоже собирается спать. Ботинки он уже раздобыл, равно как и костюм, правда, немного поношенный и мешковатый. Сняв пиджак и брюки, он аккуратно вешает их на спинку стула. Мокрые носки бережно прилаживает на батарею. Он изрядно промочил ноги — в такую паршивую погоду ни один уважающий себя человек не станет разгуливать по Берлину в ночных туфлях.

Теперь он тушит свет и, завернувшись в худенькое байковое одеяло, с удовольствием вытягивается на постели. Он охотно выпил бы стаканчик вина — это согрело бы и уберегло от насморка, но, поскольку вина нет, придется согреваться собственным теплом.

Он имеет все основания быть довольным счастливым исходом сегодняшней истории, но почему-то брюзжит. Во-первых, прощай чудесный костюм, пальто, ботинки и шляпа! За эти дни он имел возможность убедиться, что значит элегантная внешность: никто не обращает на тебя внимания и даже шпики церемонно сторонятся, уступая дорогу. Теперь все это облачение осталось в гостинице, вернее, оно уже лежит в гестапо вместе с безукоризненным паспортом доктора Клауса Зауэрвейна из Дрездена. Бедный доктор Зауэрвейн, всего полгода назад безвременно почивший в бозе от рака желудка, умер сегодня вторично, на этот раз уже вконец — политическая смерть куда непоправимее физической! Завтра придется ехать в подозрительном пиджачишке, без документов, кое-где пробираться на своих двоих, каждую минуту рискуя попасть в объятия черных ангелов.

Рисковать, когда в этом есть необходимость,— это одно, Но, располагая такими безупречными бумагами, вдруг, по собственной вине, очутиться без ничего...

«Да, да, по собственной вине! Будь добр, Эрнст, не разыгрывай по крайней мере безвинно пострадавшего агнца. Эти два дня ты вел себя как последний дурак. Если рассказать об этом товарищам, они устроят тебе изрядную головомойку. Никто и не поверит, что в серьезную минуту ты способен наглупить, как мальчишка.

Начать хотя бы с того, что, имея в кармане легальные бумаги, заграничную визу, железнодорожный билет, проживая в приличной гостинице и будучи обременен ответственным поручением, ты вздумал вчера идти к обойщику Готфриду Шефферу. Не только вздумал, но и пошел! За одно это тебя стоило бы исключить из партии. Солидный доктор Зауэрвейн накануне отъезда за границу идет в одиннадцать часов вечера на Алекс справляться, готова ли его кушетка! До чего остроумно! Право, Эрнст, когда тебе что-нибудь втемяшится, ты теряешь здравый рассудок. Странно, как это ты не засыпался еще вчера. Просто тебе дали двадцать четыре часа отсрочки...»

Впрочем, Эрнст явно раздражен и, как все раздраженные люди, изъясняется невнятно. Попробуем изложить все по порядку.

Прежде всего теперь (когда доктор Клаус Зауэрвейн лежит в ящике письменного стола гестапо), в Берлине, в Вильмерсдорфе, ворочаясь с боку на бок на неудобном тюфяке, опять временно проживает Эрнст Гейль. По шутливому заверению длинного Грегора, это самый популярный человек в Германии, популярнее Гитлера: каждый день десятки тысяч болванов по всей территории Третьей империи выкрикивают до хрипоты «Гейль Гитлер!». «Гитлер на втором месте, а «Гейль» — на первом. Услышав в первый раз эту сомнительную остроту, Эрнст заверил, что, именно желая избавиться от такого неприятного соседства, он переменил фамилию.

Итак, накануне инцидента в гостинице Эрнст Гейль — в то время еще доктор Клаус Зауэрвейн — по известным соображениям, которые вот уже неделю не давали ему покоя, в одиннадцать часов вечера отправился на Кейбельштрассе, к обойщику Готфриду Шефферу, узнать, готова ли заказанная им кушетка. Он прекрасно отдавал себе отчет, что ходить туда не следует, — в его положении, отправляясь к Шефферу, он совершает тяжелый проступок. Однако толкавшие его побуждения были настолько мучительны и навязчивы, что Эрнст все-таки пошел. Он сразу же придумал

великое множество аргументов, из которых явствовало, что, если он зайдет туда на минутку, ничего плохого получиться не может и все обойдется благополучно.

Сойдя на Алексе, он пошел по Пренцляуэраллее и, беззаботно размахивая тростью, свернул в первую улицу. На углу Кейбельштрассе он встретил Труду, одиннадцатилетнюю дочку Шеффера, и сделал вторую непростительную глупость, которая впоследствии оказалась для него спасительной: окликнул Труду по имени.

Труда, узнав в шикарном господине Эрнста, совсем растерялась, успела только шепнуть ему:

— Не ходите!

Эрнст повернулся на каблуке и, с интересом разглядывая номера домов, пошел обратно по направлению к Алексу, не преминув сделать третью непростительную глупость: кивнуть девочке, чтобы она следовала за ним.

У входа в подземку он подошел к девчушке и узнал от нее, что за папой пришли. Сейчас в мастерской обыск. Она успела схватить ящик и выскользнуть на улицу. Тут только Эрнст заметил, что девочка держит в руках деревянный ящичек.

Он спросил, куда она собиралась идти, и узнал, что она идет отнести ящик к дяде Францу. Эрнст сказал, что к дяде Францу ходить не надо. Франца Шеймана, по его сведениям, забрали еще третьего дня.

Эрнст посмотрел на растерянное лицо девочки. Ему стало ее жалко, и тут он совершил четвертую непростительную глупость, сказал девочке:

— Дай мне это.

И, взяв ящик под мышку, сошел вниз. Она догнала его у кассы подземки. Она забыла ему сказать: сегодня с утра к папе заходил старый господин, тот самый, который в прошлом месяце оставил Эрнсту записку. Он опять спрашивал про Эрнста и хотел передать записку, но папа сказал, что записок никаких не надо: пусть скажет так, папа запомнит. Тогда тот господин попросил известить Эрнста, что Роберт умер три дня тому назад и оставил письмо и какие-то бумаги. Старый господин очень настаивал, чтобы Эрнст обязательно к нему зашел, а если не может зайти, то пусть позвонит и условится с ним где-нибудь в городе. Он говорил еще, что Роберт очень ждал Эрнста, все справлялся, не звонил ли тот, и если бы Эрнст повидался с Робертом, может

быть, этого бы не было. Папа обещал, что обязательно Эрнсту передаст.

Эрнст переспросил, обкусывая папиросу, наверно ли старик говорил, что Роберт умер. Не послышалось ли ей?

Нет. Она слышала очень отчетливо. Старик сказал, что Роберта уже похоронили.

Эрнст кивнул головой, не спеша прошел на перрон и сел в первый поезд.

Известие, полученное от девочки, огорошило его. Некоторое время он сидел, погруженный в глубокое раздумье. Из раздумья вывел его сердитый субъект, предлагавший снять ящик со скамейки: пассажирам негде сесть. Эрнст, не прекословя, живо убрал ящик. На кой черт он вообще взял эту штуковину? Придется где-нибудь оставить.

Об изобретении Шеффера он знал понаслышке. Шеффер был старый преданный товарищ, стреляный воробей, хитрец и умница, на которого можно положиться, но имел свои маленькие слабости. Одной из таких слабостей была жилка изобретательства. Его ящик с пружинами, придуманный относительно недавно, успел уже попасть на полицейскую выставку в Ватикане, чем сам автор немало гордился.

По настоянию Шеффера, сундучок его имени был испробован вначале на нескольких людных собраниях. Эффект был внушительный, но уже во второй раз парня, открывавшего крышку, поймали, и партийная организация дальнейшее применение шефферовского ящика категорически запретила. Шеффер почти со слезами уверял, что парень попался размазня, и предлагал сам обслужить несколько собраний штурмовиков. Ему отказали и согласились на единственную форму использования «матраца» (так был наименован в шутку этот пружинный снаряд) — впредь разрешалось только оставлять его в поездах.

Эрнст, по собственному выражению, всегда был противником фокусов в серьезной партийной работе и шефферовского изобретательства не поощрял. На последней партийной конференции с цифрами в руках он доказал, во сколько человеческих жизней обошлось чрезмерное пристрастие многих товарищей к внешним проявлениям деятельности партии. Если на следующий день после прихода Гитлера к власти естественно и законно было стихийное стремление партийных масс показать терроризированным рабочим и всей запуганной стране, что партия существует по-прежне-

му, что ее не в состоянии сломить никакие репрессии, то сейчас пора уже стихийные вспышки переключить в русло практической работы. Все эти героические красные флаги, водружаемые ночью на верхушках заводских труб, листовки и пламенные надписи, появляющиеся вновь и вновь на стенах рабочих кварталов, переведенные на валюту рабочей крови, обошлись, пожалуй, слишком дорого.

Долгое время партия измеряла свои успехи тиражами нелегальной литературы. Никто не подозревал, что многие коммунистические брошюры и листовки, даже отдельные номера «Роте фане» тщательно воспроизводятся в типографиях гестапо и проникают с утренней почтой в сотни рабочих квартир. Рабочие, поддаваясь провокации, не заявляли о получении этих газет и попадали в проскрипционные списки. Люди, покупавшие в оптических магазинах увеличительные стекла, попадали в черные списки предполагаемых читателей «Роте фане», ежедневно увеличивая ряды многотысячной армии товарищей, скомпрометированных политически и непригодных больше для активной партийной работы.

Выдумки изобретателей вроде Шеффера — все эти пакетики для ванили, обертки для мыла, ложные торговые проспекты, невинные томики классиков в издании «Универсальной библиотеки», где Сид повествовал Химене о злодействах гитлеровского режима,— Эрнст одобрял лишь постольку, поскольку они выполняли свое прямое назначение: не вызывая подозрений, доводили партийную литературу до ограниченного круга проверенных работников. Как материал для дальнейшей устной пропаганды она была полезна и необходима. Применяемая как предмет широкого потребления, она могла лишь облегчить провокаторскую работу гестапо.

Выступление Эрнста, поддержанное большинством товарищей, не осталось без отклика. Оно сигнализировало лишний раз о назревшей необходимости поворота в тактике партии.

Однако на неистощимую изобретательность рабочих, пробужденную подпольем и настойчиво искавшую применения, не сразу удалось надеть узду. Одним из таких неугомонных изобретателей, доставлявших партии немало хлопот, был именно обойщик Готфрид Шеффер с его «матрацем».

Сидя в вагоне подземки, Эрнст размышлял, как ему отвязаться от этой злосчастной поклажи. Он решил подняться на улицу и, пользуясь темнотой, оставить ящик в первой попавшейся подворотне, но тут же раздумал. Был ли это естественный протест человека, умеющего ценить хорошо сделанную вещь и не привыкшего бросаться ни чужим, ни своим трудом? Или нежелание обидеть попавшего в беду товарища? Шеффер, несомненно, огорчился бы, если бы когда-нибудь узнал, что его снаряд пропал так бессмысленно и бесцельно. С другой стороны, бедный Шеффер, пытаемый сейчас в гестапо, наверняка был бы очень счастлив, узнав, что его любимый пружинный ящик еще раз заговорил в эту ночь полным голосом. Отказывать старому, пусть немного чудаковатому, но безгранично преданному товарищу Готфриду Шефферу в этой лебединой песне у Эрнста не хватило совести. И хотя такого рода чувства он обычно называл глупыми сантиментами, он все же не бросил шефферовский «матрац» в мусорный ящик, а решил, улучив удобную минуту, оставить его в вагоне.

Эрнст попробовал было встать и сойти на очередной станции, оставив свою ношу под скамейкой, но не тут-то было. Сердитый сосед окликнул его басом на весь вагон и заставил вернуться, подобрать забытый ящик.

Ситуация становилась одновременно и забавной и рискованной. Простой деревянный ящичек явно не гармонировал с элегантной внешностью Эрнста и обращал на себя всеобщее внимание. Многим полицейским агентам шефферовские ящики были хорошо знакомы...

Тем не менее Эрнст не спеша перешел на противоположный перрон и опять сел в поезд. Улучив удобный момент, он незаметно выскользнул на одной из станций, оставив ящик в вагоне.

Шагая домой, Эрнст мирно насвистывал модную песенку. Правда, он в известной степени поступил против собственных убеждений, но он не раскаивался. С чувством человека, который отправил по адресу доверенную ему посылку, он вернулся в гостиницу.

Спал Эрнст в эту ночь плохо. Потушив свет, он долго лежал навзничь, с широко раскрытыми глазами, прожигая темноту раскаленным угольком папиросы. Потом встал, включил свет и в ночных туфлях принялся расхаживать по комнате. Известие о смерти Роберта развинтило в нем все гайки. Как тут понять — правда это или подвох?..

2

С Робертом Эберхардтом связывало Эрнста в прошлом (в прошлом ли?) нечто большее, чем дружба. Выросли они вместе, потом пути их разошлись, чтобы сблизиться опять — на другой временной широте — еще теснее и неразрывнее.

Лет двенадцати они встретились оба за школьной партой и быстро стали неразлучными, хотя все, казалось, противоречило этой дружбе. Отец Эрнста был простой слесарь, не вкусивший плодов науки и поклявшийся предуготовить эту возможность сыну. Отец Роберта именовался профессором и имел собственный особняк, по специальности же был астрофизик, то есть, в представлении Эрнста, смотрел в трубу на звезды: вполне естественно, чем же еще заниматься богатому человеку? По более точным сведениям Роберта, отец его занимался «теорией приливов». Что это за теория, было не вполне понятно, да и, по правде, не очень интересно. По всем данным, она имела какое-то касательство к притяжению Луны. О притяжении этом оба юных друга знали лишь, что оно вызывает приливы и отливы на море и менструации у женщин, отчего загадочное существо — женщина — становилось еще более таинственным, тревожно-непонятным и даже немножко враждебным.

И по своему характеру и по своей комплекции оба друга представляли самую резкую противоположность. Эрнст — крепкий, озорной, неусидчивый и деспотичный. Роберт — квелый, застенчивый, маленький ростом. Что касается школьной учебы, то и ее оба друга воспринимали по-разному. Эрнст глотал ее, как похлебку, между делом, и переваривал на ходу. Роберту она давалась мучительно, как искусственное питание, при постоянном вмешательстве репетиторов. Вид у него после этих процедур был такой, словно науку вливали ему через нос.

Шел второй год мировой войны, и, сотрясаемая далеким гулом орудий, суровая школьная дисциплина уже начинала давать первые трещины. Эрнст все чаще и чаще стал пропускать занятия. Запрошенный первый раз о причине своей неявки, он доложил классному наставнику, что провожал брата, отъезжающего на фронт. Причина всем показалась уважительной и даже снискала Эрнсту симпатию патриотически настроенных учителей.

Следующий раз выяснилось, что причиной новой неявки Эрнста был отъезд на фронт второго брата. Потом братья Эрнста стали уезжать на фронт один за другим. Когда число их дошло до десяти, классный наставник поинтересовался, сколько же, наконец, у этого Гейля взрослых братьев. Эрнст услужливо сообщил, что всех их в семье одиннадцать — он самый младший. Теперь, когда все десять ушли на фронт, остался он один.

Слух об ученике, десять братьев которого сражаются на поле брани, быстро обежал всю школу. Каждый из учителей, вызывая Эрнста к доске, считал своим долгом поинтересоваться, где в данную минуту сражаются его братья. Эрнст называл отрезки фронта, где, судя по газетам, шли в это время самые жаркие бои, получал хорошую отметку и садился на место, провожаемый завистливыми взглядами всего класса.

О том, что у Эрнста нет никаких братьев и живет он один с овдовевшим отцом, знал только Роберт. Узнал он об этом случайно от отца Эрнста, вызванного как-то в дом Эберхардтов в качестве слесаря — подобрать ключи к письменному столу.

О своем открытии Роберт даже не пикнул. Выслушивая неизменный ответ Эрнста об отправке на фронт очередного брата, он спрашивал себя с восхищением, до каких пор хватит Эрнсту этого невозмутимого нахальства. Известие об отправке десятого, и последнего, даже огорчило Роберта: «Эх, сдрейфил!»

Но уже через неделю Роберт имел возможность убедиться в своей ошибке. Доблестные братья Гейль, раненные на фронте, стали один за другим приезжать на поправку. Приезд их, естественно, вызывал необходимость все новых и новых отлучек.

Потом Эрнсту вся эта большая семья явно надоела. Однажды, после двухдневной неявки, он с траурным лицом сообщил учителю, что старший брат погиб и ему, Эрнсту, приходится утешать убитого горем отца. Растроганный директор отпустил Эрнста еще на три дня.

Со всеми своими братьями Эрнст расправился беспощадно, угробив их на разных фронтах в течение каких-нибудь трех месяцев. К концу учебного года преподаватели, и до того разговаривавшие с ним необычайно ласково, перестали вообще вызывать его к доске и вывели хорошие годовые отметки.

Надо полагать, что именно историей с десятью братьями Эрнст окончательно и бесповоротно покорил сердце Роберта. Восхищение его Эрнстом не имело пределов. На этой основе — восторженного поклонения и послушания со стороны одного и слегка иронического покровительства со стороны другого — зародилась их неразлучная дружба.

Долгое время Роберту приходилось сносить насмешки Эрнста, в котором хилый барчук, краснеющий, как барышня, с первого взгляда не вызвал особой симпатии. Роберт терпел все это с редким стоицизмом, надеясь безропотностью склонить к себе сердце обидчика. Бывали дни, когда он думал с отчаянием, что тот не замечает ни его преданности, ни его преклонения, что никогда, никакими силами ему не снискать дружбы Эрнста.

Но если вода долбит камень, то сердце Эрнста вовсе не было сделано из такой неотзывчивой породы. В одно прекрасное утро толстый Фриц, попытавшийся повторить над Робертом одну из Эрнстовых штучек, получил классический нокаут и сверзился под парту. Вытирая руки о штаны, Эрнст ограничился латинской сентенцией: «Quod licet Jovi non licet bovi»[1] — и для слабых в латыни пояснил, что тот, кто попытается впредь издеваться над малышом, получит по морде.

Роберт не поблагодарил Эрнста, опасаясь вызвать насмешку, но этот день был самым счастливым днем в его жизни.

Вскоре Роберт удостоился чести сопутствовать Эрнсту в его очередной внешкольной вылазке. При хрупкой комплекции Роберта ему даже не приходилось выдумывать себе братьев. Неявки на уроки легко сходили ему с рук и относились за счет его слабого здоровья.

Впоследствии, когда странное совпадение его отлучек с отлучками Эрнста стало чересчур заметно, Эрнст сумел убедить школьных начальников, что его отец очень привязался к малышу и присутствие Роберта действует успокаивающе на потрясенного горем старца. Так продолжалось до тех пор, пока экскурсии Роберта-утешителя не отразились самым плачевным образом на его отметках. Роберт не потерял десятерых братьев, и учителя относились к нему беспощадно.

---

[1] Что можно Юпитеру, то не дозволено быку *(лат.)*.

3

Все это имело место уже значительно позже.

Пока что, дрожа от счастья, Роберт с книгами под мышкой отправился с Эрнстом в первую вылазку, поклявшись свято соблюдать строжайшую тайну. Вопрос, что делает Эрнст во время своих частых отлучек, невыносимо терзал любопытство Роберта. Оказалось, Эрнст просто гоняет голубей.

Роберт представлял себе предмет Эрнстовых эскапад значительно таинственнее и романтичнее. Сам он не понимал вкуса в этой забаве, и занятие поначалу показалось ему даже несколько скучным. Однако он не показал вида, что разочарован неожиданной развязкой. Тем более, что в самой обстановке этих вылазок была все же известная доля романтики.

Гонять голубей у себя на улице Эрнсту было строжайше запрещено, да и не мог он этого делать в учебное время на глазах у отца. Надо было ехать подземкой в отдаленный, неизвестный квартал, где проживал знакомый Эрнста, ярый голубятник. Голубятник в первый же год войны потерял на фронте обе ноги и, естественно, не мог больше гонять голубей на своей неудобной тележке. Страсть же его к этому делу была так велика, что он безвозмездно предоставил Эрнсту свой чердак за одно удовольствие следить — зимой из окна, а весной с крылечка или тротуара — за увлекавшей его стаей. При виде голубей безногий преображался, изможденное его лицо наливалось румянцем и, смешно подпрыгивая на своих культяпках, широко размахивая руками, похожий на гуся с подрезанными крыльями, гиком, свистом, улюлюканьем он ревностно помогал Эрнсту. В награду за предоставленное помещение Эрнст приносил безногому с чердака голубей, давал их гладить, показывал каждую новую пару, беспрекословно слушая просвещенные советы калеки.

После двух-трех сеансов растяпа Роберт заметно стал входить во вкус. Кончилось это, как легко можно было догадаться, весьма плачевно. Кажется, в пятый раз, преследуя в раже непослушную стаю, Роберт сорвался с крыши трехэтажного дома и со всего маху на глазах у Эрнста шлепнулся вниз.

К счастью для него, под крышей, с которой суждено было ему слететь, помещался публичный дом фрау Геринг (не

состоявшей, впрочем, ни в каком родстве с будущим имперским министром). Хозяйка этого заведения, большая поборница чистоты и гигиены, имела похвальную привычку раз в месяц, по первым числам, проветривать матрацы своих шестнадцати воспитанниц. Матрацы выставлялись во двор, где при помощи специального патентованного состава саженный швейцар Зигфрид изгонял из них клопов.

Упав на эту эластичную подстилку, Роберт отделался легким ушибом плеча.

Случай с Робертом произвел на Эрнста необычайно сильное впечатление. В Эрнсте в этот день умер голубятник и родился преданный товарищ. Роберту он сказал, что голубей передушила кошка и заводить новых ему расхотелось. На самом же деле голубей своих он продал и на вырученные деньги купил небольшую коллекцию марок — страсть эта только начинала в нем просыпаться.

Увлечению всего класса марками способствовал в значительной степени толстый Фриц, папаша которого торговал на Вильгельмштрассе новинками филателии. Как человек оборотистый, отец Фрица, естественно, стремился к тому, чтобы новинок у него было побольше. Медлительность почтовых ведомств, которые не проявляли в этом деле достаточной изобретательности, вынудила его вступить с ними в соревнование. Некий спившийся учитель рисования и географии, счастливо сочетавший в себе познания из обеих областей, одаренный к тому же незаурядной фантазией, поставлял ему по весьма сходной цене модели марок любого государства, уже нанесенные на литографский камень.

Художник, по призванию анималист, особенно умел и любил рисовать диких зверей — пейзажи удавались ему меньше, но его тигры, жирафы, гиппопотамы и крокодилы были неотразимы. В качестве местожительства такого рода хищникам, конечно, больше всего подходили экзотические страны. Наибольшей привязанностью художника пользовались Никарагуа, Коста-Рика, Лабрадор, Тасмания и Борнео. Новых государств он не выдумывал, хотя мог себе это легко позволить. Мешала, очевидно, известная географическая честность. Да и не надо забывать, что до Версальского договора и образования Маньчжоу-Го у людей не было еще в этом деле достаточного опыта.

Торговля папаши Фрица широко процветала, что его и погубило. Соблазненный успехом, не довольствуясь узким кругом филателистов, он задумал обслуживать более ши-

рокие слои населения и стал дублировать германскую почту. Художник и здесь зарекомендовал себя как истинный мастер: марки его работы были сделаны тщательнее и лучше государственных, но кайзеры на них всегда немножко походили на переодетых зверей.

Кончилось все это тем, чем должно было кончиться в эпоху монополий, не допускающих конкуренции мелких аутсайдеров. Папашу Фрица вместе с его художником посадили в каталажку, и толстому Фрицу пришлось покинуть гимназию. Еще долго после его ухода парты всей школы кишели тапирами, ягуарами и жирафами.

Попасть туда, где рождаются такие марки и водятся такие звери, было, конечно, мечтой, в равной степени пленительной и неосуществимой. Если, однако, трудно было посмотреть живого тапира на Борнео, относительно легко было сделать это в Цоо. Дальнейшие эскапады Эрнста и Роберта были направлены именно туда. Разгуливая по зоопарку, оба друга, как это часто бывает в жизни, и не догадывались, что их заветная мечта осуществилась: они попали именно туда, где родилось большинство их марок. Как раз здесь, в Цоо, черпал свое вдохновение создавший их художник.

Увлечение тропической фауной привело к знакомству с Бремом. Каким образом Эрнст познакомился с Геккелем, сказать в точности трудно. Вероятнее всего, случайно напал на одну из его книжек. Из всей книги он понял одно: человек произошел от гиббона. В этом вопросе аргументы Геккеля убедили его абсолютно. В день гибели очередного Эрнстова брата оба они с Робертом отправились в зоопарк, чтобы разыскать предка и нанести ему визит. Роберт, который иногда по воскресеньям навещал своего дедушку, знал, что старики — большие сластены, и не преминул захватить из дому несколько пирожных с кремом.

Больше всего поразил их обоих маленький рост предка, который искупала лишь густая седая борода кантиком, придававшая животному вид почтенного патриарха. От пирожных гиббон не отказался, но попытки объясниться с ним на другие темы не дали никаких результатов. Эрнст утверждал, что с гиббоном до сих пор не смог никто дотолковаться потому, что все заговаривали с ним по-немецки и никто не попробовал сделать это на более древних языках.

К следующему визиту оба друга заготовили два десятка слов на древнееврейском и на санскрите — этот последний язык казался им особенно древним — и продекламировали их в разном порядке перед клеткой. Гиббон слушал терпеливо, потом вдруг разозлился, протянул лапу и разорвал на Роберте куртку. Увидев, что предок дерется, оба друга заметно к нему охладели. Раз и другой они попытались объясниться с ним жестами, пока сторож не отогнал их от клетки, решив, что они дразнят обезьяну.

Так бесславно закончилось их первое знакомство с предполагаемым праотцем, для одного из друзей оказавшееся роковым. Застрельщиком этого знакомства был, как всегда, Эрнст, но в нем-то как раз оно не оставило никакого следа. Наоборот, Роберт, проявлявший меньший интерес и настойчивость, впоследствии так увлекся тайнами антропогенеза, что увлечение это наложило отпечаток на все дальнейшее развитие круга его интересов и предопределило даже выбор профессии. Смутное впечатление, что Геккель насчет гиббона ошибся, лишь много лет спустя принявшее форму научно обоснованной уверенности, было, пожалуй, первым толчком, который пробудил и заставил работать не по возрасту малоразвитый мозг Роберта. Школьные товарищи, учителя, репетиторы, которым сказали бы в то время, что неспособный и плохо успевающий Роберт вырастет в научного работника и будет корректировать Геккеля, наверное, прыснули бы со смеху.

4

Здесь кончалось детство. От комического эпизода с гиббоном шел еле заметный водораздел в интересах обоих друзей. По-прежнему заправилой в их совместных похождениях был Эрнст. По-прежнему, упрочняясь с годами, длилась их закадычная дружба. По мере роста Роберта она становилась как бы более равноправной.

Шли последние годы мировой войны, в стране начинался голод, и грозовой сквозняк уже дул над обнищавшей Германией. В эти годы дети дозревали и превращались в мужчин почти в таком же ускоренном порядке, в каком военные училища выпускали офицеров.

Эрнст уже увлекался социалистической литературой и таскал откуда-то запрещенные книжки. Роберта больше тянули естественные науки, хотя в своих политических убе-

ждениях он всецело находился под влиянием Эрнста. Брошюру «Социализмус унд криг» они прочли вместе вслух, впервые запомнив значившуюся на ней фамилию «Ленин». Они не успели позабыть ее. Фамилия эта вскоре заполнила столбцы всех газет. Как раз в это время газеты принесли известие о большевистском перевороте в России. Во главе нового коммунистического правительства стоял автор брошюры.

Роберта известие это, от которого Эрнст горел и, размахивая руками, носился по комнате, привело в смятение. Да, он был против войны, он ненавидел войну как варварство, недостойное цивилизованного человека. Но переворот в России, судя по газетам, привел к новой гражданской войне, которая только начиналась. Теперь, конечно, очередь за Германией. Роберт искренне желал поражения кайзеру—оно должно было положить предел войне. Но пример русской революции показывал, что стоит лишь окончиться мировой войне, как вслед за ней вспыхнет гражданская, от участия в которой никому не уйти. И это как раз сейчас, когда ему так хотелось учиться! Конечно, он тоже приветствовал русскую революцию. И все же он не мог отделаться от смутной мысли, что было бы лучше, если бы это случилось несколькими годами позже, когда он успел бы окончить университет.

Физическое отвращение к войне зародилось в нем давно, еще в период мальчишества. Первые ростки этого отвращения посеял безногий голубятник. Его рассказы о войне, которую он награждал самыми нецензурными эпитетами, тем глубже запали в душу Роберта, чем разительнее была пропасть между ними и выспренними песнопениями педагогов. Все они говорили о войне, будто смаковали ее языком, вдохновенно закрывая глаза и приподымаясь на цыпочки. К тому же безногий голубятник был одной из первых жертв войны, с которой Роберт столкнулся вплотную, лицом к лицу, сохранив навсегда возмущенный протест против чего-то бесформенного и враждебного, способного так изуродовать живое существо. При слове «война» он всегда видел кургузый обрубок человека, размахивающий руками, похожий на гуся, напрасно пытающегося взлететь.

Случай пожелал столкнуть их еще раз после трехлетнего перерыва.

Однажды Эрнст, все чаще отлучавшийся в одиночку, предложил Роберту съездить с ним на небольшое собрание, которое состоится в одном знакомом Роберту месте. По таинственным намекам приятеля Роберт сразу понял: Эрнст зовет его ехать к спартаковцам.

На собрание они отправились подземкой. Эрнст по дороге молчал как проклятый и на замечания Роберта отвечал односложными звуками. Вид у него был подчеркнуто конспиративный, и это даже немножко забавляло Роберта.

Попав на знакомую улицу, Роберт сразу догадался, что идут они к голубятнику, но решил не приставать с расспросами. По тому, как Эрнст поздоровался, с голубятником, Роберт понял, что за эти три года Эрнст вовсе не порывал связи с безногим. Роберту даже стало немного обидно, что у приятеля есть от него секреты. Обидеться как следует он не успел: им предложили живо подняться на чердак.

На чердаке уже сидели несколько мужчин. Вскоре подошли еще четверо. Они втащили наверх безногого хозяина. Пока его втаскивали, Роберт не без приятного волнения подошел к хорошо знакомому слуховому окну и выглянул наружу. Все здесь осталось по-прежнему. Даже над трехэтажным домом, с которого некогда брякнулся Роберт, плавно носились голуби, и на крыше сидел мальчишка с шестом. Другой голубятник стоял на углу, на тротуаре, поджидая своевольную стаю. Роберта до того растрогала эта картина, что он толкнул Эрнста локтем.

— Смотри! Гоняют голубей! Как мы тогда, помнишь?

— Дурак!—шепотом пробурчал Эрнст.—Ничего не понимаешь! Это же пикеты! Как только заметят что-нибудь, сейчас свистнут. Тогда все во двор и через заднюю калитку...

Роберт тут же раскаялся в своем невежестве. Ситуация показалась ему даже забавной: если все удерут и нагрянет полиция, для нее останется хорошей загадкой, как безногий без посторонней помощи попал на чердак.

Впрочем, вещи, о которых говорили собравшиеся на чердаке мужчины, быстро заставили Роберта стать серьезным. Разговор шел преимущественно об оружии. О революции люди эти говорили, как о чем-то само собой понятном, что должно наступить в ближайшие дни. Дело, видимо, стало лишь за количеством оружия. Конечно, солдаты с фронта придут вооруженные, но нельзя ждать и полагать-

ся только на это. Тем паче, что неизвестно еще, какую позицию займут основные полки Берлинского гарнизона.

Когда оба друга возвращались с собрания, молчал уже не только Эрнст, но и Роберт. Пожимая на прощание руку приятеля, Эрнст сказал только:

— Будь готов!

И Роберт ответил:

— Разумеется.

5

Судя по событиям ближайших недель, революция несколько оттянулась. Когда она наконец разразилась, Роберт болел испанкой. Накануне забежал к нему Эрнст и, застав приятеля в постели с высокой температурой, остался очень недоволен. Он пробурчал что-то вроде: «Вот ты всегда так...» — и ушел, не попрощавшись. Кстати, заходил ли он действительно, Роберт не был вполне уверен: у него гудело в висках, и температура, прыгая в термометре, как блоха, к вечеру перевалила за сорок.

Придя в себя, Роберт узнал от отца, что революция совершилась. Кайзер низложен, и Германия будет объявлена демократической республикой. Отец поцеловал Роберта в лоб и добавил с улыбкой:

— Кажется, люди стали умнеть.

Вскоре явился Эрнст. Он забежал на минутку навестить товарища и страшно куда-то торопился. Он сказал Роберту, что на этот раз власть захватили социал-предатели, но это ничего. Либкнехт на свободе. Через месяц, самое позднее через два, мы им покажем! Пусть только побольше солдат привалит с фронта! На прощание он посоветовал приятелю быстренько поправляться. Роберт не так уж много потерял. Настоящая революция начнется только сейчас.

— Надеюсь, на этот раз ты не заболеешь!

Роберт молча проглотил обиду.

«Неужели Эрнст думает, что я заболел нарочно? Ведь он же видел меня в жару!..»

В течение следующего месяца Эрнст забегал довольно часто, но всегда лишь на несколько минут. Дела, по его словам, шли как нельзя лучше. Теперь уже ждать оставалось недолго.

В один холодный январский вечер он явился к Роберту в

необычайном возбуждении и, не проходя в квартиру, шепнул ему в передней:

— Началось! Пошли!

Роберт послушно оделся и, не простившись с отцом, вышел вслед за Эрнстом.

На сборном пункте им дали по винтовке, по пятидесяти штук патронов, по красной повязке и отправили в город с первым сформировавшимся отрядом.

Об этих бурных, хаотических днях у Эрнста остались в памяти лишь разрозненные впечатления: сухой пулеметный треск, движущиеся колонны солдат со штыками наперевес и какой-то заколотый усатый майор в белых перчатках, с торчащей в нем по самое дуло покачивающейся винтовкой. Роберт — это Эрнст запомнил отчетливо — вел себя в эти дни, как настоящий молодец.

Сам Роберт не помнил даже этого. Он, кажется, стрелял, причем стрелял, по-видимому, неплохо, потому что люди, в которых он целился, то и дело опрокидывались, как кегли.

...Ночью профессора Эберхардта разбудил настойчивый стук в дверь. Профессор не спал, от изнурения он дремал в кресле. Открыв входную дверь, он увидел Эрнста, державшего на руках чье-то обвисшее тело. Скорее чутьем, чем глазами, профессор узнал Роберта. Рубашка на Роберте была вся в крови, и тонкая струйка сочилась изо рта, оставляя на ступеньках черные пятна. Эрнст повторял скороговоркой, что Роберт жив, надо только немедленно, немедленно доставить его в больницу...

Они уложили Роберта на кушетку, и профессор побежал в гараж выводить машину. Эрнсту запомнилось, как тот бежал и как болтались у него чересчур длинные руки. Потом профессор с Эрнстом вынесли Роберта во двор и положили в машину, засунув ему за пазуху белое полотенце, которое сразу порыжело. В эту минуту взгляд Эрнста встретился со взглядом профессора, и Эрнст первый отвел глаза.

— Снимите повязку, — глухо сказал профессор. — По нашему кварталу ходят патрули.

Эрнст послушно содрал с рукава красную повязку и сунул ее в карман. Профессор сел за руль. Эрнст пристроился на заднем сиденье, поддерживая Роберта. Машина тронулась по пустынным ночным улицам.

Она остановилась у роскошного здания частной клиники. Профессор и Эрнст упрямо колотили в наглухо закрытую дверь. Наконец дверь приоткрылась. Профессор долго увещевал швейцара и дрожащей рукой совал что-то в дверную щель. Их пустили в холл. Звонили по телефону, но телефон не работал. Потом сиделка сдалась и побежала за врачом.

В час ночи Роберта отнесли в операционную. Профессор и Эрнст остались ждать в кабинете главного врача...

Часа два спустя в кабинет вошел врач в свежем халате и сказал, что пуля извлечена, но состояние пациента тяжелое. Единственное, что может его спасти,—это немедленное переливание крови. Эрнст рванул куртку и, обнажив руку, протянул ее врачу. Профессор решительно потребовал, чтобы кровь взяли не у Эрнста, а у него. Врач сказал, что молодая кровь лучше, нужно только взять пробу. У Эрнста взяли пробу и унесли в другой кабинет.

Прошло еще с полчаса. Потом пришел врач и сказал, что кровь Эрнста не годится, придется взять у отца.

Эрнст метнулся к врачу и, сдерживая ярость, прерывающимся голосом спросил, почему же это его кровь не годится.

Врач посмотрел на него поверх очков и, указывая на его карман, сказал:

— Спрячьте-ка поглубже эту тряпку.

Эрнст машинально засунул глубже торчащую из кармана красную повязку.

— Что? Поэтому, что ли, моя кровь не годится?—крикнул он со злобой.

— У вас группа «Б», а у него группа «А»,—спокойно пояснил врач.

— Что за кабалистика: А и Б? Это что же, кровь первого и второго сорта?

— Не отнимайте у меня времени, молодой человек. Если я вам скажу, что ваши кровяные шарики агглютинируются в серуме группы «А», то вам от этого не станет яснее.—Он отвернулся и позвал профессора в операционную.

Эрнст, глотая слезы, в разорванной куртке вышел на улицу. На улице шел снег...

Прошло дней десять, пока Эрнст смог снова явиться в клинику. Как человек, над головой которого обрушился потолок, истерзанный и подавленный, бродил он по улицам Берлина. Разгром революции привел его в полное оту-

пение. Даже известие о смерти отца он воспринял почти равнодушно. Старик не подкачал и до последнего вздоха дрался, как настоящий спартаковец, хотя и не состоял в организации. Впоследствии Эрнст не раз вспоминал о нем с щемящей гордостью: отца убили в тот же день, что Карла и Розу.

Когда в городе воцарился прежний порядок, Эрнст в чужой одежде, не соблюдая необходимых мер предосторожности, отправился на поиски Роберта. После долгих блужданий он отыскал клинику. Остановившись у входа, он минуту прикидывал: выдаст его полиции этот сволочной врач или не выдаст? Потом махнул рукой и решительным шагом вошел в приемную.

Главного врача не было. В приемной Эрнсту сказали, что Роберт вчера переехал на поправку домой.

Эрнст на крыльях кинулся к дому Роберта. Горничная, открывшая ему дверь, заявила, что пускать никого не велено. Он пробовал настаивать. На шум голосов вышел профессор. Эрнст вежливо повторил свою просьбу. Профессор, багровея, закричал, чтобы он сию же минуту убирался вон и не смел больше ступить в этот дом ногой. Эрнст ответил с напускным благородством, что в его представлении люди науки должны быть немножко вежливее. Единственное, что его интересует,—это состояние здоровья Роберта. Впрочем, докончить фразу он не успел—у него перед носом захлопнули дверь.

Он пробовал звонить Роберту на следующей неделе и еще несколько недель подряд, но, услышав его голос, неизменно клали трубку. Наконец однажды горничная ответила, что профессор с сыном уехали в Италию; когда приедут—неизвестно.

В школу Эрнст больше не вернулся. Боевые товарищи помогли ему устроиться на завод Симменса.

Как-то раз, выходя из кино, он встретил одного из школьных товарищей и узнал, что Роберт в Берлине по-прежнему учится в школе. В тот же вечер Эрнст написал Роберту письмо и предложил встретиться в городе.

Ответа не последовало.

Полагая, что записка не попала к Роберту в руки, он написал второе письмо. Потом третье.

Когда прошли все сроки и у почтового окошка «до востребования» Эрнсту заявили в тридцатый раз, что письма

для него нет,— это было как раз в воскресенье,— он отправился погулять в зоопарк.

Он долго бродил по саду, раза три останавливался у клетки с гиббоном. Потом не спеша пошел домой. Он сказал себе, что, очевидно, врач был прав: у Роберта кровь «А», а у него, Эрнста, «Б» — в этом все дело.

Придя домой, он не расплакался, нет, но какая-то дрянь долгое время больно щекотала в горле.

6

Потом прошли месяцы. Потом прошли годы. Эрнст все реже вспоминал о Роберте, быть может, потому, что само это воспоминание было для него несколько горьковато. Потом и этот привкус горечи улетучился, и о своей дружбе с Робертом Эрнст стал вспоминать изредка, раз в год, как о детском сумасбродстве.

Эрнст Гейль стал квалифицированным токарем по металлу и видным партийным работником. Он не жалел, что, прокорпев шесть лет в гимназии, он так и не смог ее окончить, хотя теперь ему тоже здорово хотелось учиться. Он занимался по вечерам. Книг по интересующим его вопросам было много, их можно было достать вполне легально. Товарищи любили его и облекали своим доверием. Начав секретарем низовой ячейки, в течение нескольких лет он дошел до окружного комитета партии и вынужден был променять профессию токаря на профессию партийного «бонзы», как, посмеиваясь, называл себя сам.

Когда его впервые выдвинули на ответственную партийную работу, он долго не соглашался, мотивируя это нежеланием отрываться от производства. Ему сказали, что выдвигают его не затем, чтобы он отрывался, а, наоборот, чтобы связался еще крепче. Попробуй-ка оторваться, мы тебя живо поставим на место! Он повиновался, и товарищам, которые выдвигали его, не пришлось в этом раскаиваться.

Много кое-чего мог бы рассказать Эрнст об этих годах своей жизни, но работники коммунистической партии в эту эпоху не отличались разговорчивостью и не писали мемуаров. Жизнь Эрнста Гейля чересчур тесно была связана со всеми политическими событиями того времени, и писать его биографию — значило бы писать историю Веймарской республики.

В 1924 году, попав по партийным делам в Мюнхен, он впервые увидел Адольфа Гитлера, выступавшего в пивной Бюргерброй. Происходило это после знаменитого пивного путча и освобождения из Ландсбергской крепости неудачного кандидата в спасители Баварии. В это время Адольф Гитлер был еще величиной чисто местного значения и заполнял собой страницы юмористических газеток и журналов одной Баварии. Право на место в юмористических журналах других стран он завоевал значительно позднее.

Особого впечатления Гитлер на Эрнста не произвел. Ораторствуя, он багровел и бил себя кулаком в грудь, как провинциальный чтец-декламатор. Мысли, высказываемые господином Гитлером, тоже не свидетельствовали о глубоком государственном уме фюрера кучки национал-социалистов. «Когда перед вами что-либо красивое,— кричал он, ударяя себя в грудь,— это признак арийского характера; когда перед вами что-либо плохое — это дело рук евреев!» Он с гордостью козырял перед коварными врагами, что у него все еще имеется около четырех тысяч приверженцев, и умолял Германию одуматься на краю гибели, которая угрожает ей от еврейской заразы. В заключение он заявил с уморительной торжественностью, словно сообщал по меньшей мере о взятии Парижа, что снова берет на себя всю ответственность за все движение всех своих четырех тысяч единомышленников,— либо враги пройдут по его трупу, либо он пройдет по трупам врагов!

Пивная ревела от восторга, потрясая в воздухе кружками.

Представление закончилось, как во всех провинциальных театрах, живой картиной. На эстраду вышли рассорившиеся после путча вожди национал-социалистов: Эссер, Фрик, Штрейхер, Федер, Дингер, Буттман — и, окружив в живописных позах фюрера, подали друг другу руки. Восторг пивной при виде этого апофеоза не имел пределов.

Покидая пивную, Эрнст сказал себе с улыбкой, что каков приход, таков и вождь. В разговоре с друзьями он заметил, что уж кто-кто, а этот гороховый шут с его четырьмя тысячами подпевал для рабочего движения Германии большой опасности не представляет.

Скажи ему в эту минуту кто-нибудь, что декламатор из Бюргерброй в точности и весьма буквально выполнит свое обещание на предмет прогулки по трупам и через десять лет судьбы Германии, в частности личная судьба его, Эрн-

ста, будут в руках этого человека,— Эрнст, наверное, воспринял бы такой прогноз как забавную шутку. Право, он слишком уважал своих соотечественников, чтобы даже в мыслях допустить что-либо подобное.

Возможно, Эрнст был плохим провидцем, что для политика непростительно. В оправдание его можно сказать, что вряд ли во всей Германии был в то время хоть один человек, включая сюда самого фюрера, который верил бы в возможность такого исхода. У Эрнста Гейля было много товарищей, даже сердечных товарищей, близких и преданных, но друга, к которому он привязался бы так, как когда-то был привязан к Роберту, у него не было. Такого друга он встретил лишь в двадцать шестом году в лице белокурой девушки, Луизы Бруннер, партийного товарища, работницы с фабрики анилиновых красок. Осенью они поженились, и прожитые с нею два года были, пожалуй, годами, к которым Эрнст чаще всего возвращался воспоминаниями.

Иногда ему казалось, что годы эти прошли особенно быстро, и он томился досадой, как мало, по сути дела, ему удалось сохранить в памяти от жизни его с Луизой. Правда, оба они в это время здорово работали, и видеться им приходилось не особенно часто. Луиза вела большую и трудную работу у себя на фабрике...

В коммунистической печати стали проскальзывать сведения, что фабрика, будто бы производящая анилиновые краски, на самом деле изготовляет удушливые газы. Сенсационными разоблачениями заинтересовалась даже какая-то международная комиссия, явившаяся на фабрику и затем благополучно отбывшая, не обнаружив ничего предосудительного. Вскоре после отъезда комиссии Луиза и еще несколько рабочих фабрики были арестованы. Они предстали перед военным судом по обвинению в государственной измене и военном шпионаже, хотя фабрика изготовляла всего лишь мирные краски. И Луиза, и ее товарищи были приговорены к десяти годам каждый.

Эрнст не мог даже присутствовать на процессе: суд происходил при закрытых дверях. Впоследствии какими-то путями он все же узнал, что Луиза на суде вела себя отлично. Получив последнее слово, она запела «Интернационал» и лишь после оглашения приговора свалилась в обмороке. Товарищи хорошо вспоминали о Луизе Бруннер и никогда не упрекали ее в малодушии — ей было всего двадцать че-

тыре года! По справкам тюремного ведомства, она умерла в тюрьме, не отбыв назначенного срока наказания.

Эрнст еще яростнее ушел в работу. Товарищи уважали его за стойкий, ровный характер, не подверженный отчаянию, ни другим видам истерии. Более чувствительные из них старались не заговаривать о Луизе, не желая причинить Эрнсту боль. Они ошибались. Эрнст гордился своей Луизой, говорил о ней всегда охотно, очень тепло и просто, а если иногда при звуке ее имени замолкал, в молчании его было что-то от тишины, которая залегает над залом, вставшим почтить память убитого товарища.

7

В 1930 году, просматривая однажды «Вельтбюне», Эрнст напал на статью, высмеивающую псевдонаучные теории поборников расизма. Под статьей стояла подпись: «д-р Роберт Эберхардт». Дочитав статью и натолкнувшись на подпись, Эрнст неожиданно для самого себя сильно заволновался.

«Неужели Роберт?»

Эрнст помнил, что Роберт увлекался когда-то антропологией, но ведь с того времени прошло целых десять лет! Волнение, охватившее его при виде фамилии Эберхардт, показалось самому Эрнсту трогательным и забавным. Вот до чего крепко сидят в нас атавизмы детства! Он не мог отрицать, что ему было бы очень приятно, если бы этот ученый доктор оказался его школьным другом.

Эрнст тут же решил обязательно осведомиться у товарищей насчет личности автора статьи, но в сутолоке дел позабыл о своем решении.

Несколько месяцев спустя он встретил в другом левом журнале еще одну статью доктора Роберта Эберхардта. На сей раз это был искрящийся остроумием колкий памфлет — мордобой в лайковых перчатках, как охарактеризовал его про себя Эрнст. Исходной точкой памфлета, направленного против германских евгенистов, послужили автору откровения расистского ученого Базлера.

В своем «Введении в расовую и общественную психологию» Базлер пытался доказать, что большая смертность среди негров в колониях от повальных сердечных болезней вызвана не чем иным, как наследственной склонностью этой расы к чрезмерным напряжениям. По словам Базлера,

негры испокон веков обожают непосильно тяжелые работы. Хлебом их не корми, только дай таскать «большие тяжести, которые они носят бегом через горы, не считаясь с пределом своих физических сил! Этой перегрузкой они, по собственной вине, вызывают у себя серьезные заболевания сердца». Согласно наблюдениям господина Базлера, такими же любителями непосильных напряжений являются и немецкие рабочие, что, с одной стороны, свидетельствует об их расовом родстве с неграми, а с другой — объясняет большой процент смертности среди этого сословия. Логически развивая самым серьезным образом ученые наблюдения господина Базлера, Роберт Эберхардт то и дело заставлял читателя покатываться со смеху. К концу статьи он превращал германских евгенистов в яичницу, причем делал это с утрированной корректностью, пользуясь лишь безусловно проверенными научными данными.

Статья привела Эрнста в веселый восторг. Если этот доктор даже не Роберт, все равно надо попытаться потеснее связать его с движением. Такое перо, особенно в деле завоевания мелкобуржуазной интеллигенции, стоит десятка хороших агитаторов!

На этот раз Эрнст уже не позабыл выяснить в точности личность автора статьи. Ему сообщили, что автор — молодой доцент, сын известного астрофизика, профессора Юлиуса Эберхардта.

Хотя Эрнст заранее был почти в этом уверен и всякий другой ответ принес бы ему большое разочарование, все же подтверждение догадки было ему невыразимо приятно. Радостно было убедиться, что за эти десять лет их раздельной жизни Роберт не свихнулся и сам сумел нащупать правильную дорогу. Эрнста непреодолимо потянуло повстречаться с Робертом. Он видел в нем уже не только прежнего друга, но и будущего боевого товарища. Одно это заставило его вконец забыть старые обиды.

Он разыскал в телефонной книжке телефон профессора Эберхардта, позвонил и попросил Роберта. Роберта не оказалось дома. По ответу было ясно, что Роберт все еще проживает в том же особняке, с отцом. Повидаться с ним Эрнсту удалось не так скоро. Помешали непредвиденные события.

Согласно Веймарской конституции Германия именовалась демократической республикой. Веймарская конституция гарантировала всем гражданам среди прочих благ так-

же и свободу убеждений. Поэтому коммунистическая партия существовала в Германии легально, выставляла свои списки к очередным выборам в рейхстаг и распространяла в печати свои политические идеи. Никто не мог быть арестован и посажен в тюрьму за коммунистические воззрения.

Кроме коммунистов, существовало много других, так называемых рабочих и социалистических партий. Политическая жизнь Германии развивалась под знаком неуклонного роста рабочего движения, и даже гитлеровские «наци» именовали себя официально Национал-социалистической рабочей партией.

Самой могущественной из такого рода партий была СПД — социалистическая партия Германии. Представители этой партии заседали в правительстве. В руках их находилось прусское министерство внутренних дел. В руках их находилась полиция. На социал-демократической полиции зиждилась Веймарская республика. Социал-демократическая полиция была подлинной опорой демократии в Германии. Она никогда не арестовывала и не сажала в тюрьму коммунистов за их политические убеждения.

Заводы Симменса принадлежали к промышленным предприятиям Германии, где влияние коммунистической партии особенно распространилось и окрепло. Работа коммунистов была поставлена там лучше, чем на других предприятиях.

Владельцы заводов Симменса были этой работой очень недовольны, считая, что она подрывает основы мирного соглашения между трудом и капиталом, на коем зиждется всякое демократическое государство. Они не скрывали своего недовольства от социал-демократического министерства внутренних дел, которое тоже признавало мирный альянс между трудом и капиталом основой всякой подлинной демократии.

Министерство внутренних дел не вмешивалось в политические убеждения рабочих заводов Симменса. Оно считало эти убеждения внутренним делом каждого гражданина. Оно только напомнило своей полиции, что ее назначение — защищать основы демократии.

В полиции было известно, что всей коммунистической работой на заводах Симменса руководит некто Эрнст Гейль. Компетентные лица утверждали, что, если бы Эрнст Гейль не руководил этой работой, она, возможно, не была

бы так хороша поставлена. Таково было их личное мнение, а на основе Веймарской конституции ни одному гражданину не возбранялось иметь свое личное мнение.

К этому времени в германской политической полиции в качестве младшего комиссара работал некто Губерт Фаулер. Названный гражданин Фаулер состоял в прошлом членом коммунистической партии и даже был секретарем одной из низовых организаций, но затем, разочаровавшись в коммунизме, покинул партию, захватив на память о своих юношеских заблуждениях кое-какие партийные документы, среди которых оказалась и партийная касса. К ответственности за это Фаулер не привлекался: никому из граждан не возбранялось менять свои политические взгляды, если же он в такую горячую минуту и захватил не совсем то, что намеревался, трудно было вменять ему это в преступление.

Порвав с компартией, Губерт Фаулер перешел на работу в политическую полицию, где быстро пошел в гору, пока не достиг чина младшего комиссара.

Вечером 27 июля знакомые видели Губерта Фаулера в пригородном кафе. Больше Губерта Фаулера никто в этом мире не видел. На следующий день труп его был найден на пустыре, неподалеку от упомянутого кафе, с простреленным черепом и пулей, застрявшей в кишечнике.

Нашлись два свидетеля, из которых один показал в полиции, что в прошлый вечер, минут за пятнадцать до момента смерти Фаулера, в точности установленного медицинской экспертизой, сидя за соседним столиком, он видел, как Губерт Фаулер покинул кафе и как вслед за ним, быстро расплатившись, поднялся и вышел Эрнст Гейль. Другой свидетель, пятнадцатью минутами позже проходя мимо рокового пустыря, явственно слышал два выстрела и, свернув в переулок, натолкнулся на бегущего Эрнста Гейля, правая рука которого была засунута в карман пиджака. По заверению обоих свидетелей, Эрнст Гейль неоднократно выступал в их районе на собраниях, и оба узнали его с первого взгляда.

Принимая во внимание коммунистическое прошлое убитого, полиция усмотрела в убийстве акт партийной мести.

Эрнст, уехавший в этот день по делам в Дрезден (что явилось лишней уликой, свидетельствовавшей против него), узнал обо всем лишь к концу недели, когда вернулся в

Берлин. Предупрежденный товарищами, встретившими его на вокзале, он не явился больше на квартиру и временно остановился у знакомого рабочего-скорняка.

Товарищи Эрнста считали, что все это дело пахнет чистейшей провокацией. Одни из них были убеждены, что Губерт Фаулер, расхаживавший обычно в штатском, был убит с целью грабежа двумя уголовниками, пойманными на следующий же день; уголовникам этим в полиции обещали замять все дело, если они единодушно засвидетельствуют, что убийцей Фаулера является Эрнст Гейль.

Другие утверждали, что Губерта Фаулера убила сама полиция, поскольку он перестал представлять для нее какой-либо интерес. Оба свидетеля — просто подставные полицейские агенты. Таково было личное мнение товарищей Эрнста, а согласно Веймарской конституции никому из граждан не возбраняется иметь свое личное мнение.

Что касается полиции, то у нее тоже было свое личное мнение. Оно выражалось словами демократического законодательства и сводилось к тому, что если два гражданина единодушно указывают на третьего гражданина и свидетельствуют под присягой, что он причинил смертельные телесные повреждения четвертому гражданину, то этого достаточно, чтобы вину третьего гражданина считать вполне доказанной.

За убийство полицейского чиновника во время исполнения им служебных обязанностей (а чиновники тайной полиции исполняют их, как известно, не только на улице, но и в кафе) полагалась смертная казнь, заменяемая иногда в виду смягчающих вину обстоятельств пожизненным заключением.

Поскольку Эрнст в тот злополучный день действительно заходил в указанное кафе, вступать в препирательство с судебными органами на предмет его невиновности не имело никакого смысла. Партия знала не один такой случай, когда товарищи, находившиеся в момент совершения того или иного преступления в другом конце Германии, все равно осуждались на многие годы на основе показания одного свидетеля. Уже римляне говорили, что человеку свойственно ошибаться, а германские судьи того времени, по свидетельству современников, тоже были людьми.

Поэтому понятно, что товарищи Эрнста не пожелали способствовать еще одной судебной ошибке и предложили Эрнсту исчезнуть с берлинского горизонта. Эрнст переме-

нил фамилию и остался жить на нелегальном положении в большом городе Берлине. Само его исчезновение было, в свою очередь, для правосудия новым неопровержимым доказательством его виновности, равносильным признанию. За поимку Гейля, как это водилось, была назначена соответствующая денежная премия.

Товарищи Эрнста говорили, что стоит ему на известное время прекратить свою деятельность, и полиция не будет особенно настаивать на его поимке: для нее гораздо важнее обезвредить Эрнста и лишить возможности продолжать работу, чем затевать громкий процесс, всегда вызывающий в печати противоречивые толки. Эрнсту было предложено покинуть Германию и перебраться в СССР.

Он переубедил товарищей, доказав им не без основания, что его присутствие здесь нужнее.

Со свойственным ему упрямством он продолжал работать. Партия не была еще в то время подготовлена к нелегальным условиям, и ему приходилось выкручиваться своим умом.

В скором времени Эрнст имел возможность убедиться в правильности советов более опытных товарищей. Полиция, на первых порах не причинявшая ему особого беспокойства, вдруг взъелась на него не на шутку. Явки его начали проваливаться одна за другой, и ему стоило немалого труда выскальзывать из уготованных ловушек. Впервые за время своего пребывания в партии он стал недоверчив и мнителен. Усиливая меры предосторожности, он довел их до того, что лишь одному из членов окружного комитета доверил адреса своих временных пристанищ и явок.

Вечером, придя на ночевку, он чуть не попал в лапы ожидавшей его полиции и спасся лишь чудом, выскочив во двор и просидев три часа в мусорном ящике. Он отправился на другую квартиру и, издали учуяв недоброе, повернул, не заходя в дом. Он проверил через близкого и смышленого товарища все свои квартиры и места явок. Везде сторожили подозрительные лица, среди которых товарищ узнал нескольких известных шпиков.

Всю эту ночь, и следующую, и третью кряду Эрнст провел, бродя по городу и не решаясь зайти ни в одну из знакомых квартир. Навязчивая мысль, что партия засорена провокаторами, которые проникли даже в окружной комитет, не давала ему покоя. Морально он чувствовал себя в эти дни и ночи исключительно скверно. Он сопоставлял су-

хие факты и начинал подозревать самых доселе безупречных и близких товарищей. Его непреодолимо тянуло зайти кое к кому из цекистов, поделиться своими сомнениями, но он опасался скомпрометировать их своим визитом.

Одинокий в огромном людном городе, он бродил по улицам, как прокаженный. Никогда раньше и никогда позже он не испытывал такого страшного чувства одиночества.

Впоследствии он имел возможность убедиться, что видел в эти дни все в чересчур мрачных красках. КПГ была засорена провокаторами не больше и не меньше, чем любая хорошо работающая революционная партия, и совпадения, на первый взгляд наводившие на неприятные мысли, зачастую были лишь результатом непривычки большинства товарищей к конспирации.

Изнуренный бессонницей, с двумя пфеннигами в кармане, Эрнст плелся по тихой, откуда-то знакомой улице, утопающей в зелени. Теперь он готов был зайти уже куда угодно, лишь бы лечь и уснуть. Очутившись перед особняком Эберхардтов, он не раздумывая нажал кнопку звонка и спросил Роберта.

Его осмотрели подозрительно и неприветливо: за эти трое суток он успел зарасти бородой, и следы пребывания в мусорном ящике невыгодно отразились на его внешности. Его заставили подождать в передней.

Минуту спустя вышел щуплый молодой мужчина с лицом прежнего Роберта, но как будто слегка увеличенным и кое-где оттененным ретушью. Пристально присмотревшись к гостю, мужчина воскликнул: «Эрнст!» — и, схватив Гейля за руку, втащил его в гостиную. Сжимая Эрнста в объятиях, он засыпал его вопросами.

Эрнст в ответ прошептал ему на ухо всего две фразы: что его ищет полиция и что ему безумно хочется спать.

Роберту немалого труда стоило уговорить Эрнста надеть шляпу и выйти обратно на улицу. Он долго втолковывал Эрнсту, что устроит его у себя сейчас же, надо только, чтобы не знала об этом прислуга. Поэтому пусть Эрнст сделает вид, будто он ушел, и переждет десять минут где-нибудь поблизости, на улице. Роберт в это время выпроводит из дома прислугу и будет его ждать у задней калитки.

Прошло ли в точности десять минут, Эрнст не знал. У задней калитки его действительно встретил Роберт и, с нежностью похлопывая по спине, провел на второй этаж.

Наверху Эрнста дожидалась уже постланная кровать, тарелка холодного мяса, булки, масло и бутылка вина. Эрнст смотрел на все это стеклянными глазами и без слов грохнулся на постель. Спал он беспробудно целые сутки.

8

Проснувшись, он увидел в открытое окно голубое августовское небо и зеленые кроны каштанов, сотрясаемые ажиотажем целой биржи воробьев. Он потянулся, щурясь от солнца. Ни жизнь вообще, ни собственное положение не показались ему сейчас вовсе такими мрачными, как сутки назад.

Появившийся в дверях Роберт проводил его в ванную и, смерив еще раз взглядом, вернулся с перекинутым через руку костюмом и сменой белья.

— Мой тебе не подойдет, узковат. Надевай пока отцовский, а там что-нибудь придумаем. В твоем оставаться невозможно — весь в каких-то помоях!

— Ба, я совсем забыл о существовании твоего папаши! Как думаешь, не выгонит он меня? — дурачился Эрнст.

— Отец уехал в Лондон на научный конгресс и вернется не скоро.

Вид приготовленной ванны и предупредительно расставленного перед зеркалом нового бритвенного прибора растрогал заросшего бородой скитальца. Всюду чувствовалась заботливая рука Роберта.

Свежий, чисто выбритый, в новом, чуточку просторном костюме, Эрнст поднялся наверх и застал в своей комнате обильно сервированный стол. Недолго думая, он жадно набросился на еду.

— Если будешь соблюдать минимальные меры предосторожности, сможешь здесь жить сколько влезет,— сказал Роберт, откупоривая бутылку вина.— На досуге подумаем, каким путем переправить тебя за границу.

Эрнст возразил, что уезжать за границу не собирается. Как ярый германский патриот, он вовсе не думает покидать свою прелестную родину. Знает ли, кстати, Роберт, какого рода преступника он приютил под своей крышей?

— Не знаешь? Тогда давай сначала поем, а то, может, еще раздумаешь и придется уйти не евши.

Отправляя в рот изрядный кусок шницеля и запивая его вином, Эрнст рассказал о безвременной кончине Губерта

Фаулера и в юмористических тонах сообщил Роберту о роли, которую полиция соизволила наметить в этом деле его покорному слуге. Роберт вовсе не был склонен воспринимать рассказ юмористически. Бледный, с лицом, искаженным возмущением, он нервно шагал по комнате. Нет, этого так просто нельзя оставить! У него есть знакомства среди высших чинов юстиции. Надо немедленно все поставить на ноги! Прежде всего нужно посоветоваться с хорошим адвокатом.

Эрнст с любопытством наблюдал за своим взволнованным приятелем.

«Эге, брат, да у тебя, оказывается, еще здорово много иллюзий!..»

Он посоветовал Роберту не вести себя, как младенец, и — ради бога! — не затевать никаких историй, если только он не хочет засыпать его, Эрнста, и таким образом избавиться от незваного квартиранта.

Роберт обиделся. Для борьбы с произволом полицейской клики в Германии есть еще достаточно испытанные средства, начиная с печати и кончая общественным мнением! Отказываться заранее от этих средств и подчиняться произволу — это безумие, меньше всего подобающее революционеру!

Эрнст, иронически щуря правый глаз, заметил, что, к сожалению, дело не в происках коварной полицейской клики, а в государственной системе. Наполнив рюмки, он предложил выпить за скорейшее излечение Роберта от иллюзий.

Они чуть не поссорились, что в течение этого обеда грозило им неоднократно. Взглянув на смеющееся лицо Эрнста, Роберт рассмеялся тоже и предложил выпить за их старую дружбу. Было решено, что Эрнст останется здесь жить. Роберт не будет вмешиваться в его дела, хотя и считает его поведение сумасбродным.

На столе появилась вторая бутылка вина, и разговор принял более мирный характер. Они весело перебирали все свои совместные увлечения детства. Когда дошли до гиббона, Роберт заверил приятеля, что всему виной старик Геккель, который заставил их обратиться не по адресу. Ближайшим родственником человека является вовсе не гиббон, а шимпанзе — это давно доказали Швальбе и Вейнерт. У самого Роберта имеется на эту тему специальная работа.

Обратись тогда Роберт с Эрнстом не к гиббону, а к шимпанзе, им наверняка удалось бы с ним дотолковаться...

Незаметно беседа соскользнула на теперешние увлечения Роберта. Основные его научные работы касались области антропогенеза. Попутно Роберт занимался проблемой возникновения рас. Звание доцента он получил за свою обстоятельную работу о питекантропе, изученном им не по слепкам, а по ископаемому оригиналу. Тут Роберт достал с полки тонкую книжку и не без гордости протянул ее Эрнсту.

— Погоди, я тебе надпишу ее на память.

— Пожалуйста, не надписывай! Я еще не знаю в точности, как меня звать.

— Обойдемся без фамилии.

Он написал: «Старому другу в залог новой дружбы».

Эрнст, перелистав длинные таблицы измерений черепной крышки и бедренной кости питекантропа с точностью до одного микрона, отложил книжку. Он заметил с улыбкой, что ему ближе к сердцу вторая область деятельности Роберта: она неизмеримо актуальнее политически и, следовательно, нужнее. Статьи Роберта, направленные против расизма, без всяких комплиментов великолепны.

Роберт ответил, что свои статьи, печатавшиеся не в специальных журналах, он считает невинными литературными упражнениями и никогда не придавал им значения. С детства его немножко тянуло к литературе, и изредка он позволяет себе эту слабость. Рассматривать эти статейки всерьез и сравнивать с его работами из области антропогенеза, конечно, нельзя. Если Эрнст считает его научные работы политически неактуальными, потому что они трактуют о каких-то древних ископаемых костях, то он грубо ошибается.

— Я не раз имел возможность убедиться, что германские коммунисты страдают весьма ограниченным взглядом на вещи и механически пытаются низвести все к экономической борьбе. Было бы полезно, если бы они меньше увлекались Марксом, а пристальнее почитали Энгельса. Хотя бы его «Происхождение семьи» или «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека». Энгельс, очевидно, не считал эту проблему политически неактуальной, раз изучению ее посвятил столько времени...

— Не перевирай, пожалуйста, моих слов. Я отнюдь не уговариваю тебя бросать работу по антропогенезу и пере-

ключаться на популярные полемические статьи. Я только считаю в корне неправильным твое собственное к ним пренебрежение, как к работе второго сорта. Я лично вовсе не отделяю твоей научной деятельности от политической, как ты это делаешь сам. Для меня это лишь две стороны одной и той же работы. Захирение одной повлекло бы неизбежное вырождение другой.

Произнося эту тираду, Эрнст не мог отделаться от неприятного ощущения, что его слова покажутся Роберту прописными истинами. В правоте своей он не сомневался нисколько. Но для развернутого спора с Робертом он не чувствовал себя достаточно подкованным. Этот малыш в вопросах антропогении знал куда больше его!

Многолетние выступления на митингах научили Эрнста трудному искусству полемики. Поэтому ему не стоило большого труда умело сманеврировать и, не принимая открытого боя, довести спор до благополучного конца.

В этот день они не только не рассорились, но расстались с Робертом самыми лучшими друзьями. Соотношение сил в их новой дружбе было несколько другое, чем десять лет тому назад. Перевес безусловного убеждения был по-прежнему на стороне Эрнста. Но раньше непогрешимую правоту Эрнста ощущал и Роберт. Теперь же Роберта приходилось завоевывать. Никогда до этого Эрнст не осознавал так болезненно пробелов в своем образовании. Раньше оружие их игр и действий — вплоть до винтовки в дни восстания спартаковцев — неизменно выбирал Эрнст. Теперь выбор оружия принадлежал Роберту.

9

У Роберта в этот период были свои серьезные огорчения. Поделиться ему было не с кем. В своих горестях и неудачах он привык исповедоваться отцу, единственному человеку, который — он это знал — не будет над ним ни злорадствовать, ни потешаться: взгляды отца и сына во многом совпадали. Теперь, в отсутствие отца, Роберт рад был возможности доверить свое горе Эрнсту.

В печати недавно проскользнула заметка, что Дюбуа отказывается от питекантропа! Роберт долгое время ждал опровержения. Не дождавшись, решил написать Дюбуа письмо.

Эрнст не сразу понял, почему вся эта история так волнует Роберта. Ну, отказался, подумаешь! Велика важность!

Не встретив в друге надлежащего сочувствия, Роберт даже обиделся:

— Да ты знаешь, кто такой питекантроп?

— Знаю. Обезьяночеловек. Уж Геккеля-то я читал!

— Так это же единственное, наиболее достоверное палеонтологическое доказательство происхождения человека от обезьяны!

— Ну, и что из этого?

— Как «что из этого»? Если сам «автор» питекантропа, человек, который нашел его, описал, в течение сорока лет отстаивал свою находку, вдруг отказывается от собственного взгляда, отрицает несомненное обезьянье происхождение нашего предка, как, по-твоему: стоит это в прямой связи с походом реакции против дарвинизма или не стоит?

— Ага, вот в чем гвоздь! Понимаю!

Роберт, начав говорить на любимую тему, не мог уже остановиться:

— Ты бы почитал по этому вопросу! Это увлекательнее всякого романа! Помнишь, у Геккеля «недостающее звено»? Так ведь Геккель дошел до этого путем умственной спекуляции. Его уверенность в происхождении человека от антропоморфной обезьяны была так велика, что он не побоялся ввести в человеческую родословную недостающее переходное звено. Он не сомневался ни минуты в предстоящей находке остатков этого неведомого существа, для которого он заранее придумал кличку питекантропа. И вот приходит Дюбуа, голландский врач, который начитался Геккеля и поверил ему на слово, и заявляет, что он берется найти ископаемые останки геккелевского питекантропа...

— Молодец!

— Погоди минутку! В качестве военного врача Дюбуа получает командировку в колонии. Следуя указаниям Геккеля, он едет искать своего воображаемого обезьяночеловека на Яву. Но указание это, как мы сейчас знаем, было в корне неверно! Оно основывалось как раз на ошибке Геккеля, который искал предков человека не среди шимпанзеподобных, а среди гиббоноподобных обезьян. Отсюда и неверный маршрут Дюбуа на родину современных гиббонов, на Яву. Если бы поиски питекантропа производились нами сегодня, во всеоружии новейших знаний, нам бы и в голову не пришло искать его на Яве. И мы так и не нашли бы его

до сих пор. А Дюбуа нашел, несмотря на то, или, вернее, именно потому, что отправился по неверному адресу! Более поразительной игры случая невозможно придумать! Подняв верхние слои земли близ Триниля, он нашел то, чего ни до него, ни после никто никогда нигде в другом месте не смог найти: нашел черепную крышку, три зуба и бедренную кость существа, как две капли воды соответствующего геккелевскому питекантропу. Впоследствии в тех же местах был разыскан еще один зуб и четыре бедренные кости. Таким образом было найдено вещественное доказательство происхождения человека от обезьяны, огорошившее, как снаряд, всех противников дарвинизма.

— Постой,, но ведь, насколько я понимаю, сам Дюбуа официально нигде от питекантропа не отмежевывался. Может, это просто газетная утка?

— Видишь ли, Дюбуа необычайно ревностно относится к своей находке и следит буквально за всем, что когда-либо где-либо печаталось по вопросу о питекантропе. Поэтому совершенно невероятно, чтобы такого рода порочащая его заметка не попала к нему в руки. То, что он не счел нужным опровергнуть ее в печати — и тем самым разрешил реакционным элементам в науке спекулировать его именем,— говорит уже само за себя.

Эрнст живо заинтересовался личностью доктора Дюбуа. Роберт рассказал ему пространно о своем визите в Харлем в период работы над монографией о питекантропе. Оказалось, профессор Дюбуа, ныне почтенный старец, живет у себя в Голландии, в Харлеме, как форменный отшельник, сторожа свое ископаемое. Кости питекантропа можно посмотреть только у него на дому, причем редко кому из ученых он разрешает дотронуться до них рукой. Когда один из антропологических конгрессов попросил их у него на короткое время, он предложил конгрессу приехать к нему в Харлем.

— Да у него нужно эти кости отобрать! — воскликнул возмущенный Эрнст.— Ведь этак, под влиянием попов, он может их и уничтожить!

Тревога приятеля вызвала у Роберта улыбку.

— Отобрать, к сожалению, нельзя. Как тебе известно, мы проживаем пока что в капиталистическом обществе, и эти косточки составляют частную собственность голландского гражданина, профессора Дюбуа. В силу наших представлений о частной собственности он волен их уничто-

жить. Но эта опасность не так уж велика, хотя, конечно, досадна. Прежде всего я забыл тебе сказать, что профессор Дюбуа, на основании договора с английской фирмой Дамон, предоставил ей исключительное право производства и продажи слепков с костей питекантропа. Таким манером он эксплуатирует своего обезьяночеловека, как безропотное домашнее животное, в течение вот уже сорока лет. Наш предок оказался для него настоящей курочкой, несущей золотые яйца. Вот тебе прямая связь антропологии с экономикой! К счастью, благодаря этому бизнесу мы располагаем в настоящее время десятком тысяч точнейших слепков с питекантропа. Каждая его косточка измерена и описана бесконечное количество раз. При таких условиях даже гибель оригинала не принесла бы науке непоправимого ущерба. Единственное, что Дюбуа может делать совершенно бесконтрольно, это колдовать над внутренним строением принадлежащих ему костей. Но такого рода исследования не в состоянии внести ничего существенно нового.

— Почему ты не напишешь на эту тему памфлета? Его можно бы озаглавить: «Питекантроп, посаженный на цепь».

— Что ты? Зачем злить старичка? Он был по отношению ко мне на редкость любезен и разрешил мне даже потрогать кости. Ну, как, по-твоему, актуально это и интересно?

— Очень!

— Вот видишь! А ты говоришь: не огорчайся! Конечно, случай с Дюбуа до конца не проверен, но на фоне того, что происходит повсюду, он приобретает значение симптома. Целый ряд видных ученых, один за другим, переходит в лагерь реакции. Возьми хотя бы Вейнерта! Автор прекрасных работ в области антропогенеза! Ходят упорные слухи, что он склоняется к признанию эоантропа.

— Это еще что за зверь?

— Это челюсть и несколько костей черепа, найденные Давсоном на юге Англии, близ Пильтдауна. По всем данным, челюсть принадлежит человекообразной обезьяне, а кости черепа — пещерному человеку. Тем не менее Уорварт и ряд других антропологов пытаются доказать, что это кости одного и того же существа, жившего якобы на заре человечества и потому окрещенного ими эоантропом. Существо это, судя по челюсти, еще древнее питекантропа. Поскольку же его черепные кости гораздо ближе к строению

черепа современного человека, чем череп питекантропа и даже неандертальца, вывод отсюда ясен: человек ведет свой род вовсе не от питекантропа через неандертальца, а от неких неведомых нам доселе приматов через эоантропа...

— А что кому от этого прибавится?

— Очень много прибавится расистам и всякого рода мракобесам. Вейнерта соблазняет то, что челюсть, найденная близ Пильтдауна, шимпанзеподобна. Поэтому, по его мнению, даже признавая существование эоантропа, он не грешит против дарвинизма. Но это не совсем так. До сих пор единственная научная родословная человека ведет от человекообразной обезьяны, через питекантропа и неандертальца, к современному роду. Только на стадии неандертальца мы замечаем расчленение этого единого ствола на расы. Мракобесам и расистам такая генеалогия, конечно, не по вкусу. Сильно развитые надбровные дуги, сросшиеся зубные корни и согнутые ноги неандертальца слишком явно свидетельствуют о его обезьяньем происхождении. Поэтому самые реакционные из антропологов считают неандертальца вымершей боковой ветвью, не состоящей в прямом родстве с современным человеком, и выводят человека от каких-то неизвестных и не сохранившихся в природе существ. Практически это означает то же самое, что выводить его от адамовой кости. Более гибкие расисты не прочь иногда пококетничать с Дарвином. Так называемый «социальный дарвинизм», как известно, сослужил им неплохую службу. Они готовы признать питекантропа и вслед за ним неандертальца предками человечества, но не всего человечества, а лишь его низших рас. Пусть они происходят от обезьяны, так им и надо! Что касается, например, северной расы, то она произошла совсем другим путем! Так возникают всякие полигенетические теории, пытающиеся доказать, что разные расы возникали самостоятельно от разных высших и низших приматов. Политический смысл этих теорий разъяснять тебе нечего. Признание реального существования эоантропа нужно этим господам, как манна небесная. Это как раз тот, другой, особый путь развития, который необходим им для оправдания происхождения высших рас.

— А чем же этот путь лучше?

— Шутишь! В то время, как низшие расы, даже в Вюрмское обледенение, на стадии неандертальца сохрани-

ли основные черты обезьяны, потомки эоантропа, уже на стадии современной или даже предшествующей питекантропу, обладали вполне человеческим построением черепа!

— Понимаю!

— Подумать только! Вейнерт, который в течение стольких лет отстаивал научную родословную человека и посвятил этому вопросу десяток работ, вдруг склоняется к признанию такого блефа, как эоантроп! Что это, по-твоему: случайность или убеждение в собственной ошибке? Вот, дорогой Эрнст, где происходит сейчас подлинная классовая борьба, хотя речь идет не о заработной плате, а лишь о каких-то ископаемых костях древностью в двести тысяч лет. А ты ее ищешь только на своих фабриках!..

10

Условия жизни Эрнста в особняке Эберхардтов можно сравнить только с условиями жизни в первоклассном санатории. За исключением прогулки по саду, которую Эрнст заменял прогулкой по комнате, настежь распахнув окно и впуская ветки каштана, весь день кишевшие воробьями, не было такой вещи, на нехватку которой Эрнст мог бы пожаловаться.

Несмотря на это, он заскучал уже на следующий день. Он не умел жить вне связи с организацией, и ощущение того, что он потерял эту связь, лишало его способности мирно наслаждаться давно заслуженным отдыхом.

На третий день он несмело спросил у Роберта, не смог ли бы тот по дороге на работу заехать на Бюловплац, в Дом Карла Либкнехта, и лично передать письмо одному товарищу. Роберт с готовностью согласился. Эрнст вручил ему письмо и очень просил подождать ответа.

Желанный ответ Роберт привез ему в тот же вечер. Цекист советовал Эрнсту уехать в провинцию на месяц, а то и на два — партия может ему в этом помочь; если же он нашел вполне безопасное пристанище здесь, не покидать его и не показывать носа в течение такого же примерно времени. Поднялась целая волна полицейских провокаций, и в этой обстановке провал Эрнста полиция не преминула бы использовать как удобный предлог для компрометации других, стоящих на очереди товарищей. Что касается Эрнстовых подозрений, то они будут учтены в связи с проводи-

мой ныне довольно основательной проверкой партийных кадров. Если Эрнсту невтерпеж сидеть без дела, он может за это время написать целый ряд статей для партийной печати. Список тем прилагался.

Избавившись от последних сомнений, Эрнст мог наконец без зазрения совести предаться кейфу, как он называл свою беззаботную и безбурную жизнь в особняке Эберхардтов. Кейф этот, впрочем, носил весьма трудолюбивый характер. Используя богатые библиотеки Роберта и его отца, Эрнст с раннего утра и до поздней ночи глотал книгу за книгой. Ежедневные беседы и споры с Робертом великолепно пополняли этот краткий курс принудительного самообразования. В спорах с Робертом Эрнст проверял каждодневно свои умозаключения, черпал добавочные сведения, узнавал о последних научных гипотезах, возникавших, как грибы, в эти плодородные годы, на смену вчера еще новеньким, а сегодня уже устаревшим теориям. Роберт, поражаясь быстрым успехам друга, вскоре мог говорить с ним о довольно сложных вещах, не прибегая к постоянным разъяснениям и упрощениям, неизбежным в разговорах с непосвященными.

Для самого Роберта споры с Эрнстом, которые он вел вначале со скептической улыбкой и с оттенком превосходства, вскоре превратились в насущную потребность. Никогда раньше после занятий в институте его так не тянуло домой. В своей научной работе он встречался до сих пор исключительно с критикой справа. Реакционные ученые видели в его настроениях воплощение ненавистного марксизма уже на том основании, что Роберт отказывался мирить антропологию с религией и решительно отрицал превосходство одних рас над другими. Частые атаки справа способствовали развитию в Роберте полемической жилки и придавали его очередным работам все ярче выраженный воинствующий характер. Однако все возможные аргументы своих противников он знал уже наизусть. Противники, теряя под ногами научную почву, неизменно старались перевести спор в плоскость метафизики, куда Роберт отказывался за ними следовать: борьба, таким образом, теряла для него всякий интерес.

В спорах с Эрнстом он впервые столкнулся с критикой слева и почувствовал необходимость пересмотра некоторых позиций. Споры эти давали его уму новый толчок. Роберт по своему характеру, как легко догадаться, был нату-

рой сугубо интеллектуальной. Умственная работа была для него источником тончайших наслаждений, по сравнению с которыми бледнели все другие ощущения и чувства. Уже одно это объясняло в известной степени его новую привязанность к Эрнсту, как к косвенному возбудителю новых интеллектуальных эмоций. Если добавить, что у Роберта не было настоящего друга, что с людьми он сходился трудно, возрождение его горячей дружбы к Эрнсту станет еще более понятным. Мост между ними был переброшен с детства, возводить его не было надобности, а это чрезвычайно облегчало их новое сближение. К тому же какое-то подсознательное, неуловимое ощущение вины перед Эрнстом теперь, когда представился случай загладить ее без остатка, еще усиливало привязанность к нему Роберта.

В своих разговорах с Робертом Эрнст давно уже перестал быть стороной, преимущественно воспринимающей. Способность делать из всего молниеносные политические выводы помогла ему и тут. Вскоре он стал переводить приятелю на язык политики такие явления, которые в глазах Роберта не имели к ней как будто прямого отношения. Он политизировал в шутку даже тяжеловесные академические термины Робертовой науки. Слово «питекантроп», обозначавшее, по выражению Роберта, обезьяну, еще не ставшую человеком, и в то же время человека, еще не переставшего быть обезьяной, он стал употреблять как синоним «наци» и вообще всякой масти поборников фашизма и реакции: этот род людей, если серьезно взвесить, не заслуживал гордого названия «Homo sapiens».

Роберт считал это оскорбительным для своего любимца питекантропа. Эрнст убедил его цитатой из Энгельса, что только с переходом средств производства в общественную собственность и с устранением господства продуктов над производителями человек окончательно выделится из царства животных. Для тех, кто с животным упорством хочет задержать человечество в сенях предыстории, нельзя найти более подходящего имени! Роберт согласился, но потребовал выделить из этой общей группы военных; по его мнению, этот вид человекообразных стоит еще по крайней мере двумя ступеньками ниже на лестнице эволюции. Поэтому оба приятеля стали звать их дриопитеками, присвоив им имя самой древней из антропоморфных обезьян.

Теории и вещи, не заслуживающие серьезного разбора, Эрнст стал определять одним словом: эоантроп. Они не го-

ворили больше: чистейший блеф; они говорили: чистейший эоантроп.

Этот условный язык, свойственный и понятный только им обоим, придавал их разговорам особую дружескую интимность. Болтая с приятелем до поздней ночи, Роберт со смутной тревогой отгонял от себя мысль, что вот однажды Эрнст может вдруг уйти и опять кануть в неизвестность...

11

Неделю на шестую пребывания Эрнста в доме Эберхардтов Роберт поднялся к нему наверх позже обычного и возвестил с порога, что вернувшийся из-за границы Эберхардт-старший ждет их обоих к ужину. Скрывать от отца пребывание Эрнста в доме немыслимо. Старик все равно узнает, только обидится, что от него утаили. Роберт рассказал отцу вкратце все дело. На Эберхардта-старшего вполне можно положиться. Болтливостью никогда не отличался. Тем паче, чувствуя себя посвященным в тайну, будет молчать, как рыба,— за это Роберт ручается головой,— в случае же непредвиденной надобности, при своих связях, может оказаться весьма и весьма полезным.

Эрнста приезд старого Эберхардта не привел в особый восторг. Не умея этого скрыть, он пробормотал: предпочтительно, если бы о его пребывании здесь знало как можно меньше людей. Поскольку, однако, Роберт уже посвятил в это отца, ничего не попишешь. Так или иначе, время уже ему, Эрнсту, ставить паруса: побездельничал, пора и честь знать!

Роберт накинулся на друга с возмущением, упрекая его в злопамятстве и нежелании забыть Эберхардту-старшему какую-то обиду десятилетней давности. Эрнст увидит: старик Эберхардт — очень занятный человек. Немножко чудаковат, надо к нему привыкнуть. Зато по-настоящему крупный ученый и, что ценнее всего, стихийный материалист: попов видеть не может, а религию считает атавистическим продуктом недоразвитого мозга, наглядно свидетельствующим о происхождении человека от четвероногих. К сожалению, в равной степени не терпит и политики, называя ее философией глупцов. Пытаться его переубедить — напрасный труд.

По словообильным предупреждениям Роберта Эрнст заключил, что встреча будет не из приятных. Он был чрезвы-

чайно рад, что на прошлой неделе ему принесли новый костюм, сделанный за глаза. Мерку снимал Роберт, не проявивший при этом особых портняжных способностей. Предстать перед старым господином Эберхардтом в самовольно заимствованном у него костюме было бы вдвойне неприятно.

Они спустились вниз и сели за стол. Минут через пять явился старый господин Эберхардт. Эрнст поднялся навстречу и, пожимая ему руку, шутливо назвал свое имя. Профессор, не поняв шутки, буркнул какую-то любезность, вроде «очень приятно», словно виделись они с Эрнстом действительно впервые. Это был человек лет пятидесяти, идеально выбритый, с тщательно зачесанными назад редкими седыми волосами. Одет он был с подчеркнутой аккуратностью, в темный, хорошо сшитый костюм, без единой пылинки. Крахмальный воротничок и торчащий из верхнего кармана пиджака край белого платочка придавали старому господину даже несколько франтоватый вид. На Эрнста он произвел впечатление человека, весьма следящего за своей наружностью. Он походил на тех очень корректных пожилых господ, которые могут еще нравиться женщинам, знают в них толк, любят хорошую и изысканную кухню и умеют, если захотят, быть обаятельными. Эрнст вспомнил, что мать Роберта умерла от родов, после чего господин Эберхардт больше не женился. Очевидно, поэтому он сохранил в своей внешности, а вероятно и в привычках, кое-что от старого холостяка.

Пока Роберт хлопотал около буфета, выставляя на стол вина, профессор, повернув голову, пристально уставился куда-то поверх Эрнстова плеча.

— Кто это так наследил? — спросил он вдруг, указывая глазами на паркет.

Эрнст невольно оглянулся и действительно увидел следы чьих-то подошв на паркете.

— Если вы обращаетесь ко мне,— сказал он, глядя на старика с легкой иронией,— то я, как вам известно, уже несколько недель не выхожу на улицу.

— Что?

— Несколько недель не выхожу на улицу. Тем самым я наследить не мог.

— Да я не к вам! — пожал плечами профессор и принялся за еду.

Пока не вернулся Роберт, оба ели и молчали. Эрнст украдкой, не без интереса, наблюдал за Эберхардтом-старшим.

— Несколько недель не выходите на улицу? — после длительного молчания спросил профессор.— Это нехорошо, надо гулять.

— Что? — переспросил на этот раз Эрнст.

— Надо гулять, говорю! Здоровья своего не жалеете.

Эрнст в первую минуту решил, что профессор над ним подтрунивает, и, приподняв брови, взвешивал, как себя дальше вести. Встретив значительный взгляд Роберта и его веселую улыбку, он решил держаться прежнего полушутливого тона.

— А я гуляю. По комнате. Для вящей вентиляции открываю окно...

— Неудобно вы себе жизнь устроили,— без особого сочувствия сказал профессор.

— Видите ли, сам я ее так неудобно не устраивал. Если же вы хотите сказать, что вообще наша жизнь устроена неудобно, то я с вами вполне согласен. Именно потому тем из нас, кто хочет ее сделать разумнее и удобнее для всех, приходится претерпевать множество неудобств.

Профессор минуту смотрел на него внимательно.

— Не думаю, чтобы так, как вы хотите ее устроить, было удобнее для всех,— сказал он наконец, напрасно пытаясь выловить из судка маринованный гриб и раздражаясь от этого еще больше.— Лучше скажите: для всех тех, кто останется в живых, остальных вы перестреляете. Это сейчас самый модный и самый легкий способ дискуссии.

«Эге! Вот где зарыта собака! Мы, оказывается, не терпим насилия как такового!» — не спуская глаз с профессора, быстро и почти радостно прикинул Эрнст. Он недолюбливал загадочных натур и не без основания считал, что все они, с небольшими вариациями, укладываются в несколько основных схем.

— Как вам известно, в моду этот способ ввели не мы,— возразил он дружелюбно.— Точнее, его ввели именно против нас. Мне не совсем понятно, почему вы спокойно допускаете, когда ничтожное меньшинство применяет его ежедневно к большинству, и возмущаетесь, когда большинство вынуждено к нему прибегнуть против кучки в интересах всего человечества.

— Я ничего не оправдываю! — ударив ладонью по столу, закричал Эберхардт-старший, встал из-за стола и ушел.

Эрнст начал уже извиняться перед Робертом за то, что испортил старику ужин, и заверять, что сделал это без злого умысла, когда вдруг профессор появился опять, на этот раз из совершенно противоположных дверей, кивнул головой и как ни в чем не бывало сел за стол.

— И, пожалуйста, оставьте в покое математику! — сказал он вдруг, доев ростбиф и отставляя тарелку. Эрнст даже вздрогнул от неожиданности. — Что вы все от нее хотите? Джинс доказывает мне на основе математических вычислений, что мир сотворен господом богом! Эти, едва усвоив сложение и вычитание, уже доказывают, что треть людей нужно перестрелять! Оставьте вы все в покое математику! Кончится тем, что я перестану ей доверять!

— Почему же? — подавляя улыбку, возразил Эрнст. Этот господин определенно начинал ему нравиться. — Математика в быту — неоценимая вещь. Попробуйте ее запретить, как же тогда люди подсчитают, сколько у них на текущем счету?

— Если вы подсчитаете и конфискуете мой текущий счет, вы лишите меня возможности работать — только и всего. Для человечества, которое вы так опекаете, моя работа в тысячу раз важнее вашей! — закричал старик, явно целясь в Эрнста вилкой.

«Э, да этот ученый муж вовсе не так уж непрактичен!» — подумал Эрнст.

— Вы, вероятно, слыхали, — сказал он любезно, — что, например, в Советском Союзе ученые вашего ранга обеспечены, пожалуй, лучше, чем у нас, и окружены в тысячу раз большим вниманием и заботой?

Профессор не ответил. В разговор вмешался Роберт. Некоторое время они непринужденно болтали с Эрнстом, иногда поглядывая в сторону старика, который, увлекшись едой, не принимал в их беседе никакого участия. Он перебил их неожиданно и спросил у Эрнста, каковы последние результаты работ таких-то (он перечислил длинный ряд незнакомых Эрнсту фамилий). Эрнст должен был признаться, что, к сожалению, ничего об этом не знает. По звучанию фамилий он догадался, что речь идет о ряде советских ученых. Профессор и на этот раз ничего не ответил. Еще через несколько минут он спросил у Эрнста, что же тот намерен делать дальше: за границу или куда?

— Наоборот, я намерен остаться в Германии, конечно, не здесь, у Роберта, и продолжать прерванную не по моей вине работу.

— Вам придется только и делать, что прятаться от полиции,— сказал старик, оглядывая его с любопытством, словно не имел времени присмотреться к нему раньше.— Это не очень продуктивная работа.

Эрнст заверил, что прятаться будет между делом, в основном же будет заниматься тем, чем занимался прежде.

Роберт, для которого этот поворот разговора был особенно неприятен, поспешил перевести беседу на другую тему. С самого начала ужина он неоднократно вмешивался в разговор, пытаясь заставить профессора рассказать что-нибудь о последнем конгрессе, но отец пропускал его слова мимо ушей. На этот раз Роберт принялся рассказывать сам, каждой фразой подчеркивая свою солидарность с Эрнстом:

— Ты не понимаешь, в чем дело! Эберхардт-старший приехал не в своей тарелке. Оказывается, все его коллеги на конгрессе только и делали, что доказывали существование бога. Убежденные материалисты, в том числе и мой почтенный папаша, очутились в ничтожном меньшинстве. Приехал и отплевывается. Впечатление у него такое, будто посетил сумасшедший дом. Уверяет меня, что его собратья на старости лет посходили с ума: боятся смерти и потому хватаются за бога. Не хочет верить, что это — повсеместное явление политического порядка, популярно именуемое поправением официальной науки.

Роберт явно пытался спровоцировать на высказывание отца, но тот сосредоточенно доедал мельбу и не изъявлял никакого желания вступать в спор.

— Ну, как это так! Серьезные люди, мировые ученые и вдруг стали бы открыто доказывать существование бога,— нарочито усомнился Эрнст.

— Уверяю тебя! Спроси у Эберхардта-старшего. Эдингтон доказал ему черным по белому, что, начиная с 1927 года, со времени эпохальных трудов Гейзенберга, Бора и Борна, религия стала снова родной сестрой науки. Да что Эдингтон! Джинс договорился до перста господня, который привел в движение эфир!.. Мы тут с Эберхардтом-старшим спорили до твоего прихода. Он не понимает, как это на ученого с мировым именем, ни от кого не зависящего, обеспеченного материально, могут вдруг влиять какие-то

политические партии! Взятку ему дают или как? По его мнению, Эдингтон просто выжил из ума... Как, Эберхардт-старший, правильно говорю?

Профессор, невозмутимо чистивший яблоко, не удостоил сына ответом.

Эрнст чувствовал себя при этом разговоре явно лишним. Роберт, не желая дать ему это ощутить и опасаясь новой паузы, всячески напрягал свое красноречие. Чтобы дать приятелю представление о существе спора и о научных аргументах креационистов, он принялся объяснять Эрнсту второй закон термодинамики и теорию тепловой смерти вселенной. Картина «успокоенной» материи, наподобие стоячих вод неспособной больше ни на какое движение, поразила воображение Эрнста. Фу ты черт! Вот тебе и конец мира! Самая настоящая нирвана! Нет, во всем этом явно кроется какой-то подвох!

Заметив интерес Эрнста, Роберт перешел к изложению второго коронного аргумента поборников сотворения мира: к бегству спиральных туманностей, удаляющихся друг от друга со скоростью, пропорциональной расстоянию. Эрнст озадаченно тер подбородок. Галактики, расползающиеся во все стороны, как растревоженные клопы,— все это действительно попахивало чертовщиной!

Он понимал, что Роберт в угоду ему излагает эти сложные вещи крайне упрощенно и старому господину это претит. Профессор сидел, нахохлившись, и не открывал рта.

— ...одним словом, научно доказано, что радиус вселенной непрестанно увеличивается. Тем сам, если пойти вспять, мы должны прийти к некоей точке, от которой началось расширение мира, сиречь — к творцу сего мира, господу богу. Так по крайней мере выходит по Эйнштейну...

— Ерунда! — закричал вдруг профессор.— Из уравнений Эйнштейна нигде не следует, что вселенная обязательно должна расширяться! Следует только, что она не статична. С равным успехом она может, например, сокращаться.

— Но мы все-таки знаем, что она расширяется, а не сокращается! Да если бы она и сокращалась, от этого не легче. Сокращаться она может тоже только до известной точки.

— Глупости! Она может расширяться и сокращаться попеременно!

— Как это так?

— Очень просто! Сейчас мы находимся в стадии ее расширения. Дойдя до определенного предела, она может начать сокращаться. Потом опять расширяться. Так до бесконечности.

— Браво, Эберхардт-старший! Это что, ты придумал или кто-нибудь другой? А знаешь, это здорово! Прямо поэтический образ! Вселенная, которая бьется, как сердце, с той разницей, что пульс ее измеряется квадриллионами и секстиллионами лет!

Старик поднялся из-за стола.

— Спасибо. До свидания.

— Погоди, Эберхардт-старший! Помиритесь сначала с Эрнстом,—подводя его за локоть к приятелю, настаивал Роберт.

— Да мы, по-моему, и не ссорились,—заверил Эрнст.

Старик пожал его руку.

— Учиться надо!—сказал он вдруг строго, как, вероятно, говорил своим студентам.—Не тем занимаетесь! С полицией в прятки играете. Об СССР разговариваете, а что там в физике делается—не знаете. Хотите учить других—сами сначала поучитесь! Пока люди не поумнеют, ничего с ними не сделаете. А поумнеют—без нас поймут!..—Он еще раз крепко пожал руку Эрнста, кивнул головой Роберту и ушел на свою половину.

12

День на третий после приезда старика Эрнст попросил Роберта зайти с письмом в Дом Карла Либкнехта. Роберт и на этот раз в точности выполнил поручение.

Получив ответ, Эрнст сообщил приятелю, что пора им расставаться: отдохнул, отъелся, надо приниматься за работу!

Тот и слушать не хотел о его уходе. Роберту казалось, что на решение Эрнста повлиял приезд Эберхардта-старшего. Пожалуйста, пусть Эрнст начинает работать, если ему не терпится. Но жить он будет по-прежнему у них. Более безопасной квартиры ему все равно не найти.

После длинного и довольно бурного объяснения Эрнст уступил и согласился еще некоторое время остаться у Эберхардтов.

Исчезал он теперь утром и возвращался поздно вечером. Роберту он сообщил, что зовут его теперь Фридрих

Таубе. Фамилия такая, что не надо заучивать, стоит лишь вспомнить про голубей[1]. Впрочем, пусть Роберт зовет его просто «Фриц».

Однажды утром Эрнст на работу не пошел. Роберт вернулся в этот день раньше обычного и застал его над составлением какого-то конспекта. Завидя приятеля, Эрнст знаком подозвал его к окну и указал на какого-то господина в сером, медленно прохаживающегося по противоположному тротуару.

— Что ты хочешь сказать? — спросил Роберт.

— Ничего. Это так называемый «шпик вульгарис».

— Откуда ты это взял? Может, поджидает барышню?

— Барышни на целых три дня не опаздывают. А я наблюдаю за ним уже третий день.

— Ты в этом уверен?

— Абсолютно. Зря я посылал тебя в последний раз в Дом Карла Либкнехта. Возможно, ты притащил его за собой. Но, поскольку в твое отсутствие он все равно остается здесь, ясно, что дело у него не к тебе, а ко мне.

— Тогда они произвели бы у нас обыск...

— Вероятно, они не совсем уверены. Одним словом, времени терять нельзя. Сегодня вечером переберусь на другую квартиру.

Роберт не счел возможным удерживать приятеля. Он стал предлагать Эрнсту квартиры своих знакомых, но тот отрицательно покачал головой. Пусть Роберт сохранит их на будущее, они еще не раз пригодятся. Сейчас надо на некоторое время разлучиться, не оставляя никаких лазеек, и не встречаться даже с общими знакомыми. Это — дело какого-нибудь месяца или двух. Через месяц-полтора, не раньше, Роберт может позвонить по этому вот телефону. Звонить надо не из дому, а из автомата. Спросить Рудольфа и сказать ему, чтобы передал Фрицу, что звонил Роберт: пусть Фриц позвонит тогда-то, во столько-то часов, по такому-то телефону. Номер опять-таки надо давать не свой, а кого-либо из отдаленных знакомых, куда Роберт в указанный день и час отправится с визитом. Эрнст вызовет его к телефону. Если все будет уже в порядке, они смогут повидаться. Пока что в своих отношениях им придется ограничиться телепатией. Есть, кстати, очень хороший вид телепатии: Эрнст будет регулярно читать «Вельтбюне» и «Нейе

[1] По-немецки «Taube» означает «голубь».

Бюхершау». Если он встретит там в ближайшее время несколько острых памфлетных статей доктора Роберта Эберхардта, это будет для него лучшим дружеским приветом и естественным продолжением их вечерних бесед.

Когда вконец стемнело, Эрнст начал собираться. Роберт заметно волновался. Он предложил товарищу, что проводит его на машине. Машина закрытая, сядут они во дворе, таким образом отъезда Эрнста никто не заметит, и шпик не сможет последовать за ним.

Эрнст охотно согласился. Они спустились в гараж. Роберт завел мотор. Эрнсту вдруг отчетливо припомнилось, как они со старым Эберхардтом ночью отвозили в клинику раненого Роберта. Сейчас старого Эберхардта не было дома...

Подошел Роберт и в темноте крепко обнял Эрнста.

Впоследствии, обнаружив у себя в кармане довольно значительную сумму денег, Эрнст сообразил, что Роберт мог их сунуть только в момент этого объятия.

Роберт усадил Эрнста в машину и задернул занавески. Сам он сел за руль. Машина быстро выскочила из ворот и, свернув вправо, стрелой умчалась в город.

Они долго петляли по городу, пока наконец Эрнст не окликнул Роберта и не сказал ему, смеясь, что прогулка была замечательная, но уже хватит. Он попросил высадить его на Потсдамерплац.

Когда хлопнула дверца и Эрнст исчез в толпе безликих прохожих, Роберт съежился, словно кто-то полоснул ножом по стеклу. Кажется, скрипнула включаемая скорость...

13

Встретиться им удалось только месяца через четыре. На свидании этом настоял Роберт, предупредивший приятеля, что должен сообщить ему нечто необычайно важное.

Роберт не сразу узнал Эрнста в очкастом господине с препротивными баками и неразлучной трубкой во рту. Удостоверившись, что это действительно Эрнст, он повел его к столику за амбразурой, сияющий и в то же время смущенный,— таким не видел его Эрнст никогда.— Познакомьтесь: моя невеста, Маргрет. Мой лучший друг — Эрнст.

— Ты хотел сказать «Фриц»,— сухо поправил Эрнст.— Вижу, ты настолько влюблен, что стал забывать имена своих лучших друзей.

Роберт смутился еще больше и пробормотал что-то в свое оправдание.

— Можешь быть спокоен, она абсолютно наш человек.

Эрнста передернуло. Он обозвал про себя Роберта дураком и, любезно улыбаясь, пожал руку девушке. О да, она была красива. Пожалуй, даже чересчур красива той холодной красотой, от которой болят глаза.

Наклонив голову, она ответила крепким рукопожатием. Как ему понравилась последняя работа Роберта? По ее мнению, это блистательнее всего, что Роберт когда-либо написал.

Речь шла о предвыборном памфлете, направленном против национал-социалистов и написанном в форме эразмовой «Похвалы глупости». Памфлет действительно пользовался большим успехом.

Эрнст, косвенный автор этой идеи, подсказанной им Роберту еще во времена кейфа в особняке Эберхардтов, поспешил заверить, что вещь удалась Роберту превосходно и бьет в самую точку.

Во все время встречи говорила преимущественно Маргрет. Роберт молчал и улыбался счастливой, почти детской улыбкой. Маргрет — так называл он свою невесту — радовалась новой победе коммунистов: восемьдесят девять мандатов! Это немыслимо ни в какой другой буржуазной стране!

— Я так завидую Роберту, что он хоть в какой-то незначительной степени способствовал этой победе!

Впрочем, она не была отнюдь склонна смотреть на вещи сквозь розовые очки. Двести тридцать мандатов национал-социалистов — это ведь почти две пятых всего состава рейхстага! Прямо страшно подумать!

Эрнст попросил ее не выражать так громко своих политических чувств.

Они расплатились и пошли пройтись по Тиргартену.

Маргрет не скрывала своих опасений. Со дня на день можно ожидать национал-социалистического путча. Геринг недавно в Спорт-паласе открыто требовал, чтобы улица на три дня была предоставлена штурмовикам. Готовы ли рабочие организации к обороне? Говорят, в Восточной Пруссии уже начались массовые политические убийства и штурмовики организованно готовятся к походу на Берлин.

У выхода из Тиргартена Маргрет распрощалась и села в автобус. Роберт пошел проводить еще немного Эрнста. Некоторое время шли молча.

— Как звать твою невесту? — переспросил вдруг Эрнст.

— Маргарита Вальденау, — краснея, повторил Роберт.

Эрнст сощурил глаза. Фамилия показалась ему знакомой.

Роберт, заметив выражение лица товарища, поспешно добавил:

— Да, она дочь видного чиновника министерства юстиции, что же из этого? С семьей она не имеет общего вот и на столько! Это вполне самостоятельный, мыслящий человек, очень близкий нам по убеждениям.

Эрнст молчал, словно набрал в рот воды. Не могло быть сомнений, это была дочка советника юстиции, господина Бернгарда фон Вальденау, весьма близкого национал-социалистам. Господин этот, по слухам, сыграл немаловажную роль в громком деле отмены верховной прокуратурой роспуска штурмовых отрядов, декретированного в апреле президентом.

Роберт, поняв продолжительное молчание Эрнста, повторил еще раз, что Маргрет вполне самостоятельный человек. Ни о какой общности ее взглядов со взглядами отца не может быть и речи. Не получив ответа, он добавил уже с легким раздражением:

— Вообще смешно делать детей ответственными за грехи родителей!

Эрнст заявил, что вовсе не делает фрейлейн фон Вальденау ответственной за деятельность ее папаши.

Расстались они с Робертом на этот раз довольно сухо.

Сидя в автобусе, Эрнст не мог отделаться от чувства неприязни, которое с первого взгляда зародилось в нем против Робертовой невесты. Ему претило происхождение этой девушки, ее фамилия, слишком уж сильно окрашенная в имперские цвета. Право, Роберт мог себе подыскать невесту в другой среде! Впрочем, диктовать Роберту, где ему искать невесту, было, по правде, смешно и нелепо. «Уж не ревную ли я к ней Роберта? Этого только не хватало!»

Так или иначе, появление нового человека, уверенно вставшего между ними, сразу усложнило их отношения.

14

Месяца через полтора они встретились опять, на этот раз по звонку Эрнста. Произошло это уже после того, как правительство фон Папена огласило чрезвычайный декрет

против террора, бьющий штурмовиков не в бровь, а в глаз. Резкая отповедь президента Гинденбурга Гитлеру и форменный отказ поручить ему образование нового кабинета отрезвили разбушевавшихся «наци» и запуганную ими Германию. Официальное коммюнике об этих переговорах звучало, как фельдфебельская нотация, прочитанная престарелым президентом слишком ретиво стремящемуся к власти «богемскому ефрейтору». Слухи и анекдоты об этой беседе ходили по городу как последнее политическое «mot». Вчерашний властитель тринадцати миллионов голосов и кандидат в диктаторы Германии, отчитанный дряхлым президентом, как школьник, сразу поблек и обмяк, словно выпустили из него воздух. Люди, вчера еще произносившие его имя полушепотом и с опаской, сегодня подтрунивали над ним вслух. Роспуск рейхстага фон Папеном и предстоящие новые выборы должны были в этой обстановке довершить банкротство национал-социалистов.

Компартия ощущала недостаток в острых перьях для новой, более чем когда-либо ожесточенной предвыборной борьбы.

На сей раз Эрнсту не пришлось Роберта уговаривать. По поспешности, с какой тот согласился принять участие в выборной кампании, Эрнст понял без труда, что в лице Маргрет он и его товарищи обрели неожиданного и влиятельного союзника. Даже это не смогло способствовать росту его симпатий к Маргрет.

Они не виделись с Робертом опять почти до конца ноября. Компартия завоевала целых сто мандатов. Национал-социалисты потеряли два миллиона голосов и окончательно погорели на последних выборах. Роберт был в исключительно бодром настроении и то и дело повторял:

— Честное слово, как говорит Эберхардт-старший, я склонен поверить, что наши соотечественники начали умнеть!

На свидание с Эрнстом он пришел необычайно возбужденный. По дороге его и Маргрет остановили два штурмовика с кружкой, прося милостыню. Маргрет вместо ответа плюнула им в кружку. Дело чуть не дошло до драки. Роберту еле удалось отвести невесту. Хотя он и называл Маргрет сумасшедшей, видно было, что он немало гордится ее поступком.

Эрнст на этот раз не разделял оптимизма своего друга: небывалая победа компартии, ставшей теперь одной из мо-

гущественнейших партий страны, неизбежно объединит против нее всех врагов.

Роберт обозвал приятеля ипохондриком и попросил, чтобы тот не портил ему хорошего настроения...

Два месяца спустя, 30 января 1933 года, богемский ефрейтор Адольф Гитлер был назначен рейхсканцлером.

Эрнст, затерянный в толпе, брел в этот вечер по Вильгельмштрассе. Бесконечная процессия коричневых факельщиков тянулась часами по бесконечной улице. Газеты насчитали их в этот вечер свыше двадцати пяти тысяч. Из окна своего дворца кланялся седой деревянный президент. Рядом с ним, раскланиваясь направо и налево, стоял человек с коротко подстриженными усиками, хорошо знакомыми всем по страницам «Симплициссимуса» и других юмористических журналов. Продавщицы магазинов и девушки легкого поведения, проходя по улицам в этот вечер, напевали популярную песенку: «Красивый Адольф, красивый Адольф, какой он душка, какой он плут!..»

15

25 февраля, в половине десятого вечера, по Берлину, рыча, пролетели одна за другой десятки моторизованных колесниц, набитых людьми в пылающих медью касках. К полуночи по городу пошел слух, что штурмовики подожгли рейхстаг: начинается!

Эрнст, явившийся к этому часу на свидание с двумя партийными товарищами (местом явки была небольшая пивная в окрестностях Фридрихштрассе), узнал об этом только здесь. Завсегдатаи пивной взволнованным шепотком обсуждали событие. Они склонны были толковать его иносказательно: поджог рейхстага штурмовиками должен был, очевидно, символизировать крах парламентского режима. Горевать особенно не о чем! Эта досужая говорильня, распускаемая в последнее время чуть ли не каждый месяц, эти ежемесячные новые выборы всем успели изрядно надоесть. Германии необходимо правительство сильной руки, которое положило бы конец партийным раздорам и поставило бы на ноги хозяйство! Дальше так продолжаться не может! Если это сумеет сделать Гитлер, пусть будет Гитлер. Он должен сказать всей стране, как в начале войны сказал кайзер: «Я не знаю партий, есть только немцы!» Трезво мысля-

щие люди, перечисляя грехи парламента, давно говорили: пусть он сгорит!

Широкая публика узнала о пожаре рейхстага лишь два дня спустя. Известие, транслированное по радио 27 февраля, сбило всех с толку. Правительство оповещало, что рейхстаг подожгли коммунисты...

Министр Геринг сообщал, что при обыске, проведенном в берлоге коммунистов, в Доме Карла Либкнехта и его потайных подземных ходах, наряду с тоннами взрывчатой литературы найден преступный план коммунистического заговора против государства. Согласно этому плану, поджог рейхстага должен был стать сигналом к большевистскому перевороту.

Официальное коммюнике Прусского информационного бюро гласило, что коммунистические погромы должны были вспыхнуть пунктуально в четыре часа пополудни на следующий день после пожара рейхстага. «Вполне установлено, что именно в этот день по всей Германии должны были начаться террористические акты против отдельных лиц, против частной собственности, против жизни и имущества мирных граждан...»

От всех этих ужасов спас ничего не подозревающих мирных граждан рейхсканцлер Гитлер, который предвосхитил коварные замыслы коммунистов и воспрепятствовал их осуществлению. Каким образом воспрепятствовал, в точности не сообщалось. Завсегдатаи пивных, передававшие шепотом о массовых террористических актах против лиц из лагеря марксистов, тут же громко соглашались, что террор террору рознь: священная цель защиты законного порядка оправдывает все средства.

Люди так называемых интеллигентных профессий, ближе стоящие к политике, знали великолепно, что компартия давным-давно переехала из Дома Карла Либкнехта в более безопасные места и могла оставить в этом доме в лучшем случае ненужную макулатуру. Мифический «летучий голландец», поджегший рейхстаг с партбилетом коммуниста в кармане, тоже не вызывал в них особого доверия. Таково было их личное мнение, и они были достаточно интеллигентны, чтобы держать его при себе. Два новых декрета — «В защиту народа и государства» и «Против измены германскому народу и преступных происков» — отменили 28 февраля остатки Веймарской конституции. Иметь

свое личное мнение германским гражданам впредь не рекомендовалось.

Когда же наступили давно обещанные «ночи длинных ножей», мирные граждане, спасенные Гитлером от разрухи, благоразумно заперлись в квартирах, плотно занавесив окна. Они старались не выглядывать даже на лестницу, по которой коричневые преторианцы «красивого Адольфа» волокли вниз окровавленных марксистов и евреев, помышляющих о попытке к бегству.

Берлин выглядел в эти дни, как город, сломленный долгой осадой, после вступления в него неприятельских войск. По улицам холодным сквозняком дул страх, заставляя жаться к стенам редких прохожих. По пустынным мостовым с хриплым лаем сирен мчались обезумевшие автомобили, полные кургузых людей в коричневой форме, затянутых ремнями, как портпледы. То тут, то там у молчаливого дома останавливался битком набитый грузовик, и вооруженные люди в коричневых рубашках, гремя сапогами, гурьбой вваливались в подъезд. Водруженный над воротами флаг победителей с черным крестом свастики свисал над опустевшим тротуаром, как траурная хоругвь, оповещая прохожих, что в доме находится мертвый.

В эти дни Эрнст получил известие от Маргрет, что с Робертом случилось несчастье и нужна немедленная помощь. Маргрет умоляла в означенный час встретиться с ней в небольшом кафе на Доротеенштрассе.

Эрнст пунктуально явился в указанное место. Маргрет уже ждала его у витрины. Они пошли по улице, разговаривая вполголоса. Роберта третьего дня забрали штурмовики. Вчера с утра она еще не знала, где он. В течение дня ей посчастливилось через знакомых установить его местопребывание. Благодаря поручительству ее отца Роберта удалось освободить под подписку о невыезде. В настоящую минуту он находится на квартире у одной из подруг в совершенно ужасном состоянии и ждет прихода Эрнста. Квартира вполне безопасная, Эрнст может пойти туда без всякого риска.

Роберта они застали лежащим на кушетке. Он поднялся им навстречу. Один его глаз был завязан. Рука, которую он протянул Эрнсту, дрожала.

Сегодня же вечером они с Маргрет уезжают в Швейцарию. Маргрет с диким трудом, за большие деньги выхлопотала для них паспорта. Вообще, если бы не Маргрет...

— Я знал, что они глупы, но я не знал, что они звери! Это даже не варвары, это просто не люди! Да, ты мне это говорил, ты называл их всегда питекантропами. Ты был прав. Кому нужны мои ископаемые человекоподобные животные, когда здесь, рядом, по Берлину целые их стада гуляют и охотятся на свободе? О, теперь я напишу книгу! Она будет повествовать о последнем нашествии на Европу человекоподобных зверей. Я обдумал это все т а м, когда я не знал еще, выйду ли я оттуда... Маргрет раздобыла для меня потрясающие документы. О поджоге рейхстага, и не только об этом. О более страшных вещах! Ты ее не знаешь, это необыкновенный человек!.. Я использую их для моей книги. Это будет страшная документальная книга. Она откроет глаза всему миру! Она разрушит вконец заговор равнодушных! Я знаю, это мы — вот я и все те, кто, как я, чуждался политики, кто пытается еще сейчас соблюсти преступный нейтралитет, — повинны в катастрофе, которая постигла Германию! Я так и озаглавлю мою книгу: «Заговор равнодушных». Я докажу им, что только с их молчаливого согласия возможно это беспримерное торжество низости, тупоумия и злодейства! Они увидят и ужаснутся! Весь мир, все мыслящие люди пойдут на питекантропов облавой и загонят их в клетку! Или... или вся человеческая культура вернется к четвертичному периоду...

Он говорил еще долго, волнуясь. Лицо его передергивалось частым нервным тиком. Эрнст насилу усадил приятеля на диван и всячески старался его успокоить.

— Может быть, ты считаешь, что я бегу, что мне надо остаться здесь? — спрашивал Роберт, пугливо заглядывая ему в глаза. — Я думаю, здесь польза будет от меня небольшая. Для физической борьбы я мало пригоден. Но ты ведь знаешь, что я не трус?

Эрнст успокаивал его, как мог:

— Не говори глупостей и не напрашивайся на комплименты. Что, я не помню, как ты дрался с ними в восемнадцатом году? Если бы тогда дрались все, как ты, может, теперь всего этого не было бы. Но в настоящей ситуации, конечно, оставаться тебе здесь нет никакого расчета. Поезжай за границу и пиши, пиши, пиши как можно больше! Мобилизуй против них общественное мнение, это сейчас самое главное! Чем больше ты сделаешь там, тем больше поможешь нам здесь. Приведи себя только в порядок. В таком состоянии тебя могут цапнуть на границе.

Мало-помалу он перевел разговор на предстоящий отъезд Роберта. Маргрет все уже успела предусмотреть и устроить. Ее собственные деньги, положенные на ее имя как приданое, еще вчера по ее поручению перевели в Базельский банк. Наличные деньги Роберта по доверенности получит ее адвокат. Кое-какие акции и бумаги тот же адвокат реализует в ближайшие дни и вырученные деньги переведет в Швейцарию. Железнодорожные билеты у нее на руках. Все основные формальности проделаны... Когда она успела все это сделать, было почти непостижимо! Единственное, что осталось нерешенным,— это как перевезти через границу все те документы, о которых говорил Роберт. Если эти бумаги попадут в руки «наци», тогда обоим им крышка. Говорят, на границе усиленно перетряхивают вещи.

Эрнст научил их тут же, как из простого чемодана сделать чемодан с двойными стенками. Он попросил у Маргрет ее несессер, разобрал его и, разместив в нем бумаги, привел опять в прежний вид при помощи одного тюбика «пеликаноля». Несессер выглядел, как новый.

Следя за ловкими манипуляциями приятеля, Роберт немного развеселился. Он стал строить планы на ближайшие недели. Сперва они остановятся в Базеле, оттуда, возможно, переберутся в Женеву...

Маргрет возразила безапелляционно: сперва они остановятся в каком-нибудь горном санатории и, только после того, как Роберт совсем поправится, двинутся дальше.

Эрнст полностью поддержал Маргрет.

Да, но как же они будут сообщаться с Эрнстом?

Это дело сложное. Сообщаться им в ближайшее время не придется.

Маргрет предложила, что она может переправлять письма через свою подругу, если Эрнст оставит какой-нибудь адрес...

Нет, Эрнст не может оставить никакого адреса.

Роберт спросил, нельзя ли с Эрнстом связаться через обойщика Готфрида Шеффера, как они связывались раньше.

Нет, ни в коем случае! Пусть Роберт, пожалуйста, забудет этот адрес и ни при каких обстоятельствах не называет его никому, если не хочет навсегда поссориться с Эрнстом.

Когда они стали прощаться, Эрнст выразил сожаление, что не сможет проводить их на вокзал. Они расцеловались. Роберт настоял, чтобы Эрнст поцеловался с Маргрет и пе-

решел с нею на «ты». Крепко сжимая ее руку, Эрнст сказал, глядя Маргрет в глаза, что на этот раз она завоевала его подлинное уважение.

Она улыбнулась, в глазах ее блеснули слезы: Эрнст не представляет, как тяжело ей и Роберту оставлять его здесь одного!

— Ну, полно! Как это одного! Нас здесь добрых несколько миллионов. Как ни старайся Гитлер, всех нас не перебьешь!

Он пожелал им счастливого пути и, шутливо помахав от порога платком, исчез на лестнице...

16

Прошло несколько месяцев. Вестей от Роберта не было никаких, да и не могло быть: известия из-за границы поступали скудно, протертые сквозь решето строжайшей цензуры.

Эрнсту в эти месяцы провалов и провокаций приходилось туго. Арест Тельмана огорошил всех. Партия медленно приноравливалась к условиям подполья, спуская жирок многолетней легальности. Работать становилось все труднее и труднее.

Тогда-то вдруг пришла первая весть о Роберте. Ее принесла одна из унифицированных германских газет.

Прочтя первые строки, Эрнст весь похолодел и долго сидел, уставившись на газету, не веря собственным глазам. В газете сообщалось, что известный ученый и литератор марксистского толка, доктор Роберт Эберхардт, последние месяцы проживавший в эмиграции, на днях перешел швейцарскую границу и добровольно отдал себя в руки германских постов. Доставленный в ближайший пограничный пункт, он заявил, что не может дольше жить вдали от родины, в среде клевещущих на нее чужаков, и добровольному изгнанию предпочитает заслуженное возмездие, которое примет с радостью из рук оскорбленного им немецкого народа.

В ответ на предложение изложить в письменной форме мотивы своего чистосердечного раскаяния доктор Эберхардт написал нижеследующее...

Следовало краткое заявление, в котором перебежчик поносил и обливал помоями политических деятелей немецкой эмиграции, отрекался от своих выпадов против луч-

шей части германской науки, верно стоящей на службе нации, и признавал, что только национал-социалисты вернули попранному германскому народу его достоинство и сознание высокой исторической миссии. Внизу стояла подпись: «Доктор Роберт Эберхардт».

Эрнст, скомкав газету, долго сидел, как истукан, не в силах очухаться от удара. Когда он наконец обрел способность соображать, первой мыслью, которая пришла ему в голову, было подозрение в мистификации. И все же, если бы Роберт по-прежнему пребывал за границей, «наци» вряд ли решились бы на такую подделку. Одно дело — газетная утка, от которой в любой момент можно отмежеваться, а другое — фальшивка за подписью живого человека. Нет, тут что-то не так!..

Может, они схватили Роберта тогда же на границе, и долгим истязанием вынудили подписать такое заявление? Но если бы Роберт никогда не вращался в среде названных им эмигрантов, такую ложь тоже легко было бы разоблачить.

Оставалось третье предположение, самое тяжелое: фрейлейн фон Вальденау! Но ведь Роберт не гимназист в конце концов, чтобы, подпав под влияние какой-то бабенки, в угоду ей менять убеждения! Очевидно, дело не только в ней. Впрочем, не зря Эрнст с первого взгляда почувствовал антипатию к этой черно-бело-красной фрейлейн. Правда, к концу и его она сумела окрутить вокруг пальца... Нет, непонятно! Зачем же ей понадобилось тогда вывозить Роберта за границу, добывать для него какие-то документы, компрометирующие «наци»? Голова может лопнуть!

Опыт последних месяцев говорил, что даже близкие товарищи могут оказаться провокаторами. Но применить эту аксиому к Роберту Эрнст был неспособен — все в нем бунтовало против такого простого решения.

Он попробовал навести справки, но так ничего и не добился.

Много месяцев спустя до него дошел слух, что какой-то Эберхардт сидит в концентрационном лагере в Дахау. Имел ли этот Эберхардт какое-либо отношение к Роберту, оставалось по-прежнему неизвестным. Слух дошел до Эрнста окольным путем, и передававшие его люди легко могли перепутать фамилию. Роберт не был партийным товарищем, и почти никто из товарищей не знал его в лицо.

Шли месяцы. Эрнст вторично уже стал забывать про Роберта. Воспоминание о нем было теперь даже не горько, а просто неприятно.

Однажды вечером Эрнсту переслали записку, оставленную для него у обойщика Шеффера. Вот ее содержание:

«Эрнст! Умоляю тебя, откликнись! Дай знак, где с тобой встретиться. Живу уже несколько дней у отца. Телефон тот же. Во что бы то ни стало должен тебя видеть!

Твой *Роберт*».

Эрнст задумчиво вертел в пальцах письмо. Второй раз в жизни Роберт, полузабытый, возникал перед ним из неизвестности. На этот раз оклик Роберта не доставил Эрнсту радости.

Он внимательно осмотрел записку. Крупный неровный почерк, с уклоном вниз. Нет, это не почерк Роберта — Эрнст помнил его отлично. Значит, очередная провокация? Интересно, что должна означать фраза: «Живу уже несколько дней у отца»? Подразумевается, что до этого все время жил где-то в другом месте. Где? Вспомнилось известие из Дахау. Ерунда! Явный полицейский вольтик! Письмо написано чужим почерком. Кто-то решил взять его, Эрнста, на старую дружбу: авось клюнет! Шутишь! Не таких видали! Надо предупредить старого Шеффера, что квартира его подмочена. Зря Эрнст назвал когда-то этот адрес Роберту. Но ведь тогда партия существовала еще легально и не было надобности скрывать адреса. Как это было давно! Кажется, в прошлом столетии!

Эрнст порвал записку на мелкие клочки и кинул ее в сток. Выкинуть ее из головы оказалось труднее. Что-то беспокойно щемило, как зуб под раз навсегда положенной непроницаемой пломбой. А-а, глупости! Не было никакого Роберта!

Еще одна перемена декорации. Эрнст в шикарном костюме, с чемоданом, в не очень дорогой, но очень приличной гостинице, комната 444. Паспорт: доктор Клаус Зауэрвейн из Дрездена. Задание: самым легальным образом съездить в Париж и обратно. В первый раз со времени безмятежного кейфа в особняке Эберхардтов несколько дней безделья в бутафорской атмосфере обеспеченности и комфорта.

И опять навязчивая мысль о Роберте. А что, если с Робертом они сыграли какую-то страшную шутку? Лагерь в Дахау... «Живу уже несколько дней у отца». Но почерк-то, почерк-то не его! А черт знает, с каким почерком люди выходят из Дахау! Если это провокация, то расчет был правильный: старый сазан Эрнст клюнул, как рыбка! Опаснее всего это вынужденное бездействие, самая губительная вещь для нашего брата!

К вечеру Эрнст уже знал, что обязательно совершит какую-нибудь глупость. Например, позвонит Роберту из автомата и условится с ним встретиться в Цоо. «Эрнст, не будь же идиотом! Если хочешь попасть в их лапы, можешь это сделать проще — подойди к первому шупо: разрешите представиться!.. Нет, Роберту звонить нельзя! Надо сначала выяснить. Может быть, он заходил к Шефферу или оставил у него что-нибудь более вразумительное?»

Так случилось, что почтенный доктор Клаус Зауэрвейн из Дрездена накануне своего отъезда за границу, в одиннадцать часов вечера, отправился на Кейбельштрассе к обойщику Готфриду Шефферу узнать, готова ли заказанная им кушетка.

Известие о смерти Роберта ударило в Эрнста, как гром. Старый господин, оба раза заходивший к Шефферу, не мог быть не кем иным, как только Эберхардтом-старшим. По словам маленькой дочки Шеффера, старик говорил ее отцу, что если бы он, Эрнст, повидался тогда с Робертом, может, этого бы не было. «Этого», то есть смерти Роберта. Значит, в смерти Роберта есть какая-то тайна? Но какая? Не подвох ли все это? После визита Эберхардта-старшего Шеффера взяли гестаповцы. Несомненно, между этим визитом и арестом обойщика существует прямая причинная связь. Но тогда все становится еще менее понятным!

Если все это только крючок, на который гестапо хочет поймать его, Эрнста, в таком случае арест Шеффера был бы промахом, совершенно немыслимым для опытных рыболовов. Арест этот, само собой, должен был насторожить Эрнста, вызвать в нем подозрения, отвести его от мысли идти на свидание с Эберхардтом. Так могут действовать только мазилы, ничего не смыслящие в полицейском деле. Если бы гестапо действительно подсовывало Эрнсту Роберта и его отца как приманку, оно ни за что не стало бы арестовывать обойщика.

Значит, старик мог привести за собой шпиков случайно, сам того не подозревая. Но тогда и записка Роберта, видимо, тоже не была ловушкой?

Долго в эту ночь Эрнст не мог сомкнуть глаз.

Повидаться со стариком необходимо. Иначе Эрнст никогда не узнает, что случилось с Робертом. Но допустим даже самый благоприятный вариант: старик к полиции непричастен. Тогда несомненно он находится под наблюдением. Раз он притащил за собой шпиков к Шефферу, тем паче он навлечет их на Эрнста. Повидаться со стариком нельзя! Позвонить тоже нельзя — его телефонные разговоры наверняка контролируются. Подвергать себя риску сейчас, находясь на легальном положении, не выполнив партийного задания, Эрнст не имел никакого права. Он достаточно наглупил, отправившись сегодня к Шефферу, и должен благодарить простую случайность, что не был за это как следует наказан.

17

Утром Эрнст встал поздно, с головной болью, оделся и отправился на Александерплац, в полицей-президиум. Поднявшись на третий этаж, он заглянул в одну комнату, затем в другую. В четвертой комнате одинокая девица выстукивала что-то на машинке. Эрнст поздоровался любезным «Хайль Гитлер!» и попросил у нее разрешения позвонить по телефону: все автоматы заняты, а ему необходимо известить клиента, которого срочно вызывают в полицей-президиум.

Элегантная внешность и изысканные манеры Эрнста сделали свое дело. Барышня сказала: «Пожалуйста» — и указала на телефон.

Эрнст вызвал профессора Эберхардта и официальным тоном попросил его явиться к двум часам в полицей-президиум, комната 48. На тревожный вопрос старика, по какому делу его вызывают, Эрнст ответил сухо: «Кое-какие формальности» — и положил трубку. Он поблагодарил барышню, наградившую его весьма милой улыбкой, и вышел в коридор.

Первая половина дела была сделана. Ангелы, наблюдающие за телефоном Эберхардта, если им даже вздумается проверить, узнают, что звонили действительно из полицей-президиума. Эберхардт-старший по такому вызову

явится непременно. Шпик, который будет его сопровождать, вряд ли вздумает путаться за ним по зданию полицей-президиума. Скорее всего подождет у выхода. Если же и поднимется, то не станет особенно пристально следить за лицами, с которыми профессор Эберхардт встречается в полиции.

Прохаживаясь по коридору, ровно в два часа Эрнст увидел на площадке лестницы Эберхардта-старшего. По лестнице поднимался дряхлый старик. Вид у него был запущенный и неопрятный. Не осталось и следа ни от прежней выправки бонвивана, ни от подчеркнутой аккуратности в одежде. Смерть Роберта, должно быть, здорово подкосила старика.

У дверей комнаты 48 Эрнст подошел к нему и сказал полушепотом:

— Здравствуйте и не удивляйтесь!

Старик остановился как вкопанный и в остолбенении глядел на Эрнста.

— Как? Вы работаете в полиции?! — воскликнул он с нескрываемым ужасом.

— Не говорите глупостей,— строго пробурчал Эрнст.— И слушайте меня внимательно. Погуляйте здесь минуты две. Потом идите в самый конец коридора. Последняя дверь направо — уборная. Войдите туда и заприте за собой дверь на задвижку. Поняли? — Он повернулся на каблуке и медленно пошел по коридору.

Топографию места он успел изучить досконально. Уборная в конце коридора принадлежала к типу одноместных. Она состояла из двух отделений: из маленькой комнатушки с писсуаром и умывальником и из собственно уборной — крохотной кабинки за деревянной перегородкой. Эрнст зашел в кабинку. Минуты через три в помещение с умывальником зашел профессор и стал возиться с задвижкой. Эрнст окликнул его и позвал в кабинку.

— Садитесь,— сказал он, затворяя вторую дверь и указывая старику на стульчак.— Вдвоем здесь стоять негде.

Профессор послушно присел, поглядывая на Эрнста со страхом.

— Вы действительно не служите в полиции? — спросил он еще раз.

Эрнст в нескольких словах попытался объяснить причину, заставившую его выбрать для их свидания такое непод-

ходящее место. Профессор вздохнул с облегчением. Он тут же полез за пазуху и стал вытаскивать какие-то бумаги.

— Это письмо Роберта к вам, а это — к Маргрет. А вот это — бумаги, которые мне удалось спасти.— Дрожащими руками он совал их Эрнсту.

— Вы все это таскаете с собой?

— Да, я боюсь оставлять дома.

— Хорошо,— сказал Эрнст, пряча бумаги.— А теперь рассказывайте, быстро! Долго оставаться нам здесь нельзя...

...Десять минут спустя Эберхардт-старший вышел из уборной и, следуя инструкции Эрнста, вошел в комнату 48. Он спросил у сидящего там ворчливого чиновника, как пройти в паспортный отдел. Затем, помешкав еще немного, он вышел в коридор, спустился по лестнице, сел в автобус и отправился домой.

Эрнст просидел в уборной еще минут пять. Он завернул в газету письма и бумаги Роберта и спрятал их тщательно за бак для спуска воды. Потом он покинул уборную, на ходу приводя в порядок гардероб. Покрутившись немного в самом людном отделении, он вышел на улицу. Из привычной осторожности он объехал чуть ли не весь Берлин, то и дело меняя средства передвижения, пообедал в небольшом ресторанчике в Далем и только к вечеру, усталый, вернулся в гостиницу.

Решив выспаться перед завтрашним путешествием, он быстро разделся и уже собирался лечь спать, когда в номер вдруг постучали. Привычным ухом он уловил за дверью присутствие нескольких людей. Он рванулся к костюму, соображая, куда податься, когда хряснула взломанная дверь. Одеваться было некогда. В нижнем белье и ночных туфлях он, не раздумывая, выскочил на балкон. Балкон был длинный, на него выходили двери нескольких номеров. На дворе уже стемнело, моросил ледяной, промозглый дождь.

Пробежав до конца балкона, Эрнст уперся плечом в последнюю дверь и с размаху влетел в чей-то ярко освещенный апартамент. Раздетая пожилая дама при виде его испустила короткий крик. Эрнст огляделся. Топот шагов на балконе заставил его выскочить в коридор. Добежав до запасной лестницы, он съехал по перилам на второй этаж, шмыгнул в коридор и ткнулся в первую дверь. Дверь была не заперта. В номере на диване дремал полураздетый мужчина. При звуке открываемой двери мужчина пошевелился. Эрнст нырнул в ванную...

Покидая в облачении Релиха негостеприимную гостиницу и хладнокровно взвешивая ситуацию, Эрнст сказал себе не без горького юмора, что, несмотря на все, его перехитрили. Правда, им не удалось заполучить его лично, зато в их руках остался весь доктор Клаус Зауэрвейн вместе с паспортом, визой, деньгами и железнодорожным билетом. Доктор Зауэрвейн никуда завтра не уедет. Но уедет ли Эрнст Гейль — это еще вопрос...

Он вспомнил про бумаги Роберта и похвалил себя за предусмотрительность. А впрочем, не подвох ли все это? Ничего, как-нибудь разберемся! Будем надеяться, что при всей их недюжинной прозорливости им все же не придет в голову перетряхивать в полицей-президиуме уборную.

Разыскав кое-кого из товарищей, Эрнст быстро обзавелся костюмом, ботинками, даже стареньким пальто и устроился на ночь на одной из конспиративных квартир в Вильмерсдорфе.

Ложась спать на распластанном на полу худом тюфяке и тщетно пытаясь укутаться в коротенькое байковое одеяло, он сурово отчитывал себя за свое непозволительное легкомыслие. И все же — он знал это отлично,— если бы можно было вернуть вспять два последних дня, он поступил бы и во второй раз точно так же.

Оставалось обдумать, каким путем выехать по назначению не позже завтрашнего вечера. Обдумывая эту сложную задачу, он заснул сном утомившегося праведника.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Одиннадцатого января 1935 года из Берлина на запад вышли два поезда. Поезд «А» — курьерский «Берлин — Париж» — вышел в одиннадцать тридцать, развивая скорость до восьмидесяти километров в час. Поезд «Б» — простой пассажирский, со средней скоростью в пятьдесят километров — вышел в Кельн двумя часами позже. В поезде «А», в четырехместном купе международного вагона, ехал директор Н-ского завода Константин Николаевич Релих. На его советском паспорте имелась французская виза. В поезде «Б», в битком набитом вагоне третьего класса, ехал Эрнст

Гейль. У Гейля не было ни заграничного паспорта, ни французской визы, но ехал он тоже в Париж, хотя поезд шел только в Кельн, а на билете Эрнста значился как конечная станция Трир.

Одновременно с поездами «А» и «Б» из сотен тысяч других станций, разбросанных по всему земному шару, вышли в этот день тысячи других поездов: одни в том же, другие в противоположном, третьи в еще иных направлениях. В поездах ехали десятки миллионов людей, с паспортами и без, с билетами и без билетов. Люди ехали за хлебом, за работой, торговать, жениться, разводиться, рожать, хоронить родственников, навещать знакомых, лечиться, отдыхать на курортах, заниматься зимним спортом, шпионажем, дипломатическими переговорами, учебой, охотой, представительствовать, взламывать несгораемые шкафы, резать пациентов, развратничать, продуваться в рулетку, произносить речи, щелкать фотоаппаратами...

В эпоху, когда на пяти шестых земного шара вся человеческая жизнь протекала в узких стойлах нерушимых государственных и сословных границ, нерасторжимого брака, непроветриваемых канцелярий, железнодорожный билет был лотерейным билетом, предоставлявшим покупателю право принимать участие в лотерее счастливых встреч, был паспортом в страну непредвиденных приключений.

Не все пассажиры, отправлявшиеся в путешествие, прибывали на место назначения. Несмотря на то, что «Ракету» Стефенсона от обтекаемого локомотива выпуска 1934 года отделяло расстояние в сто десять лет, поезда по-прежнему нередко сталкивались друг с другом и летели под откос. Точная статистика железнодорожных катастроф держалась в секрете, как военная тайна.

Во избежание крушений миллионы людей в зной и стужу, днем и ночью выстаивали по пути с зелеными флажками, переводили стрелки, бегали с масленками вдоль поездов, смазывая нагретые буксы, выстукивали на станциях молотками гулкие колеса вагонов, дежурили без сна у телефонных аппаратов в диспетчерской. На каждую сотню населения приходился один железнодорожник.

Весь земной шар, как гигантский хоккейный мяч, был обмотан постромками рельсов. На сотни тысяч километров тянулись они через поля и овраги, продирая густую шерсть лесов и набухая рубцом на незащищенной плеши пустынь. Поэты сравнивали их с щупальцами спрута, зажавшего в

своих объятиях землю. Ученые сравнивали их с системой кровеносных сосудов: в конечностях материков, тронутых параличом, она отмирала и корчилась; в других, здоровых, она разветвлялась все шире, воскрешая к жизни мертвые пустыни Туркестана хлебной кровью Сибири.

На каждый километр рельсов приходилось до полутора тысяч шпал. Поезда двадцатого столетия бежали по трупам лесов, варварски поваленных древним топором дровосека. Люди, выбитые из колеи, любили ложиться на рельсы, под проходящие поезда, доставляя служебные неприятности машинистам.

По бесконечным рельсам днем и ночью бежали вагоны. В вагонах на ходу жили люди. Люди, оторвавшись от своей повседневной жизни, скучали, читали детективные романы, играли в карты, в шахматы, качали на коленях чужих детей. Детвора упрямо наступала им на мозоли и прорывалась к окнам. Вид всегда неподвижного и чопорного мира, вдруг пустившегося вскачь, приводил ее в возбужденный восторг. Взрослые снисходительно улыбались зрительному обману малышей, утешаясь сознанием собственного превосходства. Они были бы немало посрамлены, узнав, что современная релятивистская физика давно осудила их консервативную точку зрения, допуская вслед за детьми, что поезда стоят на месте, а движется окружающий мир. Если же предметы и люди на перроне не покачиваются при каждой внезапной остановке, виновато в этом гравитационное поле, мгновенно поглощающее их кинетическую энергию.

На пассажиров, сидящих в поезде, гравитационное поле действовало по-своему: по мере движения они явно начинали тяготеть друг к другу. Оторвавшись на время от земли, они сразу становились общительнее и отзывчивее. Они пили чай или вино из одной кружки с незнакомыми людьми, делились с ними своими заботами и огорчениями, сочувственно выслушивали бесконечные рассказы спутников, услужливо бегали на станциях опускать в ящик чужие письма, баюкали чужих ребят, плакали над чужим горем и радовались чужой удаче...

Поезда идут на север средь седых слегка лесов. Поезда идут на запад. Поезда идут на юг. Поезда вращают землю, точно белка колесо. Танец начат. Сосны скачут. Люди плачут и поют.

В четырехместном купе международного вагона сидят Константин Николаевич Релих и его случайные спутники. Немец, лысый и круглый, неопределенного возраста — стандартный экземпляр распространенной породы «делец». Зовут его господин Хербст, Герман Хербст, и едет он с больной женой в Ментону. Жена еще молодая, может быть, даже красивая, но ужасающе тонкая и прозрачная, полулежит в углу, закутанная в шаль. Третий спутник — француз: дипломатически-тупое лицо туриста с рекламного плаката «Париж — Лион — Средиземноморье», скорее всего чиновник из французского посольства или консульства в Берлине. Очутившись в купе в обществе женщины, он считает своим мужским долгом погладить ее по ноге, искусно просунув руку под плед и задумчиво уставившись в окно. Нога холодна и тонка, как сосулька. Дотронувшись пальцами до выдающейся коленной чашки, он отдергивает руку. Ощущение такое, будто он погладил скелет. Женщина неподвижна. Ее большие голубые глаза, как обожженная светом фотографическая пластинка, не реагируют больше ни на какое возбуждение.

Француз сердито шелестит «Таном». Это не женщина, это третья стадия туберкулеза! Таких должны перевозить в специальных вагонах для заразных!..

Он обиженно покидает купе и отправляется в ресторан смаковать терпкое рейнское вино.

Господин Хербст суетится и хлопочет, бегает за апельсинами, поправляет на жене плед. Господин Хербст чувствует себя виноватым перед соседями по купе, перед женой, перед проводниками, перед всем миром. В молчаливых глазах всех он читает холодный укор: поздновато вы задумали, господин Хербст, вывозить свою жену в Ментону. В оправдание он рассказывает, рассказывает без конца: у кого только он ее не лечил, куда только не посылал! Каждый врач советует другое. Теперь последний консилиум остановился на Ментоне. Ментона, наверное, ей поможет.

Релих, утомленный назойливой болтовней немца, выходит в коридор. Но господин Хербст не покидает его и здесь. Он предлагает Релиху сигару и, не смущаясь отказом, навязчиво бубнит, понизив голос, чтобы не слышали в купе: как это все не вовремя, как не вовремя! И ведь сейчас как раз ему ни за что нельзя было уезжать! А вот пришлось бросить все дела и уехать.

Он даже немножко рисуется, давая понять, что другой в его положении не пошел бы на это, а вот он, Герман Хербст, бросил все и уехал спасать жену.

Дела у него обстоят действительно неважно. С момента отъезда из Берлина вслед за ним уже пришли две телеграммы. После каждой он становится еще более суетлив, выбегает в коридор, сует проводнику для отправки новую депешу, возвращается в купе, садится, вскакивает, уходит в уборную и, может быть, там, запершись один, бьется головой о стенку.

Релих возвращается в купе и достает из портфеля книгу. Ему что-то не читается. Прозрачная фрау Хербст слишком ярко напомнила ему собственную жену — Зою.

Год назад он, так же как Герман Хербст, увозил ее в Крым, в душном купе международного вагона, суетился и хлопотал, приносил молоко и апельсины. Очевидно, всем женщинам присуще доставлять окружающим максимум беспокойства. Зоя обладала этим свойством в совершенстве. Даже умереть она постаралась невовремя, чтобы расстроить его заграничную командировку. Телеграмму о ее смерти он получил в день отъезда. Из соображений элементарного приличия ему следовало отложить поездку и отправиться хоронить жену. Но очередная, на этот раз последняя, выходка Зои перетянула струнку. Он заклеил телеграмму и оставил ее на столе. Могло же это известие прийти несколькими часами позже!..

За окном плывут, как плоты, рыжие квадратные поля. На телеграфных проводах сохнет сизое январское небо. Немец убежал в коридор. В купе никого, кроме Релиха и больной госпожи Хербст. Больная закрывает глаза и плотнее кутается в шаль.

Вот так, вот так же год назад ехали они с Зоей. Купе было двухместное, но сидели они точно так: она — полулежа на диване, он — напротив нее, на стуле. Это было на третий день после ее нелепого приезда из Ялты, вызванного каким-то дурацким предчувствием, что ему, Константину, угрожает опасность.

О, она отлично понимала, что теперь ей уже не поправиться! Она сказала ему об этом сама: «Я знаю, что мои дни сочтены. Больше мы, вероятно, не увидимся. Поэтому я очень хотела, чтобы ты проводил меня хотя бы до Москвы. Думаю, раз за пятнадцать лет нам нужно бы поговорить...»

Она добавила еще: «С мертвыми можно говорить начистоту...»

Разговора у них тогда не получилось.

Теперь ее уже нет. Если бы мертвые могли являться своим близким, как это водится в английских романах, он не отказал бы ей на этот раз в откровенном разговоре. Он сказал бы: «Ты была права, только с мертвыми можно говорить начистоту. Если хочешь, поговорим. Садись. Я знаю, что духи нематериальны, но раз они могут появляться, они могут и сидеть. Продлим нашу старую беседу...»

Все было в точности как сейчас: стучали колеса, за стеной, звеня стаканами, ходил проводник.

«Завернись в плед и ложись. Или ты уже легла? Итак, на чем же мы остановились...»

2

...В накуренном купе третьего класса едет Эрнст Гейль. Поезд подолгу стоит на каждой станции. В купе, распахивая дверцу то справа, то слева, врываются взволнованные люди с чемоданами. Убедившись, что мест нет, они с досадой пятятся назад, оставляя дверь нараспашку. Эрнст, сидящий с краю, каждый раз безропотно приподнимается и захлопывает дверь. Роль добровольного портье даже забавляет его. Хоть какое-нибудь занятие!

Путешествие поездом доставляет ему неизменное удовольствие. Нигде так быстро не разговоришься с людьми, как в поезде, в тюрьме и в пивной. Старый агитатор, он разбирается в этом отлично. К сожалению, за последние два года люди в Германии словно проглотили язык. Сколько ни бейся, не вызовешь их на разговор ни в пивной, ни в поезде. Даже в тюрьме предпочитают молчать.

С неослабевающим никогда жадным интересом Эрнст присматривается к случайным молчаливым спутникам. У большинства в руках газета «Фелькишер беобахтер». Странно, эта газета, по заверениям самих продавцов, слабо расходящаяся в розницу и распространяемая больше по подписке, по учреждениям, пользуется удивительным успехом среди пассажиров железных дорог. Нельзя сказать, чтобы они ею зачитывались! Но почти каждый держит ее в руках, наготове, как железнодорожный билет.

За окнами, прихрамывая и задыхаясь, бежит Германия. Навстречу транзитным экспрессам она бежит не так. На ме-

ждународных олимпиадах каждой стране лестно блеснуть. Но кто хочет узнать подлинный бег страны, должен изучать его на провинциальных состязаниях. Германия, увиденная из окон простого почтового поезда и из окон экспресса,— это две различные Германии. У лошади, скачущей на дерби, двадцать пар ног; у лошади, бегущей по проселочной дороге, ног всего четыре.

Пассажиры, кто с интересом, кто тоскливо, а кто просто от нечего делать, смотрят в окна. Их много, двенадцать человек, собранных здесь случайно.

Вот пожилой мужчина, по виду ремесленник,— узкие губы под тенистой застрехой соломенных усов. Судя по рукам, сапожник. Лица часто обманывают, руки не обманывают никогда.

Вот деревенская старуха в чепце размеренно клюет носом, как игрушечная курица на подставке. Рядом с ней старый крестьянин с фарфоровой трубкой в зубах — щеки гармошкой, лицо обветренное, суровое, глаза пугливые, как зайцы, под осенними кустами бровей.

Вот серый господин неопределенной профессии — учитель игры на скрипке или мелкий уездный чиновник в отставке — бережно поджимает под себя ногами невзрачную корзинку. Этот прикидывается, будто никого не замечает, и украдкой, искоса, из-под опущенных век ощупывает глазами лица соседей: кто-то из них несомненно обдумывает сейчас покушение на его корзинку! Но кто? Не этот ли, вертлявый, то и дело захлопывающий за всеми дверь?

Вот на том краю скамейки, у окошка под покачивающимся на вешалке котелком, немолодой общительный субъект в фиолетовых носках и в клетчатом поношенном пиджачке — коммивояжер фирмы патентованных резиновых изделий. Об этом достовернее паспорта свидетельствует его палка с голой костяной девицей в длинных чулках, нагнувшейся поправить подвязку. Таз и спина девицы, согнутая под прямым углом и образующая ручку, успели изрядно стереться от обхвата пальцев, которыми субъект перебирает непрерывно, будто играет на окарине. Это один из тех агасферов коммивояжа, которые, скитаясь всю жизнь в переполненных вагонах третьего класса, среди брюзжащих старух и пропахших табаком провинциалов, по вечерам где-нибудь в захолустной пивной, в Кобленце или в Кельне, повествуют юным коллегам по профессии о

своих романтических похождениях в слипинге «Летучего гамбуржца».

Вот бедно одетая учительница — красное родимое пятно в половину левой щеки просвечивает сквозь вуалетку. Бедняжка то и дело ерзает на скамейке, тщетно отодвигаясь от остроусого трехэтажного унтера, отпускника и донжуана.

А вот целая семейка. Он — в жилетке, с усиками, подбритыми а-ля фюрер, с большой шишкой на затылке и ярко выраженной склонностью к апоплексии,— скупщик скота или, вернее, колбасник: об этом говорят его красные руки, привыкшие к кипятку, и профессиональная привычка вытирать их, за отсутствием фартука, о штаны. Она — худая и востроносая — беспрерывно двигает челюстью. Длинная шея над прямой перекладиной плеч. Черное боа из перьев висит на ней, как траурный венок на могильном кресте. Рядом — два отпрыска: один лет тринадцати, стриженный бобриком, с оловянными глазами онаниста. Другой, постарше, длинный и краснощекий, всецело занят жратвой. Жратва покоится в сумке на цоколе у мамаши.

Поезд пыхтит и время от времени протяжно взвывает от тоски. При каждом его гудке сонная старуха испуганно поднимается на дыбы, унтер вздрагивает, как от выстрела, и гневным взглядом обводит купе, коммивояжер добродушно чертыхается и в двадцатый раз заводит разговор о железнодорожных порядках, а крестоподобная мамаша на мгновение каменеет, подавившись непрожеванным куском.

Время тянется. Резиновые лица вытягиваются в зевке.

— Что вы скажете про этого Гауптмана? — хлопая ладонью по газете, вскрикивает коммивояжер.— Взял пятьдесят тысяч долларов и, вместо того чтобы удрать, спокойно дожидался, когда его посадят на электрический стул.

Учительница вытирает нос платком. Если ей кого-нибудь жалко, так это госпожу Линдберг: потерять так ребенка ни за что ни про что!

У колбасника свое, особое мнение: весь этот флемингтонский процесс затеян Америкой в пику Германии. Кто такой Гауптман? Честный немец, фронтовик, старый пулеметчик. Вот чего американцы не могут ему простить!..

Неутомимый «комми» в сотый раз подбрасывает стружки в разговор, но беседа дымит и гаснет. Даже послезавтрашний плебисцит в Сааре не в состоянии ее разжечь.

— Когда красные захотели устроить свой митинг, электростанция не дала им света. Сколько их вожаки ни бегали ябедничать к этим господам из Лиги Наций, пришлось им митинговать в темноте!

Унтер любопытствует:

— Не нашлось никого, кто бы набил в темноте морду этому подлецу и изменнику Максу Брауну?

— Что вы! Разве можно! Знаете, какой был бы шум?

— Ну, насчет шума, они поднимают его и так! Будьте покойны, после плебисцита мы поговорим с этими свиньями другим языком. Мы отправили туда тридцать семь поездов с уроженцами Саара для участия в голосовании. Это что-нибудь да значит: тридцать семь поездов честных немцев!..

3

В четырехместном купе международного вагона едет Константин Николаевич Релих. Поезд мчится по подернутым дымкой дождя расплывчатым полям. Из фабричных труб, как зубная паста из тюбика, лениво выползает дым. В купе тишина. Фрау Хербст на противоположном диване кашляет и подносит к губам платок. Впрочем, фрау Хербст — просто псевдоним Зои: госпожа Осень...

«Ну что же, раз ты решила меня навестить, давай поговорим. На чем мы остановились?..

Ты спрашивала меня тогда, почему, будучи людьми совершенно друг другу чужими, мы продолжаем считать себя мужем и женой. Я старался тебя уверить, что это говорит твое раздражение. Если за пятнадцать лет, истекших с того времени, как мы поженились, нам удалось прожить вместе не больше пяти или шести, виновата в этом эпоха. Когда людей бросает годами в разные стороны, это должно в конце концов создать между ними известное отчуждение... Я говорил все это, чтобы тебя успокоить, и ты, мне кажется, это понимала. Да, ты была права: только с мертвыми можно говорить начистоту. На самом деле, если мы так долго оставались мужем и женой, то скорее всего именно потому, что большую часть этого времени прожили раздельно.

Посуди сама. На фронте мы сошлись случайно, как сходились люди в те годы — в чаду героической романтики. У меня тогда был конь и легендарная бурка. Я выделялся сре-

ди других командиров, и в армии меня за это не любили. Говорили, что я чересчур жесток и слишком много расстреливаю. Другие предпочитали миндальничать и митинговать. Ты была тогда молоденькой экзальтированной провинциалкой. Ветер событий, ворвавшийся в твой родной городишко, казался тебе мешаниной из прочитанных исторических романов. В этом антураже я не мог тебе не понравиться. Ты поглядела на меня, не моргая, и сказала, что я похож на восходящего маршала Великой французской революции. Это было не так уж плохо сказано! Не брось ты тогда этой фразы, я наверняка не обратил бы на тебя внимания. То, что почувствовала во мне ты, вероятно, чувствовали и другие. Они постарались объединенными усилиями, чтобы маршал не взошел, и это удалось им вполне...

Я не предполагал ни на минуту, что наше случайное любовное приключение может оказаться «романом с продолжением», но ты стала таскаться за мной по фронтам. Твоя беззаветная преданность умиляла меня. Потеряв тебя тогда, во время отступления, я все же не очень горевал.

После демобилизации, когда я обосновался в Москве, у меня было немало мимолетных любовных увлечений, и нельзя сказать, чтобы я особенно по тебе скучал или пытался тебя разыскивать. Ты сама разыскала меня. Было это, насколько помнится, как раз в то время, когда я остался на бобах, один. Постановлением ЦК мне всучили какой-то разваленный заводишко. Мне предписывалось восстановить эту развалину и методами «морального» воздействия и убеждения заставить работать кучку лентяев, давно отвыкших от всякой элементарной дисциплины. Я не очень торопился приступать к этой работе.

Тогда нагрянула ты. Ты разыскала меня и явилась ко мне на квартиру со своим чемоданчиком и со своим экзальтированным обожанием. Ты попала в хорошую минуту. Я чувствовал себя в это время дьявольски одиноким, окруженным неприязнью товарищей. Ты одна соглашалась, что меня обидели незаслуженно, что я не создан для будничного крохоборства. Для тебя я был прежним «восходящим маршалом», попавшим в опалу. Будь это иначе, вряд ли я сделал бы тебя своей женой...

Отношения наши, помнится, разладились довольно быстро и основательно. У меня за это время было несколько жен, ты об этом узнала, и переписка между нами прервалась сама собой.

Когда после очередных неприятностей меня перебросили на другую работу — было это, кажется, в начале двадцать шестого года,— ты неожиданно заявилась ко мне в Алма-Ату. Ты прочла в газете о моей проработке и решила, что в тяжелую минуту твое место рядом со мной. У тебя был удивительный нюх. Ты предлагала мне свою любовь тогда, когда я в этом больше всего нуждался. Последняя моя жена зарекомендовала себя, как редчайшая стерва, и отбила у меня вконец вкус к женщинам. Твоя беззаветная преданность, выдержавшая испытание временем, в этой обстановке не могла меня не умилить. Я дал себе слово покончить с бабьими историями и стать примерным семьянином.

Ты в это время работала уже в Москве и, чтобы меня навестить, взяла месячный отпуск. Подразумевалось, что ты бросишь московскую работу и переедешь ко мне. Но в течение этого месяца мы почувствовали оба, что отношения у нас так и не склеятся. Ты сказала мне в первый же вечер, что я стал похож на рыбу, которой приделали ноги и заставили ходить по суше. Я засмеялся и сострил, что крупная рыба и на суше может откусить палец. Острота тебе не понравилась, я заметил это сразу.

Ты присматривалась ко мне целый месяц. Ты умела смотреть подолгу, не моргая. Некогда это мне у тебя нравилось. Теперь это стало меня раздражать. Когда отпуск твой пришел к концу, ты заторопилась в Москву. Разговора о том, что ты бросишь Москву, между нами больше не было. Я воспринял твой отъезд как нечто естественное. Уезжая, ты сказала мне на перроне, что я стал какой-то чудной, непохожий на себя и очень уж смирный. Я, пожав плечами, ответил, что, видимо, никогда не сумею тебе угодить. И хотя никто из нас не произнес слова о разрыве, обоим нам было ясно: совместной жизни у нас не выйдет.

Известие о том, что ты забеременела и у тебя будет ребенок, прозвучало в этой обстановке неожиданно и нелепо, как ненужное осложнение. Когда родилась Инка, мы обменялись с тобой сухими приветственными телеграммами. Появление ребенка способствовало тому, что разрыв наш так и остался неоформленным. Никто из нас, ни ты, ни я, не сказал решительного слова. Если бы меня в это время спросили, женат я или нет, я, право, затруднился бы внятно ответить.

Потом ты начала хворать. Больным женщинам свойственно желание иметь свой угол и иллюзию семейного очага. Ничего обидного в этом нет. Говорят, больных кошек тоже тянет на нагретое место. Когда тебе пришлось уйти с работы по болезни и ты без предупреждения заявилась с Инкой ко мне на строительство, вид у меня — ты, наверное, заметила — был довольно озадаченный. Из простой любезности я не показал своего удивления, но обоим нам в первую минуту было очень неловко...

Почему мы все-таки стали жить вместе? Вероятно, потому, что вопреки ожиданиям я привязался к ребенку. Если бы не твой характер, возможно, у нас получилось бы даже что-то вроде нормальной семьи. Но болезнь выработала в тебе неприсущую раньше мнительность. По существу, конечно, ты права: мы были людьми, друг другу совершенно чужими; ты не понимала, чем я живу, и мучительно пыталась в этом разобраться. Одна твоя привычка смотреть на меня минутами, не моргая, способна была вывести меня из себя. И все же эти два года (или два с половиной?) на строительстве и затем на новом заводе мы прожили относительно мирно.

«Некто», появившийся у нас однажды вечером, почему-то «не понравился тебе с первого взгляда». Вечером после его визита у нас с тобой вышел крупный разговор. Началось с каких-то пустяков. В результате ты наговорила мне кучу грубостей. В этот вечер я впервые убедился, что ты видишь и подмечаешь вещи, которые раньше не укладывались в кругозор твоего понимания. Это неожиданное открытие поразило меня весьма неприятно... Ночью у тебя горлом пошла кровь. Врачи долго не могли остановить.

И в эту ночь и впоследствии я не раз задумывался над тем, не подслушала ли ты мой разговор с гостем. Но ведь дома, у меня в кабинете, мы не говорили с ним ни о чем предосудительном. Но вела ты себя в эти дни так, словно догадывалась, что со мной происходит нечто неладное, и всеми силами старалась это «нечто» предотвратить. Твоя обостренная интуиция, несомненный продукт прогрессирующей болезни,— могу тебе сейчас сказать об этом откровенно — доставила мне немало неприятных минут.

Когда ты оправилась от припадка, несмотря на настояния врачей, ты наотрез отказалась ехать лечиться, как будто боялась оставить меня одного. Ты стала относиться ко мне с несвойственной тебе в последние годы нежно-

стью — это было хуже любых домашних ссор. Кажется, в декабре тебе стало совсем плохо. Помнишь? Стоило огромного труда выпроводить тебя наконец в Ялту. По правде, я был искренне рад, что врачи находят твое состояние тяжелым и велели тебе оставаться на юге не меньше года.

Ты вернулась совершенно неожиданно в начале марта. Это было как раз в день похорон жертв крупной аварии с «Ф-12». Самолет, на освоении которого усиленно настаивала Москва, при пробном испытании загорелся в воздухе и упал на щитковые дома поселка. Погибли пилот, бортмеханик и четверо рабочих. Операция эта, если тебе интересно,— с мертвыми можно говорить начистоту — проведена была по решительному настоянию моего вечернего гостя: всеми силами воспрепятствовать серийному освоению новой модели. Город в этот день был в трауре. Несмотря на слякоть, похоронный кортеж провожала на кладбище многотысячная колонна рабочих. Мне пришлось говорить надгробную речь. Комиссия не дала еще своего заключения о причинах катастрофы. Чувствовал я себя очень неуверенно и речь произнес плохую.

Вернувшись домой, я застал тебя. Ты убежала из санатория и приехала, толкаемая предчувствием, что мне угрожает опасность. Я отмахнулся от твоей опеки довольно раздраженно и грубо. Ты смотрела на меня испуганными большими глазами — от всего лица остались одни глаза.

На следующий день ты не поднялась с постели. Пришлось опять вызывать врачей. Врачи называли твой приезд в такую погоду безумием и советовали немедля отправить тебя обратно на юг. Все это было чертовски не вовремя. Нельзя же было отправить тебя одну, а провожать тебя в Крым у меня не было в эту минуту никакой возможности. Дело разрешилось компромиссом: меня вызвали в наркомат. Я решил, что довезу тебя до Москвы, а оттуда отправлю с сиделкой.

Все эти три дня, дома и потом в поезде, ты не говорила почти ничего, но не спускала с меня глаз. В дороге ты вдруг спросила, не могу ли я похлопотать в Москве, чтобы меня перевели на другой завод. Вопрос был до того неожиданный, что я ответил не сразу. И пробурчал, что, мне кажется, ты начинаешь терять рассудок.

Вечером, за несколько часов до Москвы, ты наконец заговорила. Ты сказала: «Видимся мы, очевидно, в последний

раз. Долго я уже не протяну. Нельзя ли нам раз в жизни поговорить друг с другом начистоту?»

Разговора у нас не получилось.

В Москве, когда тронулся севастопольский поезд, увозя тебя и сиделку,— можешь мне верить — я вздохнул с подлинным облегчением. Я сказал себе: «Женщин, когда они начинают болеть, следовало бы вывозить на безлюдный остров: они становятся невыносимыми...»

— Разрешите вас потревожить...

Релих вздрагивает и открывает глаза.

Господин Герман Хербст снимает с сетки чемодан и ищет что-то, беспорядочно разгребая вещи.

Смешно, как у него дрожат руки. Неужели он действительно так принимает к сердцу болезнь своей жены?

Релих потягивается и зевает. Поужинать, что ли? Он выходит в коридор и наталкивается на господина Хербста. Этот толстяк имеет странное свойство быть одновременно повсюду! Можно подумать, что он страдает животом.

— Вам нездоровится? — с деланным участием спрашивает Релих.

Господин Хербст потрясает перед его носом пачкой телеграмм.

— Я уже наполовину разорен! И все оттого, что я выехал в такую минуту! Я чувствовал, что мне нельзя уезжать!.. Ах, если она об этом узнает, это ее убьет!

— А вы ей скажите,— спокойно советует Релих.

Немец смотрит на него с испугом.

— Что вы...— бормочет он, пятясь в купе.

4

...В маленькой пивнушке, в городе Кельне, сидит Эрнст Гейль. Поезд в Трир уходит только через два часа. На соломенных усах сапожника пивная пена серебрится, как седина.

— Еще по кружечке?

К концу дороги они все же немножко разговорились и, сойдя с поезда, забрели сюда закрепить мимолетное знакомство. Старик попался упорный. Даже здесь каждое слово приходится тащить из него клещами.

Да, он сапожник. Как живется? Помаленьку. Иным живется похуже. Ну, а все-таки? Да так, ничего. Вообще вред-

но давать волю языку. Поменьше говори, побольше слушай.

Эрнст возражает, смеясь: слушать тоже вредно! Один его знакомый попал в концлагерь только за то, что слушал по радио кое-какие другие станции, кроме берлинской.

Старик тревожно озирается по сторонам и укоризненно качает головой.

— Язык у тебя плохо подвешен!

— Еще по кружечке?

За третьей кружкой выясняется, что семья у сапожника немаленькая — шесть человек. Средняя дочь сидит в тюрьме. Не за политику, нет! За то, что жила с евреем. Водили по городу с дощечкой: «Я — поганая тварь и изменница...» Все было. Половина клиентов с тех пор не отдает ему больше ботинок в починку — бойкот. А впрочем, как-нибудь протянем. Война не за горами...

— А если война, разве легче?

Старик поднимается из-за стола. Он тут засиделся, а семья ждет. Нет, ни одной кружки больше! Всего хорошего! Спасибо за угощение.

Эрнст провожает глазами его сутулую спину.

Крепкий старикан! Боится проболтаться. Лишняя кружка — лишнее слово. А поговорить, видно, хочется, ой, хочется!

Эрнст выходит на улицу. Он пережидает дождь под тенистыми аркадами торгового дома Иоганн-Мариа-Фарина, созерцая парад бутылочек, флаконов и пузырьков. Только здесь он вспоминает, что Кельн — родина одеколона.

Он выходит на площадь и останавливается в восхищении перед грандиозным стрельчатым зданием, вылепленным из каменных сосулек. Две остроконечные башни, как обледенелые исполинские ели, острием уперлись в небо. Если под рождество убрать эти башни, как елки, и зажечь на верхушке электрические звезды, дети по ту сторону Рейна от восторга захлопают в ладоши. Как Геббельс до этого еще не додумался!

Щелканье затвора фотоаппарата заставляет его обернуться. Костлявая мисс, вынимая кассету, дарит его благодарной улыбкой. Оказывается, эта дура, пока он глазел, успела его снять на фоне собора. Охотнее всего он съездил бы ей по физиономии и отобрал кассету, но он отлично понимает неосуществимость столь законного желания. Будем

надеяться, этот снимок не выйдет за пределы домашнего альбома!..

В испорченном настроении Эрнст отправляется на вокзал. Через двадцать минут уходит его поезд в Трир.

В Трире после долгих блужданий он отыскивает квартиру товарища, адрес которого заучил наизусть еще в Берлине.

Небольшой бритоголовый человек в подтяжках, без куртки, поднимается из-за стола. Эрнст затворяет за собой дверь и произносит условленную фразу. Хозяин смотрит на него в молчании, подозрительно и недружелюбно.

«Черт побери! Неужели я спутал адрес? Хорошая история!»

Но нет! Хозяин, выдержав паузу, произносит ответную фразу. Эрнст на радостях забывает, что именно следует ответить. Впрочем, это уж полбеды, теперь он дома.

— Погодите,— говорит он улыбаясь.— Сию минуту!

Как это могло выскочить у него из головы? Лучше всего было записать, но записывать не полагается.

Хозяин подозрительно щурит глаза.

— Что вы сказали?

Вот он и вспомнил! Еще с минуту длится условный церемониал. Эрнст облегченно вздыхает. Кажется, на этот раз он выдержал испытание по мнемотехнике. Лицо хозяина расплывается в улыбке. Он подходит к гостю, хлопает его по плечу и, дружески сжимая его руку до боли в пальцах, тянет к столу.

— Садись, старина! Попьешь с нами кофе. Без сахара, не обессудь. Шестую неделю сижу без работы.

Эрнст почтительно здоровается с хозяйкой. Да ведь это совсем еще молодые люди! С порога он принял их было за пожилую чету. Нельзя сказать, чтобы вид у них был особенно цветущий!

Эрнст садится за стол и подвигает кофейник.

— Кофе, должен тебя предупредить, собственного производства,— смущенно оправдывается хозяин.— В Берлине, наверно, такого не пьют. Насчет закуски, как видишь, тоже жидковато. Хлеб. Масла не потребляем.

— Погоди, с какой стати я буду вас объедать? Покажи-ка мне, где тут поблизости колбасная. Схожу, принесу колбасы или чего-нибудь такого. Поужинаем в складчину.

При слове «колбаса» тает даже неприветливая хозяйка.

— Зачем же вам беспокоиться самому? Руди сбегает.

Руди, вихрастый восьмилетний мальчуган, уже соскочил с табуретки и спешно запихивает за щеку недожеванный хлеб. Поза его выражает полную готовность.

Эрнст достает из кармана три марки и протягивает их мальчишке.

— Вот, сбегай принеси колбасы.

— На все деньги? — недоверчиво спрашивает Руди.

— На все. Подсчитай, сколько нас? Четверо.

Руди уже нет в комнате.

— Смотри, не откуси по дороге, понюхаю! — кричит вдогонку мать. — Такой негодяй! За чем его ни пошлешь, половину по дороге слопает!..

Вскоре появляется Руди, торжественно потрясая в воздухе бумерангом колбасы.

— Иди сюда, — подзывает его мать. — Дохни! Ну вот, несет от тебя чесноком! Наверное, сожрал довесок!

Руди божится, что не брал в рот даже вот столечко.

Все усаживаются за стол. Хозяйка режет половину колбасы на мелкие кусочки и первому подвигает гостю. Руди она выделяет на тарелку считанные шесть кусков.

— Не жри одну колбасу! Ешь с хлебом!

Эрнст, беседуя с хозяином, замечает, что тарелка перед Руди пуста. Мальчуган сидит, как зачарованный, не спуская глаз с колбасы.

Эрнст отрезает себе толстый ломтик и, закусывая сухим хлебом, незаметно сует колбасу под столом мальчишке. Тот не сразу соображает, в чем дело. Поняв, он не заставляет себя уговаривать. Эрнст украдкой наблюдает, как малыш, завернув под столом колбасу в мякиш, скорбно подносит ее ко рту, будто жует один хлеб. Следующий кусок колбасы, отправленный Эрнстом под стол, исчезает из его пальцев мгновенно.

Заговорившись с хозяином, Эрнст вздрагивает от прикосновения нетерпеливой руки, дергающей его за штанину. Колбаса на блюде стремительно уменьшилась. Эрнсту неловко перед хозяйкой. Она сочтет его обжорой, слопавшим самолично добрую половину угощения. Но делать нечего! Очередной ломтик колбасы плавно исчезает под столом.

Ужин окончен. Хозяин вызывается показать гостю город. Поезд к границе идет ранехонько утром, все равно Эрнсту придется переночевать.

Весело болтая, они выходят на улицу. Хозяин жадно за-

тягивается папиросой, кажется, готов ее вдохнуть вместе с мундштуком.

— Вот неделя, как бросил курить. Не на что. А отвыкнуть трудно. Иной раз отдал бы краюху хлеба за самую дрянную папироску... Хочешь посмотреть дом Карла Маркса?

Эрнст живо соглашается. Быть в Трире и не видеть дома, где родился Маркс!

— Только проходить надо быстро, не останавливаясь. И особенно не присматриваться. Следят. Если хочешь видеть получше, пройдемся по противоположному тротуару.

По дороге Иоганн — так зовут товарища — говорит, не закрывая рта. Видно, намолчался — невмоготу. Больше всего его, конечно, волнует послезавтрашний плебисцит в Сааре. Есть ли надежда на победу Народного фронта или хотя бы на раздел Саара? Не думает ли товарищ, что католики в последнюю минуту предадут и будут голосовать за Гитлера?

Эрнст отвечает уклончиво: как бы ни мала была надежда, нужно бороться до конца.

Иоганн оглядывается по сторонам. Убедившись, что прохожих поблизости нет, он достает из кармана аккуратно сложенную листовку и протягивает ее Эрнсту.

— А вот с этим ты знаком? У нас многих это сбивает с толку. По-моему, это явная фальшивка.

Эрнст развертывает прокламацию, отпечатанную на тоненькой бумажке по всем правилам подпольного искусства:

«Товарищи немецкие коммунисты, старые борцы за подлинные коммунистические идеи! Если хотите мне помочь, голосуйте 13 января за Германию! Боритесь вместе со мной за свободную Германию! Национал-социализм — лишь этап на пути к нашим конечным целям!

Макс Браун, Пфордт и их друзья не имеют ничего общего с коммунизмом и марксизмом.

Своей пропагандой они предают вас, германские пролетарии, продают вас французским капиталистам. Я бросаю вам лозунг: голосуйте за Германию! Победа Германии — предпосылка вашей дальнейшей борьбы.

За Советы! Каждый подлинный коммунист 13 января должен голосовать за Германию!

Рот фронт! *Эрнст Тельман*»[1].

[1] Подлинный текст фашистской фальшивки, распространявшейся в Сааре накануне плебисцита.

Эрнст мнет в пальцах листовку. Брови его сдвинуты.

— Откуда у тебя эта пакость?

— Привез товарищ из Саарбрюккена. Там, говорят, такие разбрасывают повсюду.

— И что же, вы не поняли сразу, что это гнуснейшая фальшивка?

— Я же тебе сказал. И всем говорю: ясно — фальшивка!

— А кое-кто все-таки верит?

— Из партийных товарищей, конечно, никто не верит. Но из сочувствующих...

— Значит, плохо ведете разъяснительную работу, только и всего!

Иоганн хочет что-то возразить, но при виде встречных прохожих замолкает. Некоторое время оба идут молча.

— Вот еще направо, за угол. По левую руку будет дом Карла Маркса,— шепотом предупреждает Иоганн.

Имя это он произносит, каждый раз понижая голос и оглядываясь, но непременно полностью, иногда даже с оттенком фамильярности: «дом товарища Карла Маркса». Сразу видно трирские коммунисты немало гордятся честью, которая выпала на их долю. После революции Трир будет переименован в Марксштадт, а быть членом марксштадтского совета — это не то же самое, что любого другого!

— Вот он! Смотри, налево! Доски на нем нет, «наци» сорвали... Но у нас, в Трире, все равно каждый ребенок знает... Пойдем, я тебя проведу на набережную Мозеля. Это было любимое место его прогулок. По дороге каждый раз, когда поблизости не видно прохожих, Иоганн принимается повествовать о местных, трирских делах. По сжатым репликам Эрнста, по всему его сдержанному поведению Иоганн чувствует нюхом: этот не из простых эмигрантов! Это кто-нибудь из центра! Если даже не цекист, то во всяком случае около этого. Когда еще подвернется оказия поговорить с таким с глазу на глаз?

Больше всего Иоганн боится, чтобы товарищ из центра не принял его жалоб за малодушное хныканье. Поэтому он даже немножко форсит, отзываясь весьма пренебрежительно о своих и товарищей насущных невзгодах:

— Конечно, живется у нас тут неважно... Но это ничего, перетерпим. Война не за горами!

— Что?..— Эту фразу Эрнст сегодня уже где-то слыхал.— Что ты хочешь этим сказать?

— Война неизбежна. Думаешь, мы в провинции этого не понимаем? Ну, а стоит Советскому Союзу набить морду Гитлеру — все здесь полетит вверх тормашками. Будь покоен, люди только этого и ждут...

— Вот как! Оказывается, это у вас распространенное мнение! Я слыхал его уже сегодня от одного товарища в Кельне. Значит, поскольку мы сами пока что не в состоянии управиться с «наци», надо ждать, покуда их победит Советский Союз? Так, что ли?

5

...В вагон-ресторане экспресса «Берлин — Париж» ярко горит электричество. Плотно задвинуты шторы. Радио играет под сурдинку какой-то игриво-заунывный мотив, где тоскливая жалоба одинокой гавайской гитары бьется, затоптанная каблуками целой оравы саксофонов. Чинно гремят тарелки, и тонко звенят бокалы, прислоняясь к холодному стеклу бутылок.

Ужин закончен, но возвращаться в купе Релиху неохота. Он заказывает сыр, приятно пахнущий лошадиным навозом, подливает в бокал еще немножко вина и, откинувшись на спинку стула, разворачивает вчерашнюю парижскую газету. Он погружается, как в нарзанную ванну, в игристую волну последних новостей и сплетен.

Он узнает, что Дуглас Фербенкс развелся с Мери Пикфорд. Что Гауптман вчера ночью пытался бежать из флемингтонской тюрьмы. Что Бистер Китон неотразим в «Королеве Елисейских полей», фильме, демонстрируемом с неослабевающим успехом в кинотеатре «Мариво». Что семьдесят пять процентов наших страданий являются следствием запора — так утверждают медицинские авторитеты. Что бывший испанский король Альфонс XIII возбудил перед папой ходатайство о разводе, а бывшая испанская королева не будет присутствовать на свадьбе своей дочери Беатрисы с принцем Торлония. Что на последнем послеполуденном приеме у графини Коссе-Бриссак госпожа Раймонд Патенотр была в черном шерстяном платье от Шанель, очень простом и изящном под великолепной накидкой до пояса из чернобурой лисы, а госпожа Жан Боннардель очаровывала всех своим классическим «тайер» из коринфского бархата от Люсьена Лелонг, своим палантином из голубых песцов и изысканной фетровой шапочкой от Шанель. Что

касается самой графини Коссе-Бриссак, то она была в платье из черной тафты от Шанель, юбка по щиколотку, пояс и декольте, отделанные узором из страз,— очаровательный обычай, требующий от хозяйки дома, чтобы она принимала гостей в длинном платье, бесконечно женственном и создающем атмосферу изысканной интимности...

«1935! Не кажется ли вам эта цифра обыденной и в то же время загадочной? Она обыденна, поскольку это всего лишь новая дата. Она загадочна, потому что для каждого из нас в ней кроется тревожащая нас тайна. 1935 — это новый год, это будущее, это неизвестность. Оглянитесь назад: сколько несчастий, треволнений и развеянных надежд всего лишь на протяжении одного года!.. Махатма Иоги, великий пророк современности, прямой потомок одной из древнейших сект Индии, этой колыбели астрологии, приоткроет перед вами завесу будущего! Чудесная безошибочность его предсказаний, его поразительная интуиция снискали ему обожание многотысячных толп. Перед его высоким авторитетом, перед его бескорыстием и благородством преклоняются астрологи всего мира, ибо Махатма Иоги посвятил всю свою жизнь благу человечества... На простом листке бумаги напишите разборчиво и собственноручно вашу фамилию, имя, адрес, день и год рождения, приложите, если вам угодно, три франка на почтовые и другие расходы и отправьте сегодня же пророку Махатма Иоги. Вы получите он него даром ваш полный гороскоп. Не медлите ни одного дня! Кто знает? Завтра может быть уже поздно!..»

Релих откладывает газету.

«А что, если в самом деле послать этому Махатме три франка?..»

6

...В городе Трире, в тесной комнатушке, спит Эрнст Гейль. Кровать у хозяина одна. Эрнсту постелили на полу, рядом с сенником мальчишки. Иоганн насильно всучил ему свою подушку.

В комнате тишина. Свет уличного фонаря тускло мерцает на полу.

Иоганн не спит. Товарищ из центра сказал ему сегодня, что разговорами о неизбежности войны он, Иоганн, помогает «наци». Так и сказал: «Какой же ты коммунист, если твои желания на руку врагам Советского Союза?» Иоганн

спросил: «Возможно ли, чтобы Советский Союз и его Красная Армия не победили Гитлера? Невозможно! А раз так, то почему же коммунист не имеет права желать, чтобы это произошло поскорее? Неужто даже помечтать об этом нельзя?» Вот именно, неужто нельзя и помечтать! Товарищ из центра говорит: «Сбросить Гитлера своими силами и протянуть руку Советскому Союзу — вот мечта, достойная коммуниста!» Что же, это, конечно, верно. Но как? Вот работаешь, жилы из себя вытягиваешь, а потом тебе говорят: ты работал на Гитлера!..

Ночью Эрнст просыпается от холода и, поджав ноги, пробует укутаться одеялом.

— Спишь? Нет? — слышит он у самого уха чей-то настойчивый шепот. Эрнст приподнимается на локте, щупает впотьмах рукой: Руди.

— Не сплю. А что? — Он старается говорить шепотом. В комнате слышно размеренное дыхание хозяев.

Руди подползает еще ближе, к самому уху.

— Там, на шкафу,— шепчет он скороговоркой,— в бумажке, лежит сахар. Восемь кусков! Мамка прячет. Даже отцу не дает. Хочешь, я тебе достану?

— Не хочу. Зачем же мне ночью сахар?

Минута молчания.

— А я достану два куска: один тебе, другой себе.

— А мама завтра увидит, что ей скажешь? — ехидно спрашивает Эрнст.

— Скажу, для тебя брал.

— Думаешь, поверят?

Парень секунду соображает.

— Нет, не поверят.

— Вот видишь! И отлупят. Что у тебя, спина казенная?

— Все равно за что-нибудь отлупят.

В реплике парня столько отчаянного стоицизма, что Эрнст не знает сам, как ему быть.

— Знаешь что,— шепчет он Руди.— Ты маминого сахара лучше не трогай. Раз она прячет — значит так надо. А я тебе завтра дам двадцать пфеннигов. Купишь себе конфет.

— Дашь? — недоверчиво справляется Руди.

— Обязательно.

Руди уползает к себе, но через минуту возвращается обратно.

— Ты завтра ранехонько уедешь, я спать буду. А мамке дашь, она мне не передаст. Дай лучше сейчас.

— Ну вот, сейчас надо доставать пиджак! Всех разбудим.

— А я тебе подам его тихонько.

— Ладно, давай, что же с тобой делать!

Эрнст разыскивает в кармане двадцать пфеннигов и вручает их мальчишке.

— У тебя всегда столько денег? — шепотом осведомляется Руди.

— Нет. Денег у меня немного. Часто совсем не бывает. Сейчас вот наскреб на дорогу.

— А ты далеко едешь?

— Далеко.

— В Люксембург?

— Дальше.

А хватит у тебя денег?

— Хватит.

— А сюда еще приедешь?

— Обязательно приеду. А теперь давай спать!

Руди послушно уползает на свой тюфяк.

Где-то вдали, на вокзале, аукаются паровозы...

7

...Берлинский экспресс подходит к Гар-де-л'Эст[1]. Бледное январское утро. За окнами порошит снег, легкий, воздушный, словно ветер сдунул целое поле одуванчиков. В вагон веселой оравой врываются носильщики.

— С первым снегом!

Оказывается, в Париже сегодня первый снег.

Релих вручает молодому плечистому парню свой увесистый чемодан и пробирается за ним следом. Под звуки электрических звонков и поцелуев он пересекает перрон. Его одного, кажется, не встречает здесь никто. Вернее, его встречают лишь три неизменных старых парижанина, которые первыми приветствуют каждого приезжего: аперитив «Дюбоннэ», шоколад «Менье» и эмалевая краска «Риполин».

Серые угрюмые гостиницы окружили площадь, как сонный сонм швейцаров в ожидании традиционных чаевых. Релих бросает шоферу адрес гостиницы на левом берегу Сены

[1] Восточный вокзал в Париже.

и, откинувшись на спинку сиденья, развертывает захваченные на вокзале свежие газеты.

Он раскрывает «Юманите». Скользнув глазами по первой странице, он узнает, что голодные походы безработных департамента Сены, несмотря на многократные попытки полиции преградить им путь в столицу, упорно продвигаются вперед и сегодня достигнут застав Парижа. Утром, в десять часов, у застав безработные города Парижа организованно встретят своих братьев по классу. Запомните расписание! Голодный поход с востока: встреча у заставы Венсен. Голодный поход с юга: встреча у заставы Итали. Голодный поход с севера: встреча у заставы Шапель. Голодный поход с запада: встреча у заставы Версальской, Майо и Сен-Клу.

Релих раздраженно складывает «Юманите» и раскрывает «Пти Паризьен». Посмотрим лучше, что говорит Махатма Иоги и в каком платье очаровывала вчера всех маркиза Коссе-Бриссак.

...Поезда идут на запад. Поезда идут на юг...

С Лионского вокзала уходит поезд на Марсель. На ступеньках вагона третьего класса, окруженный толпой журналистов и фоторепортеров, стоит пожилой человек с длинным носом, в надвинутой на лоб поношенной коричневой шляпе. Бывший каторжник Бенжамен Ульмо, двадцать шесть лет пробывший в заточении в Кайенне, в том числе пятнадцать лет в абсолютном одиночестве на знаменитом Дьявольском острове, после шестимесячного пребывания во Франции возвращается добровольно в Гвиану.

— Скажите, пожалуйста, вы покидаете Францию, чтобы больше в нее не вернуться. А между тем в течение двадцати шести лет вашего пребывания в Кайенне вы, вероятно, не раз мечтали о возвращении на родину. Что же вас разочаровало здесь до такой степени, что вы с легким сердцем решили отказаться от всех благ современной цивилизации? — почтительно выспрашивает репортер.

Журналисты шелестят блокнотами. Мнение у них на этот счет определенное: этот старый дурак рехнулся от одиночества на своем Дьявольском острове и вообразил себя праведником, призванным поучать человечество. Но публика любит такие несуразные истории.

Бенжамен Ульмо улыбнулся.

— Прежде чем сесть на скамью подсудимых, я был матросом. Я оставил корабль, когда скорость его не превыша-

ла восемнадцати узлов. Сегодняшние корабли несколько больше по объему и делают двадцать шесть узлов в час. Много ли нужно изобретательности, чтобы раздуть размеры и увеличить скорость? Вы настолько потеряли чувство ценности вещей, что не отдаете себе отчета, до чего однообразна и глупа ваша страсть делать все крупнее, быстрее, а не лучше...

Он на мгновение задумывается и продолжает, смежив глаза, точно человек, привыкший диктовать стенографистке:

— То, что поражает человека, спавшего двадцать шесть лет и не имевшего соприкосновения с вашей цивилизацией, это даже не столько моральный упадок, сколько беспредельная тупость этого поколения, глубоко уверенного в своем превосходстве...

Верещит свисток к отправлению. Журналисты прячут самопишущие ручки.

Бенжамен Ульмо поднимается на ступеньку вагона и, еще раз оборачиваясь к людям, которые осаждали его в течение последних двух дней, говорит почти вдохновенно:

— Я уезжаю спокойным. События близки. Вам предоставлена короткая отсрочка. Если вы образумитесь до войны, вы еще сможете ее избегнуть...

Поезд трогается. Щелкают лейки. В окне вагона мелькает заплаканное лицо Мадлены Пуарье, мистической невесты Ульмо. Эта пожилая женщина, двадцать шесть лет дожидавшаяся возвращения жениха, во второй и последний раз провожает его в Марсель.

Журналисты, пересмеиваясь, отправляются в ближайшие бистро[1]. После таких бредней для восстановления пищеварения нет ничего лучше, как рюмка чинцано...

8

...В то время, как Релих располагается в гостинице и принимает ванну, Эрнст Гейль все еще трясется в поезде где-то неподалеку от люксембургской границы. Голые деревья, завидев поезд, уныло ковыляют прочь. Сутулые домики, крытые черепицей, уползают за ними вслед неуклюжими красными черепахами. По стеклам вагона мутными ручейками струится дождь.

[1] Небольшое кафе.

На противоположной скамейке, в углу, сидит Иоганн. Оба делают вид, будто друг с другом не знакомы. Иоганна многие здесь знают, провожать к границе чужих людей ему приходится нередко — нужно соблюдать максимальную осторожность.

На неизвестной маленькой станции Иоганн выходит. Переждав, сходит и Эрнст. Разыскивает глазами Иоганна: куда же он делся? Заглядывает в зал ожидания, в уборную — нет! Возвращается на перрон. Иоганна и след простыл.

Эрнст морщится под влиянием смутного неприятного предчувствия. Да нет, не может быть! Он озирается еще раз. Станционные чиновники смотрят на него с насмешливым любопытством. Неужели ловушка?

Он быстро покидает станцию. В первую минуту он хочет углубиться в аллею, ведущую прямо, но затем сворачивает влево, по направлению хода поезда. Граница, по всем данным, должна быть на этой стороне. Не оглядываясь, он прибавляет шагу.

Аллея сворачивает вправо. Если это ловушка, тогда здесь, у поворота,— самое удобное место. Не сбавляя шага, Эрнст приближается к повороту. Он умышленно держится левого края дороги, поближе к деревьям. Холодные капли дождя, попадая за воротник, стекают по коже спины.

За поворотом — никого. В глубине аллеи, на расстоянии каких-нибудь ста шагов, Эрнст замечает медленно удаляющуюся спину Иоганна. Он вздыхает с облегчением. Все тем же ровным шагом он идет следом за Иоганном.

Иоганн шагает, не оглядываясь. Пройдя километра два, он останавливается и поправляет шнурок у ботинка. Эрнст не уверен, подходить ему или нет. Понимая остановку Иоганна как приглашение поравняться с ним, он продолжает свой путь, нагоняет Иоганна и проходит мимо. Минуту спустя Иоганн настигает его.

— Где это ты так долго пропадал? Я хотел уже за тобой возвращаться!

— А ты разве сказал мне, в каком направлении идти? Я с равным успехом мог пойти прямо,— виновато ворчит Эрнст. Ему неприятно, что он заподозрил товарища в предательстве.— Закурим? — говорит он дружелюбно, стараясь хоть чем-нибудь загладить свою вину перед Иоганном.

Они закуривают под дождем. Первая папироса натощак кажется особенно вкусной. Дальше они идут рядом, не соблюдая особых предосторожностей.

— Почему мы дожидались рассвета? Не лучше ли было пройти границу ночью? — после долгого молчания спрашивает Эрнст.

— Ночью опаснее всего. Сейчас самое подходящее время. Начинается грузовое движение. Да и люди из окрестных деревень идут на ту сторону на базар. Тут ведь паспорта им не надо. Самое большее — разовый пропуск. С ним легче всего пройти.

— Далеко еще?

— Нет, еще с полкилометра. Вот за этим пригорком будет видно.

За пригорком дорога спускается к речушке и сворачивает на небольшой каменный мост.

— Вот это и есть граница,— говорит Иоганн.— По ту сторону уже Люксембург. Теперь пойдем врозь. Ты иди вперед. Шагай спокойно, не оглядывайся. Пропуск держи наготове. Мост проходи предпочтительно, когда по нему будут идти грузовики. Пограничная стража займется ими и твоего пропуска особенно обнюхивать не будет. Спросят откуда — название деревни помнишь. Главное, иди с таким видом, будто ходишь тут каждый день. Пройдешь мост — поднимайся в гору, а придешь в местечко, подожди меня у первого кафе.

Эрнст молча кивает головой.

Около моста и на самом мосту ждет уже несколько грузовых машин. Стража пропускает их поодиночке, проверяя бумаги и груз. Эрнст сует пограничнику свой пропуск и хочет пройти дальше.

— Подожди!

— Да некогда мне!

Пограничник придерживает его за рукав.

— Подожди, говорю!

Отпустив грузовик, он принимается рассматривать Эрнстову бумажку.

— Перестали узнавать знакомых, господин сержант?

Вереница ожидающих грузовиков растет с минуты на минуту.

Сержант молча возвращает пропуск.

Эрнсту стоит большого усилия пройти по мосту медленно, не ускоряя шага.

— Эй, ты!

Он идет не оглядываясь. «Меня окликают или не меня?..»

Карабкаясь в гору, храпит грузовик.

«Нет, очевидно, не меня».

У входа в местечко Эрнста нагоняет Иоганн. В кафе на углу они выпивают у прилавка по стакану горячего кофе со сдобными булками, закуривают и отправляются дальше.

— А теперь куда?

— Теперь на вокзал. Скоро отходит твой поезд.

Следуя указанию Иоганна, Эрнст берет билет до города Люксембурга.

— Там сойдешь, пообедаешь и возьмешь билет на вечерний поезд до французской границы.

— Выпьем по кружечке? — предлагает Эрнст.

— Теперь можно. Благо и пивная рядом.

— Оказывается, все это не так уж сложно, вроде как загородная прогулка,— шутит Эрнст, чокаясь с Иоганном кружкой.

— Да, в ту сторону ничего. Обратно посложнее. Проверяют.

Оба пьют, облокотившись на стойку.

Скоро придется прощаться. «Надо бы парню помочь,— думает Эрнст.— С голоду дохнут». Но денег у него в обрез. Если не хватит в дороге, может получиться глупая неприятность.

Тут он вспоминает про часы. Настоящие серебряные часы — подарок Луизы. Последние годы для безопасности он хранил их у товарища, у того самого, в Вильмерсдорфе, где пришлось переночевать последнюю ночь. Тот и уговорил Эрнста взять часы с собой в дорогу: все-таки с часами солиднее.

Эрнст ловил себя на том, что отдавать Луизины часы ему немножко жалко. Столько лет он их берег... Ему стыдно перед самим собой за эту подспудную скупость.

— Вот что, Иоганн,— говорит он, беря товарища за локоть.— Ты сам жрешь или не жрешь — это твое дело. Будем надеяться, не издохнешь. А вот мальчишка твой растет, а кормить тебе его нечем. На одном твоем кофе не очень вырастет. Денег у меня нет, но вот тут одна штуковина, продай. Что-нибудь за нее дадут...— Он сует Иоганну часы.

— Ты это что, за дорогу мне или как? — краснея, говорит Иоганн.

— Съездил бы я тебя по морде за такие разговоры, да в пивной неудобно! Свой парень, рабочий, а ломается, как барышня из благородного семейства. Если я через неделю приеду к тебе без пфеннига в кармане и останусь на месяц, ты что, выгонишь меня или хлебом со мной не поделишься?

— Вот сказал! Это — другое дело.

— Какое другое дело? Клади в карман, и чтобы разговора у нас об этом больше не было! Пошли, а то поезд мой уйдет.

У входа на вокзал они долго трясут друг другу руки.

— Ты на меня того... за вчерашний разговор не обижайся,— говорит Эрнст.— Я правду говорю. Работаете вы тут неплохо. Судя по твоим рассказам, и ребята у вас хорошие. Не давайте сбивать себя с толку! Каждому хотелось бы поскорее. Думаешь, мне не хотелось бы? Еще как! А ты не поддавайся. Разбирай, что к чему... Ну, когда-нибудь, может, еще увидимся!

9

...К вечеру снег принимается порошить опять. В отсвете пунцовых, синих и оранжевых рекламных огней он кажется разноцветным конфетти, сбрасываемым с аэропланов на вечерний Монмартр по случаю квартального праздника.

Релих идет серединой бульвара Клиши, под веселый рев пианол и гулкие удары барабана, среди пестрых балаганов, выстроенных по обе стороны, как карточные домики. С протяжным визгом взлетают и падают качели, вращается карусель, порхают по кругу подвешенные на тросах двухместные авиэтки, скрипя под тяжестью целующихся пар. От поцелуя на такой карусели, должно быть, вдвойне кружится голова. Вращаются огромные диски поставленных ребром рулеток, рябя в глазах целым спектром радуги. Рискните одним су и можете выиграть кило пиленого сахара в упаковке или фаянсовую куклу.

У балаганного тира, где, подвешенные на рафии, кружатся глиняные трубки и маятниками качаются разноцветные шарики, сухо щелкают механические ружья. В балагане рядом — свадьба у фотографа. Длинная скамья полна кукол: молодая, молодой, теща, тесть, шафера — все в натуральную величину. Испытание на силу и ловкость: тугим тряпичным мячом попасть так, чтобы кукла опрокинулась вверх тормашками. Больше всего достается теще, которая то и дело летит вверх ногами, показывая, ко всеобщему веселью, длинные фланелевые панталоны.

Релих останавливается у тира, изображающего двор тюрьмы. Миниатюрный смертник стоит на коленях, положив голову на плаху, и ждет удара топором, который занес над его шеей усатый палач. Стоит вам попасть из ружья в крохотное тюремное оконце, как мгновенно раздастся

звонок, топор палача упадет вниз и голова казненного отскочит в корзину. Занятие для любителей!

Рядом сосредоточенная группка рыболовов выуживает бутылки шампанского. Кто в течение минуты, до сигнального звонка, сумеет закинуть на горлышко бутылки небольшое деревянное кольцо, подвешенное на конце лески, тот уносит с собой под мышкой выуженную бутылку.

Все это, вероятно, очень забавно и увлекательно, если одновременно держать рукой за талию хорошенькую девушку и целоваться с ней взасос после каждого проигрыша, как это делает большинство этих оживленных мужчин в кепках и шляпах, своими медяками заставляющих вращаться, звенеть, греметь и пиликать весь этот балаганный городок, воздвигнутый на улице большого столичного города. Но если бродишь по нему один, все представляется тебе не очень смешным и даже немножко тоскливым — виски гудят от механической музыки, и тебе начинает казаться, что лотерейный диск вместе с рафинадом и фаянсовыми куклами кружится у тебя в голове.

Релих покидает шумливую середину бульвара и переходит на тротуар.

Запах напудренных женщин приводит его в легкое возбуждение. У каждых ворот, у каждой витрины, на каждом углу целуются пары. Можно подумать, что этим парижанам действительно больше нечего делать!

На площади Клиши он заходит в кафе и, отыскав свободный столик в углу, заказывает рюмку дюбоннэ. И здесь полно прижимающихся пар. Матово выбритые щеки мужчин изранены отпечатками маленьких накрашенных губ. Релих не успевает оглядеться, как уже к его столику присаживается женщина. Крохотная шляпка, очень красный рот, очень белая шея, длинные ноги, туго обтянутые паутиной шелковых чулок.

— Вы не заняты?

Мгновение он колеблется. Если кто-либо из советской колонии увидит его здесь, в этом обществе...

Женщина смотрит на него выжидающе. У нее большие черные глаза южанки и белки цвета слоновой кости.

Нет, он не занят. Что она хочет заказать?

Она заказывает рюмку порто. Она раскрывает сумку, внимательно проверяет в зеркальце свое лицо, слегка подправляет карандашом губы и стирает мизинцем крупинку пудры возле левой ноздри. Она распахивает манто и показывает свои плечи. Релиху не приходится разочаровываться в выборе.

Они говорят о последних постановках сезона. Вернее, говорит она. Он здорово забыл французский и предпочитает отвечать короткими, простыми фразами.

Собирается ли он сегодня куда-нибудь?

При мысли, что ему предстоит показаться с ней в театре или мюзик-холле, Релиха охватывает беспокойство. Правда, внешностью и одеждой она как будто ничем не отличается от всех этих дам, которых он наблюдал сегодня на Больших бульварах. Вообще, этих «курочек», как ласкательно называют их парижане, с первого взгляда не различишь. Но у старых жителей Парижа, вероятно, глаз наметан.

Нет, к сожалению, он не сможет отправиться сегодня никуда. В половине одиннадцатого у него деловое свидание.

Очень хорошо складывается, поскольку с двенадцати она тоже занята.

Если он хочет сейчас?

Да, он хочет сейчас.

Он расплачивается, и они выходят.

10

...Небо над Местром горит красным заревом домен. По грязной улице от вокзала шлепает Эрнст Гейль. Он успел за эти полдня исколесить поперек все Великое Люксембурское герцогство, пообедать в городе Люксембурге сандвичем с сыром.

Отсюда уже рукой подать до французской границы.

В бистро «Под незабудкой» весело ржет гармонь, и гармонист в синем беретике, передергивая плечами, отстукивает каблуком такт залихватского фокстрота. Впрочем, танцевать здесь все равно негде. Весь зал заставлен столиками. Даже тощие официантки и те еле протискиваются меж стульев.

Эрнст заказывает у прилавка четвертинку красного и, улучив момент, спрашивает у хозяина, здесь ли Джиованни. Хозяин молча полощет рюмки, не поднимая глаз, будто не расслышал. Эрнст хочет повторить свой вопрос.

— Садись за столик. Когда Джиованни придет, я его пришлю,— нетерпеливо бросает хозяин.

За столик так за столик! Свободных столиков, правда, нет, но вот за тем, за которым сидят двое рабочих-итальянцев, есть еще одно свободное место. Эрнст заказывает еще четвертинку красного: надо немножко согреться.

Итальянцы спорят о чем-то, стуча в азарте кулаками по столу. Красное вино Эрнста расплескивается по клеенке. Младший из итальянцев хватает Эрнста за локоть: ради бога, пусть товарищ не обижается, они малость поволновались!

— Мамзель! Четвертинку красного! Я плачу!

Пока мамзель протискивается с новым стаканчиком на блюде, к столику присаживается третий итальянец. Он здоровается с земляками и протягивает руку Эрнсту.

— Джиованни.

Официантка бежит еще за одним стаканом красного. Джиованни наклоняется к Эрнсту.

— Собирай манатки и подожди меня у выхода!

Эрнст оставляет указанную на блюдечке сумму денег и, помахав рукой соседям, протискивается к выходу.

На дворе льет дождь. Под брезентовым навесом он не так ощутим. Вскоре в дверях быстро появляется Джиованни.

— Пошли!

Они поднимают воротники и погружаются в дождь.

— Здесь часто бывают облавы,— поясняет на ходу Джиованни.— Если у тебя нет бумаг, засиживаться тут не следует.

На углу они садятся в переполненный автобус. Автобус летит, кряхтя и покачиваясь на ухабах. После получасовой пляски он останавливается. Люди гурьбой вываливаются наружу. Эрнст чувствует, что кто-то сзади изо всех сил напирает на него плечом. Он оглядывается разгневанный. Это Джиованни! Они пропихиваются в давке через какую-то калитку с турникетом и, шлепая по грязи, спускаются вниз.

— Вот ты и во Франции! — говорит Джиованни.— Грязь и тут и там одинаковая.

Неподалеку видны огни железнодорожной станции.

— Мне сюда, на станцию? — спрашивает Эрнст.

— На станцию, да не на эту. Очень уж ты быстро хочешь добраться! Здесь полно жандармов. Придется тебе отмахать пешком семь километров.

— Идти прямо?

— Не совсем. Я тебя провожу.

— Зачем тебе шлепать по такой погоде четырнадцать километров?

— Ничего! Мое дело — посадить тебя на поезд, а там дальше — как знаешь.

Дождь хлещет вовсю. Не видать ни зги. Чтобы не поте-

рять друг друга, они идут под руку, стараясь шагать в ногу: раз-два, раз-два, левой... левой...

После доброго часа ходьбы дождь немного утихает.

— Теперь уже рукой подать.

Местечко не спит. Тут и там петухами кричат патефоны.

Не доходя до станции, Джиованни останавливается.

— Подожди здесь. Я схожу один, проверю. Давай деньги на билет. Тебе вертеться на станции незачем. Когда подойдет поезд, иди и садись...

Вскоре он возвращается с билетом.

— Все в порядке. Жандармов не видать.

— В буфет не зайдем?

— Нет, тебе не стоит тут особенно показываться.

— Выходит, надо нам уже прощаться, а мы и познакомиться-то как следует не успели.

— Ничего. На обратном пути познакомимся.

— Давно здесь работаешь?

— Год.

— А раньше где?

— В Париже, у Томсон-Хаустон. Потом, после высылки,— в Бельгии, на шахтах.

— Тоже выслали?

— Выслали.

— А здесь как? Строго или легче?

— Высылают почем зря. Эмигрантов всегда хватит.

— А тебя куда же могут выслать? Во Францию тебе нельзя, в Италию нельзя, в Германию — и подавно...

— А им какое дело!

— Ну, допустим, тебя вышлют. Куда же ты денешься?

— Попробую еще разок в Марсель. Там всегда можно устроиться на какую-нибудь посудину кочегаром. Доеду до Китая, проберусь в китайскую Красную армию. Мне так думается, там дела начнутся раньше... Тебе пора! Будь другом, опусти-ка это письмецо в Париже, на вокзале. Скорее дойдет.

— Зазнобу в Париже оставил?

— Так, девушка одна. Переписываемся.

— Может, зайти, передать от тебя привет?

— Прыткий ты больно! Нужна тебе подружка — ищи сам. Я тебе не адресный стол... Давай, сам отправлю.

— С ума сошел! Что, я у тебя невесту отбивать собираюсь?

— Знаем мы вас, приятелей!

— Не дури! Давай отправлю. Что ты в самом деле!

— Ладно, отправь. Только ходить не надо.

— Что же ты, брат, невесте своей так не доверяешь?

В отсвете огонька папиросы смуглое красивое лицо парня кажется хмурым и угрюмым.

— А что я, маленький? Думаешь, верю, что она год меня дожидается? Французенок я не видал?.. Не знаю, и ладно!

— Чудак ты, парень! Давай руку, а то поезд мой идет. Спасибо, что проводил. Хотел я тебе за услугу отплатить услугой. Не хочешь — не надо. Прощай! Рот фронт!

Поезд гудит и трогается с места. В купе пустовато. Тускло горит электричество. Глухо бормочут колеса:

— «Nach Paris... Nach Paris...»[1]

Вот и Франция. Все сошло отлично. Завтра утром — Париж. Попробуем поспать. Глаза сами слипаются от усталости. Последняя разборчивая мысль проскальзывает уже сквозь сон: Иоганн по-итальянски — Джиованни! Открытие это кажется Эрнсту почему-то очень важным, но он не успевает его додумать. Он уже спит.

Просыпается от чьего-то прикосновения. Проводник спрашивает билет. Эрнст роется в бумажнике и протягивает кусочек картона с напечатанным на нем волшебным словом «Париж». Милейший кусок картона, способный заменить и паспорт и визу! Эрнст ощупывает его пальцами почти с нежностью и сует в карман. Рука натыкается на жесткий конверт. Что это такое? Ах, да! Это бумаги Эберхардта! Он даже не успел их как следует просмотреть. Все-таки он умно поступил, спрятав их в уборной полицей-президиума! Товарищ, который вызвался сходить за ними утром, нашел их в полной сохранности.

Эрнст достает из кармана пакет. Небольшая пачка исписанных карандашом листков. При этом освещении ничего не разберешь. Отложим до завтра. Разорванный конверт с надписью: «Эрнсту». Да, это он читал. Еще один конверт, заклеенный: «Маргарите Вальденау. Париж...» Придется ее разыскать.

По нелепой ассоциации ему припоминается Джиованни: «Ладно, отправь, только ходить не надо... Знаем мы вас, приятелей!»

Эрнст улыбается почти сквозь сон: вот чудак!

Он сует бумаги и письмо обратно в карман, завертывается в пальто и мгновенно засыпает. Ему снится Маргрет, которая оказывается невестой вовсе не Роберта, а Джиованни. Он хочет уже извиниться и уйти, но кто-то кладет ему руку на плечо.

— Эй, мосье, слезайте, приехали — Париж!..

---

[1] «В Париж...» (*нем.*)

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

Оконные стекла снова начинают звенеть. Сперва неразборчиво, как зубы, затем все громче, пока нарастающий звон не переходит в пронзительную трель флексотона. Тогда на камине робко откликаются чашки. У каждой из них свой особый тембр, начиная с высокого, кончая самым низким. Если закрыть глаза, можно подумать, что рядом, за стеной, цирковой виртуоз-эксцентрик мечет на стол, как талеры, звонкие кружки металла и кружки вибрируют, вызванивая замысловатые мелодии.

Так начинается утро. Воробьиной капеллой там, на дворе, в соседнем Люксембургском саду. Концертом стекол и чашек здесь, в маленькой гостинице, сотрясаемой слоновой поступью автобусов.

Маргрет лежит еще добрую минуту, плотнее зажмурив глаза, прислушиваясь к утренней перекличке вещей. Затем одеяло тяжелой птицей слетает на пол. За одеялом вдогонку летит пижама. Босые ноги, шаря по полу, сами отыскивают туфли, косматые и мягкие, как лапы медведя. Голая, она стоит посреди комнаты, вскинув высоко руки и отбросив назад волосы крутым движением головы. Затем уходит по шею в пестрый мохнатый халат. Створки халата запахиваются, как ставни. В комнате сразу становится как будто темнее.

В голубой резиновой шапочке, облегающей голову, как шлем, заколов халат у самого подбородка, Маргрет выскальзывает в коридор. Тихонько напевая, она направляется в ванную. Она слышит, как дверь напротив ее комнаты отворяется и так и остается открытой. Опять этот надоедливый англичанин караулил, когда она выйдет, чтобы проводить ее глазами до конца коридора! Смешной субъект! Никогда не попытался даже заговорить с нею. И всегда преследует ее взглядом своих покорных собачьих глаз.

Заперев дверь ванной на задвижку, она сбрасывает халат и пускает душ. Холодные брызги обдают ее с головы до ног. Она зябко сутулится, вздрагивая от прикосновения холодных струек воды. Затем, набравшись храбрости, подставляет им спину, зажав меж колен сплетенные руки. Резиновый шлем, ниспадающий на уши, узкие, чуть обозначенные бедра делают ее похожей на изнеженного мальчишку. Она откидывает голову и подставляет жидким ледяным лучам лицо и груди. Струйки воды, пробежав между ними, широ-

кой дельтой омывают плоскогорье живота и стекают вниз по судорожно сжатым ногам.

Мановение руки — и ливень замирает на лету. Она проводит ладонью по телу, словно выжимая из него последние капельки воды. Нога нащупывает мягкий мех туфли. Тело, еще поблескивающее слезинками дождя, исчезает в мохнатой обертке халата.

Маргрет пускается в обратный путь по коридору. Конечно, так она и знала! Англичанин караулит на пороге своей комнаты. Его собачий взгляд, полный мольбы и восхищения, провожает Маргрет до дверей. Она охотно показала бы англичанину язык, но не стоит связываться.

Пройдя к себе, она стаскивает резиновую шапочку и расчесывает перед зеркалом волосы, каштановые с золотистым отливом. Сколько их ни расчесывай, в конце концов они все равно улягутся по-своему!

С минуту она изучает в зеркале свое лицо. Еще девочкой она любила подолгу смотреться в зеркало. Окружающие видели в этом проявление преждевременного кокетства. На самом деле это было скорее удивление. Удивление тем, что́ именно в ее лице поражает так встречных мужчин, заставляя их оборачиваться на улице. Этот высокий, очень белый лоб? Но ведь это скорее лоб мужчины, чем девушки, не говоря уже о том, что он явно непропорционален. Этот прямой нос? Или, может быть, глаза? В школе говорили всегда, что глаза у нее коровьи: большие, продолговатые, цвета морской воды, с длинными черными ресницами, завернутыми, как крыша у пагоды. Или брови, такие странные, асимметричные, уходящие куда-то вверх, отчего выражение глаз кажется всегда не то вопросительным, не то удивленным.

Нет, она не считала себя красивой. Разве можно было сравнить ее красоту с красотой ее подруг? Но на них-то как раз никто из мужчин в ее присутствии не обращал никакого внимания. Очевидно, мужчины ничего не понимают в женской красоте, как они ничего не смыслят в женской одежде.

Чувствовать себя предметом общего восхищения было приятно и в то же время чуточку страшновато. Страшновато, поскольку в этом незаслуженном, как ей казалось, восхищении было что-то тревожное, непрочное, как коллективный гипноз. Однажды все одновременно заметят, что она вовсе не хороша. И случится это непременно, как в сказке, в тот самый день, когда она полюбит кого-нибудь и захочет показаться ему красивой...

С годами ощущение это стерлось. Мало-помалу она привыкла смотреть на себя глазами окружающих. Лишь изредка, по утрам, внезапно остановившись перед зеркалом, она долго всматривалась в свое лицо, словно видела его впервые. Брови ее поднимались тогда еще выше, и во взгляде вопросительных глаз читалось удивление и испуг.

Она отходит от зеркала, сбрасывает халат и начинает одеваться. Закончив утренний туалет, она прибирает комнату, меняет воду в вазах для цветов, завтракает бутылкой кефира и хрустящими подковками. Сегодня — воскресенье, никаких особых дел в городе с утра у нее нет, и ей лень спускаться вниз, в кафе, только затем, чтобы напиться горячего кофе.

Напевая, она бродит по комнате, переставляет то то, то это, рвет ненужные записки и бросает их в «саламандру» [1], складывает разбросанные на столе и на камине газеты. Взгляд ее падает на жирный заголовок: «Виолетт Нозьер в тюрьме Агено».

Виолетт Нозьер? Ах, да! Это та, которая отравила отца и пыталась убить мать! Как много шума наделал в прошлом году этот процесс! Восемнадцатилетняя девушка, дочь машиниста дороги «Париж — Лион — Средиземноморье», втайне от родителей занимавшаяся проституцией, как выяснилось на следствии, содержала на эти деньги своего «друга», Жана Дабен, студента-юриста, сынка почтенных буржуа, которому папаша слишком мало давал на карманные расходы. Заболев сифилисом и заботясь о том, чтобы не заразились родители, она уговорила их принимать ежедневно ради профилактики какие-то патентованные порошки. На самом деле в порошках она давала им яд небольшими дозами в течение месяцев, надеясь таким путем тихо и незаметно отправить на тот свет и папу и маму. Желудки у стариков оказались лужеными. Хворать оба хворали, но умирать не торопились. Тогда Виолетт, потеряв терпение, отмерила отцу такую дозу, которая живо свалила его с ног. Мать, принявшая дозу поменьше, выжила, хотя не то дочь, не то ее любовник пытались для вящей уверенности прикончить ее вручную и, уходя, на всякий случай открыли в квартире газ.

Виолетт Нозьер была приговорена к пожизненному тюремному заключению. Студентик, оплативши свои долги

---

[1] Железная эмалированная комнатная печка, приставляемая к камину.

деньгами, похищенными Виолетт, к ответственности не привлекался.

В течение добрых двух месяцев все парижские газеты посвящали Виолетт Нозьер целые столбцы и полосы. И вот теперь — эпилог. Небольшая статейка на пятой странице: «Виолетт Нозьер в тюрьме Агено». Эта женская тюрьма для пожизненно заключенных пользовалась довольно мрачной славой.

Маргрет стоя пробегает глазами статейку. Сухой репортерский отчет:

«Автобусы въехали во двор. Закрылись тяжелые тюремные ворота. Заключенных выстроили парами и, пересчитав, передали под расписку четырем монахиням. В стене, замыкающей первый двор, открылась калитка, через которую всех их провели во внутренний двор тюрьмы. В канцелярии им приказали сдать все, что у них имеется при себе: деньги, драгоценности, часы. Виолетт оставила здесь вместе с сумочкой, зеркальцем и губной помадой также свое имя и фамилию. За этой дверью нет больше Виолетт Нозьер, есть заключенная номер такой-то.

У входа в зарешеченную баню им выдали тюремное белье, иголку и нитку. На каждой штуке белья их заставили пришить вместо монограммы квадратик с собственным номером. В бане их выстроили, как солдат, в два ряда. Поворот назад! Три шага вперед! По команде «Раздеваться!» они сбросили платье и белье и вошли в кабины. Те, которые замешкались и вошли последними, были записаны к наказанию. Мылись и вытирались по команде.

Выйдя обратно, они не застали больше ни своего платья, ни белья. Они не увидят его больше никогда. Отныне и до смерти они будут одеваться по здешней, тюремной, моде, не меняющейся веками.

Длинная полотняная рубаха почти по щиколотку. Грубая нижняя юбка, стянутая в талии. Коричневая юбка из дерюги, достающая до земли. Если юбку расправить и поставить на пол, она будет стоять, как картонная. Просторная кофта с чужого плеча. Фартук. Клетчатый платок. Деревянные сандалии и грубые бумажные чулки. Все это поштопано и заплатано сверху донизу. Новое обмундирование получают только заключенные, отличившиеся примерным поведением. На правом рукаве — квадрат с номером, заменяющим кличку. На голове — белый чепец, всегда надвинутый на лоб, с тесемками, завязанными под подбородком...

Одетых по форме, их повели в кабинет директора, где в присутствии матери-надзирательницы они выслушали

краткий перечень правил поведения, обязательных в тюрьме Агено. Первое и основное: абсолютное молчаливое повиновение тюремному персоналу. Второе: абсолютная тишина. Ни слова — ни за работой, ни в перерывах, ни в дортуаре. Ни одного звука, ни одного жеста. Список наказаний за нарушение порядка: лишение прогулки, заключение в одиночку, карцер и смирительная рубашка. Более мягкие наказания — по усмотрению матери-надзирательницы. Мать-надзирательница может перевести провинившуюся на хлеб и воду, может заставить ее стоять на коленях, выполнять добавочные работы, носить на груди дощечку с унизительными надписями, шутовской колпак, платье из мешковины.

Так как заключенные прибыли под вечер, после речи директора их отправили в трапезную. Хоровая молитва. Удар колотушки сестры-надзирательницы: занять места за обеденным столом! Второй удар: взять в руку железную ложку! Третий удар: кушать! Во время ужина одна из заключенных читала с кафедры священное писание.

В семь часов вечера их отвели в дортуар — четыре ряда клеток, по две в ряд. Перед тем как войти в клетку заключенные подвергаются обыску. Двери клеток захлопнулись за ними автоматически. Раздалась команда: «Заключенные, снимите фартуки!» — «Сложите!» — «Снимите платки!» — «Сложите!» — «Снимите кофты!» — «Сложите!..»

На коленях, в одной рубашке, они хором повторяли за надзирательницей слова молитвы.

Всю ночь до утра в дортуаре горел свет...

Так будет завтра, и через год, и через десять лет, всегда. Пройдут годы, она разучится говорить, а если захочет кричать, чтобы услышать свой голос, на нее наденут смирительную рубаху, и крик ее все равно не вырвется из колодца этих глухих тюремных стен...»

Маргрет ежится: нет, лучше уж умереть на эшафоте!

В комнату стучат. Кто это может быть? В такое раннее время?..

— Войдите!

При виде человека, вошедшего в комнату, она вскрикивает и подается назад. Бутылка из-под кефира секунду покачивается, словно раздумывая, затем падает и разбивается на мелкие осколки. Маргрет растерянно опускается на корточки и, шаря руками по полу, снизу вверх широко раскрытыми глазами смотрит на вошедшего человека.

На пороге стоит Эрнст.

— Извините, я вас, кажется, напугал,— говорит Эрнст, склоняя голову,— может быть, мне уйти?

Она быстро поднимается с пола, растерянной рукой поправляет волосы.

— Нет, нет! Просто вы вошли так неожиданно...

— Неожиданно или некстати?

— Что вы! Как вы можете! Я так рада! Я никак не рассчитывала встретиться с вами здесь, в Париже.

— Я привез вам привет от Роберта.

Она вздрагивает и краснеет. Глаза смотрят вопросительно, с невыразимой тревогой.

— Вы его видели?

— Нет, к сожалению, не успел с ним повидаться. Я видел его отца.

Она проводит рукой по щеке. Пробует улыбнуться.

— Ну и что он? Как он?

Эрнст смотрит на нее в молчании, испытующе: чего она так смутилась?

Улыбка на ее лице переходит в гримасу испуга. Глаза делаются все шире и шире.

— Говорите же! Не мучайте меня! Ведь я все знаю!— кричит она в каком-то внезапном исступлении.

— Раз знаете, зачем же меня спрашиваете?

— Нет, я, конечно, не знаю. Я просто предполагаю худшее... Зачем вы пришли? Вы пришли надо мной издеваться?

— Успокойтесь. Так мы ни до чего не договоримся. Я пришел передать вам от него письмо. Вот оно! Только, пожалуйста, возьмите себя в руки и постарайтесь прочесть спокойно.

Она лихорадочно рвет конверт. Начинает читать: несколько листков, написанных крупным почерком. Лицо ее во время чтения то проясняется, то гаснет. Пробежав письмо до конца, она принимается читать сначала.

— Я ничего не понимаю! Он пишет, что год сидел в Дахау. А статья? Он ничего про нее не упоминает! Он ее писал или не он?

— Насколько я могу понять, писал ее не он. Но подписал, очевидно, он.

— Что это значит: писал не он, но подписал он? Разве это не одно и то же?

— Юридически — да. Субъективно — не совсем.

— Вы хотите сказать, что от него эту подпись вынудили силой?

— Очень возможно.

— Истязаниями?

— Скорее всего.

— И после того, как он это сделал, его выпустили?

— Нет, после того, как он это сделал, его отправили в Дахау. Возможно, он захотел взять свою подпись обратно.

— А потом все же выпустили?

Эрнст кивает головой.

— Через год.

— Что он сейчас делает?

— А разве он вам об этом не написал?

— Нет, он пишет только, что никогда больше я с ним не увижусь.

— Да, вы с ним никогда больше не увидитесь,— тихо повторяет Эрнст.— Его уже нет. Он покончил с собой месяц тому назад.

Она приседает на край кушетки, прикусив пальцы, чтобы не закричать.

Эрнст вертит в руках кепку.

— Это вы его убили!— говорит она вдруг, поднимаясь во весь рост. Теперь она кажется Эрнсту еще выше и тоньше.— Вы и ваши друзья! Вы не могли простить ему минутного малодушия. Вы создали вокруг него пустоту и своим холодным презрением довели его до самоубийства.

— Не говорите глупостей. Ни я, ни мои товарищи даже не знали о его выходе из лагеря.

Он вспоминает первую записку Роберта, оставленную у Шеффера. Да, это не совсем так. Он, Эрнст, конечно, знал. Ее обвинение сейчас, после собственной раздраженной реплики задевает его вдвойне болезненно. Разве он сам подсознательно не упрекал себя в том, что своим молчанием он в какой-то степени ускорил смерть Роберта? Впрочем, все это глупости! Ясно, кто его убил!

Последнюю фразу он говорит вслух, отвечая одновременно своим мыслям и Маргрет:

— Ясно, кто его убил!

— Он покончил с собой сразу после выхода из лагеря?— глухо спрашивает Маргрет.

— Нет, но довольно скоро.

— Разве нельзя было в течение этого времени повлиять на него, поддержать его морально?

Голос ее звучит сурово, негодующе, как голос обвини-

теля. Глупее всего то, что Эрнст действительно чувствует себя обвиняемым, обязанным отвечать и защищаться. От сознания нелепости этой внезапной перемены ролей в нем нарастает раздражение.

— Если верить тому, что сказал мне его отец, вряд ли постороннее воздействие могло здесь что-либо изменить.

— Что в этом понимает отец? Не прячьтесь за спину его отца! Постороннее воздействие ничего изменить не могло, но ваше могло наверное. Вы знаете великолепно, что значило для Роберта одно ваше слово.

— Тут имелись предпосылки, которых никакое мое слово не в состоянии было устранить.

— Это еще что за загадка?

— Я думаю, вам не стоит настаивать на ее расшифровке.

— Наоборот, я настаиваю! Вы обязаны мне сказать все!

— Здесь имелись предпосылки физического порядка.

— Что это значит? Я не понимаю. Выражайтесь яснее!

— Мне кажется, я выражаюсь достаточно ясно. Надо полагать, вы читаете антифашистскую прессу.

— Я не понимаю ваших загадочных намеков. Вы просто виляете! Говорите прямо! Я хочу знать!

— Хорошо. Раз вы настаиваете, пожалуйста. Его кастрировали... Это вам понятно или прикажете разъяснить?

Она закрывает лицо руками.

Он отворачивается. Крутит в пальцах пуговицу от пиджака. Оторванная пуговица падает на пол. Он нагибается, чтобы ее поднять, но пуговица покатилась под кушетку. Он поворачивает голову. Маргрет стоит, опершись спиной о камин. По ее лицу бегут крупные неторопливые слезы.

— Извините меня,— говорит она, протягивая ему руку.— Я не имела права так с вами разговаривать. Если можете простить меня, простите. Я очень измучилась...

Он придерживает в своей большой руке ее тонкую холодную руку.

— Больше мужества, Маргрет!— говорит он мягко.— Не надо плакать, надо бороться! Я знаю, что вам тяжело. Я приду в другой раз. Мне надо с вами поговорить.

— Нет, не уходите. Посидите здесь. Мне не хочется оставаться одной. Я рада, что наконец вас увидела. Только я немножко помолчу, хорошо?

Она слизывает языком слезы, повисшие в уголках губ. Идет к окну, прислоняется к оконной раме и долго смотрит на улицу. Плечи ее неподвижны.

Стекла окон принимаются звенеть. Откликаются чашки на камине. Потом звон замирает. Потом раздается опять.

через размеренные промежутки времени. Вот сейчас начнется снова. Сколько автобусов уже прошло?

Эрнст, облокотившись на камин, покачивает носком осколок разбитой бутылки. Голос Маргрет заставляет его встрепенуться.

— Вы хотели со мной говорить, Эрнст? Я вас слушаю.

— Я хотел, чтобы вы рассказали мне, как все это случилось там, в Базеле. Кое-что для меня не совсем ясно. Если вам тяжело рассказывать об этом сейчас, я могу зайти потом.

— Вы давно в Париже?

— Месяц.

— И вы зашли ко мне только сегодня?

— Вы понимаете, что я приехал сюда по другим делам...

— Да, я понимаю.

Она уходит за ширму и холодной водой обмывает под краном лицо. Потом возвращается, подходит к столу. Достает из ящика папиросы, берет сама и протягивает Эрнсту.

— Садитесь, вы все стоите. Я соберусь немножко с мыслями и расскажу по порядку...

Она начинает рассказывать. Сперва спокойно, сидя и облокотившись на стол. Затем, волнуясь все больше и больше, встает, расхаживает по комнате, время от времени останавливается, перебивая рассказ длинными паузами.

Когда они виделись в последний раз с Эрнстом? В тридцать третьем, сейчас же после прихода Гитлера? Ну, так вот... Доехали они тогда благополучно. Роберт очень быстро стал поправляться и еще в санатории принялся за работу. Работал запоем, спускался вниз только к обеду и ужину. Вечерами читал ей написанные за день отрывки. Это была необыкновенная книга! Не книга, скорее страстная обличительная речь! Сухие факты и документы, озаренные ненавистью и возмущением, звучали в этом контексте, как эпиграфы из Дантова «Ада». Это невозможно передать! Его едкий сарказм, его врожденный талант памфлетиста впервые прозвучали здесь во весь голос. Перед галереей убийственных портретов современных деятелей Третьей империи фантасмагории Гойи могли показаться сновидениями невинного ребенка. Все те, кому Роберт читал отдельные отрывки и главы, выходили от него как ошарашенные, жали ему руки и умоляли об одном: скорее, скорее предать это гласности!

Роберту не хотелось публиковать эту вещь в отрывках. Для того, чтобы ее закончить, ему не хватало материала. Они с Маргрет выехали в Париж. Роберт собрал здесь то,

что ему было нужно. Беседовал с сотнями эмигрантов. Затем заканчивать книгу вернулся обратно в Базель.

В Париже целый ряд издателей предлагал ему свои услуги. Здесь же Роберт познакомился с представителем крупного американского агентства, предложившего Роберту выпустить его книгу одновременно на семи языках и обеспечить ей рекламу во всей мировой прессе. Условия, которые предлагало это агентство, были почти баснословны. Роберта соблазнили не условия, а перспектива, что его обвинительная речь прозвучит на весь мир. Он подписал предварительное соглашение, предоставляющее агентству исключительное право издания книги на всех языках. Представителя агентства звали Ионатан Дриш. Он торопил Роберта скорее кончать книгу и договорился с ним, что приедет за рукописью в Базель ровно через месяц.

Он действительно явился в условленное время. Книга была вчерне закончена. На отделку ее требовалось еще каких-нибудь две недели. Ионатан Дриш уговорил Роберта устроить читку для представителей печати и влиятельных деятелей антифашистского фронта на квартире у одного видного американского либерала, занимавшего целую виллу в окрестностях Базеля. Вечером того же дня Ионатан Дриш заехал за Робертом на автомобиле. Маргрет чувствовала себя не совсем здоровой и осталась дома.

Когда наступило утро и Роберт не вернулся, она, разузнав о местоположении виллы американского либерала, отправилась туда на машине. Она застала добродушного пожилого человечка, который выслушал ее с нескрываемым удивлением. Никакого господина Ионатана Дриша он в жизни не знавал, ни о какой читке у него на квартире никогда не было и не могло быть речи. Кстати, он ни в зуб не понимает по-немецки.

Тогда Маргрет кинулась в полицию, в редакции газет. Ей удалось выяснить только одно: что некий господин Ионатан Дриш действительно два дня тому назад прибыл в Базель из Парижа и вчера вечером отбыл в неизвестном направлении.

Вернувшись в гостиницу, она убедилась, что из письменного стола исчезли все черновики Роберта, равно как и все документы, хранившиеся в железной шкатулке.

В полиции к исчезновению Робертовых бумаг отнеслись весьма скептически. Молодой полицейский инспектор заявил Маргрет, что в базельских гостиницах за последние годы не было ни одного случая кражи. Совершенно невероятно, чтобы кто-либо ни с того ни с сего польстился на

какие-то бумаги. Не говорит ли это скорее за то, что господина Эберхардта никто не похищал, а уехал он по доброй воле, захватив свои рукописи? Конечно, он поступил нелояльно, не предупредив об этом мадам, но что же делать, такие вещи среди иностранцев случаются довольно часто: вот на прошлой неделе...

Она обозвала инспектора германским агентом и потребовала свидания с директором полиции. Ей удалось пробиться лишь к старшему инспектору. Тот учтиво выслушал ее и сообщил напоследок, что ее показания в корне расходятся с показаниями заведующего гостиницей и портье. Оба они слышали вчера вечером в холле разговор господина Эберхардта с незнакомым субъектом, заехавшим за ним на машине. Речь шла вовсе не о поездке в окрестности, а о поездке в Германию. Господин Эберхардт спрашивал у своего знакомого, как быть с паспортом. Тот заверил его, что все улажено — на границе никто их не задержит.

Старший инспектор не видел повода, почему он должен не доверять показаниям двух честных швейцарских граждан, а полагаться на фантастические рассказы иностранной дамы. К тому же, знаете, эти ваши немецкие дела, черт в них ногу сломит! Вчера вы ссорились, сегодня помирились...

Газеты на основе сбивчивых сведений, полученных ими в полиции, поднимать шум пока что воздержались. Временно, о, конечно, только временно! Как только выяснится существо дела, они немедленно мобилизуют общественное мнение против возможности подобных бесчинств. «Но поскольку дело пока неясно... Вы же понимаете... Зайдите через три дня, мы соберем к этому времени самые точные справки...»

Через три дня в редакции ей показали номер берлинской газеты с заявлением Эберхардта. «Видите, в какое дело вы хотели нас запутать! Хорошо бы мы выглядели, если бы вас послушались в первый день и ударили в набат! Вся мировая печать подняла бы нас на смех. Слава богу, у нас есть кой-какой нюх на эти дела!»

Она кричала со слезами, что все это подлая фальшивка, состряпанная именно для того, чтобы предотвратить кампанию протеста за границей. Ей ответили скептическими улыбками и пожатием плеч. В конце концов кто она? Она же не жена господина Эберхардта. Насколько помнится, у нее другая фамилия. А мужчины... знаете, приехал, пошутил, а потом собрал манатки и дал драпу... Такова жизнь!

В гостинице и на улице эмигранты перестали с Маргрет раскланиваться. Куда она ни обращалась, всюду натыкалась на непреодолимую стену презрительного равнодушия. «Почему бы вам, фрейлин фон Вальденау, тоже не вернуться? Ваш отец, говорят, занимает в Германии весьма видное положение...»

Она переехала в Париж. Прием, который она встретила здесь, был не лучше. В заявлении Эберхардта поносился ряд видных деятелей немецкой эмиграции. Люди эти не имели никакого основания доверять его бывшей жене или любовнице. Ее происхождение и истерическая настойчивость, с какой она старалась уверить каждого встречного в невиновности Роберта, насторожили против нее всех. «Люди, которых похищают, фрейлин Вальденау, не публикуют потом таких заявлений. Напишите лучше об этом детективный роман...»

От частого повторения версии о похищении Роберта она сама перестала в нее верить. Она повторяла ее по инерции.

Она пробовала работать в разных антифашистских комитетах. Ее сторонились. Отшивали отовсюду любезно, но решительно. Она отдала почти все свои деньги в фонд антифашистского движения. Даже этим она не снискала ничьего доверия.

Наконец своей настойчивостью и упорством она добилась того, что к ней стали относиться терпимо. О, никакой серьезной работы ей не поручали никогда! До сих она сталкивается с тем, что люди, разговаривавшие между собой, в ее присутствии внезапно замолкают. Но теперь по крайней мере ей разрешают работать. Она работает в антифашистской лиге. Собирает деньги, выполняет всякие мелкие поручения... Впрочем, это уже не имеет отношения к тому вопросу, который интересовал Эрнста.

Никаких сведений о Роберте она за все это время не получала. Вот теперь — письмо... Первое и последнее...

Эрнст сидит молча, сгорбившись, подперев голову руками. Да, так приблизительно ему описывал это дело, со слов Роберта, старик Эберхардт. Очевидно, так оно и было. Подозревать старика нет никаких оснований.

Он вытаскивает из кармана пачку листков, исписанных рукой Роберта, и протягивает их Маргрет.

— Вот все, что передал мне старик Эберхардт. Из письма Роберта ко мне видно, что он волнуется за свои черновики. Он явно надеется, что черновики эти остались у вас. Впечатление такое, будто после выхода из Дахау он пытал-

ся внести в отдельные главы своей книги «Царь Питекантроп Последний» кое-какие изменения и коррективы. Посмотрите, вряд ли что-нибудь из этого удастся использовать. Разрозненные отрывки, пометки, начальные фразы... У вас ничего не осталось? Никаких набросков?

— Нет. Они забрали все. Даже его старые письма ко мне.

— А вы не смогли бы восстановить по памяти хотя бы план этой вещи, дать краткое изложение использованного в ней материала?

— Боюсь, что не сумею. О содержании документов, которые имел в своем распоряжении Роберт, я уже извещала здешних товарищей. Но те отнеслись довольно недоверчиво. Они сказали мне, что нельзя выступать с такого рода сенсационными разоблачениями, не имея на руках никаких вещественных доказательств. Кое-какие материалы относительно поджога рейхстага уже частично опубликованы по другим источникам. А воссоздать самый дух книги, комплекс ее идей, дать представление о неопровержимой убедительности ее аргументации — этого я, конечно, сделать не смогу.

Эрнст массирует пальцами подбородок. Это у него признак озабоченности и раздумья.

— Что же, раз сделать ничего нельзя, надо спасать хотя бы то, что можно. Надо спасти старика Эберхардта. Если его не вывезти из Германии, он там окончательно спятит с ума. Все письмо Роберта ко мне переполнено заклинаниями помочь старику. По словам Роберта, у отца имеются чрезвычайно ценные научные работы, которые он не в состоянии ни закончить, ни опубликовать. Травят его на каждом шагу. Повышибали отовсюду как марксиста... Как вам это нравится? Эберхардт старший — марксист!.. Словом, если не помочь ему выбраться за границу, песенка его спета. Да, впрочем, вот вам письмо, прочтите сами.

— Чем же я могу помочь? — говорит с горечью Маргрет после паузы, возвращая Эрнсту письмо. — Я абсолютно бессильна. Попытаться поднять кампанию через нашу антифашистскую лигу? Но тогда гестапо будет это связывать с делом Роберта и не выпустит старика наверное.

— Нет, это надо сделать без большого шума. Иначе они там старика затюкают. Много ему не надо. Я видел его после смерти Роберта — это уже почти развалина... Надо вам попробовать написать Эйнштейну. Эйнштейн старика знает и, говорят, очень высоко ценит. Он сможет пустить в ход солидные иностранные научные организации. Скажем, вызвать старика на какой-нибудь международный конгресс.

Поднажать, чтобы ему выдали паспорт. Старик особой опасности для «наци» не представляет. Во избежание международных протестов могут его и выпустить.

— Не думаю. Будут опасаться, как бы он не раструбил за границей про то, что сделали с его сыном.

— У вас есть другой путь?

— Нет.

— Значит, надо испробовать этот.

— Хорошо, я напишу. А вы не думаете, что печальная слава Роберта в наших антифашистских кругах может повредить и отцу? Левые ученые, не знающие старика лично, услыхав фамилию Эберхардт, вряд ли проявят в этом деле особое рвение.

— Роберта в ближайшее время мы реабилитируем... насколько это будет возможно.

— Хорошо, я напишу сегодня же.

— Написать мало, Эйнштейн может вам не ответить. Попробуйте атаковать его сразу с нескольких сторон. Лучше всего через кого-либо из видных французских ученых: Ланжевен, Минэр, разве я знаю? Обратитесь к Ромену Роллану, попросите его написать. Если изложите подробно все дело, он не откажет. Попытайтесь использовать все возможные пути.

— Можете быть покойны, я сделаю больше, чем будет в моих силах.

— Вот приблизительно все,— говорит Эрнст, поднимаясь.

— Эрнст!

— Да?

— Вы едете обратно в Германию?

— Как придется.

Маргрет густо краснеет.

— Вы тоже мне не доверяете?

— Почему не доверяю?

— Разве мне нельзя сказать прямо: да, я еду в Германию.

— Я еду туда, дорогая Маргрет, куда меня посылают. Скажут: в Германию — поеду в Германию, скажут: в Китай — значит, в Китай.

— Зачем такие уклончивые ответы? Я знаю, вы едете в Германию. Возьмите меня с собой, Эрнст.

— Это еще зачем?

— Я хочу работать в подполье. О, я мечтаю об этом давно! Помогите мне, Эрнст. Помните, Роберт тогда, перед отъездом в Швейцарию, просил вас со мной дружить? Будьте моим другом, хоть немножечко! Возьмите меня в

Германию! Если вы не хотите сделать это для меня, сделайте для Роберта! Я пробовала проситься здесь, но я поняла, что это бесцельно. Мне не верят. Вы один знаете меня лучше всех и не имеете ни основания, ни права меня подозревать. Вы один можете мне в этом помочь... Возьмите меня в Германию!

Эрнст пожимает плечами.

— Как вы себе это представляете? Как я могу взять вас в Германию? Что у меня, фабрика паспортов?

— Я знаю, это трудно: я беспартийная. Но ведь если вы дадите мне рекомендацию, меня примут в партию там, на месте.— Она смотрит на него с мольбой.

— И что вы собираетесь там делать?— спрашивает он с улыбкой.

— Все, что мне скажут! Хоть воззвания клеить по заборам! Не улыбайтесь, я буду с готовностью делать самую черную работу. Разве там мало работы?

— Детские разговоры, дорогая Маргрет. Поглядите на себя. Ну, какая из вас подпольщица? Что вы можете делать в Германии на нелегальном положении? Ничего не можете делать. На фабрике работать не можете — слепой увидит, что вы никакая не работница. Опыта не то что подпольной, а вообще партийной, массовой работы у вас нет никакого. Воззваний мы в последнее время расклеиваем возможно меньше, так что маляров нам не надо. Ну, какая от вас польза?

— Неужели уж от меня нигде никакой пользы?— В глазах ее блестят слезы.

— Нет, почему же! Я только говорю, что на нелегальном положении вы никакой пользы принести нам не можете.

— А где я могу ее принести?

— Хотите послушаться моего совета?

— Конечно, хочу.

— Поезжайте в Германию легально.

— То есть как это?

— Очень просто. Помиритесь с отцом.

— Что-о-о?! И это вы мне говорите?!

— Ну вот! Не надо сразу краснеть и возмущаться. Я вижу, вы готовы меня отколотить. Я же не советую вам помириться с отцом всерьез. Я говорю: сделайте это для вида. Это для вас самый простой способ легализировать себя в Германии. А вот на легальном положении вы могли бы нам быть очень и очень полезны.

— Нет, это невозможно! Вы хотите, чтобы от меня отвернулись даже те немногие люди, которые мне хоть сколько-нибудь верят!

— Если вы свою революционную работу ставите в зависимость от того, что кто-то от вас отвернется или повернется...

— После всего того, что было, если бы я даже помирилась с отцом, они будут наблюдать за каждым моим шагом и не поверят ни одному моему слову. Я буду жить, как в тюрьме, под постоянным надзором. Никакой пользы в таких условиях я принести вам не смогу. Если бы я никогда не убегала с Робертом и не работала полтора года в эмиграции, в антифашистском движении, тогда бы я могла рассчитывать, что обману их и вотрусь к ним в доверие.

— Тогда это было бы совсем легко. Теперь это значительно труднее, только и всего. Но ведь вы сами говорите, что готовы взяться за любую работу, не только за ту, что полегче.

— Вы требуете от меня жертвы совершенно бесцельной.

— Прежде всего я ничего от вас не требую. Это вы требуете от меня совета, и я вам его даю. Если вы хотите действительно работать для революционного движения, то слово «жертва» придется вам выкинуть из лексикона.

Она отворачивается к окну. Водит в молчании пальцем по стеклу. Брови ее сдвинуты. Эрнст не спеша набивает трубку. Пусть девушка подумает. Это всегда полезно.

— Допустим, я пошла бы на это... на примирение с семьей...—Последние слова она выговаривает с заметным трудом.—Как вы себе представляете мою работу?

— Как я себе представляю? Примерно так: вы приезжаете домой как блудная овца. Вы соскучились по семье, по Берлину, по Германии. Эмиграция вас разочаровала. К тому же у вас никогда не было особо сильных революционных убеждений. Вы просто любили Роберта и поэтому пошли за ним...

— Это что, ваше мнение обо мне или моя предполагаемая роль?

— Ну, что вы! Если бы я был о вас такого дурного мнения, разве я стал бы с вами говорить о серьезной работе?.. Итак, с момента бегства Роберта ваша связь с революционным движением фактически оборвалась. Дело с Робертом для вас не совсем ясно. Но факт остается фактом: его печатное заявление уверило вас в том, что и он разочаровался в своих старых убеждениях. Некоторое время вы шли с антифашистами еще по инерции. Остальное довершила эмигра-

ция. В среде эмиграции вы чувствовали себя всегда чужеродным телом. Вот, так сказать, психологические предпосылки вашего решения вернуться в Германию. Все это будет звучать довольно правдоподобно.

— Я в этом не уверена.

— Конечно, вначале к вам будут присматриваться, не без этого. Держите себя по возможности естественно. Не проявляйте телячьего восторга по поводу гитлеровского режима. Такое слишком ретивое обращение могло бы им показаться подозрительным. Не щадите критических замечаний, но, понятно, соблюдайте пропорцию: положительное должно превалировать. Если к тому же вам удалось бы устроиться на работу к отцу, может быть, в его личном секретариате, вы стали бы для нас неоценимым источником информации. И тогда насчет поручений будьте покойны! За поручениями дело не станет... Какие у вас были раньше отношения с отцом? Очень прохладные?

— Средние. После отъезда, конечно, никаких.

— Напишите ему лирическое письмецо. Старые люди по отношению к блудным дочерям бывают сентиментальны.

— О, что касается его, то он пойдет на примирение со мной с величайшей готовностью. Вы понимаете сами, я здорово компрометирую его по службе. Он много бы дал, чтобы ликвидировать этот семейный скандальчик. Не дальше как вчера я получила по пневматической почте записку от его знакомого, находящегося проездом в Париже. Этот господин просит у меня свидания для разговора по поручению моего отца. За последний год это третий по счету парламентер. Вчерашнюю записку я порвала и выкинула, как и предыдущие.

— Жаль, было бы очень кстати. Обошлось бы даже без лирического письмеца.

— Погодите, я ее, кажется, бросила в печку.

Она приседает на пол и, приоткрыв дверцу «саламандры», выгребает из нее кучу рваных бумажек. Голубые клочки «пневматика» просвечивают там вперемешку с клочьями обертки от мыла и скомканными вырезками из газет.

— Это изрядная каналья! — говорит она, собирая клочья голубой записки. — Не отец. Впрочем, отец, конечно, тоже. Но я говорю про этого, про Фришофа. Авантюрист каких мало. Организовывал вместе с Гиммлером охранные отряды. Теперь, кажется, работает в гестапо. Я не преминула вчера же известить о его прибытии наших товарищей. Яс-

но, он приехал сюда не с визитом ко мне. Это так, при случае, маленькое одолжение Бернгарду фон Вальденау. У Фришофа есть тут несомненно свои темные дела. Я дала нашим ребятам его адрес. Они хотят снять этого господина при выходе из гостиницы и поместить его портрет в «Юманите», снабдив краткой политической биографией. Все это под сочным заголовком: «Палачи германского народа безнаказанно бродят среди нас!» Вот собрала, кажется, все кусочки. Погодите, сейчас сложим... Помочь вам, или разберете сами?

— Нет, тут кое-чего не хватает.

— Давайте, я вам сейчас расшифрую: «Многоуважаемая фрейлейн Маргарита! Я беру на себя смелость убедительно просить вас уделить мне, если вы найдете возможным, несколько минут для личного разговора...» Видите, какой галантный подлец! «...Ваш уважаемый отец накануне моего отъезда из Берлина просил передать вам лично несколько слов. Зная ваше доброе сердце...» Вот мерзавец! «...я надеюсь, что вы поможете мне выполнить желание глубоко несчастного старого человека, который не просит вас ни о чем, кроме того, чтобы вы меня выслушали. Разговор наш не будет носить решительно никакого политического характера...» Вот это место лучше всего! «...тем самым, встреча со мной ни в какой мере не задевает ваших личных убеждений...» Как вам это нравится? «...Если все же вы не сочтете возможным принять меня, мы можем встретиться где-нибудь на нейтральной почве, по вашему выбору и усмотрению. О нашей беседе, каков бы ни был ее исход,— могу вас в этом торжественно заверить,— не узнает никогда никто ни из ваших, ни из моих друзей...» Ловко, а? «...Мое уважение к вашему достопочтенному отцу является в этом достаточной гарантией. То, что мне хочется вам сообщить, я уверен, не может не представлять для вас интереса, поскольку касается в равной степени как вашей семьи, так и г-на Р. Э.» Видите, какая каналья? Хочет меня взять на удочку моих отношений с Робертом!.. А дальше тут адрес и всякие выражения глубочайшего почтения.

Эрнст в раздумье попыхивает трубкой.

— Вы хорошо знаете этого господина Фришофа?

— Как вам сказать? Он бывал частым гостем в семье Вальденау. Нечто вроде друга дома. Некоторое время пробовал за мной ухаживать. Вы его не знаете совсем?

— Лично, к счастью, не знаю. Но слыхал о нем немало. Это очень крупная рыба. Вот кто может в три счета выпустить старого Эберхардта!

— Что же, по-вашему, мне надо сделать?

— Надо ему ответить. Условиться с ним где-нибудь в кафе. Встречаться с этими господами с глазу на глаз не стоит. В разговоре выразить свое согласие вернуться в Германию.

— Как мне написать эту записку? Посоветуйте.

— Есть у вас тут под рукой пневматик? И пишущая машинка есть? Великолепно. От руки писать не надо. Садитесь, я вам продиктую. Готово?

— Да.

— «Уважаемый господин Фришоф! Завтра в десять часов утра буду...» Ну, где?

— В кафе де-ля-Пэ.

— «...буду в кафе де-ля-Пэ. Там сможем переговорить». Точка, все. Поставьте число. Подписи не надо... Кстати, насчет Роберта, что бы ни сообщил вам этот господин Фришоф, принимайте все за чистую монету. Если он сообщит вам о смерти Роберта, не показывайте вида, что знаете об этом из другого источника. Если он об этом не заикнется и попытается вас шантажировать — скажем, покажет вам письмо, в котором Роберт вызывает вас в Германию,— дайте ему понять, что между вами и Робертом давно все кончено и перспектива встречи с ним ни в какой мере не влияет на ваше решение. Скорее наоборот, она вам неприятна.

— Я, право, не знаю, сумею ли я настолько владеть собой, чтобы разыграть всю эту комедию. Боюсь, вы переоцениваете мои силы.

— Это зависит только от степени вашей ненависти. Если вы ненавидите их по-настоящему, вы сумеете обмануть их отлично.

Она проводит ладонью по щеке, словно хочет стереть с нее краску возбуждения. Минуту она и Эрнст смотрят друг на друга.

— Эрнст! — говорит она, глядя ему в глаза.— Я сделаю все, что вы велите. Но вот я приеду туда... я смогу с вами встречаться? Получать от вас инструкции? Время от времени?

— Это будет очень трудно, Маргрет.

— Но вы меня свяжете с кем-нибудь из товарищей?

— Пока в этом нет никакой надобности.

— Как «нет надобности»? А когда же будет надобность?

— Когда вы обоснуетесь и начнете хорошо работать.

— Одна? Совсем одна?

— Обосноваться вы должны, конечно, одна. Никто из нас не может вам в этом помочь.

— Вы мне просто не доверяете. Как тогда, когда мы уезжали с Робертом. Вы тогда тоже отказались назвать мне какой-либо адрес.

— Я не имею основания сомневаться в вашей искренности. Но этого мало, Маргрет. Надо еще доказать, что вы умеете работать. Каждый адрес — это человеческая жизнь. Как же вы хотите, чтобы мы жизнь наших товарищей отдавали в неопытные руки?

— Хорошо. Дайте мне какое-нибудь конкретное поручение. Дайте мне возможность завоевать ваше доверие.

— Вот вам первое поручение: отправка за границу старика Эберхардта. Выполните его — тогда посмотрим.

— А если я не смогу этого добиться, вы оставите меня там одну? Ведь я-то вас разыскать не сумею!

— Это нетрудное поручение, Маргрет. Если вы не сумеете выполнить даже его, это будет доказывать, что вы не сумели как следует обосноваться, не сумели использовать все возможности. Значит, с поручениями посложнее вы не справитесь и подавно.

— Вы очень жестоки, Эрнст!

— Я уверен, что вы справитесь.

— А если я справлюсь, тогда вы со мной свяжетесь?

— Тогда — другое дело.

— А если вы уедете? Вас же могут послать в другой город, за границу. Как же тогда? Ведь я сама никогда не смогу нащупать связи с вашими товарищами. Вы это понимаете? Мне ведь никто не поверит!

— Не бойтесь. Одну мы вас не оставим.

— Ну, на всякий случай, Эрнст! Хоть чье-нибудь имя, хоть название пивной! Чтобы я чувствовала, что, если понадобится, на худой конец, я могу к кому-то обратиться.

— Нет, Маргрет, вы требуете от меня невозможного.

Она сжимает виски ладонями.

— Значит, я должна идти туда одна. Совершенно одна. Жить в одной клетке с дикими зверями, которые растерзали Роберта. Ходить, как они, на четырех лапах. Окруженная презрением товарищей. Лишенная доверия и друзей и врагов...

— Я вас не уговариваю, Маргрет. Вы сами хотели работать в подполье. Это трудно. Очень трудно. Вы сначала обдумайте.

Она встряхивает головой.

— Эрнст, у меня к вам одна просьба. Не откажите мне в ней! Я хочу, чтобы вы присутствовали при моем разговоре

с Фришофом. За соседним столиком, уткнувшись в газету. Хорошо?

— А зачем это нужно? Если вы боитесь, что я вам не доверяю,— это глупость.

— Мне будет легче говорить, если я буду знать, что вы меня слышите.

— Надо быть самостоятельной, Маргрет. Я при всех ваших разговорах присутствовать не смогу.

— Вы бы мне потом сделали указания: так ли я говорила? Правильный ли я взяла тон?..

— Вы это почувствуете великолепно сами.

— Вы отказываете мне даже в этом, в таком пустяке?

— Тот, кто хочет выучиться плавать, Маргрет, никогда не должен начинать плавать с пузырями.

Он поднимается с кресла.

— Вы уже уходите?

— Да, мне пора.

— Но вы еще зайдете ко мне? Завтра?

— Вряд ли. Боюсь, что не успею.

— Значит, я с вами больше не увижусь?

— Это будет зависеть от вас. В Париже, надо полагать, я буду не скоро... Всего хорошего! Не торопитесь, подумайте. Если раздумаете, не забудьте написать Эйнштейну насчет старика Эберхардта.

— Вы же знаете, что я поеду!

Он улыбается ей от двери и сгибает в локте правую руку для ротфронтовского привета. Хлопнула дверь. Слышны его шаги по коридору.

— Эрнст!

Шаги остановились. Он возвращается.

— Вы меня звали?

— Да, мне немного страшно. Это ничего. Знаете, до вашего прихода я тут читала одну статейку. Вот эту. Прочтите последнюю фразу.

Он удивленно берет из ее рук газету, пробегает глазами отмеченное место: «...Пройдут годы, она разучится говорить, а если захочет кричать, чтобы услышать свой голос, на нее наденут смирительную рубаху, и крик ее все равно не вырвется из колодца этих глухих тюремных стен...»

Он ищет глазами заголовок: «Виолетт Нозьер в тюрьме Агено».

— Что это такое?

— Ничего. Я просто хотела, чтобы вы на минуту вернулись. Теперь уже можете идти... Помните, когда мы с вами

прощались в тот раз, Роберт настаивал, чтобы мы перешли на «ты». Вы об этом забыли?

— Помню. Давайте... Давай будем говорить друг другу «ты».

— Хорошо, Эрнст. Ну, иди, ты торопишься. Я думаю, тебе не придется за меня краснеть...

3

Когда двумя часами позже она выходит из своей комнаты одетая для улицы и поворачивает ключ в замке, двери англичанина по-прежнему приоткрыты. Неужели у этого дурака нет другого занятия?

Не глядя, она проходит мимо.

«Да здравствует парижанка! Вот лозунг дня и вот политическая программа нового иллюстрированного журнала «Париж». Вы найдете в нем: «Ночь в Сингапуре», «Почти королева», «Девственность 35», «Салон № 4», «Любовь по-американски». Нашумевший отдел: «Любовь через призму книг». Оригинальный конкурс идеально сложенных читательниц. Сто смелых фото! Цена номера 5 франков».

Маргрет переходит улицу. Нагие деревья Люксембургского сада обступают ее, как старые знакомые. Она идет одна серединой пустынной аллеи. «Прости, любезный мой город Париж, расстаться я должен с тобою». Откуда это? Ах да, это Гейне! А как же дальше? «Я покидаю счастливый тебя, с веселою душою...» Нет, этого она не могла бы сказать про себя! Наоборот, на душе у нее совсем не весело. На язык просятся скорее слова печали и траура: «Болеет немецкое сердце мое, его одолела истома...» А впрочем, не будем сентиментальны.

Под голой каменной нимфой, прильнув друг к другу, стоят мужчина и девушка. Маргрет ускоряет шаг. Со стороны бульвара Сен-Мишель до нее долетают звуки гармоники и чей-то картавый назидательный голос, разучивающий популярную песенку. У решетки сада вокруг гармониста и певца столпилась группа людей с нотами в руках и послушно, хором, репетирует припев: «Потому что любовь, любовь — это вроде как боль зубов. Она не шутит, придет и скрутит, согнет, как прутик — и ты готов!»

Маргрет машинально поворачивает к сенату. Проходя мимо бассейна, она слышит вдруг за своей спиной умоляющий мужской голос, беспомощно коверкающий французские слова:

— Мадемуазель, вы так спешите... Я не могу за вас успеть.

Она оборачивается. Это англичанин из гостиницы.

— Что вам надо? — спрашивает она гневно.

— Смотреть на вас,— говорит он с видом провинившегося школьника.— И чтобы вы на меня не сердились...

Его неподдельное смущение настолько забавно, что она не может не улыбнуться. Видно, он сам совершенно подавлен своей смелостью.

— Слушайте, мистер, как вас там звать? — говорит она уже ласковее, по-английски.

— Калми.

— Слушайте, мистер Калми. Разрешите дать вам совет. Я говорю с вами потому, что, мне кажется, вы не пошляк. Но вы обращаетесь не по адресу. Из вашего знакомства со мной ничего не выйдет. Если вы будете приставать ко мне, вы ничего не добьетесь, кроме неприятностей.

— У вас есть друг?..

— Если вам так понятнее,— да, у меня есть друг. И знакомиться мне с вами неинтересно. Ничего в этом обидного нет. Не теряйте зря времени и найдите себе поскорее девушку по вкусу. В Париже большой выбор. Горевать вам долго не придется — я все равно на днях уезжаю. Не отравляйте мне последних дней. Хорошо? А сейчас, пожалуйста, оставьте меня в покое. Мне хочется побыть одной. Вы, кажется, достаточно воспитанны, чтобы не навязывать своего общества женщине, когда она этого не желает. До свидания, мистер Калми.

На этот раз он действительно отстал. «Смешной малый! Столько дней не мог решиться, наконец собрался с духом, и вдруг такой конфуз. Очень сожалею, но помочь ничем не могу».

Один бок улицы дю Бак образует решетка Люксембургского сада. Через решетку, как сквозь обнаженные ребра улицы, долетает хриплое дыхание автомобилей.

«...Потому что любовь, любовь — это вроде как боль зубов...»

Узкая извилистая улочка выводит Маргрет на бульвар Сен-Жермен. При виде почтового отделения Маргрет вспоминает, что у нее в сумке лежит голубой пневматик, адресованный господину Фришофу. Если она пройдет сейчас мимо, не достанет из сумки и не опустит в щель голубое письмо, в ее жизни ничего не изменится. Она по-прежнему останется жить в «любезном городе Париже», и никто никогда не узнает, что она собиралась его покинуть. Стоит только

продолжить путь и перестать об этом думать. Она еще свободна. Ничего пока не случилось...

Она видит перед собой грустные, чуточку насмешливые глаза Эрнста, затейливую, расплывчатую струйку табачного дыма.

«Но ведь не обязательно же сделать это вот сию минуту! Можно и завтра. Разве это убежит?»

Она машинально раскрывает сумку, достает оттуда голубое письмо и, не думая, бросает его в щель пневматической трубы. Ощущение такое, будто это она сама бросилась сейчас головой вниз в безвоздушную, бездонную яму. На секунду Маргрет закрывает глаза и прислоняется к стене, чтобы не упасть. У нее кружится голова.

— Мадемуазель, вам нездоровится? Разрешите предложить такси?

Смуглый элегантный молодой человек — египтянин или аргентинец,— приподняв серую фетровую шляпу, смотрит на Маргрет с неподдельным участием.

— Нет, спасибо. Я совсем здорова.

Она стремительно поворачивает за угол и, ускоряя шаг, спускается к Понт-Неф. Крохотный буксирчик тащит по Сене выводок груженых барж. Каменный мост пролетает над ним, как парабола снаряда, выпущенного с левого берега в Тюльери.

Перейдя мост, Маргрет останавливается на минуту, чтобы пропустить паводок автомобилей. Ждать приходится слишком долго. Она сворачивает вправо, на площадь Карусель. Серая подкова Лувра закрывает горизонт с востока — величавый каменный тупик. Маргрет поворачивает назад, в широкую просеку Тюльери. Арка на площади Карусель кажется уменьшенной проекцией Триумфальной арки, возвышающейся там, на другом краю горизонта.

Маргрет идет аллеей Тюльерийского парка. Мимо увядших клумб, мимо скамеек, заселенных няньками и детворой, мимо влюбленных пар, которым пяток обнаженных деревьев кажется непроницаемой чащей.

«Прощай, о легкий французский народ, мои веселые братья. Влечет меня вдаль дурацкая боль, но скоро вернусь опять я...» Нет, оттуда, куда она едет, не возвращаются!

Площадь Согласия разверзается у ее ног, как озеро, покрытое коркой асфальта. В глазах мелькают лоснящиеся тюленьи спины автомобилей. Побыть одной! Полчаса побыть одной! Она спускается в гостеприимно распахнутую пасть станции метро, поглощенная мечтой о тихих, безлюдных уличках Верхнего Монмартра.

На станции Коленкур переполненный лифт поднимает ее со дна глубокого каменного колодца на обочину Монмартрского холма. Пустынной улочкой, круто карабкающейся вверх, она почти вбегает на вершину и останавливается, задыхаясь, у подножия костела Сакре-Кер.

Ей давно ненавистен этот белый бутафорский костел, предательски надетый на макушку Парижа, как дурацкий колпак на голову еретика, приговоренного к сожжению. Она видит в нем всегда символ опасности, угрожающей этому свободолюбивому городу со стороны темных торжествующих сил средневековья. Но сейчас ей не хочется об этом думать. Повернувшись к костелу спиной, она останавливается у самого края обрыва, откуда Ниагарой ступенек низвергаются вниз, на лежащий у подножия город, белые водопады лестниц.

Облокотившись на перила, она наклоняется над распростертой у ног рельефной картой Парижа. Ей кажется, она впервые понимает, почему так крепко полюбила именно этот город — своевольную мозаику десятка не похожих друг на друга городов, связанных воедино подземными коридорами метро.

Вот он, затерянный где-то посредине, город Больших бульваров, всегда напоминающий ей Вену. Вот раскинулся вокруг площади Биржи шумливый Торговый город — слепок Гамбурга и лондонского Сити. Вот дальше, к востоку, мрачный Менильмонтан со своим лабиринтом косо вздыбленных улочек — портовый город, оторванный от моря и задыхающийся в каменной давке домов. Вот разделенные друг от друга десятками километров разноликих улиц и площадей два города, летом одинаково утопающих в зелени: город Мертвых — Пер-Лашез, на востоке, и город Богатых — Насси, на западе, где особняки разбросаны среди деревьев, как комфортабельные родовые гробницы. Вот Гар-де-л'Эст — город дремлющих каналов и всегда неподвижных барж. Вот под ногами тихий провинциальный Верхний Монмартр. И еще и еще — всех не перечесть — от запущенного пустыря холма Шомон до старательно разграфленного и выстриженного Марсова поля, откуда вытягивает в небо свою непомерно длинную шею криволапая Эйфелева башня — помесь таксы с жирафом.

Маргрет долго стоит, перегнувшись через балюстраду, водя глазами, как пальцем, по выпуклой карте Парижа. Гулкий медный звук заставляет ее вздрогнуть. Это колокол Сакре-Кер.

С каких пор она здесь стоит? Видимо, времени осталось в обрез. А ей хочется побывать всюду. Пройтись по бульвару Орнано. Постоять на углу площади Итали. Заглянуть на улицу Веселья. Забежать в парк Монсури.

Она торопливо спускается вниз по уступам белой широкой лестницы. Под ее ногами мелькают ступеньки. Сколько их?

Острое ощущение неповторимости всего, что она сейчас видит, становится почти болезненным. Так, вероятно, спускаются в последний раз по лестнице жильцы дома, предназначенного на снос, пытаясь унести на подошвах неповторимое прикосновение каждой знакомой стертой ступеньки. Или люди, покидающие дом, чтобы отправиться в клинику на тяжелую операцию, исход которой никогда не известен.

Она бежит вниз, но ступенькам не видно конца, и ей кажется, будто она висит по-прежнему где-то на полпути, между вершиной и подножием. На Сакре-Кер, размеренно отсчитывая такт, гудит одинокий колокол: через каждые четыре ступеньки — один удар колокола. «Прости, о легкий французский народ, мои веселые братья. Влечет меня вдаль дурацкая боль, не скоро вернусь опять я...»

4

Вечером поезд метро высаживает ее на станции Монпарнас. Маргрет поднимается на тротуар через просторный люк, выходящий на террасу кафе «Ротонда». Люди появляются из люка и исчезают в нем, как театральные привидения. Уже горят вечерние огни. На тротуаре, под брезентовым тентом, вокруг ажурных железных печурок, начиненных по горло пылающими угольками, зябко толпятся одноногие столики и четвероногие летние кресла. Обычай отапливать улицу при помощи двух железных печек звучит, как добродушная насмешка над зимой.

Мимо магазина Феликса Потена, щедро раскинувшего на каменном прилавке тротуара свои гастрономические чудеса, мимо кофеен и ресторанчиков Маргрет шагает по направлению аллеи Обсерватории. В зале «Бюлье» сегодня вечером должен состояться грандиозный митинг в ознаменование двух годовщин: всеобщей забастовки 12 февраля 1934 года и Венского восстания.

За стеклами освещенных витрин мимо Маргрет плывут целые кладбища мольбертов, леса кистей, белые квадраты

не запятнанных краской холстов — окна в мир, еще закрытые ставнями.

На углу бульвара Пор-Руаяль и аллеи Обсерватории густая толпа медленно просачивается в зал «Бюлье», сжимаемая синими шпалерами полицейских. Несмотря на такое скопище народа, все происходит удивительно тихо и чинно. Недаром утренняя «Юманите» предупреждала участников сегодняшних митингов держать себя дисциплинированно и не поддаваться на полицейские провокации. По аллее и бульвару взад и вперед стайками снуют жандармы на своих неизменных велосипедах. Где-то неподалеку слышен цокот лошадиных копыт. Вероятно, в соседних уличках, не на виду, на всякий случай припрятаны наряды национальной гвардии.

Через битком набитый зал, способный вместить тысяч пять людей, Маргрет протискивается к стене, где осталось еще несколько свободных стульев. Судя по количеству народа, ожидающего на улице, добрая половина не сможет попасть на митинг и скоро запрудит аллею. Столкновения с полицией, как всегда в таких случаях, почти неизбежны.

Митинг открывает Франшон. Он предлагает собравшимся почтить вставанием память борцов антифашистского фронта, павших в славный день 9 февраля и в последующих стычках.

Весь зал с грохотом поднимается на ноги.

Франшон зачитывает список:

— «Венсан Перез, 31 год, металлист; Луи Лошен, 20 лет, член Генеральной конфедерации труда; Морис Бюро, 27 лет, Эрнст Шарбах, 30 лет,— убиты 9 февраля в Париже; Альбер Пердро, 35 лет, бетонщик,— убит «патриотической молодежью» в Шавиль; Марк Тайе, 38 лет, металлист,— убит 12 февраля на баррикадах в Булонь-сюр-Сен; Венсан Морис, 35 лет,— убит в Малакоф; Эжен Буден, 37 лет, плотник; Вотеро, 22 года, письмоносец,— убит 12 февраля в Марселе...

Зал стоит неподвижно, затаив дыхание. С каждой новой фамилией пальцы рук крепче сжимаются в кулаки.

— ...Серано — убит 12 февраля в Алжире; Люсьен Риве, шофер такси,— убит 20 февраля штрейкбрехером; Анри Виллемен, 19 лет, бетонщик,— убит 26 февраля в Менильмонтан; Морис Ив, 30 лет,— убит 3 марта в тюрьме Сантэ; Жозеф Фронтен, 57 лет, горняк,— убит 11 апреля королевскими молодчиками в Энен-Льетар; Роже Скотиратти, 16 лет...

Глухой рокот в зале.

— ...убит 9 мая полицейским комиссаром Пошоном в Ливри-Гарган; Жан Лами, 20 лет, лудильщик,— убит «патриотической молодежью» в Монтаржи...

Кажется, не будет конца этому траурному списку. Лица стоящих навытяжку людей неподвижны и суровы. Резко очерченные подбородки. Сощуренные ненавистью глаза. Где-то в конце зала раздался и стих пронзительный женский плач. Вероятно, жена кого-нибудь из убитых. Ни одна голова не повернулась в ее сторону.

— ...Руссель, 40 лет,— убит прикладом «гард мобиль» в Тулузе; Жюсток, 36 лет,— убит прикладом в Лионе; Габриэль Бесс, 35 лет,— убит в Лионе штрейкбрехерами и полицией...»

— Вста-авай...— раздается вдруг у стены чей-то звонкий, певучий голос. Тишина давит на барабанные перепонки.

— Проклятьем заклейменный...— не то вскрикивают, не то запевают несколько разрозненных голосов.

И вдруг весь зал разражается «Интернационалом». Ливень голосов. Сухие полураскрытые губы с облегчением ловят слова, крупные и тяжелые, как капли. Зал гудит. Сотрясаемые раскатами песни, звенят стекла. Каждому кажется, что это звенит у него в ушах.

Когда наконец наступает молчание, слово берет Франшон.

Он говорит об исторической схватке 9 февраля, когда парижский пролетариат в течение пяти часов оставался хозяином улицы. О мужественном ответе парижского народа, вздыбившего в этот день на пути наступающего фашизма непреодолимую преграду из баррикад. О единении всех прогрессивных сил страны против меченосцев реакции, вдохновляемых безнаказанными бесчинствами своих германских братьев в фашизме. О героических попытках венских шуцбундовцев загородить своими трупами дорогу фашизму в Австрии. О зверских расправах во всех тех странах, где пролетариат в союзе с мелкобуржуазными слоями города и деревни не сумел вовремя отразить нашествие врага. О драконовском приговоре венгерского фашистского правосудия Матиасу Ракоши. Он говорит о едином, Народном фронте всех трудящихся и мыслящих французов, о который, как о бетонную плотину, разобьются неистовые волны реакции.

Его провожают оглушительным взрывом рукоплесканий. Наконец водворяется тишина. Но вот с улицы в зал входят Торез и Леон Блюм, и аплодисменты вспыхивают вновь.

Социалистический депутат Лонге сообщает с трибуны о том, что комиссия иностранных дел Палаты депутатов послала венгерскому правительству протест против приговора Ракоши.

Бородатый человек в очках — представитель Лиги защиты прав человека и гражданина — пространно говорит о культуре, об угрожающем ей новом Средневековье и о простом человеке с молотом, призванном стать отныне на страже тысячелетних завоеваний человеческого ума.

Слово предоставляется Леону Блюму. Он поднимается на трибуну, поправляет пенсне, близорукими глазами обводит зал.

— Граждане!..

— Товарищи! — хором поправляют его из зала.

— Граждане!..

— Товарищи!..— гремит, как непослушное эхо, зал.— Говори: товарищи!

Шум нарастает, заглушая слова оратора.

Блюм пробует переждать. Затем оборачивается к Торезу и жестом просит его успокоить собрание. Торез поднимает руку. В зале залегает тишина.

Блюм произносит блестяще построенную защитительную речь в пользу слова «гражданин», рожденного Великой французской революцией и получившего вторичное право гражданства из рук Парижской коммуны. Закругленные риторические периоды, преисполненные изящества и благородного пафоса, плавно падают в зал. Маргрет забывает на минуту, что она на митинге в здании, оцепленном полицией. Трибуна превратилась в кафедру Сорбонны, с которой тонкий лингвист очаровывает слушателей экскурсами в прошлое, полными остроумия и эрудиции.

В нескольких рядах раздаются аплодисменты.

Новый ораторский оборот — и речь в защиту слова «гражданин» превращается в защитительную речь в пользу идеи Народного фронта. Теперь уже аплодирует почти половина зала. Блюм говорит о необходимости единения всех рабочих, без различия партий, во имя защиты свободы и демократии.

Ему кричат из зала: «Почему реформисткие профсоюзы саботируют соглашение с унитариями?»

Он нервно поправляет пенсне. Чувствуется, он привык, чтобы его слушали, не перебивая, и эти реплики аудитории, дезорганизующие правильно построенную речь, мешают ему развернуть начатую мысль по всем правилам риторического искусства. Однако он отвечает: к сожалению, он не

в курсе всего хода переговоров между СЖТ и СЖТЮ[1]. Но он полагает, если партия социалистов и коммунистов сумели перед лицом врага найти общий язык и создать орган, взаимно увязывающий их действия, осуществление профсоюзного единства тем более желательно и необходимо. Он лично не только уверен в благополучном исходе переговоров, но и всей душой жаждет их скорейшего успешного завершения.

Его провожают дружные аплодисменты всего зала.

Встает Франшон и сообщает, что слово имеет представитель Германской коммунистической партии, только что прибывший из фашистской Германии.

Как будто по залу прошел электрический ток. Все лица поворачиваются к президиуму. Где? Который?

И вдруг на трибуне, неизвестно откуда, вырастает человек. Черные непроницаемые очки, просторный гасконский берет, скрывающий волосы. В сочетании с черными очками и синим беретом лицо кажется бледным и изнуренным. Товарищ из Германии! Хотя до границы всего несколько часов езды, это звучит почти как призрак с того света!

Весь зал встает в одном стихийном порыве. Грохот аплодисментов, внезапный, как обвал. Воздух звенит «Интернационалом».

Маргрет не может петь. Горло ее душит спазма. Тело дрожит как в лихорадке. Хочется прислониться лбом к стене и заплакать. Она стоит, выпрямившись, и беззвучными губами повторяет слова песни.

Новый электрический разряд аплодисментов.

Тем временем вокруг трибуны уже незаметно очутились несколько дюжих парней в беретах, с красными звездочками в петлице. Это импровизированная охрана для немецкого товарища на случай вторжения полиции. Маргрет улыбается сквозь слезы. О, эти не подпустят к нему никого на расстояние трех шагов!

Немецкий товарищ начинает говорить. Он говорит по-французски, с легким акцентом, мягко закругляя слова.

Он говорит о стране, превращенной в застенок, о диких, кровавых расправах, которыми гитлеровская клика пытается сломить сопротивление лучших людей Германии. О словах, которые пахнут человечиной: Дахау, Ораниенбаум... И все понимают: траурный список жертв фашизма здесь, на французской земле, оглашенный сегодня Франшо-

[1] Реформистское и левое объединения профсоюзов.

ном,— это лишь одна страница, вырванная из тома страшного обвинительного заключения.

Он говорит о нищете германского народа, вызванной гонкой вооружений, о разнузданной пропаганде новой, скорейшей войны, о десятках тысяч баллонов удушливых газов, производимых каждые сутки красильной, фармацевтической и парфюмерной промышленностью современной Германии. В зале напряженная тишина. Приглушенно ворчат вентиляторы. И всем кажется вдруг, что это пролетают уже над сонным Парижем эскадрильи германских бомбардировщиков.

Он говорит о торжестве глупости и тупоумия, о плановом истреблении всех, кто способен мыслить и творить, о детях, черепа которых с колыбели сдавлены стальным шлемом, как некогда ступни китаянок, заключенные в старозаветные колодки. Он говорит о щупальцах фашистской инквизиции, запущенных в окрестные страны, чтобы подкупом, террором и изменой заглушить сопротивление демократических масс и подготовить почву для вооруженного вторжения, о многочисленных агентах Гитлера, шныряющих по Европе. Он зачитывает короткий, неполный список агентов гестапо, орудующих под ложными фамилиями здесь, в Париже, и Маргрет вздрагивает, услышав фамилию англичанина Калми, под которой скрывается германский шпион Ганс Мейер.

Он говорит о бесчинствах коммивояжеров господина Гесса, совершаемых ими безнаказанно на территории демократических стран...

— Я хочу вам рассказать, для примера, историю молодого антифашистского ученого-эмигранта доктора Роберта Эберхардта, похищенного в Швейцарии агентами гестапо и замученного в лагере Дахау...

Старый рабочий Пьер Боринак в восемнадцатом ряду нагибается и поднимает с пола кепку. Что с этой мадмуазель, которая сидит с ним рядом? Ни с того ни с сего она вскочила с места и уронила его кепку. Теперь сидит красная. Теперь опять бледнеет. Засунула пальцы в рот, будто боится закричать. Вот-вот опять вскочит.

— Мадмуазель, сидите спокойно, не мешайте слушать.

Но Маргрет не слышит. Эрнст! Да это же Эрнст! Она сдерживает себя силой, чтобы не закричать. Как она могла не узнать его сразу по голосу? Это потому, что он говорит по-французски. И потом она не слыхала его никогда выступающим на митинге.

Ей кажется, что сквозь черные очки она ясно различает серые, чуть насмешливые глаза и сквозь берет — светлые волосы, зачесанные назад. Знакомое, дорогое лицо!

Он все еще говорит о Роберте. О его книге, никогда не увидевшей свет. О нашествии питекантропов. О заговоре равнодушных.

Маргрет напряженно слушает. Она не замечает, что присутствующие в зале немецкие эмигранты, еще вчера относившиеся к ней со скрытой брезгливостью и нескрываемым недоверием, теперь смотрят в ее сторону с теплой виноватой улыбкой. Она не видит ничего, кроме лица Эрнста, для нее одной четко проступающего сквозь черные очки.

Он говорит о бедственном положении трудового народа в Германии, о положении рабочих, о положении крестьян, мелких служащих, мелких торговцев, интеллигенции. Слова его давят. Невыносимым грузом ложатся на плечи. И когда слушатели, низко понурив головы, кажутся подавленными его страшным повествованием, он бросает им, как спасательный круг, короткое мужественное «но»...

Но рабочий класс Германии не сломить никакими репрессиями! Он борется, он организуется, он становится все сплоченнее, объединяя вокруг себя все здоровые, творческие силы страны.

Но движение за единый фронт — подлинный могильщик фашизма — растет и крепнет во всех уцелевших демократических странах!

Фашистская язва исчезнет с лица земли в тот день, когда будет разбит заговор равнодушных, когда тысячи людей перестанут оказывать поддержку палачам одним фактом своего нейтралитета. Ни одного мыслящего трудового человека вне антифашистского фронта!..

В зале стоит уже не грохот, а неистовый рев аплодисментов. Немецкий товарищ исчез с трибуны так же стремительно, как на ней появился. Парни в беретах исчезли куда-то тоже.

Маргрет хочет броситься вон из зала, нагнать Эрнста у запасного выхода, обменяться с ним хоть парой слов. Но она понимает: сделать этого нельзя.

На трибуну поднимается Торез.

Маргрет пришла на сегодняшний митинг специально, чтобы его послушать, но сейчас она не в состоянии слышать что-либо, кроме гула в висках. Она смотрит на сосредоточенные лица соседей. Для них всех выступавший только что человек — «немецкий товарищ». Она одна здесь знает его подлинное имя. Она выпрямляется, гордая сознани-

ем того, что ей впервые доверена большая партийная тайна. Никто из присутствующих не догадывается, что «немецкий товарищ» сказал ей сегодня утром, у нее на квартире: «Роберта в ближайшее время мы реабилитируем...»

«Немецкий товарищ» выполнил свое обещание. А она? А что, разве она не выполнила своего? Разве она не отправила письма Фришофу? Да, отправила, но с какими колебаниями. Сейчас ей стыдно за весь сегодняшний день, исполненный малодушных метаний и чувства собственной обреченности. Сейчас она ощущает себя здесь уже не эмиганткой, работницей антифашистской лиги, а представительницей партии, от имени которой говорил только что Эрнст.

Да, она счастливее многих сидящих в этом зале. Она едет в логово врага не как заложница, нет,— как боец, выполняющий почетное задание славной Коммунистической партии Германии. Если когда-нибудь ей придется сюда вернуться, ее будут звать уже не мадемуазель Маргарита, ее будут звать «немецкий товарищ».

И когда зал в третий раз разражается «Интернационалом», она поднимается и поет вместе со всеми, но поет уже по-немецки.

5

Утро на улице Бельвиль начинается криком газетчика, ворвавшегося в еще сонные переулки со свежим номером «Юманите», шумом открываемых ажурных ставен, грохотом ручных тележек, которые чинно выстраиваются вдоль тротуара.

На громыхающих тележках въезжают в Бельвиль огороды, опростанные от земли, пахучие гряды сельдерея, петрушки, свеклы, простоволосых, кудрявых и гофрированных салатов. В это время года, правда, они довольно дороги. Но зато приправьте их слегка уксусом и горчицей, поставьте к ним пол-литра красного, и самый худой кусок самого дрянного мяса покажется вам вкуснее отборного жеребячьего бифштекса.

На громыхающих тележках въезжает в Бельвиль скот. Никакого намека на то, что еще вчера все это блеяло, хрюкало, прыгало, размахивало хвостом, называлось «Нанет» или «Коко» и поворачивало голову на звук собственного имени. Теперь это называется: огузок, вырезка, ссибок, край, завиток, голье... Когда человек работает, как вол, ему не до вегетарианства. Ему нужен добрый кусок воловьего мяса.

На громыхающих тележках въезжает в Бельвиль море. Оно не так-то уж далеко, но мало кто из бельвильцев, за исключением разве бывших матросов, видел его иначе, как в кино. Зато каждый день они могут любоваться его изнанкой. Правда, лангусты забредают сюда редко, но всякая рыбешка прет поутру целыми косяками. Это дешевле мяса, и экономный господь бог не зря приказал верующим питаться рыбкой не реже раз в неделю. Жителям Бельвиля, чтобы связать концы с концами, приходится многократно перевыполнять этот божий завет. Если вам надоел мерлан и опротивела камбала, вы можете утешить себя супом из морских моллюсков и закусить его отварными морскими звездами.

Утром, уходя на работу, мужчины вдыхают смешанный запах огородов, бойни и моря. Они торопятся и, самое большее, позволяют себе выпить у прилавка со случайно встретившимся товарищем по четвертинке красного и заглянуть на ходу в свежий номер «Юма́».— Так сокращенно и ласкательно зовут они свою газету.

— Читал, Гаскон? Эти свиньи англичане выслали нашего Кашена.

— Можешь быть покоен, Этьен, Кэ-д'Орсэй не пошлет им по этому поводу ноты протеста.

На улице, в метро, у обитого цинком прилавка кафе только и разговоров, что о профсоюзном единстве. Переговоры явно затягиваются. Будет ли достигнуто наконец полное соглашение между обоими объединениями профсоюзов? Собственно говоря, тут, в Бельвиле, в низах, или, как принято здесь говорить, «в базе», оно достигнуто уже давно, год тому назад, 9 февраля. Но вожаки медлят, и многие конфедераты склонны уже без раздражения выслушивать колкости унитаров на предмет раскольнической работы реформистских бонз. И все же после последней воскресной демонстрации на площади Республики всем ясно: единый фронт пролетариата уже существует. Сколько бы ни затянулись переговоры профсоюзных вождей, расторгнуть стихийно воссоздавшееся единство они не в состоянии. Но тем живее и взволнованнее законное нетерпение бельвильцев.

Последние фразы политических споров замирают в раскрытой глотке метро.

Продавцы, оставляя на минуту свои тележки, заходят промочить горло в ближайшее бистро. Последняя статья Тореза об интересах мелких лавочников разбирается по косточкам с наибольшим азартом именно здесь.

— Верьте моему слову, мосье Альбер! Каждый человек хочет ежедневно кушать свой бифштекс. Если я не зарабо-

таю его сам, никакое правительство – будь оно самое левое из левых – не поднесет мне его на сковороде. С кем я торгую? Кто у меня покупает моих улиток? Может быть, богачи с Елисейских полей? Может быть, я состою компаньоном у Прюнье? Может быть, эти господа приезжают к вам и распивают у вас шампанское? Нет, я стою здесь каждый день перед вашим бистро, и я их что-то у вас не видел. Мы с вами, мосье Альбер, кормим рабочих, и они кормят нас. Тот, кто урезывает заработок наших клиентов, вынимает его из нашего с вами кошелька. Правильно говорю?

Эрнст идет по улице Бельвиль по направлению к бульвару. Мимо открытых настежь зеленных, мимо мясных лавок с золотой лошадиной мордой, гордо вздыбленной над тротуаром, мимо тележек с овощами и морской снедью, окруженных уже в этот час толпой хозяюшек с клеенчатыми сумками. Как отточенные ножи в руках базарного фокусника, мелькают в воздухе серебряные рыбы, падая плашмя на медную чашу весов. Как зеленые волосы русалки, торчат из сумок, среди морских ежей и креветок, длинные космы сельдерея...

На углу бульвара большое скопище людей. Под хриплые вздохи гармоники низкий приятный мужской голос полуговорит, полупоет, подстегиваемый жеманными взвизгами гитары:

«Мосье де-ля-Рок получил урок, бедный, весь истек злостью, когда зол и лют, на парижский люд замахнулся шут тростью. Но на мостовой встретил нас с тобой, а нас много сот тысяч. Мы без лишних слов можем высечь вновь его цепных «крестовиков». Если попробуют начать, споемте хором им опять...»

И вдруг, послушное приглашению певца, все сборище хором подхватывает, скандируя, неожиданный, почти маршевый припев.

Эрнст присматривается с интересом ко всевозрастающей кучке женщин и мужчин, усердно, по нотам, разучивающих песенку. Неподалеку маячит равнодушная спина полицейского в куцей пелеринке – условное геометрическое изображение власти: синий равнобедренный треугольник на тонких ощипанных ножках.

«...Мосье Тетанже позабыл уже...»

Эрнст идет по бульвару, напевая вслух запомнившийся припев: «Фашистам пройти не позволим!..» В Берлине прохожие смотрели бы на него, как на сумасшедшего, не говоря уже о том, что первый попавшийся шупо или «наци», разобрав слова, велел бы ему поднять руки вверх и следо-

вать вовсе не в том направлении, куда ему надо. Здесь никто не обращает на него внимания. Песенка, видимо, достаточно популярна. Встречная девушка дарит его дружеской улыбкой и подхватывает вполголоса: «Смотрите, быть худу! Парижскому люду нельзя наступать на мозоли!..»

Он идет дальше, напевая. Давно он не чувствовал себя так легко и радостно. В этом квартале хочется пожать руку каждому встречному и встречной. Товарищи! И какие товарищи!

Мысль о том, что завтра ему придется распрощаться с Бельвилем и Парижем, может быть, навсегда, уехать обратно в Германию, застает его врасплох. Эрнст старается ее отогнать. Она отступает и возвращается в другом облачении. Теперь ее нельзя уже отогнать, теперь ее имя Маргрет.

Правильно ли он поступил, уговорив Маргрет вернуться в Германию? Зачем он это сделал? Чувство жалости к Маргрет настигает его внезапно, как удар ножом в спину. Какой вздор! Она же сама хотела работать! Он указал ей участок, на котором она сможет быть полезна,— только и всего. Если человек искренне желает работать, почему же его не использовать?

Ему кажется сейчас, что он незаслуженно обидел Маргрет, обошелся с ней чересчур сухо и сурово. Почему он отказался повидаться с ней еще раз? Он великолепно мог выкроить время, у него сегодня вовсе не так уж много дел.

Ему не хочется признаться перед самим собой: он отказался от встречи с Маргрет именно потому, что ему самому хотелось этой встречи. Во время их разговора были минуты, когда — дай он волю этим дурацким нервам — он готов был корчиться от невыразимой жалости к ней, ну, простой человеческой, мягкотелой жалости. Были минуты, когда ему хотелось погладить Маргрет по волосам, стереть пальцами застывшие в уголках ее глаз слезы. Ему вовремя припомнился Джиованни. Хорош приятель, который, приехав к невесте замученного друга, обнаруживает в себе такого рода чувства! Потому-то Эрнст и обошелся с ней, пожалуй, суровее и жестче, чем этого требовали обстоятельства.

Но при чем тут она? Чем же она виновата? Тем, что позвала его обратно, когда он уже уходил, и напомнила про сцену их последнего прощания... Разве она не покраснела, когда спрашивала у него: «Вы об этом забыли?» Впрочем, возможно, она сказала это без всякого умысла. Во всяком случае, эта жалость к ней не стоит выеденного яйца! Что он, по сути дела, знает об этой девице? В Германии он держался по отношению к ней всегда настороже и был тысячу

раз прав. А сейчас? Разве сейчас у него нет больше, чем когда-либо, оснований не доверять ей? Что он о ней знает? То, что она рассказала сама о себе?

Нет, положим, это не совсем так! Прежде, чем ее повидать, он собрал о ней, о ее жизни и работе в эмиграции, довольно всесторонние сведения. Потому-то он и зашел к Маргрет только накануне отъезда. По правде, она не сказала ему ничего такого, чего он не знал бы из других источников.

И все же надо было воспользоваться ее просьбой и согласиться присутствовать при ее разговоре с Фришофом. Из дурацких личных соображений он упустил случай проверить ее лишний раз. Черт их знает, какие у нее с Фришофом были раньше отношения и о чем будут разговаривать эти старые знакомые! Впрочем, не комедия ли все это? Не звала ли она его, Эрнста, в кафе только затем, чтобы показать его Фришофу? Так или иначе он поступил совершенно правильно, уклонившись от этой встречи.

Но тут он вспоминает про германского шпиона Ганса Мейера, проживающего, как он об этом узнал только вчера, в той же гостинице, что и Маргрет. Эрнст останавливается в нерешительности. Не должен ли он предостеречь об этом Маргрет? Конечно, должен! Это его прямая обязанность. Заходить к Маргрет в гостиницу было бы неблагоразумно. Проще всего постараться встретить ее по дороге из кафе де-ля-Пэ. Сейчас половина одиннадцатого. Если поторопиться...

Не раздумывая, он спускается на ближайшую станцию метро.

Выходя на площади Оперы, он не знает еще в точности, как именно ему следует поступить. В кафе он, конечно, не зайдет. Он подождет Маргрет у выхода, пойдет за ней следом и нагонит ее по дороге. Глупее всего, если он опоздает. Уже без четверти одиннадцать!

Расталкивая пассажиров, он взбегает наверх. Табун автомобилей загораживает ему дорогу. Он протискивается между машинами, рискуя каждую минуту быть задавленным, и достигает угла улицы де-ля-Пэ. По всем данным, это где-то здесь. Автомобили расступаются, открывая перед ним дорогу. Поток пешеходов выносит Эрнста прямо к дверям большого фешенебельного кафе и почти сталкивает его с Маргрет, выходящей оттуда в сопровождении высокого, даже долговязого, мужчины, одетого в элегантное зимнее пальто с воротником из кенгуру. Длинная серая машина плавно подкатывает к тротуару.

Эрнсту некуда деться. Стоит ему сделать шаг — и он загородит Маргрет и господину Фришофу дорогу к машине. Сзади на него напирают прохожие. Он делает резкий полуоборот, толкает дверь и входит в кафе. Через стекла турникета он видит, как господин Фришоф подсаживает Маргрет в машину. Маргрет протягивает ему руку. Фришоф сгибается пополам и запечатлевает на ее пальцах почтительный поцелуй. Затем отступает на тротуар и захлопывает за Маргрет дверцу машины. Автомобиль уехал. Господин Фришоф возвращается в кафе.

Эрнст стремительно направляется к свободному столику у витрины, заказывает кофе и «Журналь де Деба».

Господин Фришоф спокойно возвращается к своему столику и подносит к губам чашку. Эрнст созерцает его из-за газеты. Безукоризненно выбритое лицо с прямым, выдающимся, как клюв, носом. Лысеющая голова — редкие, считанные волосы старательно расчесаны на пробор. Пучки морщинок в углах черных внимательных глаз. На вид ему лет сорок, но может быть, и меньше. Большой чувственный рот, спереди два золотых зуба — отличная примета. Вид у господина Фришофа скорее задумчивый и озадаченный. Особого самодовольства незаметно. Должно быть, Маргрет недостаточно умело справилась со своей ролью и навела собеседника на размышления. Так или иначе, поскольку она уехала на его машине, ясно — примирение состоялось. Молодчина Маргрет! Если она и не сумела с места околпачить этого пройдоху, во всяком случае, она сделала в основном то, что от нее требовалось.

Господин Фришоф проводит пальцем по верхней губе. Видимо, здесь еще не так давно красовались усики. Сбрил перед поездкой за границу?

Но тут Эрнст внезапно отводит глаза от господина Фришофа. Все его внимание привлекают двое только что вошедших мужчин, с порога озирающих зал. Вот так забавная встреча! Да это же тот самый советский товарищ, в облачении которого Эрнсту удалось выскользнуть месяц тому назад в Берлине из гостиницы. Проскочить, что называется, меж пальцев гестапо! Если бы даже Эрнст не запомнил так хорошо его лицо, то, во всяком случае, его пальто и шляпа знакомы ему отлично.

Интереснее всего, что и второй мужчина, в великолепном пальто из серого драпа с широкими лацканами, кажется Эрнсту знакомым. Не может быть сомнений, Эрнст видал его не раз в обществе подозрительных фигур, теснейшим образом связанных с полицией. Насколько помнится, это

какой-то ренегат, русский,— кажется, невозвращенец. Но каким образом советский товарищ мог очутиться в его компании? Хотя нет! Видимо, они вошли вместе совершенно случайно. Советский товарищ садится за столик один.

Зато тот, другой, подсаживается прямо к столику Фришофа. Вот как! Это пахнет каким-то конспиративным свиданием! Эрнст напрягает слух, но эти господа говорят слишком тихо, до него долетают лишь невразумительные обрывки фраз.

Фришоф зовет гарсона. Расплачивается. О-о! Советский товарищ расплачивается тоже. А ведь он только что пришел!

Фришоф с собеседником выходят. Несколько секунд спустя поднимается и выходит советский товарищ. Что такое?

Эрнст выходит следом за ними. Серая машина, отвезшая Маргрет, снова подкатывает к тротуару. Господин Фришоф говорит что-то шоферу. Машина уезжает. Фришоф в сопровождении русского медленно направляется к стоянке такси. Советский товарищ следует за ними на расстоянии нескольких шагов. Фришоф с русским садятся в такси. Ворчит мотор, но машина не трогается, ждут кого-то третьего. Так оно и есть! Советский товарищ подходит к такси и открывает дверцу. В эту минуту он оглядывается и видит Эрнста.

Эрнст прячется за спину объемистой мадам, но уже поздно, тот его узнал! Застыл на секунду с ногой на ступеньке такси. Затем быстро исчез внутри машины, резко захлопнув за собой дверцу. Такси трогается с места. Эрнст явственно видит чье-то лицо, прильнувшее к заднему окошку автомобиля. Потом такси исчезает в широком потоке машин.

Эрнст медленной походкой идет по улице де-ля-Пэ. Он взволнован. Кто это может быть? Шпион с советским паспортом? Приехал из СССР?.. Впрочем, ведь это можно установить. Проверить, кто из советских граждан, проживающих сейчас в Париже, останавливался месяц тому назад в Берлине, в таком-то отеле.

Час спустя на левом берегу Сены Эрнст заходит в небольшое кафе, заказывает стакан какао, просит перо и бумагу. На четвертушке бумаги с фирмой заведения он пишет в углу: «Совершенно секретно!..» — и дальше, посередине листка, мелким ровным почерком: «Секретарю коммунистической ячейки Полномочного представительства СССР в Париже, улица Гренель».

Только к вечеру Эрнсту удается разыскать верного французского товарища, которому он вручает письмо с

просьбой передать по адресу. Письмо чрезвычайно важное и должно попасть прямо в руки того, кому оно адресовано! Товарищ Жан обещает. Завтра же оно будет передано по назначению. На прощание Эрнст и Жан крепко пожимают друг другу руки. Товарищ Жан торопится. Сегодня вечером у него три митинга.

В зале «Матюрен-Моро» митинг уже в разгаре. Товарища Жана пропускают немедленно после очередного оратора. Он произносит пламенную речь о профсоюзном единстве и, провожаемый аплодисментами, мчится в «Гранж-о-Бель». Он проходит в президиум, обдумывая по дороге свое очередное выступление. Надо хоть набросать тезисы. В эти жаркие дни никогда не успеваешь как следует подготовиться!

Он вынимает карандаш, достает из кармана какой-то конверт — каждый день столько писем! — и на обратной стороне набрасывает несколько тезисов. Его вызывают на трибуну. Он говорит с подъемом. Развив очередной тезис, он загибает бумажку. К концу выступления в руке у него свернутая бумажная трубочка. Он рвет ее машинально в клочья и бросает в пепельницу. Провожаемый аплодисментами, он спешит в «Бель вилюаз».

Ночью уборщица вытряхивает пепельницы в мусорные ведра. На рассвете мусор подбирают автомобили муниципального хозяйства.

На следующий день товарищ Жан, вспомнив про обещание, данное товарищу из Германии, долго перетряхивает карманы. Письма в кармане нет. Где же он мог его потерять?

Расстроенный, он пускается на поиски немецкого товарища. Он попросит у него извинения, узнает, какого рода было это злосчастное письмо, и — если это дело поправимое — предпримет все, что будет в его силах.

В соответствующей инстанции он узнает с искренним огорчением, что немецкий товарищ сегодня на рассвете отбыл в Германию...

Конец первой части.

Москва, 1937

На этом рукопись романа обрывается.

АНТИФАШИСТСКАЯ ПРОЗА БРУНО ЯСЕНСКОГО

Творчество Бруно Ясеиского (1901—1941) равно принадлежит польской пролетарской поэзии и русской советской прозе, а жизненный путь и литературиая судьба явились ярким воплощением путей и судеб ровесников XX века, которые, подобио Владимиру Маяковскому в России, восприняли Великий Октябрь «своей» революцией. В их ряду видел себя и сам Бруно Ясеиский, чья ранняя поэма «Песнь о голоде» (1922) была, по авторскому свидетельству, первой в польской литературе «крупной поэмой, воспевающей социальную революцию и зарю, зажегшуюся иа востоке». Но тут же добавлял, имея в виду юношескую дань футуризму, который увлекал стихией бунта против действительиости, что «остатки иепреодоленного мелкобуржуазиого идеализма, как узкие, ие по ноге башмаки, мешали сделать решительный шаг»[1].

Таким необходимым шагом всего год спустя стал «Марш краковских повстанцев», написанный под иепосредственным воздействием рабочего восстания, которое разразилось иа гребне мощиого революционного движения польского пролетариата. По данным тогдашнего «Малого статистического ежегодника», в 1923 году в Польше произошло 1263 забастовки, из них 218 всеобщих, а число бастующих достигло 850 тысяч. «Захват Кракова вооруженными рабочими,— писал Бруно Ясеиский позднее в автобиографии,— разгром иолка улан, вызванных для усмирения восставших, отказ пехотных частей стрелять в рабочих, братание солдат с восставшими и передача им оружия — все эти стремительные происшествия, изобилующие героическими эпизодами уличной борьбы, казались прологом величайших событий. Двадцать четыре часа, прожитых в городе, очищенном от полиции и войск, потрясли до основ мой не перестроенный еще до конца мир» (с. 4). Сказано с расстояния восьми лет, бурных, напряженных лет, истекших после описанных событий. О том же, хотя в нном ключе, в прямом отклике иа них — предисловие и к сборнику «Земля

[1] Ясеиский Б. Избранные произведения в двух томах. Т. 1. М., 1957, с. 4. Последующие цитатные ссылки на автобиографию писателя даны по этому изданию и соответствующие им страницы указаны в тексте послесловия.

влево», выпущенному в 1924 году в соавторстве с Анатолем Стерном. Оно творческая декларация и вместе с тем политический манифест молодых поэтов, только что переживших краковское восстание и под неослабным впечатлением от него увидевших в «человеке массы» скрытого героя народной истории. «Ненавидим буржуа,— восклицали они,— не только того, который заслоняет нам сегодня мир стертым банкнотом своей морды, но буржуа как абстракцию, его видение мира и каждую вещь, ему принадлежащую. Хотим новую Польшу — не новый магазинчик»[1].

Вчитаемся внимательней в те и другие строки, разделенные восьмилетним интервалом: разве не сцеплены они внутренней подтекстовой перекличкой, преемственно соединившей молодой задор и зрелую мудрость? Ничего удивительного: бунтарское неприятие буржуазной действительности было начальным актом сознательного выбора в революционной борьбе с капиталистическим миропорядком. Свой выбор Бруно Ясенский подтвердил вскоре делом: работой литературного редактора издаваемой во Львове полулегальной коммунистической газеты «Трыбуна роботнича», переводами статей В. И. Ленина, стихов Маяковского. Буржуазно-либеральная печать не замедлила объявить его «большевиком польской поэзии».

Он не только слыл, но и был им по духу и пафосу творчества, которое и в Польше, и в последующие годы эмиграции сливалось с профессиональным делом революционера. «Проводником революционных идей и организатором эксплуатируемых польских рабочих масс во Франции» (с. 5) называл Бруно Ясенский созданный им в Париже пролетарский театр. Став членом Французской коммунистической партии, вел по ее заданию массовую агитационную работу среди горняков и шахтеров Па-де-Кале. Большая и разносторонняя практическая деятельность, вспоминал он, «лучше теоретических размышлений научила меня применять литературное творчество к задачам повседневной партийной агитации и пропаганды» (с. 5). Одно из многих свидетельств этому — «Французским пролетариям», стихотворный отклик на парижскую демонстрацию протеста против казни Сакко и Ванцетти.

В 1926 году написана поэма «Слово о Якубе Шеле». Бруно Ясенский считал ее своим любимым произведением, особенно дорогим потому, что оно знаменовало исподволь назревавший «прыжок от формально утонченных, оперирующих отдаленными ассоциациями» прежних стихотворений к новой поэтике, формообразующим началом которой становилась «народная скупая простота» (с. 4). Такой ориентации поиска требовал материал, заданный национальной историей — драматической эпопеей крестьянского восстания 1848 года, мощь и размах которого позволили назвать его — в пьесе, созданной по мотивам поэмы (1928),— «галицийской жакерией». Красноречив факт всенародного признания поэмы на родине писателя — ее подпольное издание в оккупированной гитлеровцами Польше. 1927 год принес первое испытание большой прозой. Как покажет будущее, растущее тяготение к ней не было преходящим увлечением и объяснялось все острее осознаваемой потребностью «принимать активное участие в развертывающихся вокруг классовых боях посредством неотразимого оружия художественного слова» (с. 5). Так появился роман «Я жгу Париж».

[1] Цит. по: Революционная литература Польши 20—30-х годов. Сборник статей. М., 1969, с. 153.

Как и многие стихи Бруно Ясеиского, ромаи тоже отклик иа событие — прямой ответ писателя иа появившийся незадолго перед этим антисоветский пасквиль «Я жгу Москву» Поля Морана, литератора и дипломата, работавшего в СССР в составе французского посольства. Полемический заряд, который высекла эта книга, оказался, видимо, столь силеи, что Бруно Ясеиский иаписал свой роман в рекордно короткие сроки — за три месяца. Последующая же его публикация — по главам, из иомера в иомер — в газете «Юманите» убеждает, что полемика, предпринятая писателем, попала в цель и отвечала иапряжению политических споров, иакалу идеологических столкновений, в которых отношение к Советскому Союзу выступало главиой пограничной межой, резко разделявшей интеллигеицию Запада иа лагери прогресса и реакции. В такой идейной атмосфере, духовиой ситуации роман звучал, помимо всего, и вызовом ура-патриотическим иастроениям буржуазиого обывателя.

Еще бы ие вызов — броская мозаика Парижа, уподобленного «заброшенной могиле Великой французской революции» с трауриой лентой выцветших слов «Свобода — Равеиство — Братство». Причудливый монтаж реальиости и фантасмагории, пестрый калейдоскоп снимков с иатуры и картин, созданных воображением. Не шумное многоголосие оживленных улиц — одинокость и затерянность людей в безмолвиой «толпе статистов, которую иа экран парижских бульваров бросает ежевечерие испорченный проекционный аппарат Европы». Не иарядное разиоцветье световых реклам — оцепеиелые дома с мрачными впадинами ниш-подворотеи, где вповалку спят безработные и бездомные. И «кровью иа асфальте» записан «твердый четырехдневный эпос» борьбы, переданный эиергичной рублеиой фразой в духе газетных шапок-клише. Воистину «феерический фильм», кадры которого восходят и к урбанистическим мотивам «Песни о голоде», и к ритмам «Марша краковских повстанцев», стихотворения «Французским пролетариям». В быстрой смеие планов и ракурсов политический памфлет и социальиая утопия, сливаясь вместе, создают иовый образный сплав, цементируемый иапряжеиным действием, которое изобилует крутыми, резкими поворотами драматического сюжета.

Под стать многоплановости сюжета, разомкнутого во времени (экскурсы памяти в первую мировую войну) и пространстве (картины иациоиальиой революции в Китае), многослойная поэтика повествования, свободно открытая разнородным художественным иачалам, лексическим и стилевым пластам. Не только эмоциоиальио взвихренная экспрессия, хотя оиа более всего иа виду, ио и репортажная скоропись биографической или исторической хроники, четкая графика агитплаката, пропагандистская призывиость прокламации, ораторская патетика массовых митингов и демоистраций. Все это походило бы иа разиобой «лоскутного» стиля, если б ие вызывалось иамеренной ориентацией иа стилевую полифонию повествования, в образиом строе которого равиослагаемыми компоиентами выступают иаплывы исторических ретроспекций и фантастические проекции будущего, героико-романтическая поэтизация революционной борьбы и сатирический гротеск иа антинародные действия моиополистического капитала. Разные, ио одноиаправленные лучи прожектора высветляют политическую структуру мира в социальных и иациоиальных срезах, фокусируют ие саморазвивающийся эпический образ действительиости, а ее скоиструированную модель.

Признавая это, не будем сетовать на недостаточную психологическую оснастку романа. Первые рецензенты, предъявившие Бруно Ясенскому подобные упреки, не учли или намеренно не пожелали учесть его художественное своеобразие как прежде всего романа идей, в сюжетной динамике которого происходит открытое столкновение политических сил, действующих на международной арене, противоборствуют социальные системы и типы общественного сознания. Не развернутый психологический анализ героев, плотно заселивших повествовательное пространство, занимал писателя, а, как мелькнуло однажды в тексте, их социальное «я» — персонифицированная типизация общественных явлений. Сословного эгоизма олигархических верхов, питающего их классовую ненависть к революции и социализму. Буржуазного национализма, на обухоженной почве которого произрастает шовинистическое и расистское человеконенавистничество. Пролетарского интернационализма как идеологии и морали, создающих новые, социалистические, по своей сути духовные, ценности. Отсюда резкие контрасты света и тени — прямых, как правило, аттестаций, однозначных характеристик. Нескрываемая романтизация таких фигур, как капитан красной гвардии Жак Лаваль или главнокомандующий войсками бельвильских коммунаров Лекок. И откровенная пародийность персонажей из враждебного коммуне лагеря.

Едва ли не единственное исключение — китайский революционер П'ан Тцян-куэй, писательское отношение к которому смутно, неясно, не доведено логически до завершающей точки. С одной стороны, сострадание и сопереживание ему, познавшему «всю бездну человеческого горя, поругания, всю бесконечность простой человеческой муки». Уважение к его мужеству, твердости и непреклонности, волевой решимости «упорным кротом подтачивать плотины» существующего мироустройства, изо дня в день приближая грядущий конец угнетению. С другой — что-то смущает, настораживает в нем, мешает безоглядно принять строй мысли и способ действия, ведущим мотивом которых выступает месть, а определяющим пафосом — разрушение. То ли фанатизм как крайнее выражение альтруистического самоотречения, доведенного до предела, то ли жестокость, возводимая в норму революционного правопорядка. А может, отпечаток догматической узости в понимании мировых проблем преимущественно с антиколониальной точки зрения «китайского кули», сектантского неприятия европейской культуры. Как ни наивно защищает ее в споре с П'ан Тцян-куэем профессор Сорбонны, твердокаменная позиция оппонента не без оснований представляется ему ограниченной и негуманной. «Диктатор» — не так уж и шутлива, выходит, эта кличка. И хотя свою диктатуру П'ан Тцян-куэй обращает вроде бы во благо, доверие к ней все-таки подрывается вскользь оброненным указанием на «беспрекословное подчинение» диктатору, «с поразительной систематичностью» карающему «малейшее сопротивление установленной власти». Что́ с того, если к этому вынуждает исключительность сложившихся обстоятельств? Каковы бы ни были обстоятельства, они объясняют неизбежность насилия, но не оправдывают, не узаконивают культ силы.

Таковы «за» и «против» героя. Неуравновешенность их в романе обернулась противоречиями характера, что по неостывшему следу публикации могло показаться и наверняка казалось просчетом. Но просчет ли это, если взглянуть нынешними глазами, умудренными историческим знанием, которым в отличие от нас не располагал писатель? В пору его работы над романом стихия мелкобуржуаз-

ной, с уклоном в национализм, революционности маоистского толка лишь нарождалась, волюнтаристский диктат вместо познания объективных законов борьбы, «казарменный коммунизм» взамен научного социализма как родовые черты позднейшего маоизма еще не выкристаллизовались. Однако, не умея, как мы сегодня, объяснить явление, писатель интуитивно уловил тревожные симптомы его социальных предпосылок и духовных предыстоков в зародышевом состоянии, на самой начальной стадии произрастания. Воздадим же должное прозорливой интуиции. Она доступна не всякой художественной мысли — только той, чье отношение к действительности проникнуто творческим «духом исторического материализма».

Так, в частности, оценивал «Я жгу Париж» Томаш Домбаль, чье имя вынесено посвящением на обложку книги. По-иному, разумеется, встретил «Я жгу Париж» буржуазно-охранительский лагерь. «Поэт-футурист Ясенский не состоялся как прозаик. Ординарная пропаганда всегда становится отрицанием художественного качества»[1],— писалось в польской прессе. Сходные мотивы звучали в правой французской печати, маскировавшей политическое неприятие романа узостью внутриэстетических позиций. Правительство Франции и вовсе не прибегало к уловкам: не выставляя себя в благонравной роли эстетствующего ревнителя «художественного качества», оно откровенно не сочло революционную пропаганду писателя «ординарной», стало быть, безопасной, и заявило об этом без обиняков. Публикация романа в «Юманите» еще продолжалась, когда автору предъявили обвинение в злонамеренном призыве к свержению существующего строя. Затем последовали арест и высылка Бруно Ясенского, его нелегальное возвращение в Париж и новый арест, после которого в пребывании в стране было отказано окончательно: под конвоем полиции писателя выдворили до границы.

Дальнейшая борьба за роман, объективное истолкование его идей и образов, широкий доступ к читателям, велась на страницах издаваемого в СССР польского литературно-художественного журнала «Культура масс», главным редактором которого Бруно Ясенский стал вскоре по приезде в Москву. «Варшавское издательство «Руй»,— писал он в одной из первых опубликованных там статей,— выпустило мою книгу, изданную до этого по-польски в Москве. Издание, искалеченное цензурными сокращениями, сопроводил предисловием фашистский писатель Юлиуш Каден-Бандровский. Его предисловие, за которое я, понятно, не несу никакой ответственности,— явная и ловкая попытка сбить с толку рабочего читателя, дисконтировать мой роман на предмет «моральной санации» путем умолчаний о действительном революционном содержании и ослабления его влияния на массы... Не в силах замолчать книгу, польский фашизм пытается ее обезвредить, под маской псевдореволюционности, окрашенной демагогической фразеологией, расширить влияние своего политического лагеря среди рабочих масс... Такой маневр — только одно из проявлений общей политики фашизма в рабочем движении»[2].

В политической аттестации оппонентов Бруно Ясенский был, как видим, категоричен и резок, что диктовалось крутым классо-

[1] Цит. по: Janina Dziarnowska. Słowo o Brunonie Jasieńskim. Warszawa, «Książka i wiedza», 1978, s. 220. Здесь и далее перевод с польского автора послесловия.

[2] Там же, с. 234.

вым размежеванием литературных сил. Обвиняя польскую реакцию в фашизме, писатель подчеркивал активность собственной антифашистской позиции, выражением которой видел свой роман. Ведь к концу 20-х годов фашизм уже стал фактом мировой истории. Напомним, что ко времени работы Бруно Ясенского над романом фашистская диктатура в Италии отметила свое первое пятилетие и четыре года прошло после «мюнхенского путча» в Германии...

«...История национал-социализма является, в сущности, историей его недооценки»[1],— полагает современный западногерманский историк. Горький вывод справедлив только отчасти: безусловно верен по отношению к политическим деятелям буржуазной Европы и самоочевидно неточен по отношению к литературе. В укор тогдашним политикам прогрессивные писатели-гуманисты разных стран распознали человеконенавистничество фашизма задолго до того, как его «техника обезлюживания» (Гитлер) была приведена в действие, а «ставка на негодяя» (Геринг) и лозунг «Вперед по могилам!» (Геббельс) обрели зловещую реальность в образе штурмовых отрядов и эсэсовских дивизий, гестаповских застенков и концлагерей, крематориев и газовых камер. Знаменательное явление мировой культуры — антифашистская поэзия и проза, драматургия и публицистика — родилось с появлением фашизма. В грозный набат сливались голоса Лиона Фейхтвангера и Томаса Манна, Бертольда Брехта и Иоганнеса Бехера, Анны Зегерс и Вилли Бределя в немецкой, Ромена Роллана и Анри Барбюса, Жана Ришара Блока и Луи Арагона во французской, Карела Чапека в чешской, Константина Федина и Ильи Эренбурга в советской литературах. Своим духовным сопротивлением идеологии и морали фашизма искусство предостерегало демократию от тоталитаризма, цивилизацию от варварства, мир от войны. Время не замедлило придать его бдительным предостережениям силу пророческих предвидений. В таком широком контексте советской и мировой антифашистской литературы надлежит рассматривать и произведения Бруно Ясенского, написанные в СССР на русском языке,— рассказ «Главный виновник», повесть «Нос», роман «Заговор равнодушных».

Заглянем снова в автобиографию писателя, своего рода «визитную карточку», представлявшую его советским читателям: «Живя и работая в СССР, не считаю себя эмигрантом и думаю, что своей повседневной работой если не заработал еще, то заработаю право гражданства в рядах героического пролетариата той страны, которая первая дала миру социалистический строй. В этой великой стройке хочу принимать самое непосредственное участие» (с. 7). В самом деле: вживаться в новую для него действительность Бруно Ясенскому не пришлось. Он врос в нее сразу, на редкость органично и деятельно. И, что особенно важно подчеркнуть,— с большой организационной и творческой самоотдачей делу советско-польских и международный связей, интернационального сплочения передовых, прогрессивных сил мировой литературы. Как секретарь Международного объединения революционных писателей принимал участие в подготовке и работе его Всемирного конгресса, который состоялся в 1930 году в Харькове. Был главным редактором «Культуры масс», затем журнала «Литература мировой революции», преобразованного позднее в издававшийся на четырех языках журнал «Интернациональная литература». В период подготовки Первого съезда

---

[1] Цит. по: Рахшмир П. Ю. Происхождение фашизма. М., 1981, с. 142.

советских писателей вошел в состав возглавленного М. Горьким Организационного комитета, а после съезда — в правление Союза писателей СССР. Активная и разносторонняя общественная деятельность, напряженная изо дня в день журналистская и литературная работа, требовавшая многих и частых поездок по стране, стимулировали новые творческие замыслы. Не все удавалось воплотить, довести до конца, многое оставалось даже не в черновых набросках, а в закромах памяти. Но то, что выходило из-под пера, становилось не одномоментным эпизодом писательской биографии, а событийным явлением истории литературы.

В 1931 году опубликован «Бал манекенов» — пьеса-гротеск на западную социал-демократию, идейной борьбе с которой было отдано немало сил и в Польше, и во Франции. «Революционным фарсом» называл Бруно Ясенский эту пьесу, а написать ее, разъяснял он, побудило «отсутствие в нашем революционном репертуаре веселых спектаклей, которые давали бы пролетарскому зрителю возможность два часа посмеяться над своими врагами здоровым, беззаботным смехом, дающим революционную зарядку» (с. 6). Высоко оценивая пьесу, А. В. Луначарский указал в преднсловии к ней на преемственную связь драматургической поэтики писателя с образной системой романа «Я жгу Париж». И в романе, и в пьесе — безбоязненное использование современных художественных приемов, «смелые конструкции, фантазия, не останавливающаяся перед невероятным, не скрывающая себя сатирическая тенденция, прорывающаяся от времени до времени, словно пламя, пафос негодования». Не «натуралистическая» картина действительности, а «вольная стилизация, гипербола, карикатура, идущая по линии плаката» как выражение «художественно-тенденциозной фантастики»[1].

В поездках 1930—1931 годов по Средней Азии почерпнут материал для романа «Человек меняет кожу» (1932—1933) — большого, многопланового и остро проблемного повествования о социальных и духовных преобразованиях в республиках Советского Востока, превращении выжженной солнцем древней пустыни в плодородную Вахшскую долину, героике трудовых будней стройки, в ходе которой формируется новая, коллективистская мораль, складываются новые национальные отношения. И тема и проблематика ставили его в неразрывный ряд произведений, создававших в 30-е годы художественную летопись социалистического строительства,— «Соть» Л. Леонова и «Гидроцентраль» М. Шагинян, «Время, вперед!» В. Катаева и «Большой конвейер» Я. Ильина, «День второй» и «Не переводя дыхания» И. Эренбурга. Когда в связи с польским переводом книги газета «Вядомосци литерацке» обратилась к Бруно Ясенскому с вопросом о новых творческих планах, он ответил большой статьей «О значении и роли писателя в Советском Союзе». «Человек меняет кожу», писал в ней, за два года разошелся в шести изданиях, общий тираж которых превысил 400 тысяч экземпляров. Однако не только тиражи изданий, мог бы добавить, свидетельствовали о широком общественном признании романа, но и избрание его автора членом Центрального Исполнительного Комитета Таджикистана, затем депутатом Верховного Совета республики.

Собственный творческий опыт польского пролетарского поэта и советского прозаика предопределил идейно-эстетическую позицию Бруно Ясенского, развернуто обоснованную другими статьями

[1] Цит. по: Ясенский Б. Бал манекенов. М.-Л., 1931, с. 3.

и выступлениями. Сквозной их мотив — убежденная защита реализма «не на подножном корму», как искусства развивающихся художественных форм, богатство которых не сводимо к единообразным эталонам манеры и стиля, узким нормативам раз навсегда заданных черт и признаков. В темпераментную полемику с рецептурной критикой, вульгаризаторски, в духе непреодоленного рапповского догматизма встретившей «Дорогу на океан», вылилась статья в «Литературной газете» о Леониде Леонове, чье творчество было дорого Бруно Ясенскому высоким философским потенциалом художественной мысли, побуждающей читателя к ответным раздумьям над жизнью. И в страстный монолог о неисчерпаемом арсенале реалистического искусства, обогащающего себя разнообразными, включая фантастику и гротеск, приемами и средствами письма,— речь на выездном расширенном Пленуме правления Союза писателей СССР, состоявшемся в Минске в начале 1936 года.

Опубликованная «Литуратурной газетой», она вызвала длительную дискуссию о формализме и натурализме в литературе, выплеснувшуюся затем с газетных полос на трибуну творческой конференции московских писателей. Выступая на ней, Бруно Ясенский энергично восстал против «правдоподобия» как некоего универсального, на все случаи годного критерия писательского мастерства. И, в подтверждение своих взглядов на искусство, призванное раскрывать не внешнюю видимость, а внутреннюю суть действительности, едва ли не демонстративно намеревался вынести на титул новой книги: «Необычные рассказы». Книга не сложилась, но весомое начало ей положено журнальными публикациями рассказа «Главный виновник» и повести «Нос», датированными тем же 1936 годом.

И рассказ, и повесть выдержаны в условной манере, которая служит созданию предельно обостренных или нарочито парадоксальных сюжетных ситуаций, уплотненных, сгущенных образных обобщений, концентрирующих социальные и нравственные выводы повествования. В рассказе — предостерегающий вывод об угрозе войны, которую порождает тоталитарное фашизирующееся государство, враждебное собственному народу и обрекающее его на роль пушечного мяса. Война, как «дамоклов» меч, неотвратимо висит над героем рассказа, неотступно преследует его ночными кошмарами и газетными сообщениями «о новых вооружениях европейских держав, отстать от которых не позволяла Польше ее историческая миссия». От некоего «весьма авторитетного военного лица» исходит обескураживающее заявление о том, что «будущая война будет направлена не столько против неприятельских армий, сколько, в первую голову, против гражданского населения неприятельской страны — главного виновника морального сопротивления и экономической мощи противника».

Едкая ирония, вынесенная в заголовок, фантасмагорична так же, как и последующие перипетии действия, в результате которых «главный виновник» становится «главным обвиняемым» на судебном процессе по делу «инспирированной соседней державой (читай: СССР) антивоенной организации». Ход процесса, закулисное политиканство вокруг него, прокурорская казуистика и судейское крючкотворство выписаны ярко и броско, как остроумная пародия на узаконенное беззаконие правосудия. Но драматический финал рассказа не оставляет места ни просто смеху, ни «смеху сквозь слезы». Напуганный войной «маленький человек» приговорен к смерти за панический страх перед нею. Так фарсовая трагикомическая ситуация, созданная в рассказе, воплощает буржуазную действитель-

ность, готовую разразиться новой бойней. Одного разве что не мог предугадать писатель, живописуя стихию шовинистического угара и милитаристской истерии: того именно, что недолог час, как Польша, втягиваемая в орбиту «антикоминтерновского пакта», как раз и станет жертвой гитлеровской агрессии, а «польский сентябрь» 1939 года — трагическим прологом второй мировой войны.

Полвека прошло с того времени, как был написан рассказ. Но сатирическое его острие по-прежнему метко разит истинных главных виновников как минувшей войны, так и той, ядерной или звездной, которая нависает над странами и народами неустраненным призраком общемировой катастрофы. Не те, понятно, масштабы, планы и прогнозы наступления или «обороны», нападения или «защиты», но ястребиная логика военного психоза и шантажа все та же. Вплоть до «люльки-чемодана, снабжаемой кислородом»: воображаемое вчера «газоубежище для младенцев» — такая же нелепость, как сегодняшние подземные бункера, где рассчитывают выжить те, кто обрекает планету на уничтожение.

Если действие рассказа «Главный виновник» разворачивается на «окраине фашизма» — в буржуазной Польше, то повесть «Нос» воссоздает удушающую атмосферу самого третьего рейха, отравленную расистским безумием. Под стать ему сатирические фантасмагории, разыгранные в повести. Не цитатной заставкой предваряет их эпиграф из гоголевского «Носа», но ориентиром поиска, не скрывающего намеренной стилизации под классическую традицию. Однако исходная модель взята образцом не столько сюжета, сколько приема, гиперболизирующего абсурд и без того абсурдной действительности. Во времена Гоголя она требовала оговорок о том, что «подобные происшествия бывают на свете,— редко, но бывают». В условиях фашизма злоключения его теоретика и идеолога, нежданно-негаданно утратившего свой чистопородный, «безукоризненно прямой, чуть утолщенный на конце» арийский нос, не более фантастичны, чем сумасбродные идеи «расовых минус-вариантов», пародирующие нацистскую «теорию познания» и выдержанные в ее ключе.

В неоконченном романе «Заговор равнодушных» (1937) прорастающая из реальности, подсказанная и направленная ею выдумка не менее виртуозна, но функция ее существенно иная. Не сатирическое преображение действительности в условной форме фантасмагорического повествования, а событийное сцепление занимательного, острого, напряженного сюжета, воссоздающего жизнь в строго реалистических формах самой жизни. Что вернуло к ним Бруно Ясенского, побудив предпочесть успешно опробованной памфлетной, фарсовой, гротескной образности аналитическое начало реализма и сдержанную манеру письма, стилевой доминантой которой выступают развернутые социальные обоснования, углубленные психологические мотивировки действия? Такая переориентация поиска обусловлена крупномасштабным и широкоохватным замыслом повествования, двуплановой композицией которого соединены ведущие мотивы писательского творчества — тема социалистического строительства, разработанная в романе «Человек меняет кожу», и антибуржуазная, антивоенная, антифашистская тема романа «Я жгу Париж», рассказа «Главный виновник», повести «Нос».

Выразительная заявка на их сюжетный и образный синтез дана вступительной панорамой предновогодней ночи 1935 года. Разомкнутая вширь, она прочерчивает незримые нити, связующие праздничное застолье молодежи «в городе Н., большом центре большого

края, затерянного среди снежных просторов СССР», со множеством событий, которые происходят на неоглядных просторах Советской страны и далеко за ее пределами. Зачем роману этот монтаж фактов, свод сообщений? «Иной раз увлечешься заводом и забываешь, на какой он планете построен!» — отвечает писатель словами секретаря крайкома Адрианова, побуждающими воспринимать трудовые будни города Н., одной из точек на карте страны и мира, неотрывно от их глобальных проблем. Глобальность мировосприятия сродни обостренному чувству времени, понятому как историческое. Две общественные силы противостоят на его арене, предрешают будущее людей и поколений, стран и народов. Созидающий мир социализма и мир фашистского варварства.

В законченной первой части романа они существуют пока что порознь, не приходя сюжетно во взаимное противодействие. Однако его предвещает мрачная фигура Релиха, человека с темным прошлым и двойным дном в настоящем. Единственный персонаж, выведенный в главах, которые привязаны событийно к городу Н., Берлину и Парижу, он состыковывает их композиционно. Но место его в повествовании не исчерпывается лишь этой служебной ролью. Релих нужен писателю и для объяснения тех драматичных явлений советской действительности, которые, как мы понимаем сегодня, были порождены нарушениями социалистической законности, отступлениями от ленинских норм партийной и государственной жизни.

Объяснения, нет нужды доказывать, облегченные и упрощенные. Но не будем ставить это в вину писателю, здраво и трезво памятуя о том, что он не мог судить обо всем настораживающем и тревожном с позиций последующей критики культа личности и преодоления его последствий. Справедливее поэтому не пенять на наивность объяснений, а признать честный и смелый прорыв к ним, потребовавший гражданского мужества. Настроимся же на его волну, отделяя зерна истины от плевел заблуждения. Зерен в романе куда больше. На плевелы списывается немногое.

Так, вредительская деятельность Релиха как врага народа, завербованного фашистской разведкой,— не более чем рудимент обиходных для того времени представлений, по инерции которых и Грацианский в «Русском лесе» Л. Леонова, написанном через полтора десятка лет после «Заговора равнодушных», оказывался агентом царской охранки. Куда важнее истинные психологические мотивы поведения персонажа, которые преступны по существу, враждебны революции и социализму независимо от акта предательства. В гражданскую войну Релих не был предателем, но мельком оброненная деталь — «Говорили, что я чересчур жесток и слишком много расстреливаю» — более чем прозрачно намекает, во что и чем обходился неуемный бонапартизм зарвавшегося командира. «Восходящий маршал» из него не получился, но разлагающая психология вождизма, усугубленная честолюбивыми амбициями обойденного карьериста, осталась при нем. Не по ней «будничное крохоборство» повседневной работы, хотя бы и руководящей. И как раз для нее атмосфера вседозволенной подозрительности. Отравляя общественный, нравственный, духовный климат народной жизни, она как нельзя лучше потворствует карьеристскому самовозвышению, поставляет благоприятные возможности взять свое у судьбы, которая обошла, недодала, недовозвеличила. С каким иезуитским хитроумием использует их Релих, видно по его монологу, обращенному к Жене Гараниной: «Большевик... и в семейной жизни обязан сохра-

нить известную долю настороженности и критицизма. Это шестое чувство на нашем партийном языке мы называем бдительностью».

На нынешний нелицеприятный взгляд,— неприкрытое кощунство, циничное глумление над гуманистическими устоями советского образа жизни, духовными опорами общества и семьи. Для Бруно Ясенского, смотревшего на события середины 30-х годов глазами современника,— демагогическая изнанка расхожих лозунгов, спекуляция которыми благоприятствует социальной и нравственной мимикрии негодяя и оборачивается против социалистической морали, партийной этики. Не роковой случай, но закономерное последствие их деформации отчаянный выстрел Жени в оклеветанного Юрия Ганина. В гулком эхе этого выстрела разлита тревога, предостерегающая от дефицита веры и доверия, взывающая к защите гражданского достоинства человека, партийной чести коммуниста. Такой подтекстовой смысл прочитывается в выступлении Адрианова на бюро крайкома: «Работник, не умеющий воспитывать свои кадры, не умеющий драться за свои кадры,— плохой работник». Образ Адрианова складывается по крупицам характера, ярко и крупно проявленного в круговороте всего одного дня, до предела уплотненного, перегруженного неотложными нуждами и заботами. Потому и достаточно его для того, чтобы увидеть в секретаре крайкома партийного руководителя ленинского типа, талантливого организатора и мудрого воспитателя, человека смелых действий, принципиальных решений, перспективной мысли. Высокий нравственный кодекс коммуниста, олицетворяемый им,— самое надежное противоядие всем инородным вторжениям в жизнь, которые чужды природе социалистического строя, нормам социалистического общежития. И как бы ни сложилась его последующая судьба, будущее за него и с ним. Недаром к Адрианову тянется заводская молодежь, и в их взаимном общении он не только учит и наставляет ее, обогащает своим многотрудным опытом, но и сам заряжается комсомольским задором, энергией, энтузиазмом.

Интересно сопоставить: в тот самый год, когда Бруно Ясенский писал «Заговор равнодушных», г. русском переводе вышла книга путевых заметок Лиона Фейхтвангера «Москва 1937». Читая ее сегодня, не перестаешь удивляться нередкой наивности туристических впечатлений, скользящей легкости взгляда, которому досадно недостает остроты и проницательности. Но кое-что замечено и распознано с писательской зоркостью, резко и броско выделяющей блестки прозрений в потоке приблизительных наблюдений, суждений, выводов. Одно из них касается советской молодежи, которая «распространяет вокруг себя заражающее чувство силы и счастья. Глядя на нее, понимаешь веру советских граждан в свое будущее, веру, которая помогает им не замечать недостатков настоящего».

Такими жизнестойкими и жизнерадостными, деятельными, уверенными в своих силах и возможностях, истово увлеченными трудом и творчеством, одержимыми жаждой знаний, дерзновенно мечтающими выписаны молодые герои в романе Бруно Ясенского. С углубленным, сосредоточенным вниманием вглядывается писатель в их одухотворенные лица, вслушивается в звонкие голоса, словно хочет загодя закрепить в своей, удержать в читательской памяти, будто предвидит уже недалекие «сороковые, роковые, военные и фронтовые» годы, которые оборвут столько прекрасно начатых, но недожитых судеб. Да и сами они, кажется, предощущают это. Совсем мимолетна чья-то реплика о «японской или германской территории», где кое-кому доведется сложить голову, но и она расслышана в шумном хоре новогодних тостов. Не гром среди ясного неба — отдаленный раскат грозы, подступившей к советским границам.

Здесь снова уместна аналогия с книгой Л. Фейхтвангера. Возлагая надежды на Советский Союз как единственную в мире силу, способную противостоять натиску фашизма, писатель завершал ее печальным признанием, характерным для настроений «внепартийного» интеллигента-гуманиста: «Воздух, которым дышат на Западе,— это нездоровый, отработанный воздух. У западной цивилизации не осталось больше ни ясности, ни решительности. Там не осмеливаются защищаться кулаком или хотя бы крепким словом от наступающего варварства, там это делают робко, с неопределенными жестами; там выступления ответственных лиц против фашизма подаются в засахаренном виде, с массой оговорок». Чувство, которое владело Бруно Ясенским, писателем-коммунистом, живописавшим в берлинских главах «Заговора равнодушных» ту же, что и Л. Фейхтвангер в романе «Семья Оппенгейм», немецкую действительность, совпадает с таким мироощущением только отчасти и лишь в исходном отношении к фашизму, созвучном обличении фашистского варварства.

Эти берлинские главы кажутся написанными с предельно близкого расстояния. Облик нацизма передан в них выразительно, множеством детализированных примет, которые точны так же, как скрупулезная топография Берлина и других мест действия. Топографии, впрочем, удивляться не приходится: в большинстве случаев она копирует «натуру». Так, скажем, Эрнст Гейль, переходя нелегально границу из Германии в Люксембург и из Люксембурга во Францию, следует маршрутом, точь-в-точь повторяющим путь самого Бруно Ясенского, которым он, как свидетельствует писательская автобиография, прошел и проехал за несколько лет до своего героя.

Иное дело — социальные, психологические, бытовые детали, воссоздающие повседневную жизнь Германии, изнутри пораженную коричневой чумой. Писатель не наблюдал их непосредственно, но интуиция, воображение, заряженные знанием, придали им поразительную достоверность исторических свидетельств, нередко подтверждаемых документально. Ошибется современный читатель, если спишет на образное заострение ресторанный «эйнтопфгерихт» — декретированный имперским правительством обед из одного блюда: описание его в романе полностью соответствует наставлениям печати, лишавшей своих сограждан права «питаться так, как им нравится. Своим меню каждый обязан служить интересам государства». Будет не прав, если не поверит пассажирам поезда, что держат «в руках, наготове, как железнодорожный билет», газету «Фелькишер беобахтер»: она и гарантия их верноподданности режиму, и знак духовной унификации жизни в стране, не желающей, как возглашалось в те годы, «быть страною Гете и Эйнштейна». Не преувеличена в романе и интеллектуальная деградация немецкой молодежи: на нее рассчитывал, ее добивался фюрер, считавший губительным «умственное обучение»[1]. Что же до многочисленных эпизодов провокаций, погромов, арестов, то подлинность их удостоверяют устрашающие масштабы террора, развязанного гитлеровцами сразу после захвата власти. Поджог рейхстага обошелся арестом 10 тысячам людей. За три первых года гитлеровского правления нацистские суды приговорили к тюремному заключению 225 тысяч противников фашизма. И столько же заключенных без суда находилось в концентрационных лагерях.

Молодой ученый Роберт Эберхардт, действующий в романе Бруно Ясенского, из этих тысяч и тысяч. Палеонтология и антрополо-

---

[1] Цит. по: Коваль В. С. «Барбаросса»: истоки и история величайшего преступления империализма. Киев, 1982, с. 458, 296, 399.

гия — не просто сфера его научных изысканий, но поле идейной борьбы с расовыми теориями «германских евгенистов», в которых он видит фашистов от науки. И можно бы согласиться, что развенчание и обличение их — тоже «подлинная классовая борьба, хотя речь идет не о заработной плате, а лишь о каких-то ископаемых костях древностью в двести тысяч лет», если б слова его не звучали полемическим выпадом против рабочего движения, на которое он взирает из окон отцовского особняка. Дальнейшая эволюция политических воззрений, прослеженная в повествовании, сближает Роберта Эберхардта с другом юности, коммунистом Эрнстом Гейлем, не без влияния которого, но больше всего под воздействием «нового порядка», установленного третьим рейхом, он приходит к активному антифашизму, как магнит, притягивающему к себе все честное и совестливое. Психологически закономерный, социально типичный путь прогрессивного интеллектуала, преодолевающего профессиональную замкнутость интересов, кастовую элитарность жизненной позиции. Слияние науки и политики, единство научных и политических идей — такой задумывает он новую книгу, в которой расскажет обо всем, что открыли ему, поначалу счастливо вызволенному из гестаповского застенка, поджог рейхстага и «ночь длинных ножей». «О, теперь я напишу книгу! Это будет страшная документальная книга. Она откроет глаза всему миру! Она разрушит вконец заговор равнодушных!»

Этот нервно взвинченный, темпераментно возбужденный монолог — одна из кульминаций повествования — дает развернутое обоснование не только сквозной идеи романа, вынесенной в название и подтверждаемой афористичным эпиграфом, но и отстаиваемой в нем политической программы социально активного действия, которая не довольствуется гневным обличением фашизма с общегуманистических, моралистических позиций и пролагает путь как созданию в каждой стране антифашистского народного фронта, так и международному единению патриотов-антифашистов. Это выдвигает «Заговор равнодушных» на передний край антифашистской прозы, многократно усиливает политическое, идеологическое звучание общих с нею мотивов.

Обывательское непротивление фашизму порицалось и до и после Бруно Ясенского. Но он одним из первых распознал в нем катастрофические последствия индивидуалистического сознания, чье компромиссное соглашательство с «новым порядком» было в ряду главных факторов, содействовавших его становлению. Если Ноябрьская революция 1918 года совершалась при неучастии немецкого обывателя, то фашистская реакция восторжествовала при его поддержке. Такой объективный смысл вкладывал писатель в обширные главы-отступления, воссоздающие через биографию спартаковца Эрнста Гейля историю Веймарской республики.

Дополним этот вывод, неопровержимо вытекающий из художественной концепции повествования, логическим заключением немецкого историка-марксиста, назвавшего три краеугольных камня «воздействия нацистов на психологию масс»: демагогию, террор и «подкуп успехом»[1]. Не потому ли не выдержала она испытания каждым из них, что, сложившись на фундаменте буржуазного индивидуализма, оказалась податлива и «заговору равнодушных», против которого готов возвысить голос Роберт Эберхардт?

Благородное, но позднее прозрение! Мир не услышал ученого-антифашиста, вероломно похищенного агентами гестапо. Уничтожив написанный им труд, они опорочили и его доброе имя, выдав

[1] Вольфганг Р. Как Гитлер пришел к власти. Германский фашизм и монополии. Сокращенный пер. с нем. Г. Рудного. М., 1985, с. 150.

истязуемого узника Дахау за отступника от своих научных и политических убеждений. Но вдохновлявшая Роберта Эберхардта идея не ушла вместе с ним. Почти слово в слово провозглашает ее Эрнст Гейль на митинге в Париже: «Фашистская язва исчезнет с лица земли в тот день, когда будет разбит заговор равнодушных, когда тысячи людей перестанут оказывать поддержку палачам одним фактом своего нейтралитета. Ни одного мыслящего трудового человека вне антифашистского фронта!..»

Этим монологом Бруно Ясенский возвещал миру о начатой гитлеровской Германией «разнузданной пропаганде новой, скорейшей войны». Гул немецких бомбардировщиков над притихшим Парижем пока лишь мерещится участникам митинга — ни им, ни писателю неведомо, как скоро он раздастся въявь. Нет не наитие движет героем романа, а убежденность коммуниста, чья непререкаемая правда сильна тем, что совпадает с правдой истории. Глашатаем ее и выведен Эрнст Гейль. Мысленно продолжая незавершенное повествование, нетрудно представить его в авангарде антифашистского Сопротивления, широкий размах которого и предвещает парижский митинг.

Так, впрочем, и должно было произойти, судя по конспективным наметкам ненаписанного продолжения, которые удержались в памяти вдовы писателя А. Берзинь. Из ее воспоминаний, сопровождавших журнальную («Новый мир», 1956, № 5—7) публикацию первой части, следовало, что во второй оба повествовательных плана, тематических пласта соединились бы. Бернгардта Эберхардта, отца погибшего Роберта, удастся вызволить из Германии. Свой труд ученого-астрофизика он продолжит в советском научно-исследовательском институте. Маргрет Вальденау, вняв совету Эрнста Гейля, вернется в Берлин, чтобы там, на месте помогать антифашистскому подполью, но, не выдержав новых выпавших ей испытаний, покончит с собой. Эрнст Гейль приедет в Москву делегатом конгресса Коминтерна. Встретившись с Релихом, узнает его, поможет его разоблачению. Близкая дружба свяжет немецкого коммуниста с советским ученым Ивановым, которого писатель предполагал ввести в круг действующих лиц. «Провожая Эрнста на родину, в Германию, находящуюся под властью фашистского произвола, Иванов выражает уверенность, что он и его новый друг еще встретятся в общей борьбе против ненавистного фашизма»[1].

Такое логическое завершение думал найти Бруно Ясенский ведущему пафосу повествования — пафосу интернационализма, созвучному духу социалистического строительства в СССР и зарубежной антифашистской борьбы. Писатель-революционер, писатель-коммунист, он воспринял его от свершений Великого Октября, от накала классовых битв польского пролетариата, подъема международного рабочего и антифашистского движения, от трудовых деяний первой в мире страны победившего социализма. Все это — крутые, переломные рубежи мировой истории, которые запечатлены в писательском творчестве. И потому, обращаясь к нему сегодня, мы приближаем себе эпохальный образ послеоктябрьских десятилетий в сложном, зачастую драматическом сплетении их многотрудных проблем и неотступных задач, решением которых предопределялись судьбы нынешних поколений да и всего современного человечества.

В. ОСКОЦКИЙ

---

[1] Цит. по: Ясенский Б. Избранные произведения в двух томах. Т. 1, с. 431.

СОДЕРЖАНИЕ

Ясенский Б.

Я 80 Я жгу Париж; Главный виновник; Заговор равнодушных / Послесл. В. Д. Оскоцкого; Ил. А. Л. Костина.— М.: Правда, 1986.— 464 с., ил.

В настоящий сборник вошли антифашистские произведения Бруно Ясенского (1901—1941): рассказ «Главный виновник», романы «Я жгу Париж» и «Заговор равнодушных».

Я $\frac{4702010200-1187}{080(02)-86}$ 1187—86 84 Р 7

Бруно ЯСЕНСКИЙ

Я ЖГУ ПАРИЖ
ГЛАВНЫЙ ВИНОВНИК
ЗАГОВОР РАВНОДУШНЫХ

Редактор
Л. М. Кроткова

Художественный редактор
Г. О. Барбашинова

Технический редактор
Т. С. Трошина

ИБ 1187

Сдано в набор 03.01.86. Подписано к печати 05.04.86.
Формат $84 \times 108^1/_{32}$. Бумага книжно-журнальная.
Гарнитура «Эдисон». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 24,36. Усл. кр.-отт. 24,57. Уч.-изд. л. 28,07.
Тираж 500000 экз. (1-й завод: 1—100000 экз.).
Заказ 3124. Цена 2 р. 40 к.

Набор и фотоформы изготовлены в ордена Ленина
и ордена Октябрьской Революции типографии
имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда».
125865. ГСП. Москва, А-137, улица «Правды», 24.

Отпечатано в ордена Трудового Красного Знамени
типографии издательства Куйбышевского обкома КПСС,
443086, г. Куйбышев, проспект Карла Маркса, 201.

2 р. 40 к.